

International Literary Magazine #

# KRESCHATIK

#60

П Е Р Е К Р Е С Т О К

#60  
KRESCHATIK  
International Literary Magazine

Вест-Консалтинг



Международный  
литературно-  
художественный  
журнал





Главный редактор  
**Борис Марковский**

Зам. главного редактора  
**Евгений Степанов** (Москва)

Зав. отделом прозы  
**Елена Мордовина** (Киев)  
тел. (038) 067-83-007-11

Редакционная коллегия:

**Андрей Коровин** (Москва)  
**Борис Херсонский** (Одесса),  
**Игорь Савкин** (Санкт-Петербург),  
**Владимир Цивунин** (Сыктывкар),  
**Борис Констриктор** (Санкт-Петербург),  
**Владимир Алейников** (Коктебель),  
**Игорь Лощилов** (Новосибирск),  
**Вальдемар Вебер** (Аугсбург)  
**Айдар Хусаинов** (Уфа)

Художник  
**Иван Граве** (Санкт-Петербург)

Год издания пятнадцатый  
Рукописи не рецензируются и не возвращаются  
При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:  
В. Markowskij, Tränke Str. 16  
34497 Korbach, Deutschland  
тел. (+49) 5631-50-31-42  
e-mail: borismark30@T-Online.de  
www.kreschatik.nm.ru

Издательство «Вест-Консалтинг»  
Москва, 109193,  
ул. 5-я Кожуховская, д.13

Журнал выходит 4 раза в год  
ISSN 1619-2966  
Свидетельство о регистрации КВ № 10002 от 29.06.2005 г.

© Крещатик, 2013 г.  
© Издательство «Вест-Консалтинг» (Москва), 2013 г.



## СОДЕРЖАНИЕ

### Поэзия

|  |                                |     |
|--|--------------------------------|-----|
| Виталий Амурский / <i>Париж</i> /        | «Полустанок убогий...»         | 5   |
| Александр Гиневский / <i>СПб.</i> /      | «Поворотись лицом на юг...»    | 24  |
| Марк Харитонов / <i>Москва</i> /         | Японские мотивы                | 34  |
| Адаль Хольм / <i>Москва</i> /            | Песни о Грузии                 | 65  |
| Вячеслав Самошкин / <i>Бухарест</i> /    | Все это было                   | 130 |
| Борис Херсонский / <i>Одесса</i> /       | Синее стекло                   | 146 |
| Сергей Лазо / <i>Тернополь</i> /         | Прощание                       | 185 |
| Алексей Кияница / <i>СПб.</i> /          | «В жаркой узкой постели...»    | 219 |
| Татьяна Ретивова / <i>Киев</i> /         | Сахалинские экзальтации        | 230 |
| Дмитрий Мухачёв / <i>Барнаул</i> /       | «Вот женщина становится твоей» | 247 |
| Татьяна Осинцева / <i>Екатеринбург</i> / | «Ветер северный железный...»   | 270 |

### Проза

|                                     |                                     |     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Марат Баскин / <i>Нью-Йорк</i> /    | Глиняный шар. <i>Повесть</i>        | 9   |
| Вячеслав Харченко / <i>Москва</i> / | Чулочки в сеточку. <i>Рассказы</i>  | 28  |
| Инна Халяпина / <i>Эрфурт</i> /     | Солнечное сплетение. <i>Повесть</i> | 38  |
| Айдар Хусаинов / <i>Уфа</i> /       | Культур-мультиур. <i>Роман</i>      | 70  |
| Дмитрий Тарасов / <i>Москва</i> /   | В ожидании... <i>Рассказ</i>        | 136 |
| А. Киров / <i>Каргополь</i> /       | Полночь во льдах. <i>Повесть</i>    | 151 |
| Андрей Высокосов / <i>Москва</i> /  | Белый ангел                         | 188 |
| Татьяна Никольская / <i>СПб.</i> /  | Кусуслик. <i>Рассказы</i>           | 225 |
| Евгений Степанов / <i>Москва</i> /  | Очень короткая проза                | 235 |

### In memoriam

|                |                |     |
|----------------|----------------|-----|
| Павел Зальцман | Из неизданного | 262 |
|----------------|----------------|-----|



Контексты:

эссеистика, критика, библиография

|  |  |     |
|--|--|-----|
| Петр Казарновский / <i>СПб.</i> /        | «Вещи любят, чтобы их<br>называли точно»         | 251 |
| Ара Мусаян / <i>Париж</i> /              | Анонс  | 274 |
| Сергей Ильин / <i>Мюнхен</i> /           | О главной музыкальной<br>тональности нашей жизни | 284 |
| Александр Карпенко / <i>Москва</i> /     | «По лестнице слуха»                              | 311 |
| Михаил Окунь / <i>Аален</i> /            | «Жизнь не будет такою как<br>прежде...»          | 315 |
| Людмила Вязмитинова<br>/ <i>Москва</i> / | Слово о самиздате                                | 317 |



## Виталий АМУРСКИЙ

*/ Париж /*

\* \* \*

Полустанок убогий:  
Будка, лужа, коза.  
Как Щедрин или Гоголь  
Улыбнуться в слезах.

Резкий ветер неласково  
Вздёрнул жёлтый флажок,  
Мимо — к Волоколамску —  
Скорый поезд прошёл.

Дни осенние тусклые  
И звучит каждый шаг —  
Будто семечки лузгают  
Или ветки шуршат.

В три уже вечереет,  
В семь густеют в окне:  
Небо — хлеба чернее,  
Звезды — соли крупней.

Ах, pardon или sorry,  
(Как удобней для вас?) —  
Этим хлебом и солью  
Выживал я не раз...

\* \* \*

Приамурской тайги мне  
Аромат незнаком,  
Что ж туда, в ностальгии,  
Я качусь колобком?

Нет отсюда мне зова,  
Где рассвет золотой, —  
Просто детство отцово  
Греет память золой.

И оттуда, из Брянских,  
Материнских земель,  
Тянут стебли по-братски  
И подсолнух, и хмель.

\* \* \*

Летят года, как листья ржавые,  
Где было нам судьбой отпущено  
На кухнях слушать Окуджаву,  
Свиданья назначать у Пушкина.

Теперь они сравнялись бронзой,  
Но о живых извечно сетуя,  
Им под ноги ложатся розами  
Лучи закатов милосердные.

Ах, время, то — кибитка тряская,  
То тряское такси столичное,  
Лишь власть — всегда к поэту ласкова,  
В спецхране спрятав дело личное.

## СВЕЧА

Там, где тяжёлые сугробы  
Как мрамор шлифовал мороз,  
В эпоху поствоенной пробы  
И я когда-то жил и рос.

Качались снежных туч галеры  
И, помнится, в одном окне  
По-пастернаковски горела  
Свеча (огарок тот во мне).

Её огонь и свет вечерний  
Уже давно б забыть пора,  
Забыть тот след, что был прочерчен  
На смятом ватмане двора.

Двора — не места, но пространства,  
Где забирались чувства в плен,  
Где было всё предельно ясно  
И так неясно, вместе с тем.

Где проходили и скрещались,  
Мешались разные следы,  
И лужи в оттепель трещали,  
Как будто были из слюды.

Свеча мерцала в полумраке,  
 Не нарушая общий быт,  
 Но те, кто знал — смотрели в страхе:  
 В том доме кто-то был убит.

\* \* \*

Декабрь. Чувства в летаргии  
 На снега белой простыне,  
 Слова тяжёлые, как гири  
 Часов в чужом монастыре.

Считай число глухих ударов,  
 Как пульс считают, вену сжав,  
 Пока в морозец тихим паром  
 Последний вздох не убежал.

Пока на зеркальце разлуки  
 Ещё не лёг печальный креп,  
 И сквозь бумагу греет руки  
 Под утро выпеченный хлеб.

## МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

Эссендуки, нарзан, боржоми  
 В аптеке дома номер шесть...  
 О, снов нелепые ожоги,  
 Как в холод, если тронуть жечь.

Так и теперь, как по ошибке,  
 Обжѐг меня в который раз,  
 С незримым штемпелем Тишинки,  
 Москвой отмеченный Кавказ.

\* \* \*

Исчезают московские дворики  
 И гитары в них не звучат,  
 Скоро будут лишь бедные Йорики,  
 Чтобы Гамлетам не скучать,  
 А потом ничего не останется,  
 Лишь из уст пацана, что подрос,  
 Тихо выпорхнет: «до свиданьица!»,  
 Будто бабочка на мороз.

\* \* \*

Пусть память, как собака, душу лижет  
 И сожжены к минувшему мосты,  
 Мне ближе до России из Парижа,  
 Чем многим из сегодняшней Москвы.



Не по кремлёвским золотым курантам  
 Часы свои сверяю я давно,  
 Но землю, где свирепствовал Скуратов,  
 Забыть навек судьбою не дано.

Она не изменилась за столетья —  
 От ржи неотделима лебеда,  
 Однако и такой любя, стареть я  
 Не буду рядом с нею никогда.

Оттуда подло выжат и отчислен,  
 Сберёг я, как бесценный капитал,  
 Родной язык, а горький дым отчизны  
 Слоняется за мною по пятам.

Он мне не в тягость, даже если горек,  
 Как тёмный хлеб солдатского пайка,  
 Как колосок, что пальцы нежно колет,  
 Когда его касаешься слегка.

\* \* \*

*В. Загребе,  
 вспоминая «Страсти по Андрею»  
 и Николая Глазкова*

На колокольне храма  
 От ветра свист в ушах,  
 У русского Икара  
 Глазковская душа.

Когда бы даже выкрали,  
 Его оставив без,  
 Он мог бы крылья выкроить  
 Из синевы небес.

Ах, небо — ткань отличная  
 (хоть парусом к челну)!  
 Лишь только не опричники  
 Решали б, что к чему.

Рабом к земле прикованный,  
 Мечтательный мужик,  
 Плевал он на законы их,  
 Где человек — нужник.

Истории отечества  
 Крутись веретено,  
 Поднявшийся над вечностью —  
 Лети еретиком!



## Марат БАСКИН

*/ Нью-Йорк /*

### ГЛИНЯНЫЙ ШАР

*Однажды подняв глаза к небу,  
Человек увидел золотой шар:  
И ему захотелось дотянуться до него...*

Стивен Крейн

Вы слышите, как стучит в стенку ворона? Это моя Златка. Я им объяснил, что это говорящая ворона, и просил пропустить ее ко мне в палату. Но они не верят мне! Они считают меня идиотом! Вы представляете: мы дотянулись до золотого шара! И что не делает человек в минуту радости! Мы прыгали, обнимались, танцевали, как все нормальные люди в минуты радости, а Данута подумала, что у нас приступ помешательства и вызвала амбуланцу! И вот мы здесь уже вторые сутки! Конечно, Стив может уйти, он привидение, и ему ничего не стоит пройти сквозь стены, но он не хочет бросать меня одного. Они его держат в другой палате, но, когда здесь нет никого, он приходит ко мне. И сколько мне еще здесь быть? Вы знаете, мистер Баскин, я в жизни часто падал в пропасти, но всегда выкарабкивался из них! Всегда. А сейчас не знаю! Счастье отвернулось от меня. Как будто это не мое счастье! А чье? Моя тетя Малка всегда мне говорила, за чужим счастьем не гонись, ищи свое! А как узнать, где твое, а где чужое?

Я скажу вам честно, я, конечно, сумасшедший, но не такой, чтобы держать здесь в палате! В нашей мишпохе были сумасшедшие, но они жили дома!

### **Страница прошлая**

Сумасшедшими были мой дедушка Шеел и мамина сестра Малка. Наши сумасшедшие вначале были умные, как все, и, может быть, даже больше, чем все, но жизнь ставила им подножку, они падали, их умные головы не выдерживали падения, и они сходили с ума.

— Умные чаще становятся дураками, чем дураки умными, — всегда говорила тетя Малка.

И так оно и есть. Дедушка Шеел до революции имел сахарный завод, и ни один лэкач на еврейском столе не обходился без его сахара. И даже на гойских столах пили чай Высоцкого с дедушкиным сахаром.

— Но мы такие времена знали только по слухам, — говорила тетя Малка, рассказывая мне семейные истории. — Ибо когда твой дедушка был моим папой, он уже не имел своих заводов, и мы пили сладкий чай только два раза в год: на Пурим и на Хануку! Наш папа уже не был сахарозаводчиком, а был простым краснопольским сумасшедшим!

Потерял свои заводы дедушка еще до свадьбы: какой-то его друг — а ганеф — подsunул ему на подпись фальшивые векселя, и в одно прекрасное утро дедушка проснулся разоренным. И он не перенес этого и сошел с ума. И тогда его мишпоха привезла его в Краснополье, где никто ничего не знал о каких-то векселях и вообще никто раньше о дедушке не слышал: просто приехала молодой красивой человек с задумчивым взглядом и хорошим ихес, и засватала его за самую красивую девушку, дочку краснопольского ребе Цырул! И все, дело было сделано! Вы слышали когда-нибудь, чтобы в еврейской семье был развод! И при этом в семье ребе?! Я вас не спрашиваю про сегодняшние дела, я вам рассказываю про тогдашние, а тогда еврей — это был еврей! И бабушка Цырул, проплакав не один день, осталась жить с сумасшедшим дедушкой.

— А бешехт эпес тrefунзахс итс тrefцах, — сказал ее папа ребе Нохем. — Если что-то суждено, то оно случается. Надо жить, тохтерке!

Дедушка Шеел был тихим и добрым сумасшедшим. Как рассказывала моя мама и тетя Малка, он был очень молчаливым, никогда ничего не говорил о своей родне и вообще о своей жизни до свадьбы, и до сих пор я ничего не знаю о нем, кроме того, что вся дедушкина родня жила в Петербурге и Москве.

Засватал бабушку Цырул краснопольский шадхен Лейзер, но он ничего не знал о мишпохе дедушки Шеела и только сказал, что дали большие деньги и больше таких денег он никогда не видел.

— Лучше бы дали эти деньги нам! — рассказывая эту майсу, говорила тетя Малка. — Но как говорил наш дедушка Нохем, мы слышали только звон, и этого хватило, чтобы глаза наши ничего не видели!

Дедушкину родню никто никогда из нашей семьи не видел, в Краснополье она не появлялась, и даже на дедушкиной свадьбе были хавейрым, но не родственники. Но до революции каждый месяц в Краснополье приходили посылки из Москвы, Петербурга и даже Берлина. Обратного адреса на них не было. В посылках были разные вещи, одежда, книги, и бабушка продавала все, ничего не оставляя себе, и на эти деньги жила наша семья. Каким-то образом дедушкина мишпоха знала о нас все, ибо когда мамину брату дяде Моне исполнилось восемнадцать лет, неожиданно пришло письмо из Петербурга. Управляющий заводами «Фридлянд и сыновья» писал, что по поручению господина Фридлянда-старшего приглашает дядю Мону на работу на заводы компании.

Бабушка Цырул несколько раз вслух прочитала письмо дедушке, а потом его спросила:

— Шеел, вос ис дос? Что это такое?

Дедушка долго вертел письмо в руках, как будто не знал, что с ним делать, потом посмотрел на бабушку и сказал:

— Ит ис Бер-Довид, это Бер-Довид, брат моей мамы. Цырул, не бойся, они нашего Моню не обидят! Пусть едет!

И дядя Моня поехал. На заводе его принял молодой человек, который назвался помощником управляющего реб Срудам. Он сразу определил Моню учеником к бухгалтеру и дал Моне большие для того времени деньги — десять рублей!

И, может быть, дядя Моня стал бы большим человеком, если бы все это произошло немножко раньше. Но увьи! На «Авроре» уже расчехлили пушки.

И дядя Моня, не пробыв в учениках и полгода, вернулся в Краснополье. За эти полгода он нашу родню так и не увидел, зато увидел, как Ленин выступал с броневика, и стал благодаря этому чуть ли не героем революции в Краснополье: вейз мир, Моня видел самого товарища Ленина! Дядя рассказывал об этом на всех углах, и... первая же банда, захватившая Краснополье в двадцатые годы, убила его как еврея и как символ революции.

После этого бабушка запретила всем в семье заниматься политикой:

— Это не наше дело: у нас и без этого хватает забот! Киндерлах, дайте дожить спокойно!

Но разве в то время и при той милухе можно было обойти политику стороной?!

На уроке истории сын тети Поли Иоська толкнул нашу Малку за локоть, и она нечаянно перечеркнула в учебнике портрет товарища Сталина! Хорошенькое дело в хорошенькое время, как говорила наша мама.

За несколько дней до этой истории арестовали нашего соседа, девяностолетнего Якуба Ивановича. Он еще до революции учился в Берлине и вернулся где-то перед самой революцией в Краснополье с женой немкой. Лотта, так звали его жену, устроилась в школе учительницей немецкого языка, а Якуб Иванович пошел в землемеры. Детей у них не было, и в старости они оказались совершенно беспомощными: у Якуба Ивановича отнялись ноги, а Лотту замучили головные боли, или как она их называла — мигрени! И бабушка Цырул, и Малка, и моя мама помогали соседям, чем могли. А дедушка Шеел любил заходить к хаверу Якубу поговорить о жизни. Малку с мамой бабушка Цырул посылала вслед за дедушкой к соседу, чтобы присмотрели вос татэ тут, что делает дедушка. И как рассказывала мама, это были у них с Малкой самые счастливые минуты в детстве: послушав разговоры дедушки с соседом, никто никогда бы не сказал, что дедушка сумасшедший. Затаив дыхание, они слушали разговоры взрослых и кушали швабские вареники тети Лотты. Когда они возвращались от соседей, бабушка всегда спрашивала, о чем говорил дедушка с другом, и мама с Малкой дружно отвечали:

— Про огород!

Как тетя Малка мне потом рассказывала:

— Не могли же мы маме сказать, что дедушка вел в основном разговоры о политике: мама бы этого не перенесла! — тетя Малка улыбалась и доверительно добавляла: — А папа не говорил маме, что мы кушали у тети Лотты некошерные вареники!

Каждое утро перед школой тетя Малка заносила соседям горлачик сыродоя, и в тот день, когда соседей арестовали, столкнулась у соседской калитки с краснопольским энкеведистом Гришкой. Он оттолкнул Малку, бросив сквозь зубы: «Отойди!» — и в открытую калитку протасил за ноги Якуба Ивановича. Лотту под руки вывели два незнакомых человека. Лотта кричала что-то по-немецки, и один из державших ее всунул ей в рот конец ее платка, чтобы она замолчала. И она, вытаращив глаза, начала задыхаться. Тетя Малка запомнила на всю жизнь стучащуюся о каменную дорожку голову Якуба Ивановича. За день до этого она помогала Лотте положить эту дорожку, и тетя Лотта радовалась ей и говорила: «Вундерфул!»

И вот после этой истории тетя Малка перечеркнула портрет Сталина! Через полчаса об этом стало известно в НКВД, но когда Гришка пришел за Малкой, она была уже сумасшедшей! И Гришка ее не арестовал, но сказал маме:

— Я не возбуждаю дела в память о вашем брате-революционере! И учитывая, что все в вашем роду сумасшедшие.

И в этот день бабушка Цырул была счастлива, что у нее сумасшедший муж и сумасшедшая дочь!

— Спасибо тебе, Готыню, что ты забрал у них ум, но оставил их живыми и с нами!

После этой беды все остальные беды как-то стали обходить наш дом стороной, и до самой войны жили, слава Б-гу, как все: не то что-бы хорошо, но тихо. А потом была война...

В эвакуацию наша мишпоха бежала едва ли не последней: немцы уже бомбили дороги, и двигались беженцы, в основном лесами. Где-то под Кричевом попали на немецкий десант и, убегая от него, потеряли дедушку. Когда остановились передохнуть и обнаружили пропажу, бабушка сказала:

— Киндерлах, папа ушел назад в Краснополье. Он там один не проживет. Я пойду за ним. Не все же немцы фашисты — мы знаем Лотту! Может быть, как-нибудь выживем! А вы, дети, поедете дальше с дядей Рахмиилом. Вы молодые, и я не могу рисковать вами. После войны встретимся. Товарищ Сталин не даст фашистам долго здесь хозяйничать! — и ушла, оставив нас с дядей Рахмиилом, которому самому было лет восемнадцать.

Так рассказывала мне мама и так я рассказываю вам.

После этого мама с Малкой больше бабушку не видели и никто ее больше не видел. А дедушка Шеел, как и догадывалась бабушка, вернулся в Краснополье. Когда его соседи спросили, почему он пришел назад, он сказал:

— Амелхоне! Моня должен из Петербурга приехать! А кто его встретит? Они все о нем забыли! Побежали, как сумасшедшие. И я, дурак, тоже. А потом вспомнил про Моню и вернулся.

Его расстреляли вместе со всеми краснопольскими евреями во рву за сушильным заводом.

Вышла мама замуж за такого же сироту, как и сама, сына Хаима-стекольщика, Иоську. У папы за душой были только медали за войну и деревянная палка, которую ему дали в госпитале.

— Вот такое мое приданое было, — смеялся он, рассказывая нам свою историю. — А у мамы был дом без окон, сарай без крыши и огород! Она была богатая невеста!

— И я! — добавляла Малка, слыша папины шутки. — Хорошенькое приданое — сумасшедшая сестричка. Хена, — обращалась она к маме, — ты помнишь, как говорила о нас Бася, которая имела виды на Иосифа? У них же в семье все сумасшедшие! Иосиф, подумай, что ты делаешь?

— И я подумал и женился на маме, — разводил руками папа. — И тетя Малка стала нашей главной экономкой, как Берта у Мойши Брагина!

Тетя Малка, как все наши сумасшедшие, была добрая, тихая и умная. И главное ее сумасшествие было в том, что она не спала по ночам и разговаривала с вороной, которую нашла у нас на огороде с подбитым крылом: допризывники баловались во дворе военкомата с воздушкой и подстрелили ворону. Кроме вороны, тетя Малка любила поговорить со всеми краснопольскими коровами, собаками, кошками, курами и даже индюками, которых держала наша соседка Зуськина.

И благодаря этому Малку взяли на работу в ветлечебницу медсестрой.

— Лучшей работницы у меня не было и не будет, — говорил о ней наш ветврач Константин Федорович. — Я Малку Шееловну не променяю на специалиста с тремя дипломами! Вы думаете, я могу сделать прививку совхозному быку Пантелеймону без Малки? Вы хотите сказать — нет? Ошибаетесь! Могут! Но для этого его должны держать человек десять! А Малка Шееловна подходит к Пантелеймону, чешет ему за ухом и готово: делай ему хоть три прививки сразу! Это талант! Ему нельзя научиться, с ним надо родиться.

Больше всего на свете тетя Малка любила меня и ворону, о которой я вам говорил раньше. Ворону тетя Малка звала Златкой и с ней разговаривала, как с человеком.

— Попробуй еще найди такого умного человека, как Златка, — говорила Малка. — Она ведь прожила большую воронью жизнь и всякого повидала на своем веку.

Меня тетя Малка считала родным сыном и, несмотря на все протесты моей мамы, называла меня сыночком.

— Не главное, кто родил, — говорила она. — А главное, кто как любит! Для меня он тоже сыночек, как и для тебя!

Малка все время думала, что я никогда никуда не уеду и буду все время дома, в Краснополе, но жизнь моя шла своим чередом: сначала уехал учиться в Могилев, потом уехал работать в Минск, потом улетел в Америку...

Малка очень болезненно переносила мои отъезды, как рассказывала мама, она стала каждый день поститься, чтобы Геночке там далеко помогал Б-г! А когда я уезжал в Америку, тетя Малка отдала мне ворону:

— Возьми ее с собой, она будет тебе напоминать обо мне и о нашем доме! И тебе не будет там так одиноко. И, может даже, Златка тебе поможет там в трудную минуту! Она ведь мудрая, как все вороны!

Моя жена подняла крик:

— Нам не хватало еще везти в Америку ворону! И так багаж не позволяют, берем самое необходимое! А тут еще ворона в клетке! Ты в своем уме или нет? Ты эту клетку в зубах собираешься нести?

И я, честно вам скажу, мистер Баскин, заколебался: брать или не брать ворону?

Но тетя Малка сказала:

— Сыночек, возьми ее. Тогда я буду спокойна.

И я взял.

Ехали мы в Америку по вызову родственников жены, и я надеялся позже вызвать в Америку и своих. Но вначале, когда вроде бы могли это сделать, мама ответила мне, что они не поедут на интервью в Москву, так как там надо проходить медицинскую комиссию, а Малка ее не пройдет. И поэтому ни к чему лишние затраты! А потом, когда я увидел, что сюда едут и кривые, и больные, и сумасшедшие, похуже нашей Малки, Малки не стало, и вопрос о приезде моих родителей отпал: мама написала, что от родных могил они не уедут.

Но это было потом, а вначале золотой шар Америки маняще позвал нас в дорогу.

### ***Страница настоящая***

В нашей школе учителя были абсолютно уверены в будущем трех учеников: Давида, которого все звали специалистом по Пиросмани, Вани Сандригайло, которого звали Пифагором, и меня, которого называли Белинским. Придумала это имя наша русичка Лидия Константиновна.

— Геночка, ты юный Виссарион! И не спорь со мной! Я знаю, что говорю: таких сочинений никто не писал за всю мою жизнь, а я проработала в школе не один год!

Я вам скажу, наши учителя не ошибались: Давид стал искусствоведом и сейчас преподает в Гарварде, Ваня решает математические проблемы в Минске, а я окончил пединститут, защитил диссертацию по Стивену Крейну, и в журналах стали появляться мои рецензии на поэтические сборники. Но до Виссариона Белинского мне было далеко.

Златка мне как-то сказала:

— Может быть, ты бы и стал великим критиком, но ты слишком рано женился!

Конечно, ее замечание субъективно: она не любит мою жену, и я скажу почему: Зина не хотела ее брать в Америку.

Женился я и вправду рано: на последнем курсе института. Женился неожиданно и для себя, и для всех, хотя Краснополье одобрило мой выбор: я взял не кого-нибудь, а прокурорскую дочку.

Я не скажу вам, что Зина была первой красавицей в школе, были и красивее ее девочки в нашем классе, но она была другая, не похожая на наших, городская и по манерам, и по одежде, и даже по взглядам на жизнь. И, конечно, все еврейские парни из нашей школы обратили на нее внимание. И я в том числе. Но она в то время не обращала на меня никакого внимания, у нее в друзьях ходил Ленька Матрос, как его звали за вечную тельняшку, сын директора совхоза, и я махнул рукой на школьную любовь: как у нас говорят, не твое — не бери!

Через несколько месяцев мы окончили школу и все разъехались из Краснополя. Зина уехала поступать в медицинский куда-то на Дальний Восток, где жили родственники ее мамы. На летние каникулы она приезжала не каждый год, и так получилось, что мы не виделись года четыре, а может, и больше, я сейчас не помню. И вот неожиданно встретились на Могилевском автовокзале. Я ее даже в первую минуту не узнал — она как-то и повзрослела, и похорошела. А она меня узнала сразу:

— Ой, Гена, — закричала она чуть ли не на весь вокзал. — Я так давно тебя не видела! Просто не рассказать тебе, как я соскучилась по всем! — и, улыбнувшись, сказала: — И по тебе тоже! — и добавила: — Я слышала, ты стал знаменитым?

— И на Дальний Восток дошли слухи, — отшутился я.

— Мама мне писала, — призналась Зина. — Я там всем девочкам говорю, что в школе училась с писателем. И думаешь, они мне верят? Нет! Говорят, что это все я придумала.

Всю дорогу в автобусе мы говорили без остановки и даже не заметили, как въехали в Краснополье. Вышли мы с ней у почты, не доезжая вокзала: ее встречали родители, а меня, как всегда, тетя Малка.

— До завтра, — сказала Зина, а ее папа пригласил меня заходить в гости.

Тете Малке Зина не понравилась.

— Почему? — спросил я.

— Потому что у них в семье главная — ее мама! — неожиданно для меня сказала Малка, — а в семье должен быть главным мужчина! Мой папа был сумасшедший, но моя мама не разговаривала так с ним, как Софья Марковна с Львом Абрамовичем! Как будто она прокурор, а он — библиотекарь!

— А причем тут Зина? — сказал я. — Зина, может быть, совсем другая!

— Хоть ты и пишешь в больших журналах, но в людях ты еще не разбираешься! Твой дедушка Шеел говорил, когда сидел у дяди Якуба, я запомнила: каким растили, таким и получили! Он имел в виду товарища Сталина, а я имею в виду твою Зину! Она же видит, как живут ее родители, и, конечно, тоже захочет так жить! Генералами все любят быть! Я ничего не говорю, а шейне мэйдалэ, но для жизни это мало.



Дома она поделилась своими мыслями с мамой, но мама ее не поддержала:

— Пусть встречаются, он же не сегодня женится. Повстречаются и сами разберутся: подходят друг другу или нет, — мама всегда мечтала иметь невесткой врача и чтобы ее родители были богатыми. Она мне как-то призналась, что сама прожила очень бедную жизнь: и когда была маленькой, и когда вышла замуж, и ей хотелось, чтобы я жил другой жизнью. Она как-то сказала:

— Малка не понимает, как трудно жить, если считаешь каждую копейку! А мы с папой так живем! Мы ей про это не говорим, она подумает, что она у нас лишняя, но тебе, сынок, я тебе это говорю. И поэтому, дай Б-г тебе жизни, чтобы ты не нуждался в деньгах.

Эти мамыны слова я часто вспоминаю, но деньги почему-то все время идут мимо моих рук. И там шли, и здесь, в Америке, тоже.

Я не знаю, женился бы я на Зине в то лето, если бы не судьба. А судьбу мы не выбираем, как написано в Торе!

Лето в том году было дождливое и пасмурное, и все дни я проводил у Зины дома. И самое странное, что я, всегда молчаливый, находил, о чем говорить, и Зина слушала меня, открыв рот. Но я вам скажу, что говорил я обо всем, но не о любви, и Софья Марковна, встретив мою маму, сказала:

— Моя Зиночка в этом году кончает институт, впереди направление, и у них в основном Сахалин, а ваш сын молчит!

— Он у нас стеснительный, — не зная, что ответить, сказала мама, а тетя Малка, которая присутствовала при этом разговоре, спокойно сказала:

— А что ему говорить, когда он еще не собирается жениться.

Тетя Малка хотела своими словами повернуть мою судьбу в другую сторону, но, как говорили древние греки, не пытайся на нити судьбы завязать узел.

Где-то за неделю до начала занятий, до нашего отъезда, Зина устроила дома вечеринку, пригласив почти весь наш класс. Как раз Льва Абрамовича вызвали в область на какое-то совещание, и он, взяв с собою Софью Марковну, оставил квартиру на Зину. Квартира у прокурора была не очень большая, чтобы танцевать, а на улице был дождь, и мы в основном пили и ели. Не помню, как опьянел, просто, когда пришел в себя, увидел, что лежу в постели и рядом со мною Зина. А у постели стоят Лев Абрамович и Софья Марковна.

Что вам сказать? Хорошенькая история для еврейской семьи!

— Я не буду говорить, что у них что-то было, — сказала Софья Марковна моей маме. — Моя девочка не такая! Но они перебрали лишнее, и все могло быть! Не дай Б-г, об этом узнают в Краснополье! — И добавила, посмотрев подозрительно на тетю Малку: — Видно, это судьба! И, вообще, о чем мы рассуждаем, если они любят друг друга!

Прокурор устроил так, что нас записали без обязательного месяца на раздумье! Раздумывать было поздно. Свадьба была у нас большая, громкая, на все Краснополье. На ней было все местное начальство во главе с первым секретарем, и даже приехал кое-кто из области. Пили за нас, за партию, за родину, за советскую прокуратуру!

— Мне кажется, это было празднование Октябрьской революции, а не еврейская свадьба, — заметил после свадьбы папа.

А мама восприняла такую свадьбу, как должное:

— Они знают, как жить и кого пригласить! Слава Б-гу, наш Генрик попал в хорошую семью!

Тетя Малка смирилась с моей женитьбой, но свое слово сказала:

— Это, конечно, судьба, и дай Б-г, Генрик будет счастливым, но я вам скажу, и можете считать меня сумасшедшей, этой судьбе очень помогла Сонечка!

Уже здесь, в Америке, как-то Зина по какому-то поводу спорила со мной и в сердцах сказала:

— Ничего ты не можешь в жизни! Даже жениться и то не мог! Хорошо, что моя мама догадалась, как тебя женить!

Жили мы с Зиной дружно, споры начались здесь, и я вам скажу, несмотря на то, что женился вроде бы не по своему желанию, я любил ее и тогда, и теперь... Любила ли она меня, я не знаю: после свадьбы она никогда не говорила об этом. Да и до свадьбы об этом говорила ее мама. Мне всегда хотелось услышать от нее слова любви, но, хотя я ей говорил о любви несколько раз в неделю, она только загадочно улыбалась и ничего не говорила. Главным советчиком в жизни у нее была мама, и обо всех семейных решениях я узнавал после того, как Зина согласовывала их с Софьей Марковной. И после этого мое согласие было просто констатацией факта, как умно выразилась ворона.

Так было и с Америкой. Софья Марковна решила, и мы поехали.

Когда стали уезжать первые евреи, Зина как-то сказала:

— Жалко, что у нас нет родственников в Америке.

— А что нам там делать? — сказал я.

— Что все, — сказала Зина и добавила: — У нас уехала медсестра и там уже имеет магазин. Она присылала на работу фотографии: ты бы посмотрел, какой у них дом и какая машина! Я тебе ручаюсь, что наш секретарь райкома такое не видел даже во сне.

Вот так поговорили и забылись. А потом через полгода Зина вдруг сказала мне:

— Что ты думаешь насчет Америки?

— У нас нет там родственников, — развел я руками. — Ты же это знаешь.

— Знала, — поправила меня Зина. — А теперь знаю, что есть. Нашлась мамина троюродная сестра Сима, дяди Нафтоли дочка!

— Какого дяди Нафтоли? — спросил я, первый раз в жизни слыша это имя.

— Они жили в Баку, мы раньше переписывались с ними, а когда дядя Нафтоля умер, связи прервались. Но папа как-то отыскал их следы. Они живут в Нью-Йорке. Ты понимаешь, что это значит для нас?

— Понимаю, — сказал я, — что это очень далекое родство, и нас они вызвать не могут.

— Ты говоришь, как мой папа, — сказала Зина. — Но мама ему сказала: «Ты же все-таки прокурор и неужели не можешь кое-что кое-где изменить! Люди и на меньшей, чем у тебя должности, все делают! Не волнуйся, Ленин на портрете, который висит у нас дома, ничего

плохого тебе не скажет, он сам много раз изменял документы! Мы это учили на политзанятиях!» Так что, Геночка, скоро у мамы в Америке будет родная сестра!

Зина посмотрела на меня умоляющим взглядом и тихо сказала:

— Гена, я понимаю, что тебе там будет трудно, но мы же едем туда не ради себя, а ради дочки. Ты представляешь, Наташка вырастет и будет единственной еврейской девочкой в школе! Страшно даже подумать об этом: на нее будут показывать пальцами! И где она найдет еврейского мужа? Надо будет выписывать или из Израиля, или из Америки. Я все время думаю об этом и плачу по ночам, когда ты спишь: я не хотела тебя расстраивать — ведь у нас раньше не было шансов уехать. Но теперь, слава Б-гу, есть, и неужели ты считаешь, что этот шанс надо упустить?

Я посмотрел на наострившую ушки Наташку: что скажет папа? — и согласился.

— Воленс-ноленс, — как съехидничала по-латыни Златка. — Волей-неволей! Жизнь — удивительная штука, никогда не знаешь, где потеряешь, а где найдешь!

И в этом вопросе я с ней полностью согласен.

Так получилось, что Лев Абрамович, сделавший все, чтобы мы могли уехать в Америку, сам ее так и не увидел: все эти дела очень плохо отразились на его здоровье, он на ногах протянул два инфаркта и на третьем умер за две недели до отъезда. Похоронили его в предтодъездной суете, и потом через полгода мои родители поставили ему памятник.

Троюродная сестра Софьи Марковны не узнала нас в аэропорту. И откуда было ей узнать, если нас она никогда не видела? И мы полчаса стояли посреди зала, не зная, что делать и что говорить. Слава Б-гу, ворона сообразила, что от такой встречи скоро нам станет плохо, и, высунувши клык из клетки, на чистом английском закаркала:

— Господа! Тут кто-нибудь ждет родственников из Краснополя или нет?

Вы не удивляйтесь, что Златка знает английский. Вы лучше спросите, какой язык она не знает? Она как-то в овощном разговорила с хозяином-китайцем и потом еще целый вечер пыталась со мной говорить по-китайски. Мне бы ее знания, и я в Америке не знал бы проблем!

Зинины родственники жили в Квинсе, и мы сняли квартиру в том же районе. И началась наша новая жизнь. Я не буду вам рассказывать про первые годы здесь, скажу кратко, всего хватило, как у всех, кого судьба привела на эту землю. Но как говорила тетя Малка: забудем плохое и вспомним только хорошее!

Зина убираала квартиры в Боро Парке, я перебивался подработками, которые мне находили Зинины родственники, а Софья Марковна вела воодушевляющие беседы как бывший идеологический работник.

— Чтобы вы ни говорили, а здесь лучше, чем там, — сообщала она за ужином, когда мы собирались вместе. — Там сейчас творится неизвестно что! Вчера я встретила Гинду из Осипович, она получила письмо от племянника: там сейчас буханка хлеба стоит милаион рублей! Вы слышали когда-нибудь про такое?

Новости оттуда она приносила каждый день, и мне кажется, она их придумывала, как в былые времена лектор из общества «Знание», рассказывая о происках капитализма.

Мои родители особенно о своей жизни там не писали, и это не нравилось Софье Марковне:

— Они пишут не все, — сочувственно говорила она. — И я их понимаю: они не хотят расстраивать нас!

Зина, правда, ей как-то сказала:

— Мама, что ты так переживаешь за то, что там происходит? У нас тоже пока не сладко!

После этого Софья Марковна не разговаривала с ней целый день и обиженно всхлипывала на кухне.

И мы назавтра опять покорно стали слушать жуткие истории из той жизни. Так пролетело пару лет, и Зина, наконец, сдала экзамен на врача. Жена тети Симинового племянника Бейличка держала медицинский офис, и Зина пошла работать к ней. Правда, Зина была не в восторге от этой работы.

— Бейличка ни грамма не понимает в медицине и командует нами, как у нас в Минске Григорий Петрович! — возмущалась каждый вечер Зина.

— Ничего, — успокаивала ее Софья Марковна. — Поработаешь немного и откроешь свой офис!

Но Зина долго терпеть не смогла и однажды, поругавшись с Бейличкой, ушла с работы. Неделью она была дома, а потом подвернулась работа в Нью-Джерси, и она поехала туда.

— Я обустроюсь, а потом и вы переедите, — сказала она.

Все лето она приезжала на выходные, а в сентябре забрала к себе Наташку, сказав, что там очень хорошая школа, и стала приезжать домой пореже: у Наташки в школе то были пати<sup>1</sup>, то воскресные занятия...

День рождения у Наташки был в середине недели, и она приехала с Зиной после, в воскресенье. Я купил любимый Наташкин чизкейк и подзорную трубу, о которой мы с Наташкой мечтали еще в Краснополе.

— Чтобы посмотреть, как живут лунатики, — говорила Наташка, когда мы летними вечерами сидели на бабушкином крылечке и смотрели в небо.

Но сейчас мой подарок Наташа восприняла без особой радости.

— А дядя Миша мне подарил компьютер, — похвасталась она.

— Кто этот дядя Миша? — спросил я.

— Знакомый, — ответила Зина и добавила: — Я тебе потом о нем расскажу.

Но уехала, так ничего и не рассказав.

И в тот же вечер Софья Марковна завела со мной разговор:

— Знаешь, Гена, Зина не хотела говорить с тобой при Наташе, но у нее появился хороший знакомый. Он любит и ее, и Наташу. Он держит большой компьютерный бизнес и сейчас собирается купить Зине офис. Ты не обижайся, Гена, но ты уже три года в Аме-

<sup>1</sup> Так в Америке называют вечеринки.

рике и все на одном месте топчешься! Зина это делает не ради себя, а ради Наташки. Ей нужен отец, который может зарабатывать деньги. А ты можешь?

— Нет, — честно признался я.

— И детям ей стыдно сказать, что у нее папа грузчик, — добавила Софья Марковна. — Ты сам понимаешь это! Но надо все как-то сделать так, чтобы не травмировать ребенка. Подумай, пожалуйста!

Я не стал кричать, не помчался в Нью-Джерси, не попытался поговорить с Зиной — я просто сошел с ума.

И знаете, от этого стало лучше всем: Зину развели со мной даже без моего присутствия — разве можно жить с сумасшедшим мужем? А мне назначили пенсию и дали хомоатенда.

Зина позвонила мне, сказала спасибо и добавила, что я могу навещать Наташку, когда захочу. Она еще предложила мне остаться жить в нашей квартире, так как маму она забирает к себе — у Миши дом! Но я поблагодарил и отказался: эта квартира была мне не по карману, и я переселился в маленькую студию на Крапси.

Каждое воскресенье я ездил в Нью-Джерси на встречу с Наташкой. Я ждал этого дня, как счастья. И она ждала этот день.

Она долго переживала, подумав, что обидела меня с подозрительной трубой, и при каждой встрече рассказывала, что нового увидела в небе.

А однажды она сказала:

— Папа, я знаю, что ты не сумасшедший! Ты просто не умеешь делать деньги! Я подслушала, как бабушка говорила маме, чтобы она не мучилась из-за развода, так как ты не умеешь делать деньги, и с тобой у нее не было бы перспектив! А что такое перспективы?

— Не знаю, — сказал я и добавил: — А подслушивать разговоры взрослых нельзя.

— Иногда можно, — возразила Наташка и добавила: — Я вырасту большой, буду много-много зарабатывать денег и возьму тебя к себе. Ты будешь читать стихи и писать свои книжки. Хорошо?

— Хорошо, — кивнул я.

— Правда, долго тебе придется ждать, — вздохнула Наташка и спросила: — Будешь ждать?

— Буду, — сказал я и, ощутив подкатывающий к горлу комок, стал быстро тереть глаза.

— Мушка залетела? — спросила Наташка.

— Да, — ответил я.

Так встречались мы почти год, но однажды этому пришел конец: в Зинином доме я не застал Наташку. Ждала меня одна Софья Марковна. Как всегда Зина ушла от разговора, поручив это дело маме.

— Они переехали во Флориду, — объявила она мне с порога.

— Отдыхать? — не понял я.

— Жить! Я же тебе по-русски сказала: переехали! — едва не по слогам произнесла она последнее слово. — Из-за тебя! Каждое воскресенье ты здесь! Это невозможно! Миша просто не мог перенести это: это выводило его из себя! Он раньше был педагогом и знает, как воспитывать детей, а ты своими посещениями все его воспитание сводил на нет! А у него на плечах еще большой бизнес! И вот решил пере-

ехать: от тебя подальше! Из-за тебя ему приходится все начинать сначала! И у Зины было налаженное дело: пациентов приручить не так просто! Но что тебе? Ты только думаешь о себе! — в сердцах добавила она и захлопнула передо мной дверь.

Им надо начинать все сначала! А мне? Наверное, кончать с прошлым. Только подумали они об этом или нет? По силам ли мне это? И я опять стал карабкаться к своему золотому шару. Вверх, вверх, вверх! Головой в потолок! Потолок вдребезги, как будто он из стекла! И снова вверх! А может быть, Стивен не прав и не у каждого есть золотой шар! Может, мне суждено карабкаться к глиняному шару и, достигнувшись до него, понять, что большего мне не дано!

Мистер Баскин, скажите им, чтобы пустили в палату ворону. Мне надо с ней поговорить.

### ***Будущая страница***

Я должен найти свой золотой шар. Должен! Иначе я больше не увижу никогда Наташку! А для чего мне жить без нее? Вы спросите у Златки, и она вам подтвердит, что шар был у нас в руках. Он был ближе, чем вы от меня! Я докарабкался до него, как альпинист до Джомолунгмы! И неужели мне придется остаться внизу? И смотреть на шар, как на горизонт?

Все началось в тот день, когда ворона вдруг сказала:

— С Малкой мы увидимся, когда придет Мошиах.

— Почему? — спросил я.

— Потому что тогда мертвые встанут из праха, — сказала Златка, — и все соберутся в Иерусалиме.

— А может, раньше встретимся с ней в Краснополе? — мечтательно сказал я. — Разбогатею и поеду.

— Может, и разбогатею, — согласилась ворона. — Но Малку мы в Краснополе не встретим. Она умерла. И последние слова ее были про нас: как там Геник и Златка?

В тот же день я позвонил в Краснополе. Мама удивилась моему звонку, я не звонил уже три года, и сказала:

— Как была бы тетя Малка рада услышать твой голос.

До асисы оставалась неделя, и у нас с вороной в запасе было только два десятка долларов и столько же фудстемпов. Я поменял у хомоатенды фудстемпы, и на все деньги купил цветы. Мы с вороной пошли на ближайшее к нам Вашингтонское кладбище и разложили по цветку к памятникам незнакомым нам людям. Ко всем подряд. Насколько хватало цветов. В память о Малке.

В ту же ночь пришел к нам Стивен. Бледный молодой человек с викторианскими усами английского джентльмена. И с водяными глазами, как у всех привидений.

Вы никогда не встречались с приведениями? Я вам скажу, это совершенно обыкновенные люди. Какими были при жизни, такими и остаются. Как говорила наша Малка, душа не меняется! Душа дается один раз и навсегда, как говорил этот Корчагин! Она всегда с нами!

Я вам скажу по секрету, только не говорите об этом моей Зине, Стивен иногда заходил ко мне и в Минске. И всегда с интересными

идеями. У него не голова, а дом советов, как говорили у нас в Краснополье. Вы знаете, свою первую антологию поэзии я составил не без его помощи. И что, вы думаете — он теперь предложил мне сумасшедшую идею: составить антологию американской поэзии для сумасшедших американцев!

— Бред! — сказала Златка.

И я с ней согласился.

Но вы не знаете Стивена! Если он что-то задумает, то не отступает. Он будил меня по пять раз за ночь. Вваливался в квартиру прямо через стену. Вы думаете, это приятно, когда из стены высовывается рука и щекочет пятку? И я сдался. Работали, как вы понимаете, по ночам. Ибо Стивен иначе не мог: приведение все-таки!

Я не помню точно, сколько у нас ушло времени на эту книгу, но в конце концов мы отправили рукопись в издательство. И вы можете не поверить, но нам позвонили на следующий день. По телефону говорила Златка, так как английский она знает лучше меня.

— Это к вам из издательства, — сказали в трубке. — У нас к вам небольшой вопрос.

Златка от радости подлетела к потолку.

— О'кей! — говорит. — Трепнитесь.

— Не можете ли вы нам уточнить, кто скрывается под псевдонимом Стивена Крейна?

— Какой псевдоним? — возмутилась Златка. — Это он сам!

— Он однофамилец поэта девятнадцатого века Стивена Крейна?

Златка подмигнула мне правым крылом и, сделав круг по комнате, как стайер после победы, вновь взяла трубку.

— Ошибаетесь, — ворона выдержала паузу и закончила фразу: — Это он сам!

— Что?! — закричали в трубке. — Стивен Крейн умер почти сто лет назад!

— Правильно, — сказала Златка. — Но Стивен Крейн в виде привидения работал над рукописью этой антологии весь этот год, и вчера мы пили с ним чай! Он любит английский!

— Вы сумасшедшие?! — воскликнули в трубке.

— Вы правы, — согласилась ворона. — Но мы этого не скрываем и написали об этом в предисловии!

— Мы думали, что это мистификация.

— Какая мистификация?! — возмутилась ворона. — У мистера Генриха есть справка, что он сумасшедший, а мистер Клейн не может представить вам справку, так как я вам говорила, он привидение! А привидениям справок не дают! Из всей нашей соавторской группы единственная не сумасшедшая я!

— А кто вы? — осторожно спросили в трубке.

— Ворона! — гордо сказала Златка. — Обыкновенная говорящая ворона.

— Вау! — ойкнули в трубке.

И что вы думаете, мистер Баскин? Книга вышла и заняла первое место в рейтинге «Нью-Йорк Таймс»! Правда, поэзия есть поэзия, и денег она нам вначале не принесла.

Но Стив сказал, что все еще впереди!

И так оно и получилось. Среди бела дня врывается к нам Стив. У Златки перья встали дыбом: привидение днем! Думаем, он это или не он, или мы с ума сошли.

А он кричит:

— Господа, включайте телевизор!

— Амелхоме, — испугалась ворона. — Русские бомбят?

Но Стив ее не понял:

— Нет, — говорит. — Просто сейчас показывают кое-что поинтереснее, чем история про Монику!

Включаем телевизор. И видим мой портрет на весь экран. И ведущий сообщает, что какой-то сумасшедший миллиардер учредил сумасшедшую премию в миллиард долларов за лучшее произведение сумасшедшего гения! И первым сумасшедшим гением оказался я!

— Ой, как будет рада Малка, когда узнает, что ты стал богатым, — сказала ворона.

— Как она узнает? — укоризненно посмотрел я на Златку.

— Сумасшедший, — сказала ворона. — Стив же может ей передать. Это вам не трудно будет, мистер Стив?

— Что за разговор? — обиделся Стив.

И мы начали от радости прыгать по квартире, как самые настоящие сумасшедшие. И тут пришла Данута и, увидев нас в таком состоянии, вызвала скорую помощь. И вот мы здесь уже вторые сутки. Я — в этой палате, Стив — в соседней, а Златка на улице. И они ее сюда не пускают. Правда, она догадалась и вчера отстучала мне по азбуке Морзе, что вечером мне звонила Зина и говорила, что видела меня по телевизору. И что Наташка не может без меня. Вы понимаете, мистер Баскин, они хотят возвратиться. И что, вы думаете, им отвечает Златка? Что я сумасшедший, но не дурак, и поэтому они мне не нужны! Птица есть птица, даже если она умная и умеет разговаривать. Разве ей понять человека? Разве она может понять, что мой золотой шар — это Наташка! И другого золотого шара мне не надо! Мистер Баскин, скажите им, чтобы пустили сюда ворону! Мне надо с ней поговорить! Надо!



## Александр ГИНЕВСКИЙ

*/ Санкт-Петербург /*



\* \* \*

Поворотясь лицом на юг,  
Я чую оттепель щекою,  
Хоть лед, скрипящий под ногою,  
Еще и крепок, и упруг.

Но в тяге к вечной новизне  
Невольно время мы торопим,  
И не верна снегам глубоким  
Душа, готовая к весне.

\* \* \*

Не убежать...  
и с грустью принимая  
скользящих дней  
бесплодную муру,  
вдруг подойду  
к обрывистому краю,  
чтобы опять  
увидеть Таймуру,  
себя увидеть  
в прыгающей лодке;  
зажатый руль  
в руке  
мне передаст  
упругость струй  
и ритм мотора четкий  
ревуший не заглушит  
перекат.  
И посреди кипящей  
Таймуры  
скалы увижу  
вознесенный бивень,  
как в грудь его,

вставая на дыбы,  
валы с шипеньем  
били,  
били,  
били.  
...Не убежать.  
И с грустью принимая  
скользящих дней  
бесплодную муру,  
вдруг подойду  
к обрывистому краю,  
чтобы летящую  
увидеть Таймуру.

## СКВОРЕЦ

Скворец, мой дружок,  
уставший гонец,  
я ждал тебя очень,  
и ты — наконец

пробился, речистый,  
с великим трудом,  
чтоб белые числа  
чернить угольком;

глашатай крамольных  
весенних вестей  
предвестником молний  
сидишь на шесте!

## СКАЗКА

В ней смысл с бессмыслицею вещей  
сплелись, да так, что не разнять:  
вот семиглавый страшный тать  
затеял каверзные вещи,

а простодушный — вон висит —  
на волоске висит от смерти, —  
и тут хоть верьте, хоть не верьте, —  
он песней дудошноу сыт.

И как мудра своим концом:  
взяла пастушеская дудка,  
а хитрость желчного рассудка  
вдруг ударяет в грязь лицом!

\* \* \*

О, сборы на рыбную ловлю,  
о, детство, о, детство мое!..  
Я тонкие снасти готовлю  
и правлю крючка острие...

Еще не проснулся — зевота,  
смежаются сонно глаза,  
но кровь убыстряет — и вот он —  
извечно прекрасный азарт.

В охалку схватив телогрейки;  
в авоськах хлеб-соль с молоком...  
А солнце чуть брызжет из лейки  
там где-то совсем далеко;

за шиворот капельки с веток,  
и тёмные пятна колен,  
и россыпь весёлых приветов,  
проснувшихся птичьих коленц;

и спешка: скорее, скорее  
дать волю цветным поплавам —  
удилища гибкие реют  
и свищут над нами слегка...

Что возраст с угрюмой начинкой?  
Я счастлив — я жил налегке:  
озерная — та камышинка  
невольно качнулась в строке.

## БЕЛЫЙ ДЕНЬ

*Борису Михайлову*

Воздух холоден. Воздух недвижим —  
Синеватой подернут слюдой.  
Утопая в снегу до лодыжек,  
Зябнет куст, а поодаль другой

Омертвело. Подобьем коралла —  
Иглы инея — ломкий налет.  
Жизнь ветвей все же тледа помалу  
Из метели в метель напролет.

Черноту их графических линий  
Обескровил Декабрь-снегодей.  
Разве в этом он только повинен —  
Сотворитель и бед, и затей.

Вдруг пронзительно — нежно, зовуще  
Птичий посвист... опять и опять...  
До души дотянулся из кущи  
И намерен в ней торжествовать.

Белый день! Без единой помарки, —  
И за то еще благодарю,  
Что из тюбика выдавил жаркой —  
Алой краски на грудь снегирю.

\* \* \*

Гори, звезда, гори, моя звезда!  
Мерцай и дни и ночи надо мною:  
И в час, когда я, может быть, не стою,  
Чтоб мне твоя сияла высота,

И в час, когда я радуюсь весне,  
Улыбке чьей-то, чьей-нибудь удаче;  
Когда навзрыд со мною рядом плачут  
И вместе с ними плачется и мне.

Да... опустеть дано любому дому.  
Придет мой час — не станет и меня,  
Но ты, прошу, ты не гаси огня —  
Ты посвети кому-нибудь другому.

\* \* \*

Ну, славно.  
Опять расписался,  
подумать, —  
всего — ничего:  
лишь солнечный лучик  
попался  
на кончик  
пера моего  
и вот уже  
самая малость  
связует  
столь бывшее врозь...  
А просто  
давно не писалось,  
точнее —  
давно не жилось.

## Вячеслав ХАРЧЕНКО

*/ Москва /*



### ЧУЛОЧКИ В СЕТОЧКУ

Вся проблема в том, что даже когда искренне полной душой и всем сердцем любишь женщину, то все равно ничего поделать с собой не можешь, и происходит это не из-за особенной мужской подлости или грязного и чудовищного характера, а от каких-то независимых движений, эмоций, что ли. Я тут специально говорю, что не чувств, а эмоций и движений. Это совсем разные вещи, мужчины поймут, а история эта не для женщин пишется, и нам, честно говоря, на женщин в этой истории фиолетово, хотя любовь обязательно присутствует.

Вот шли мы с Любой по индийскому рынку. Там красноглазые индусы дешевым товаром торгуют. Он везде в Москве раз в пять дороже, а там сущие копейки: шмотки, бусики, брошки, колечки, благовония, хна, духи вонючие, палочки с дымом, шапочки, анаша из-под полы, котята типа индусские, шарфики, шароварчики и почему-то фейерверки.

Люба с дочкой копаются, а я к Любе прислонюсь бедром и жду, но минут через пять ждать надоедает и начинаешь других женщин разглядывать: беленьких, черненьких, рыженьких, тоненьких, в теле, в облегающих джинсах, в балахонах таких разных, в мини-юбках, в чулках в сеточку, в коже даже (есть такие) и от этого получаешь удовольствие, пока жена и дочка в брошках копаются.

Если же Люба одернет, то тогда начинаешь плакаты с женщинами рассматривать. Там много полуголых женщин на стенах висит, рекламируют чего-нибудь, обычно танцы живота индийские или семинары повышения духовного уровня, хотя непонятно, почему духовный уровень и карму рекламируют полуголые красотки. Кстати, почему-то на этом рынке нет индусок, одни смуглолицые и черноглазые индусы, но приветливые, очень приветливые.

И проблема даже не в том, что получаешь от этого удовольствие, а от этой вот смеси такой, я же и Любу одной рукой обнимаю, и прижимаю иногда покрепче, чтобы ее почувствовать, но вот идешь и по сторонам только и успеваешь глазеть.

Домой придем, Люба добычу на столе рассматривает, а на меня глядит и смеется: «Что, насмотрелся?». А вечером дочку уложит и со мной рядом растянется, но нервная какая-то, очень нервная.

## ЛЮБА

Люба была такая красивая, что я боялся ее отпустить от себя. Бывало, сижу на работе и не могу сосредоточиться, все перед глазами плавает, эти сводки дурацкие, этот квартальный отчет, эти отписки и служебные записки, только Люба в голове. Свежая, молодая, стройная, задорная, доступная, ручки тоненькие, белая хлебная кожа, длинные ресницы, взгляд ласковый и нежный, талия — тонюсенькая.

Сижу, сижу, и ничего не сходитя, цифры скачут. Встану, подойду к окну, открою створку, а коллеги орут: «Закрой, Петр Евгеньевич, дует». Я тогда в курилку спущусь и сигарету дрожащими руками к губам поднесу и чувствую, как зубы стучат. Стою, курю, пока начальник не прибежит и к столу рабочему не притащит.

И самое главное, что оснований-то никаких нет. Абсолютно никаких. Даже более того, столь любящего человека и отзывчивого я никогда не знал, и письма там всякие, и записочки, и прикосновения, и шуры-муры всякие там, то есть все честь по чести, все замечательно и кулюторно, но вот откуда ни возьмись — отпущу на минутку, на мгновение, взгляд отведу, провожу куда-нибудь — и точит что-то, точит, грызет и гложет.

Места себе не нахожу. И оснований-то вроде никаких нет. Умеет и отшить, и послать, и отбрить, но сам факт, что ей приходится кого-то отшивать и посылать, вызывает такие душевные страдания, что и жить-то с этим не то, что трудно, а мучительно.

Приду с работы, сниму ботинки медленно, потом пиджак и галстук, пройду в кухню и сяду за стол. Осмотрю все внимательно, очень внимательно. Потом сижу, жую котлету, пиво пью, а она в фартуке порхает, щебечет что-то, радуется, а я сижу и думаю: «Люба — ты птичка».

Потом поем, губы ладонью вытру и подойду к клетке с канарейкой, постучу по прутьям, а сам думаю: «Люба — ты птичка».

## КАК ПАПА

Папа часто терял детей. Он ходил с ними по поселку до сельпо, вел их медленно за ручки, в правой Дашу, а в левой Сему, и если Даша вела себя смирно и не вырывалась, не пыталась выбежать на дорогу под колеса проезжающих ЗИЛов, везущих гравий на комбинат, то за Семой нужен был глаз да глаз. Он постоянно пытался выдернуть руку из папиной ладошки, поднимал с земли камушки, выпавшие из кузовов, и, размахнувшись во всю свою детскую силу, швырял их под колеса или пытался сделать блинчики на лужах. Благо лужи у нас огромные, глубокие, серебряные с небольшими волнами от степного кубанского ветра.

В сельпо же продавали свежее домашнее пиво на разлив, а папа стеснялся пить пиво при детях и оставлял их на улице при входе в сельпо, чуть ли не привязывая их за пояса пальто к синим крашеным перилам и, осмотрев детей внимательно, смахнув какую-нибудь соринку или поправив им шапки (у Даши — беретик, а у Семы — старая отцовская засаленная кепка, у Семы не по годам огромная голова), заходил в сельпо выпить пива, но так как папа пил пиво долго и не одну, и не две, и не три кружки, а потом любил поговорить с продавщицей и с посетителями, то дети стояли и мерзли под осенним кубанским степным ветром, не сильным, но промозглым, несущим едкую, сладкую, глиняную пыль и слюдяную, противную морось.

В конце концов, дети отвязывались от перил и начинали бродить по пятакчу перед магазином. Даша, конечно, стояла, терпеливо ожидая папу, а Сема бегал по пятакчу, кидал камни, ковырялся палкой в гайне, строил запруды, собирал желтые листья явора.

А потом уже после пятой или шестой кружки пива папа выходил из магазина, но, как правило, забывал о детях, а мама и бабушка, увидев его дома одного, сопящего, вытирающего ноги о разноцветный коврик в прихожей, все понимали. Кто-то из них накидывал собачью шаль, которую они носили по очереди, и шел искать детей.

— Даша, Сема, — кричала бабушка или мама и подсвечивала себе фонариком.

Даша всегда стояла у сельпо, а Сему приходилось искать по карьерам и балкам, в зарослях кизила, а однажды его увез, как сказали, на комбинат, какой-то странный и прилипчивый шофер, и дед беспокойно завел свой старенький мотоцикл «Урал» и с треском и тарахтением поехал туда, и нашел Сему спящим в подсобке знакомого сторожа на подранном диванчике в обнимку с собачонкой. На радостях дед разбудил Сему, а сторож сказал: «Ты, Сема, молодец».

Они ехали с дедом обратно на мотоцикле по проселку, Сема сидел в люльке в коричневом пластмассовом шлеме, водил руками в разные стороны и говорил деду, что когда вырастет, то станет таким же сильным и умным, как папа.

## КАРТОННАЯ КОРОБКА

1

Пианино заиграло среди ночи. Скользкие брякающие звуки разбудили сначала маму, а потом бабушку. Мне казалось, что это Шопен, «Похоронный марш». Клавиши сами по себе ходили вверх-вниз, и было мучительно наблюдать, особенно посреди ночи, как старое грузное обшарпанное пианино выводит похоронный марш, хотя это, конечно, был не похоронный марш, а просто набор звуков, какофония, сумбур вместо музыки.

Папа стоял с вытянутым лицом в семейных трусах в полоску и ничего не мог сделать, но мама вдруг истерично закричала:

— Ну, сделай же что-нибудь, ты же мужчина, — и папа дернулся как-то угловато, а потом злобно и твердо ударил кулаком со всей дури по клавишам, и из тонкой щели брызнула алая кровь.

— Господи — это Кеша, Кеша залез, — закричала бабушка Вера, открыла крышку пианино и достала переломленного пополам хомяка Кешу.

Кешу положили в картонную коробку «Рот Фронт» в центр стола, и одно время мы все вместе, сонные и перепуганные, смотрели на него и не знали, что делать, но потом папа взял коробку с хомяком и выкинул ее в мусоропровод.

## 2

Вот все говорили: гроб, гроб. А мне казалось, что это картонная коробка. Бабушку несли в картонной коробке, отпевали в картонной коробке и похоронили тоже в картонной коробке, как хомяка Кешу.

У нас вроде много родственников, но почему-то сразу памятник не поставили, денег, что ли, не собрали. Я же уже позже, когда деньги за работу получила, памятник заказала, обычный, мраморный. Его притащили три заросших мужичка в помятых пиджаках и засаленных кепках. Один снял кепку и, вытерев лысый затылок платком, попросил дать еще чуть-чуть за работу, и хоть я уже заплатила все, что было договорено, все равно открыла свою сумочку и достала двести рублей на бутылку.

Старший из них немного попятился, откланиваясь, а двое других просто ушли, как будто так и надо.

Когда они ушли и где-то среди осенних деревьев стихли звуки их голосов, я присела на лавочку и посмотрела на памятник. На нем было написано: Вера Семеновна Груздева. Меня, внучку, тоже зовут Вера Семеновна Груздева. Такая вот заковыка. Получилось, будто я памятник поставила самой себе. Как будто это не бабушка умерла, а я, или часть меня, остались только имя, фамилия и отчество.

## ПОДУШКА

Тетя Лида всегда хотела задушить мужа. Когда он приходил с работы, скрипя кожаной портупеей, валялся пьяный прямо в форме в постель, не снимая офицерских сапог, да еще делал свое нехитрое дело, дыша чесноком и самогонкой, то тетя Лида хотела его задушить подушкой. Лежала, откинувшись на скрипящей кровати, раздвинув враскоряку белые стройные без единой родинки ноги, и ждала, когда он закончит свое дело, а сама смотрела на рядом лежащую подушку в белой накрахмаленной наволочке и думала: «Я задушю тебя, Митя».

И вот как-то раз дядя Митя упал не на постель, а прямо на пол, и тетя Лида тащила его, матерясь, до постели, а потом раздела и по-



ложила на подушку. Дядя Митя же храпел, но вдруг очнулся, взор его стал ясным, и он потянул к ней руку с грязными и синими ногтями, тогда тетя Лида закричала, запричитала и взяла рядом лежащую подушку и накрыла ею лицо мужа, и села сверху белой пышной попой, чтобы его задушить. И вот Митя захрипел, и руки и ноги его стали дергаться, и совсем уже стал он умирать, но тут из деревянной кровати, стоящей в углу кубанской узенькой хаты пискнула Алешка, и она слезла с подушки, даже не зная, задушила ли мужа или нет. И только утром сквозь сладкую дрему она услышала, как напевает Митя «красных кавалеристов», бреясь на дворе острой бритвой у осколка зеркала.

И потом она еще пыталась два раза, но Митя попал в аварию и погиб, оставив ее с двумя детьми.

А уже после советской власти она пришла в церковь и сказала плотному волнистому священнику, что хотела задушить мужа, но отец Василий отнесся к этому буднично и обыденно, даже не посмотрел на тетю Лиду и произнес куда-то в сторону: «Но ведь не задушила».

## ПОДСТАКАННИК

Затеял на даче уборку, точнее, не на даче, а на чердаке. Там много чего лежит: сосновые доски, оставшиеся после постройки сарайчика, подписка «Нового мира» за 76 год и «Дружбы народов» за 82 и 83 годы, неносибельное тряпье, ветошь, газеты, ржавые гнутые гвозди, прогнивший зонт, сломанный папин зубной протез, железные крашенные трубы, желтые свечи и прочая мелочь и шушера.

Когда я разглядывал пыльную керосиновую лампу, тряс ее, нюхал, протирал влажной тряпочкой помутневшее закопченное стекло, то услышал в окошко крики. Это шел пьяный сосед-переводчик по кличке Гете и пел по-немецки громко и настойчиво, не попадая в ноты:

Da steh ich nun, ich armer Tor,  
Und bin so klug als wie zuvor<sup>1</sup>

Я выглянул из окна, и тут меня увидел Гете и попросил:

— Спрячь меня, милый друг. Меня попятям преследуют дряхлые родители, чтобы наказать за возлияния.

— Заходите, Федор Петрович, — сказал я и с трудом затолкал его на чердак, положив в углу под старый клетчатый плед.

Продолжив же уборку, я обнаружил черный-черный, времен развитого социализма, серебряный подстаканник, который хотел выкинуть, но потом вспомнил, что у моего друга Г. завтра день рождения. Я как раз не знал, что ему подарить.

Я взял мел и долго тер подстаканник мелом, тер так долго, что потом смог разглядеть свое отражение в его блестящих боках.

<sup>1</sup> Из «Фауста».

Я спустился на первый этаж в кухню, вставил в подстаканник граненый стакан и налил чаю. Сел за стол и представил, что нахожусь в поезде, еду в Крым, сидел какое-то время и воображал, что стучат колеса и мелькают бетонные столбы.

От размышлений меня отвлекли родители Гете, они искали своего буйного сына, но нигде не могли найти. Я ничего им не сказал, а еще через час спустился Федор Петрович. Оказывается, он не спал и все слышал. Он очень боялся, что родители отведут его к наркологу или пригласят психиатра на дом.

Гете повертел в руках блестящий подстаканник и пошел домой, насвистывая: «Sexbomb, sexbomb»<sup>1</sup>.

Не знаю, и никого не хочу обвинять, но этого подстаканника я больше не видел. Возможно, я сам его куда-то засунул на кухне или снова бросил его на чердак, но после Гете я подстаканника не видел. Хотя подстаканник мне снился. Яркий, игрушечный, как наша жизнь.

А для Г. я купил другой подстаканник, позолоченный, холодный и современный. Китч, а не подстаканник.

---

<sup>1</sup> Сексбомба, сексбомба (англ.).

## Марк ХАРИТОНОВ

*/ Москва /*



### ЯПОНСКИЕ МОТИВЫ

#### *Двенадцать месяцев*

1

Какой мороз! Больно сдавливает надбровья,  
В воздухе слышен шорох пересыпаемого зерна:  
Это замерзает дыхание.

2

На столе крымский вереск рядом с кавказской мимозой,  
Осень и весна, лиловое с ярко-желтым:  
Нежная графика.

3

С обломанного конца ветки свисает сосулька.  
Лизнул ее — сладковатая:  
Сок натекает.

4

Краски не масляные — водяные, воздушные,  
Лиловая прозрачность подлеска,  
Зелень апрельской дымки.

5

Дрозд на ветке время от времени издает трель,  
Подергивается от усердия хвостик —  
Тоже участвует в пении.

6

Колосья пшеницы колышутся на ветру  
 Кажется, что вразброд. Но с холма увидишь:  
 Ветер гонит по полю общие волны.

7

Накаляется тень.  
 Синий кричащий цвет  
 Становится черным.

8

Хмурое небо. Вершина горы  
 На рассвете зардела:  
 Уголек в серой золе.

9

Из тумана сгустилась капля, коснулась щеки.  
 Для кого-то, кто смотрит сверху,  
 Этот туман — облако, где возникает дождь.

10

Утро — прозрачный холодный кристалл.  
 Монеты первого золота на березе.  
 Пахнет дымом сжигаемой в огородах ботвы.

11

Первый снег на полях держится лишь в ложбинах,  
 Обозначает тропы:  
 Оттиск с черно-белой гравюры.

12

Ровная снежная белизна.  
 Черные царпины на ней —  
 Очертания веток.

## ПОДРАЖАНИЯ СЭЙ-СЕНАГОН

### *Каждый раз*

Каждый раз, просыпав кофе, я вспоминаю, как Изя Яглом (профессор Исаак Моисеевич) подбирал со столешницы просыпанные крупички указательным пальцем: крупички прилипали к пальцу, и он стряхивал их в кофейник.

Каждый раз, перед тем, как стукнуть острием ножа по вареному яйцу, я вспоминаю, как научился этому у 96-летнего миллионера Альфреда Тепфера. Я получил у него стипендию, несколько дней завтракал с ним в его Elbenhaus, на окраине Гамбурга. До этого я просто стучал по яйцу ложкой и отколупывал скорлупу пальцем.

Каждый раз, начиная бриться, я вспоминаю, как увидел бреющегося Давида Самойлова. У парикмахеров я научился вести бритву сначала по щетине, затем, намылившись второй раз, уже против щетины. Давид сразу брился против щетины, и я обнаружил, что этого достаточно.

Каждый раз, переходя по пути в лес железную дорогу, я вспоминаю, как с трудом перебиралась через рельсы наша Белка: у нее уже развивался рак молочных желез. А потом все брюхо распухло, и она отказывалась переходить, скулила, поворачивала назад. Я скоро перестал переносить ее на руках.

Житейские воспоминания — трепетная связь с теми, кого уже нет.

### ***Совсем не то!***

Серебристое сияние сумерек. Стена кирпичного дома подкрашивает туман слабым розовым цветом. И девушка впереди: светло-зеленый плащ, лимонно-желтая шапочка.

Но вот она свернула в сторону, на дорожке остался мужчина в черном. Совсем не то!

### ***Что можно считать редкостным совпадением***

Когда в лотерейном билете оказывается выигрышным одновременно и номер, и серия.

Когда человек, лежа на спине, собирался что-то сказать, и в этот момент ему прямо в рот капнула пролетевшая птичка.

Весьма большой и при этом не червивый гриб.

### ***Что кажется несправедливым***

Когда великие негодяи остаются в памяти человечества.

Когда великий гений поносит негодяя и этим тянет его за собой в бессмертие.

### ***Чего уже не вернуть***

Пасты, выдавленной из тюбика.

### ***Что меня интересует***

Существование мысли. Существование других людей, их мыслей и снов. Мысли и сны животных, детей. Женщины. То, что называют любовью. Время. Бесконечность. Смерть. Память и воображение. Возможность судьбы.

\* \* \*

Продрогший, на берегу, ожидаю с надеждой  
 Приближающегося по небу просвета.  
 Ветер несет облака быстро, сейчас проглянет,  
 Засияет, высвободится, согреет солнце.  
 Но что это? Они по пути успевают  
 Преобразиться, растягиваются, сливаясь.  
 Синеву заволакивает — который раз. Зря ожидал.  
 Переменчивого движения не просчитать — обманет.

### **Работа**

Строишь, как ласточка дом,  
 В клюве приносишь по мелочи  
 Житейскую грязь, словечко,  
 Попутную мысль, комки,  
 Подробности чьей-то жизни,  
 Скрепляешь своей слюной.

\* \* \*

Берешь двумя пальцами крохотное зерно,  
 В котором содержится уже все дерево  
 С ветвями, толстым стволом, корнями, шелестом листьев,  
 (В их тени будут играть младенцы, отдыхать старики),  
 С жилами сосудов, качающих соки к раскидистой кроне,  
 С цветением, ароматами, с будущими семенами,  
 Со всей, быть может, пятисотлетней жизнью.  
 Не сейчас. Оно готово дожидаться поры,  
 Чтобы попасть на благодатную почву.  
 Все уже задано кодом емких частиц.  
 Так бы вместить в жизнеспособные строки  
 Передуманное, пережитое,  
 Чтобы могло само прорасти, развернуться,  
 Осуществиться уже в другой душе

\* \* \*

Счастье звука в омертвелом безмолвии,  
 Живящий глоток тишины среди воспаленных шумов,  
 Счастье зренья, счастье дыхания,  
 Счастье слов, наделивших способностью  
 Пережить все заново и сполна.

## Инна ХАЛЯПИНА

*/ Эпифанья /*



### СОЛНЕЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ

Люся гордилась своей пепельной косой и точеным профилем. Мог быть ещё один повод для гордости — кукольный тридцать четвертый размер ноги, но нахальное время акселератов диктовало свои мерки и сводило на нет эту милую деталь, и даже превращало в недостаток. Как, впрочем, и рост, который едва дотягивал до полутора метров и был причиной неутешного горя, а заодно и уверенности, что недополучив от природы, обделен будешь и во всем остальном. Увы, пока этот пессимизм был оправдан, хотя некоторые ситуации Люся слишком драматизировала, и эти надуманные драмы приводили её к частым выпадениям из надоевшей реальности.

Сидит и смотрит в одну точку. И что она там думает? Какую мысль? Может, мечтает?

В такие моменты тётя Густа начинала орать не своим голосом и обещала отправиться на кладбище вслед за всеми своими и, разумеется, Люсиными родственниками.

Люся не отступала и продолжала изображать своё полное отсутствие в этом мире. Тётя Густа заводила старую пластинку: «Мечтать бесперспективно и даже опасно! Не забивай голову несбыточным! Это сродни сумасшествию! И знай себе цену!»

А это здесь причем? Хотя в Люсиной семье это всегда было причем. Знать себе цену — это наследственная традиция и часть Люсиного воспитания. Ошибеешься в самооценке, и вся жизнь на-марку. Люся становилась перед зеркалом и складывала себе цену. Почему полтора метра роста и море обаяния? Получалось очень дорого. А если прибавить сюда богатый внутренний мир? Или это уже никого не интересует?

Люся отвлекалась на отражение в зеркале или не слушала вообще, а тётя Густа не умолкала: «Чего сидеть с отсутствующим видом и разводиться мировой скорбью? Не лучше ли накрасить глаза и заняться личной жизнью? Или у тебя уже есть муж и дети? Может, я так замоталась, что этого не заметила?»

Надо же, какая ирония! Только кто бы иронизировал?

Тётя Густа, дама с понятиями и стилем, не поработав над внешним видом, из дому не выходила никогда. А это значит — ярко крашенные губы (помада оранжевая), засыпанный пудрой нос (пудра «лебяжий пух»), обувь только на каблуках (а как может быть иначе?) и бусы (фрагмент завершающий и обязательный).

Понятно, что при таких убедительных параметрах тётя Густа мужчинам нравилась, но биография её не была перегружена победами на любовном фронте. Два бестолковых романа: один с таксистом (ужасный мезальянс!), другой с кагэбэшником (ужасный позор!). Да и то, когда это было?

Люся медленно и нехотя собирала чемодан, но мысль поплыла во вчера, и сборы на время прекратились. Люся присела на маленький пуфик и застыла, и уставилась в угол дверного косяка. И вечерние события стали прокручиваться у неё в голове с той скоростью, которая не позволяет упустить подробности. Именно подробности всегда больно процарапывали беспокойное Люсино воображение и никогда не забывались.

Так вот вчера. Очередь за билетами в железнодорожной кассе была длинна до безнадёги. Жара стояла невероятная, ремешок от сумки больно врезался в плечо, и сильно чесались комариные укусы на ногах, мороженое растаяло и поплыло по руке. И надо было в этот момент случиться неожиданной встрече с Бондаревым. Его взгляд задержался на Люсе две секунды, ровно столько, во сколько умещается слово «привет». Мороженое упало на пол, под ноги стоявшей впереди сердитой бабки. Та чертыхнулась, а Бондарев прошел мимо, и Люсе показалось, что он сдержался от смеха только благодаря хорошему воспитанию или из жалости, что ещё хуже. Ненавижу! Кого? Себя, конечно!

Вот, пожадуй, и всё. И что особенного произошло? Тётя Густа вышла замуж за таксиста, или, не дай бог, за кагэбэшника?

Люся перебросила косу через плечо и села краситься. Подруга детства Инка когда-то посоветовала ленинградскую тушь за сорок копеек, дешевле не бывает, но на ресницы ложится великолепно.

Из кухни доносился голос тёти, она говорила по телефону и называла какого-то Жоржа конченным человеком, а какую-то Мусю — жертвой обстоятельств. Значит, так оно и есть, тётя Густа — женщина авторитетная.

Люся всегда красилась быстро и на авось, и потому не симметрично, но все равно получалось хорошо. При этом она становилась похожа на японку, несмотря на зеленые глаза и легкую курносость. И все удивлялись, как косметика меняет её облик. Для усиления точного колорита Люся вырядилась в ветхое кимоно, которое являлось семейной реликвией и имело интересную историю. Даже две истории, но об этом позже.

Люся порылась в огромном спутанном клубке тётиных бус, но не нашла ничего подходящего. Бусы тёти Густы она обожала. В детстве не было большего счастья, чем их тайком примерить. Люся приглядывалась и к помаде, но на такую смелость никогда не реша-



лась. Зато всегда душилась сладкими духами из хрустального пульверизатора. Особенно интересно было нажимать на его мягкую грушу с шелковой кисточкой. Рядом с ним на подзеркальнике стояла пудра в круглой картонной коробочке с изображением белого лебедя.

Детские воспоминания Люся берегла. Берегла — не то слово, хлила и лелеяла, и трепетно перебирала, и боялась с годами растерять. Хотя из опыта тётки Густы знала, что с возрастом далекое не забывается, а забывается только то, что было вчера или пять минут назад. Тётя как-то полезла в кладовку, и пока расставляла рухнувшие на неё коробки, забыла, что ищет, зато нашла старое кимоно, то самое, с историей, а потом, пытаясь все же вспомнить, что ей понадобилось, стала наводить в кладовке порядок, и это продлилось до позднего вечера. А Люся, не в меру начитанная, как всегда, нашла, чем связвить: «За рубашкой в комод полезешь, и день потеряешь». Хотя читать такую крамолу, а тем более произносить безопасно только дома и при закрытых окнах. Автор был запрещенный.

Кимоно удивительно шло Люсе, и узор его не поблек — листья папоротника по голубому полю. Его когда-то привез из Польши Симон, младший брат Люсиного прадеда, заядлый путешественник и коллекционер. Странно, правда? Кимоно не из Японии, а из Польши.

Странно также и то, что оно до сих пор сохранилось, пережив революцию, две войны и всех, кто его носил.

Тётя Густа зашла в комнату и закомандовала обедать. На голове у неё громоздились крупные бигуди.

Люся не сдвинулась с места, несмотря на то, что была голодна.

Хватит того, что надо ехать в Соколов, в эту глухомань, по тёткиной вздорной прихоти. Не будь этого, не пошла бы на вокзал и не встретила бы Бондарева. Что он, кстати, здесь делает? Он же уехал в командировку.

Люся наотрез отказалась от еды. А Тетя Густа приготовила лицо для обиды, но передумала и заговорила примирительно тихо: «Я всё понимаю, понимаю, что ты не хочешь ехать в Соколов. Но мы так одиноки, и столько времени потрачено на поиски родственников».

Тётя Густа верила, что Люся их обязательно найдет. А Люсю поражало тёткино упрямство. Представляет ли она, сколько им лет? Даже если они живы, сколько им сейчас лет? Но та представляла и даже знала. Но надеялась, что, если их уже нет, то, может быть, живы их дети? Или внуки? И, может быть, удастся пролить свет на события, которые не дают покоя всю жизнь.

\* \* \*

На вокзал приехали задолго до отхода поезда.

Тётя Густа стояла на перроне растерянная и грустная, в соломенной шляпке с искусственными цветами, на которые слетелись одураченные пчелы. Люся вдруг заметила, как тётя постарела и осунулась, как её щеки сползли вниз и потянули за собой все остальные черты лица. И брови сломались печальным зигзагом.

Объявили посадку.

Тётя Густа приказала звонить, коротко всхлипнула и ткнулась носом в Люсин висок. Запахло сладкими духами.

Поезд тронулся, и Люся пошла искать свое купе. Оно было пустым. Наверное, на следующей станции кто-нибудь подсядет.

В мутном окне мелькал уходящий Киев, город, в котором Люся родилась и с которым у неё были сложные отношения.

В Киеве родился и Люсин дедушка Давид Штейнберг. Ему повезло, потому что его отец Исаак был кушом первой гильдии и имел право жить в большом городе. Черта оседлости на него не распространялась. Исаак занимался сплавом леса, а для забавы и души владел легким прогулочным пароходиком с нежным названием «Ласточка».

Давид был старшим ребенком в семье. За ним следовали сестра Лия и младший брат Боренька, красавец и любимец всех родственников, всех друзей, всей улицы, всей школы, а впоследствии и всех женщин. В семье не разделяли детей на удачных и неудачных, а больную Лию и вовсе любили особенной любовью. Когда Лие было три года, случилось несчастье, ей на голову упала крышка от сундука. С тех пор она была немного не в себе, а все сундуки из дому вынесли и раздали по соседям.

К Лие не относились, как к слабоумной, из соображений гуманных и воспитательных. Поскольку она не могла учиться, то выполняла посильные поручения по хозяйству и таким образом никогда не чувствовала своей ненужности.

Боренька с детства озадачивал родителей непоседливостью и склонностью к катастрофическим ситуациям. Вечно с ним что-то случалось. В восьмилетнем возрасте он сбежал с целью заняться кладоискательством. В планы входило также попасть на пиратский корабль. Но поскольку клад ещё не был найден, Боренька прихватил с собой шкатулку с драгоценностями и крупную сумму денег, и глобус, чтобы не сбиться с пути. На следующий день его высадили из поезда на какой-то станции, но уже без драгоценностей и денег. Зато с глобусом. История эта пересказывалась много раз и в таком виде дошла до Люси.

Семья жила в трехэтажном доме на Подоле, районе густо населенном и социально разнообразном. Люсин прадед Исаак мог позволить себе более respectable и дорогой район, например, Липки, а видом на Подол любоваться с балюстрады Купеческого сада. Но он не был человеком амбициозным, он был мудрым и хорошо понимал, что сам генерал-губернатор здоровается с ним только потому, что он щедро жертвует на приюты и больницы.

Исаак оказался прав, и когда в Киеве начались еврейские погромы, то на помощь его семье пришли соседи по улице, бедные интеллигенты и простые работяги. Они разбирали по своим домам его детей. Лию прятал у себя старый учитель ботаники, причем прятал в сундуке. Трагедия последовательна и упряма.

Люся вспоминала всё в точности, как рассказывала тётя Густа. И воспоминания её забежали вперед. Лия погибла в Бабьем Яру вместе со своими уже одряхлевшими родителями. Те, кто видел их ухо-

дядицами в тот страшный день, рассказывали по-разному, но все твердили одно — Лия понимала всё лучше других, понимала, куда их ведут и зачем, в отличие от тех, кто ещё на что-то надеялся...

После революции имущество Штейнбергов национализировали, а их самих уплотнили. В их доме им оставили только три комнаты на втором этаже. Дом превратился в огромную коммуналку, к наивному восторгу общительного Бореньки и вполне осмысленному протесту Лии, которая проявила себя яркой контрреволюционеркой и собственницей, не желающей делиться принадлежащим ей по праву. Она не понимала, почему в доме появились посторонние люди, а кухня и туалет стали называться местами общего пользования. Её реакция была полной неожиданностью для родителей, и они крепко засомневались, так ли уж слабоумна их дочь?

\* \* \*

Поезд остановился, и Люся услышала крик проводницы: «Мотовиловка! Стоим десять минут!» Похожие ...овки попадались по дороге и раньше, но поезд там не останавливался, из чего Люся сделала вывод, что Мотовиловка представляет собой особенно крупный центр самогоноварения.

На замызанной привокзальной площади бабульки в ярких платках продавали яблоки и помидоры. Перед зданием станции разгуливали куры, растрёпанные и грязные.

К дереву была привязана коза, она тянула верёвку и пыталась урвать с клумбы чахлую маргаритку. Из станционного буфета вышел неказистый мужичок, почти трезвый. Увидев козу, он обрадовался ей, как лучшей подруге, и та, похоже, обрадовалась, и он потащил её за собой.

Показалась толпа цыганок, они трясли своими юбками и предлагали всем подряд помаду чудовищного цвета и блеска. Одна из цыганок вышла на перрон, вплотную приблизилась к вагонам и стала заглядывать в окна. Проводница выбежала для наведения порядка и максимально вежливо попросила цыганку отвалить куда дальше.

Цыганка сочла обращение недостаточно вежливым, и в результате обе сообщили друг другу всё, что они друг о друге думают. Последнее слово осталось за цыганкой, которая предрекла проводнице скитания по казённым домам и пустые хлопоты до конца жизни. А потом смачно плюнула и ругнулась. Так и десять минут прошли.

В Мотовиловке в купе никто не подсел, и Люся опять зависла в воспоминаниях.

\* \* \*

Люсин дедушка, Давид Исаакович, получил хорошее образование и работал инженером-энергетиком. Женился он поздно и по сватовству на женщине намного младше себя, тихой и неприметной Нине. Но не было в мире человека более преданного и надежного, чем она.

Брак оказался счастливым, и от него родились девочки-погодки: Августина (тётя Густа!) и Ангелина (Геля. Люси́на мама..).

Боренька, гордость семьи, окончила медицинский институт и уехал работать в Ленинград, откуда писал длинные и содержательные письма. А через некоторое время он женился на какой-то вертихвостке. Почему на вертихвостке? Так утверждала тётя Густа, а она знает наверняка. Письма от Бореньки приходили всё реже и стали халтурными и малоинтересными. Вертихвостка прибирала Бореньку к рукам и отдаляла от семьи.

Когда началась война, тётя Густа первым делом почувствовала облегчение — вот хорошо, не надо больше заниматься музыкой, пианить эту проклятую скрипку. Не стоит забывать, что тётя Густа когда-то тоже была ребёнком, и перед войной ей исполнилось одиннадцать лет.

О годах эвакуации она вспоминала часто, но не многословно.

До места добирались долго с множеством пересадок, поезда бомбили, было страшно. На одной из станций потерялись какие-то вещи, и Нина плакала. В Омск приехали измученные. Началась новая жизнь с её непривычным и суровым бытом. Густа и Геля ходили в школу и вели всё домашнее хозяйство, а на каникулах работали, где придется, чтобы хоть как-то помочь маме. Нина работала на военном заводе в две смены и валялась с ног. Из своей одежды девочки выросли, а другую взять было негде. Ходили в таких ужасающих обносках, что впору расплакаться или рассмеяться. И смеялись. Потому что детство, потому что рядом мама, потому что верили, что скоро кончится война и обязательно вернется отец.

Густа даже согласна была снова заняться музыкой. Она ещё не знала, что никогда больше не возьмет в руки скрипку.

Жизнь распорядилась по-другому и очень жестоко. Нина умерла... От брюшного тифа. Так военное детство стало ещё и сиротским. Густу и Гелю определили в детский дом до возвращения с фронта отца. Письма от него приходили не часто, а потом связь оборвалась. Много времени спустя стало известно, что Давид Исаакович получил тяжелое ранение в сердце и еле выжил. Сразу после выписки из госпиталя он забрал Густу с Гелей из детдома, и целый год до окончания войны они жили в Омске. Здесь их настигла весть о гибели Бореньки. Он служил военврачом в медсанбате, где круглые сутки оперировал. Госпиталь попал под бомбежку, и Боренька погиб прямо во время операции. Его наградили орденом Красной Звезды. По смертно.

У Бореньки в блокадном Ленинграде оставалась беременная жена. Назвать её вертихвосткой уже не поворачивался язык. Вернувшись в Киев, Давид Исаакович начал заниматься её поисками, но безуспешно.

Жить после войны было негде, дом на Подоле сгорел. Давид Исаакович с Густой и Гелей перебивались в заводском общежитии, в крошечной комнате, которую им предоставили временно. Долго бедствовали. Наконец, Давиду Исааковичу, как инвалиду войны, дали двухкомнатную квартиру на Шулявке. Район этот раньше считался промышленным и криминальным, но после войны начал активно застраиваться и преображаться. Ну, а квартира — это уже счастье. В этой квартире Люся с тётей Густой живут до сих пор.

\* \* \*

Быстрое движение поезда оставляло позади пахучие гречишные поля, маленькие речки и прудики, в которых полоскались холенные украинские утки. На лугах паслись одинаковые коровы, все до единой бело-рыжие. Иногда Люся вырывала взглядом и другое зверьё: то заяц на спринтерской скорости пробежал, то лиса с какого-то перепугу из чащи выскочила, а потом опомнилась и сразу скрылась. Худющая и ободранная, совсем не такая, как в детских сказках. Люся всматривалась в названия маленьких станций, но тут же их забывала. Поезд начал замедлять ход.

Полтава!!! Люся аж вздрогнула. Чтоб так орать, надо иметь луженую глотку. Откуда у проводницы столько сил?

В купе зашла опрятная старушка с робким мальчиком. Хорошее соседство, спокойное. Люся обрадовалась и угостила попучиков пирогом с вишней.

В Полтаве стояли долго, и старушка за это время успела пожаловаться на судьбу.

Люся слушала невнимательно, так как созерцала вид из окна и продолжала думать.

До неё дошли только обрывочные фразы: «... в очередях такого наслушаешься, что впору удавиться ... тараканов никакая холера не берет... куда не пойдешь, везде обхамят... водопроводчики — алкаши, продавцы — воры, врачи — взяточники ... космонавты разбили воздух, вот огурцы и не уродились...». И так далее. Старушка говорила с надеждой на участие, и Люсе стало совестно за свое безразличие, и она торопливо закивала. А старушка, благодарная за понимание, подвела итог: «Ещё и внучок, несчастное дитё, никому кроме меня не нужен и всем лишний. Сначала нарожают, а потом жалуются на жилищные условия».

В Полтаве вокзальная жизнь казалась веселей и разнообразней, и здание станции с признаками архитектуры, и клумба шире и краше, и у цыганок юбки попышней, и сами они понахальней и погорластей.

Всё-таки областной город, и исторический к тому же, мы здесь когда-то разбили шведов. Люсина соседка (мёртвая хватка и всё по фигу) вышла замуж за шведа (где она его только откопала?) и укатила в европейскую цивилизацию. Случай из ряда вон... Весь дом гудел, а у женщин сразу испортилось настроение, некоторые до сих пор огорченные ходят.

Посадка закончилась. Люся забралась на верхнюю полку и таким образом отдала соседям почти всё купе.

Так было всегда, Люся занимала очень мало места в пространстве и во времени и никогда не напрягала своим присутствием. Эту черту она унаследовала от мамы.

\* \* \*

Геля умерла, когда Люсе было четыре года. Тётя Густа не любила распространяться на эту тему, и потому мамина смерть оставалась для Люси тайной. Что касается отца, то наткнувшись пару раз на

упорное и горестное молчание тётки, спрашивать о нём перестала. Если уж тётка Густа предпочитает помалкивать, то это значит, что говорить абсолютно не о ком. Или наоборот, всё настолько серьезно, что «ребёнку» лучше не знать. Однажды Люся напомнила, что она уже не ребёнок, и хотела бы знать, кто её отец. Или в её рождение вмешались небесные силы? Но в ответ тётка начала что-то бормотать о временах, которые не изменились, об опасности огласки и о возможных последствиях: «Ты что, не видишь, что творится, если даже посадили режиссера Параджанова?»

При чем здесь это, когда вопрос касается Люсиного отца? Мысли у Люси в голове наворачивались друг на друга и сбивались в тяжёлый ком. А тётка Густа уходила в туманную задумчивость, вынимала из кармана огромный носовой платок и собиралась заплакать, и Люся, видя эту декоративную уловку, умолкала.

Иногда наступали моменты откровений, и тётка сильно сокрушалась, что Геля не дожидая до времён оттепели: «Возможно, тогда всё было бы по-другому, но оттепель продлилась недолго, а потом гайки закрутили опять. Поэтому, иди знай...»

Люся не понимала, как это связано со смертью мамы и личностью её отца, но спрашивать перестала. С детства она знала, что любопытство до добра не доводит. Но с теми догадками, которые лезли в голову, жить было ещё тяжелее, чем в неведении.

Дедушка умер вскоре после смерти мамы, и Люсиной семьей с раннего детства была тётка Густа. От когда-то большой семьи их осталось только двое.

Люся любила рассматривать семейные фотографии и по их скромным сюжетам многое домысливала, придумывала разные истории и ставила себя в центр событий. Из фотографий она знала, что мама была красавицей. И это при том, что её сходство с тёткой очевидно. Но у Густы всего было чересчур, а у Гели в меру. Эта мера и определяла разницу между сестрами. И касалось это не только внешности, но и поведения, чего на фотографиях видно не было, но Люсе так хотелось.

\*\*\*

Ночью поезд много раз останавливался, и гулкие объявления выглаткивали Люсю из полудрёмы. Из соседнего купе доносился пьяный крик, переходящий в мат. А по коридору всё время кто-то бежал, и было ощущение погони на лошадях, не хватало только пулемётной стрельбы. Послышался взрывной голос проводницы, она требовала прекратить «бардак» и грозилась вызвать начальника поезда.

Когда все утомонились, Люся вышла из купе и стала свидетельницей совершенно комичной сцены. Начальник поезда со своей свитой все же решил пройтись по составу и застукал возле туалета даму в прозрачном пеньюаре с магнитофоном через плечо и микрофоном в руке. Ничего себе зрелище. Начальник уже решил, что поймал диверсантку и его наградят за усердие и бдительность.

Диверсанткой оказалась звукооператор киносъемочной группы, она хотела с наступлением тишины записать звук двери туалета.

Лишний раз заставить себя зайти в этот туалет можно только по крайней нужде. И потому здесь мы имеем дело с профессиональным подвигом. Но у начальника на этот счет было другое мнение, и он требовал предъявить документы, причем Люсины тоже. Он решил, что Люся является соучастницей и стоит на шухере. Идиот.

Люся вернулась в купе и попыталась хоть немного вздремнуть. Она съехала, как вышли её попутчики. Светало, и в купе стало холодно. Ехать предстояло ещё целый день, целый день для любимого занятия — вспоминать и думать.

\*\*\*

Люся Штейнберг. Попробуй проживи с такой фамилией. Люся и не пробовала. Никогда ни во что не лезла и ни в чём не участвовала, даже в художественной самодеятельности. И даже не была комсомолкой, каким-то образом и от этого умудрилась отбиться. Но чего никак нельзя было подальше спрятать, так это феноменальную память и уникальные способности к учебе. Люся была лучшей ученицей в школе, не прилагая к этому никаких усилий. Шаа на золотую медаль. Но на медали существовали квоты, и потому Люсе поставили четверку по химии, а золотую медаль получил сын директора школы Павлик Корчагин. Грех смеяться.

Стоит вспомнить, почему именно химия подпортила Люсин аттестат. Но нарушая хронологию, надо бы вернуться на много лет назад в детский сад, где Люсю впервые обозвали жидовкой. Люся значения этого слова не знала, но поняла, что с ней что-то не так, и на всякий случай потрогала свою плотную косичку. Может, бант не на месте? Слово это она до дому донесла, но тётя Густа отвечать на прямо поставленный вопрос не пожелала, а вместо этого напилась каплей от сердцебиения и пошла на кухню греметь кастрюлями. В квартире запахло аптекой и плохой судьбой.

За информацией пришлось отправиться во двор, где Люсю пока ещё никто не обзывал, но к тому шло. Она иногда чувствовала некоторое напряжение и отчужденность, исходявшие от дворовых подруг, и замечала насмешливые взгляды, направленные в свою сторону. В отличие от тётя Густы, девчонки Люсю не пощадили и дали ей совершенно откровенный ответ на то, кто она есть на самом деле. Новость эта её ошеломила значительно меньше, чем стыдная правда о деторождении, полученная когда-то тоже во дворе. Но ясно стало одно — не повезло. Хорошо, что в этот день тётя Густа повела Люсю в цирк, где мысли о горькой участи размылись балаганными огнями и блестящими, и тем чувством праздника, которое в цирке испытывает каждый ребенок.

А теперь опять о химии как о естественной науке вообще и школьном предмете в частности.

Учительница химии Анна Гавриловна произносила Люсину фамилию подчеркнуто неправильно, с ударением на последнем слоге, повышая при этом голос до самой высокой ноты, почти до визга. Дистанция между учителем и ученицей не позволяла Люсе поставить

химичку на место. Но однажды она не выдержала. Анна Гавриловна вызвала Люсю к доске, уж слишком перебрал в интонации, а староста класса Света Сторожук угодливо хихикнула. Поджалимка.

Люся отвечать не стала, а вместо этого собрала портфель и вышла из класса. А за ней следом вышел Юра Харламов, Люсин друг и тихий воздыхатель. Это был уже коллективный демарш. Анна Гавриловна побагровела, взвилась и побежала к директору. Запахло педсоветом. Директор школы отнеслась к делу продуманно и без эмоций, она знала, что Анна Гавриловна — дрянь высшего калибра и с ней лучше не связываться. Но Люся — лучшая ученица школы, а процент успеваемости ещё никто не отменял. Директор решила обойтись без педсовета, а ситуацию использовать в своих целях — Люся получает в аттестате четверку по химии и таким образом лишается золотой медали. Чем не месть? Директор одним махом убивала двух зайцев, Анна Гавриловна — отмщена и довольна, путь к золотой медали для Павлика Корчагина — свободен.

Через год после окончания школы Люся узнала, что Анна Гавриловна удостоилась звания заслуженного учителя Украины.

Юра Харламов стал офицером и погиб в Афганистане.

\*\*\*

Люся давно не плакала, но вдруг почувствовала, что коса под щекой стала влажной.

Она лежала на боку на своей верхней полке и думала о Юре. Она прouчилась с ним в одном классе десять лет, но и половины того, что должна была ему сказать, не сказала. И многого не сделала. Почему мы вспоминаем о наших добрых чувствах, когда это уже поздно и никому не нужно?

Поезд стоял. Густой холодный рассвет поднимался над станцией. Это Воронеж. Здание вокзала светилось высокими окнами, на мхурой башне часы показывали шесть утра. Торопливые люди с невыспавшимися лицами сновали по перрону. Застучали двери купе, забегали и закричали чьи-то дети. Кому-то срочно понадобился чай, и проводница раздраженным голосом отнекивалась. Какой чай в шесть утра?

Люся укрылась с головой и снова задремала. А, может быть, уснула? В поезде этого не понять.

\*\*\*

Химия не в счет. Люся любила школу, и даже школьная форма, как средство подавления личности, её не раздражала. А совсем наоборот, Люсе шла форменное платье с фартуком. Оно гармонично сочеталось с косой и бантом на затылке, а эстетическая сторона вопроса для Люси имела решающее значение. Сказывалось влияние тёти Густы.

Учителя относились к Люсе справедливо и с удовольствием ставили ей заслуженные пятерки. И одноклассники, которые, как правило, отличников не любят, с Люсей дружили, потому что она всегда давала списывать, а к пятеркам своим относилась равнодушно и никогда не задирала нос.



По поводу золотой медали Люся совершенно не расстроилась, от прадеда она унаследовала мудрость. Институт в Киеве ей все равно не светил, там даже квот не было, а было для таких, как она, сплошное непрохонже.

И поехала Люся поступать в Брянск, где жила тёткина задушевная подруга Элька Ярошевская, аристократка из бывших. Её занесло в российскую провинцию неудачное замужество, да так она там и застряла. Элька настояла на том, чтобы Люся жила у неё и называла её на ты.

Элькина квартира досталась ей, как она сама утверждала, по случаю. Случаем этим был загулявший муж, который однажды пошел к собутыльнику и пропал с концами. Как-то раз он снова возник и даже хотел прибиться к дому, но, во-первых, Элька обратно не принимает, а во-вторых, ей так по душе пришелся статус соломенной вдовы, то бишь, вдовы весёлой, что пошел он к черту! Моральный ущерб муж скомпенсировал шикарнейшей квартирой в центре Брянска, где Эльке было скучновато, и потому приезде Люси она обрадовалась. И Люся была рада. Элька чем-то напоминала ей тётю Густу: и помада похожего цвета, и бусы, и бигуди, и сладкие духи. И так же везде схвачено: и у мясника, и в парикмахерской, и в театральной кассе. Только голос у Эльки был низкий, с хрипотцой. Она курила крепкие папиросы с длинным мундштуком, и это дополняло образ. К тому же, карьера её сложилась хорошо, она работала директором кинотеатра, часто бывала на людях, и положение обязывало выглядеть.

У Эльки жил говорящий попугай Шурик, махровый матерщинник и бандит. Он всё время находился в свободном полете по квартире. Элька считала негуманным держать его в клетке. Шурика она купила в Одессе у одного моряка, от которого он, по-видимому, и набрался всякой нецензурицы.

Шурик садился Эльке на плечо и задавал вопрос: «Ну что, старая блядь?» Было весело.

В университете Люся училась так же блестяще, как в школе. И так же ни в чём не участвовала, даже в обязательных и беспрекословных выездах на овощебазу. На неё невозможно было воздействовать по комсомольской линии.

И тогда комсорг факультета Витя Ломакин (любитель пёстрых галстуков) решил провести с Люсей агитационную работу, дабы вовлечь её в славные ряды коммунистической молодежи. Дело заведомо гиблое. Люся продемонстрировала такую аполитичность, такое идеологическое невежество, что Витя, несмотря на свою простоту и доверчивость, почувал, что над ним издеваются. Люся переборщила.

Витя хоть и был комсоргом, но не был комсомольской сволочью, и потому не стал бегать по начальству и докладывать. А, может, Люся ему просто нравилась.

Элька устроила Люсю к себе в кинотеатр кассиром. Разве плохо для студентки? И сколько той стипендии? Люся и сама хотела рабо-

тать, особенно в кинотеатре, где причастность к культуре определяла стиль отношений. Люся работала по вечерам и в выходные дни. В выходные перед сеансом публику в фойе развлекал маленький оркестр, состоящий из студентов консерватории. Музыканты все подряд были к Люсе равнодушны, что совершенно естественно — у людей искусства хороший вкус. Приставаали они изобретательно и с юмором, но слишком откровенно, совершенно не скрывая свои исключительно гнусные намерения. Люся отпучивалась и в руки не давалась. Воспитание даром не прошло. Знала себе цену.

На третьем курсе Люся всё-таки влюбилась. В первый раз. Поздновато. Но она не была молодой да ранней, и в свои двадцать лет выглядела на пятнадцать. Процесс женского взросления у неё застрял.

В любви надо быть начеку, такую установку дала тётя Густа. И ещё она учила не быть простушкой и уметь схитрить. Как будто эти хитрости ей самой когда-нибудь помогали. Тётя Густа пугала Люсю перспективой остаться «с носом». При этом её собственный нос был так сильно напудрен, что его хотелось подмести.

Быть начеку не получилось и вообще ничего не получилось, так как Люся влюбилась в женатого преподавателя со всеми ожидаемыми последствиями, вплоть до вмешательства парткома, куда пришла жаловаться жертва любовной интриги, обманутая жена. Преподавателю дали по башке, и он быстро слинял. Элька сказала: «перебздел». Шурик это слово тут же повторил и запомнил, и потом употреблял, причём всегда по делу.

Люсю проработать не удалось по причине её врожденной беспартийности. Не выгонять же из университета лучшую студентку. Но больше всего в этой истории Люся страдала из-за её обывательской ущербности. Первые отношения предполагают максимальность, душевный взлет и романтику. А вместо этого — совершенно пристыженный объект любви, который отрёкся при первых же трудностях. У Люси не было опыта любовного общения с мужчинами, но было прочитано огромное количество книг, включая любовные романы. Это не пригодилось и даже навредило.

Зато Элька торжествовала, ещё раз подтвердилась паршивость мужского племени, а значит, и она на правильном пути — зашила суровой ниткой.

\*\*\*

Люсю разбудило назойливое солнце и запах колбасы «собачья радость». За время её короткого сна в купе появились новые соседи, супружеская пара, из тех, которые как только попадают в поезд, сразу начинают есть. Разложились они широко, заняв своими вещами весь проход. Люся с трудом отыскала свои туфли и вышла в коридор.

Вот где было интересно! Проводница времени даром не теряла и напористо кокетничала с командировочным, который тоже был не прочь и держал руку на её заднице, а другой рукой подгакивал в своё купе.

Поезд остановился в Романовке. А проводница, увлекшись простым женским счастьем, забыла открыть дверь, а вспомнив, побежала так быстро, что у неё загрясся двойной подбородок и все остальные излишки тела.

В Романовке выходили киношники, занимавшие почти весь вагон. Выходили шумно и артистично, как будто прямо сейчас снимают кино. Наверное, в этой глуши им для съёмки подошли пейзажи, иначе, что бы они здесь делали? Инка работает на киностудии и рассказывает, что съёмкам фильма предшествует выбор природы, на который выезжают режиссер и оператор. Выбрали Романовку.

Люся подумала о том, какой шок ожидает деревенских жителей при виде людей из совершенно другого мира.

\* \* \*

На каникулы Люся всегда ездила домой. Стоило надолго расстаться с Киевом, чтобы посмотреть на город совершенно другими глазами. А, может, просто пришло время видеть и замечать. Летний ласковый Киев... Какой он...

Солнце заливает ажурные фасады Крещатика. Каштаны роняют маленькие нежные колючки. Бессарабский рынок ломится от благодатных щедрот. Дом с химерами высится хвостатым привидением. Пешеходный мост широкими дугами разлегся над Днепром. Вековые деревья обступили аллеи Марининского парка. А сам парк! А старые фонтаны! Они похожи на вазы для фруктов. Какое открытие! Люся стала наблюдательной. Её взгляд всякий раз замирал, и она тихо восхищалась и старалась запомнить: узор балконной решетки, причудливую фигуру под выступом стены, легкую башенку на крыше, светлую лепку вокруг окна, изгиб резного карниза, мистический барельеф над круглой аркой. И даже божью коровку на теплой листве.

Люся следила, как вагончик фуникулера медленно ползет к Речному вокзалу. На его причале когда-то стояла дедушкина «Ласточка». Где она теперь?..

Люся вдруг обнаружила, что соскучилась даже по метро, и радостно преодолевала его подземные километры. Сердце заходило от знакомых с детства станций, а «отойдите от края платформы» улучшало настроение. На метро Люся с подругами ездила на пляж.

На пляже ей тоже всё казалось другим и новым. И запах днепровской воды, и её расторопное течение, и стайки смелых рыбок, и кривые ивы, и песок, в который глубоко проваливались ноги. Детство, изнуренное бесконечными скалатинами-ветрянками, было далеко позади, но Люся только сейчас почувствовала силу в своем маленьком теле, силу и спокойствие. Она начала забывать своего преподавателя, по-прежнему много читала, загорела, наелась клубники и похорошела. Из всего этого могло получиться только счастье. А что же ещё?

Беда пришла, откуда не ждали. Художника звали Игорь. Он приехал из Москвы погостить у своих провинциальных родственников. Как все самовлюбленные москвичи, Игорь считал Киев провинцией, но вполне пригодной для того, чтобы набросать здесь несколь-

ко этюдов, особенно на Андреевском спуске, где Люся на него и напоролась. Игорь стоял перед мольбертом и пребывал в творческом поиске. Люся застыла, как вкопанная. Перед художниками она всегда испытывала трепет. Выглядела она в тот день потрясающе — сарафан из марии от спекулянтки, бусы янтарные от тётки Густы, босножки итальянские от кутюр (очень повезло, всем были малы), коса в варианте «конский хвост» и макияж под японку.

Из творческого поиска Игорь выпал в момент и обалдел, но не настолько, чтобы не сообразить, что случай уникальный и действовать надо быстро. Тактику он выбрал правильную и уже через час договорился с Люсей о встрече на следующий день.

На следующий день Люся оказалась в мастерской под крышей старого дома и сначала влюбилась в атмосферу изысканной захламленности, потом влюбилась в запах краски, а потом и в самого Игоря. А может ли быть иначе, если сидишь почти что на троне, как принцесса, как объект восхищения, и с тебя живописуют портрет. Холст-масло, между прочим. Было от чего сдуреть. И на этот раз Люся влипла основательно.

Игорь задумал писать её в японском стиле. Как пригодились кимоно! Для полноты композиции раздобыли ветки цветущей вишни, исполнявшие роль сакуры. И Люся в своей роли была очень трогательна, миниатюрная и хрупкая, как статуэтка. У Игоря валились кисти из рук и зашкаливало... в голове. Если это можно назвать головой.

Иногда они покидали душную мастерскую и ездили на Днепр освежиться и поплавать. Однажды их на пляже накрыл проливной дождь, они забрались под огромное дерево и замерзли, и Игорь пошутил, что обогреться Люсей можно только, прикладывая её к разным местам. Тогда Люся распустила косу, увеличив себя этим в объёме.

Зачем она помнит такие мелочи? А может, они и есть самое главное? Ведь счастливее дня не было никогда.

Две недели прошли незаметно. Земля вращается намного быстрее, когда это совершенно ни к чему. Жаль, такому художнику Люся позировала бы всю жизнь. Портрет был готов. Люся повесила его в своей комнате. А Игорь засобирался уезжать, ему действительно было пора.

Первое время он звонил очень часто, по два раза в день. Потом звонки вдруг прекратились, а потом Люся получила письмо. Игорь писал, что женится на девушке, которая ждёт от него ребёнка. Он об этом ничего не знал, то есть ничего не знал о её беременности.

Или так увлекся, что запаматовал.

Позже выяснилось, что девушка была к тому же генеральской дочкой, и попробовал бы Игорь поступить иначе. И этот «перебздел».

Люся слегла и отказалась от еды. Тётя Густа забила тревогу и вызвала Эльку. Элька бросила работу и примчалась, прихватив с собой Шурика, его не с кем было оставить. Тётя решила, что вместе с Элькой они смогут быстрее переломить ситуацию. Каникулы закан-

чивались, Люся должна была продолжать учебу, остался последний курс, а тут всё летит в тартарары. И всё из-за этого художника, где он только взялся на нашу голову?! Тёте Густе с самого начала эта история не нравилась, лица творческих профессий у неё всегда были на подозрении. Вот и доказано! И что теперь делать?

Элька смоталась на толкучку и купила Люсе шикарную юбку за сумасшедшие деньги. Не сработало. Тогда тётя Густа пустила в ход связи и достала билеты в столичный театр, который как раз гастролировал в Киеве. Никакого интереса.

У Люси непрерывно болело под грудью. Это случалось и раньше от обиды и тоски. Впервые Люся испытала такую боль давно, ещё в детстве, и прибежала с ней к тёте. И она объяснила, что это место называется солнечным сплетением.

Название показалось Люсе очень красивым, но противоречивым. При чём здесь солнце? Оно не может быть связано с болью. Тётя Густа же утверждала, что в месте солнечного сплетения болит душа, и к солнцу это не имеет никакого отношения.

Что ещё чувствовала Люся? Земля стала вращаться очень медленно, так медленно, что завтра не наступит никогда. И не надо.

Звонили подруги, Люся к телефону не подходила. Подруги не успокаивались и прибегали проведать. Сидели возле неё и развлекали всякими небылицами. Они тасовали и переворачивали факты таким образом, что Люся из пораженки превращалась в победительницу. Большое им, конечно, спасибо, но Люся не идиотка, чтобы не поинимать, что на самом деле произошло в её жизни.

Из Ялты приехала Инка и тут же обо всем узнала, и сразу объявилась. Притащила «Киевский» торт (в такую жару!) и новомодные бусы из бисера (мало у нас бус!). Инка называла Люсю голубкой сизокрылой, а художника — еврейским подонком и мудаком. Шурик услышал знакомое слово и подлетел поближе. Люся на Инку не реагировала, лежала, уставившись в окно, и наблюдала за движением облаков. Она уже неделю ничего не ела, коса стала похожа на паклю, а под глазами залегли серые ямы.

Инка усиливала аргументы: «Да, да, он мудака, к тому же ещё и альфонс, женился на бриллиантовых серёжках и генеральской даче! Такой мужчина не может быть интересен априори! Потому что он априори мудака!» Инка умела сочетать интеллигентные слова с народной лексикой.

Шурик бойко защебетал, наверное, поддакивал. Тётя Густа с Элькой подслушивали под дверью.

Инка выбилась из сил и готова была прямо сейчас вызвать скорую помощь. Тётя Густа сомневалась и предлагала подождать ещё день, а потом обратиться к экстрасенсу.

Инка не соглашалась: «Какой день? Посмотрите на Люсю! Через день она превратится в отрицательную величину».

Положение спас Шурик. На следующее утро Люся пробудилась от тяжелого сна и немного привстала, подпихнув под спину подушку, сил у неё оставалось немного.

В это время ей на плечо сел Шурик и обратился с деловым предложением: «Жрать пошли!». Дома никого не было, тётя Густа с Элькой поехали на базар. Когда они вернулись, Люся сидела на кухне и ела вчерашнюю картошку, пряма из кастрюли.

По столу разгуливал Шурик. Увидев вошедших, он прокартавил: «априори». Стало весело.

Тётя Густа от счастья бросилась к телефону звонить Инке, но позвонить не удалось, Шурик перекусил телефонный шнур.

С этого дня Люся пошла на поправку. А через неделю она с Элькой уехала в Брянск.

\* \* \*

Попутчики вышли на какой-то малозначительной станции, и Люся осталась в купе одна.

До Соколова было еще далеко, она достала из сумки письмо и на минуту замерла с ним в руках. То самое письмо, которое дедушка получил перед войной. Письмо из оккупированной немцами Польши от его двоюродных сестер Фрины и Ханы, дочерей Симона, (помните кимоно?). Письмо на пяти страницах. Страниц на самом деле было больше, судя по провалам в содержании, некоторые из них были потеряны, и последняя страница тоже отсутствовала. Тётя Густа об этом сильно сожалела, ей казалось, что именно в потерянных страницах был указан адрес или хотя бы упоминание, которое могло бы навести на мысль о городе, в котором происходили события. С годами забылось, в каком городе жили их польские родственники.

Письмо было написано на ломаном русском языке и начиналось со слов: «Дорогой товарищ, пан, брат...». Тётя Густа сразу же начала плакать и читать дальше была не в состоянии. Детальной проработкой текста занималась Люся, но извлечь полезную информацию для поисков было невозможно.

Удивительным казалось то, что Фрина и Хана смогли из гетто отправить письмо. Или его кто-то передал? Это совершенно невероятно. Дедушка и словом не хотел обмолвиться, как письмо попало к нему в руки.

В Люсиной семье все помалкивают, как партизаны.

Между страницами лежала старая, но хорошо сохранившаяся фотография — две молодые женщины в лёгких платьях и маленьких шляпках кормят голубей. Вот и всё.

Люся много раз перечитывала письмо.

Сестры писали, что когда всех евреев обязалишивать на одежду желтые звезды, то они решили, что этим всё и ограничится, так как большего унижения они себе представить не могли.

Но потом у них отняли обувной магазин, принадлежавший семье испокон веков, и выгнали из дома, на первом этаже которого находился этот магазин. Фрина и Хана предвидели, что не за горами

тот день, когда их просто уничтожат, но пока главной задачей немцев было лишить их человеческого достоинства. И это было невыносимо, страшней, чем мысль о смерти.

Печать семейной гордости... Как хорошо Люся это понимала.

Перед отправкой в гетто всем было приказано сдать ценные вещи, даже из одежды мало что осталось. В гетто в одной комнате ютилось по несколько семей. Фрина с Ханой и старым Симоном жили вместе с семьей аптекаря и стали свидетелями ужасной трагедии. У дочери аптекаря из-за отсутствия молока умер трехмесячный ребенок, после чего она сошла с ума, и её застрелили у всех на глазах. Немцы душевнобольную еврейку считали вдвойне неполноценной.

Узники гетто работали на стройке, куда их возили вооруженные надсмотрщики, работали очень тяжело, таскали кирпичи и мешки с цементом. Если кто-то из работавших на минуту отстанавливался, надсмотрщики спускали собак. Так произошло и с Симоном. Он был болен и сильно истощен, упал в голодный обморок прямо на обломки кирпичей и не смог подняться, и не поднялся уже никогда. Фрина и Хана даже похоронить его достойно не смогли.

Жених Ханы, за которого она не успела выйти замуж, тоже попал в гетто и вынашивал план побега, но риск был огромный. Можно было подкупить надсмотрщиков. Но чем? Всё забрали, только Фрине чудом удалось спрятать маленькую брошку, но она не очень дорогая, а надсмотрщики обнаглели от вседозволенности. Вряд ли их устроит такая мелочь.

Бежать всем вместе не представлялось возможным, поэтому решили сначала устроить побег Фрине. Её маленького сына Марека прятали добрые люди на затерянном в лесах хуторе, и ей необходимо было поскорее выбраться из гетто. Но даже если повезет и удастся бежать, то неизвестно, что делать дальше и как потом выбираться из Польши.

На этом письмо обрывалось.

Только настойчивость тётки Густы и её длительная переписка с международными поисковыми организациями дали результаты. Результаты сомнительные. Люся могла поверить, что Фрине и Хане или кому-нибудь из них удалось бежать из гетто, но чтобы они бежали в российскую глубинку, казалось неправдоподобным. А даже если и так, почему же тогда, оказавшись в России и пережив такую страшную войну, они за все эти годы не дали о себе знать? Странно.

Зачем тётка Густа настояла на том, чтобы Люся взяла письмо в Соколов? Кому там придет в голову его читать?

\* \* \*

После окончания университета Люсю оставляли в аспирантуре, но ей не хотелось заниматься научной работой, да и Брянск надоел. Университет она окончила с отличием, но устроиться на работу в Киеве было очень тяжело, для Люси почти нереально. И тогда тётка Густа вспомнила о своем кагэбэшнике в надежде, что старая любовь не ржавеет. На встречу оделась в лучшее — скользкое шелковое платье, розовые кораллы и туфли-лодочки. Это то, что Люся видела. А

то, что она не видела — кружевное бельё производства ГДР, предмет роскоши и дефицита, которое тётя Густа берегла для особых случаев. Кружева не понадобились, кагэбэшник оказался порядочным человеком и ситуацией не воспользовался. А, может, любовь заржавела. Тётя Густа даже немного обиделась.

Во всяком случае, цель была достигнута, Люсю взяли на работу в большой проектный институт. Бог знает, что они там проектировали.

На работе Люсю полюбили. Сообразительная, миленькая, вежливая, исполнительная. В характеристиках ещё писали «морально устойчивая». Предположим.

Только в общественной жизни она совершенно не участвовала, а в приятели себе выбрала местного изгоя Сталика Василевского. Своим именем Сталик был обязан бабушке, патологической большевичке и сталинистке, которая держала всю семью на тюремно-лагерном режиме, даже голову поднять никто не смел. Этим фактом и объяснялась отчаянная независимость Сталика и его ненависть к большевикам. А кто их любит? Так и признаться ж нельзя.

Сталик с трудом вырвался из семейного кошмара на волю, за что бабушка вычеркнула его из числа своих родственников. Пришлось признать, что внука она проморгала.

Выглядел Сталик нестандартно, если не сказать больше. На шее у него висел колокольчик. На вопрос: «Почему?», отвечал: «Чтобы не потеряться». От такой неоспоримой логики окружающие смущались, пожимали плечами и вопросов больше не задавали. На груди Сталик носил октябрятскую звездочку старого образца из тех, в которые была вложена фотография маленького кудрявого Ленина. Сталик значок усовершенствовал, фотографию вытащил и заменил её клочком бумаги с надписью «шериф».

Ну что с сумасшедшего возьмешь? Сталика за такого и держали, это всех устраивало.

Однажды кто-то из начальства в качестве воспитательной меры загнал его на политзанятие. Сталик хоть и ходил с колокольчиком, но к стадному виду не принадлежал и насилия над собой не терпел. В отместку он своими вопросами довел лектора до предынфарктного состояния. После чего Сталика оставили в покое, а некоторые начали обходить его десятой дорогой, боялись, что их заподозрят в причастности к инакомыслящим группам.

Сталик жил в огромной коммунальной квартире в центре города недалеко от Золотых Ворот. У него была комната, перегороденная на две части книжными стеллажами. Здесь он устраивал свои вертепы, и потому на него всегда жаловались соседи. Их раздражали многочисленные и подозрительные гости, которые у Сталика не переводились в любое время суток. И соседи бдили, некоторые даже подслушивали. А послушать было что.

К Сталику захаживали диссиденты, работающие дворниками и чочегарами, отказники, невыездные до гробовой доски, альтернативники всех мастей, временно выпущенные из дурдома, и девушки, опередившие своё время. Время было такое, что его очень хоте-



лось опередить, но мало кто на это решался. Поэтому друзья Сталика вызывали у Люси уважение и восхищение, несмотря на свой пришибленный вид.

Люся часто бывала у Сталика и однажды взяла с собой Инку. В тот вечер здесь был объявлен выходной — никаких отказников, никакой антисоветчины, никакой запрещенной литературы. Зато явился Костя Мыленко, композитор-авангардист, давний знакомый Сталика. Инка оглядела Костю с ног до головы и бестактно поинтересовалась, не пишет ли композитор Мыленко мильные оперы? Этого хватило, Костя влюбился. Инка пришлось ко двору и стала вхожа в дом к Сталику. Ещё бы, это всё-таки Люсина подруга.

Чем больше Инка посмеивалась над Костей, тем больше он в неё влюблялся. Часто играл для неё на рояле что-нибудь из американского джаза, так легко и с таким шиком, что даже на клавиши не смотрел. Это производило на Инку впечатление, но на распределение ролей не влияло. Инка высокомерничала и вредничала. Костя терпел и вздыхал.

Кто-то из общих знакомых неосторожно сболтнул Инке, что Костя находится в завязке, и потому она боялась углублять отношения. Можно ли знать, как скоро эта завязка развяжется?

Опасения оправдались, Костя развязал, и однажды так напился, что упал с балкона. Четвёртый этаж! Он чудом остался жив, но повредил шейные позвонки, и его парализовало. Костины родители в один день постарели и сгорбились, на них страшно было смотреть, а у Кости началась ещё и тяжелая депрессия. Врачи разводили руками и утверждали, что медицина в таких случаях бессильна, и надеяться надо только на чудо.

Кто будет надеяться на чудо? Инка?! Которая не верит ни в бога, ни в черта? Нашли дуру!

И Инка превратилась в маленький танк. Хотя почему в маленький? Она превратилась в танковую дивизию. Кроме неё действовать было никому, и это повышало ответственность.

Инка подняла на ноги полгорода. И наша! Нашла непризнанного врача-ортопеда, которого отовсюду гнали за его нестандартные методы и даже в тюрьму хотели посадить. В общем, наш человек. Он согласился испытать на Косте свое антинаучное приспособление. Рисковать было нечем, так как хуже, чем есть, быть уже не могло. Он сделал Косте отверстие в затылке, пропустил через него металлическую спицу и навесил на неё небольшие гири, которые менял по определенной схеме, постепенно увеличивая нагрузку. Все долгие месяцы этих мучений Инка сидела возле Кости и поддерживала в нем веру. Неизвестно, что помогло больше — талант врача или подвижничество Инки, но через полгода Костя поднялся, и не просто поднялся, а даже мог, как раньше, играть на рояле и носить Инку на руках. В прямом смысле этого слова, благо весила она не много. Костя зарекся притрагиваться к алкоголю и сделал Инке предложение руки и сердца.

Тётя Густа узнавала о развитии событий от Люси и поначалу была настроена скептически, но когда ей сообщили о благополучном

исходе и романтике завершающего аккорда, расчувствовалась и пригласила Инку с Костей в гости. Надвигались майские праздники, город вошла красными лозунгами. Тётя Густа, верная своим привычкам, много наготовила и напекла, даже вытащила на свет божий парадный сервиз. Гости в назначенное время не пришли и не позвонили. На следующий день Люся узнала, что Костя ушел в запой. А ещё через день Инка его бросила.

\* \* \*

Проводница зашла в купе и принесла чай, и предупредила, что до Соколова ехать ещё три часа. Смеркалось. Низенькие российские деревеньки чередовались с темными зарослями костявых елей и полями, засаженными чем-то неконкретным.

Люся решила почитать журнал «Работница», который тётя Густа положила ей в дорогу для развлечения. Этот журнал, маленькая радость советских женщин, выписывался только с нагрузкой. В нагрузку полагалась газета «Партийное просвещение», которая сразу же выбрасывалась. Люся выбросила бы и сам журнал, хотя бы потому, что принципиально возражала против его названия, против его убогой сути. В соответствии с пролетарской идеологией женщина от работницы не отличалась никак, и было совершенно непонятно, где женщина, где работница, а где рабочая кляча. На эволюционном отрезке от Василисы-прекрасной до Анки-пулеметчицы наши женщины прошли сложный путь. Такая им судьба досталась, не в том месте угораздило родиться. С пулеметчиц всё и началось, началась новая эра под названием эмансипация, и появились новые разновидности женщин: каменщица, лесорубщица, штамповщица, такелажница, сварщица. Коня на скаку остановщица. Впрочем, это тоже из запрещенного.

Теперь понятно, почему светлый праздник 8 Марта Люся терпеть не могла? Что праздновать? Равные права с мужиками на прокладку железнодорожных магистралей?

Этот вопрос Люся когда-то задала Бондареву, и поставила его в тупик.

Журнал она так и не открыла и чай не попила.

\* \* \*

Бондарева Люся впервые увидела в буфете. Она сидела там со Сталиком и, как сейчас помнит, ела ромовую бабку. Поначалу Бондарев ей не понравился, холодный прищуренный взгляд и выражение лица человека, жующего лимон. Но в общем и целом Бондарев был интересен, было в нём то, что называется отрицательным обаянием, то, что особенно привлекает женщин. Он работал в другом отделе, но Люся иногда встречала его в коридоре, и он с ней подчеркнуто вежливо здоровался. Это Люсе тоже не нравилось, она не любила показуху. Настораживало Люсю и то, что в свои неполные тридцать лет Бондарев уже защитил диссертацию и был начальником отдела. Может, такой способный?

Началось с того, что на Сталика наехало институтское начальство. Как-то директор зашел в курилку и застал там Сталика с его колокольчиком. Какому директору такое понравится? Слава богу, что он ещё звездочку не разглядел. А тут делегация из братской Монголии приехала перенимать опыт, и Сталик попался на глаза их главарю, а тот возьми и спроси директора про Сталика и про колокольчик. Мол, много ли у вас таких? Его собачье дело. Директора замечание разозлило, он вспомнил про курилку и про Сталика, вспылил и на планерке поставил вопрос ребром. Но тут вмешался Бондарев. Он сообщил директору, что для испытаний нового агрегата в его отделе требуется хороший механик, к Сталику он присматривается давно, и на это место он как раз подходит. А взяв Сталика под своё крыло, Бондарев обязуется на него повлиять. Все выдохнули, и вопрос был решен.

Бондарев пошел на благородный поступок не совсем бескорыстно. Через Сталика он хотел подобраться к Люсе. Расчет оказался верным, Люся к Бондареву прониклась.

Бондарев ухаживал красиво и платежеспособно, всегда куда-нибудь водил: то в театр, то на концерт, то в ресторан. Тётя Густа притихла в тревожном ожидании, подружки — тоже. Бондарев события не торопил, что являлось свидетельством порядочности и хорошего тона. Однажды он пригласил Люсю к себе домой. И Люся, не подумав, согласилась.

Беспокойство она почувствовала уже тогда, когда Бондарев повел её в самый номенклатурный район, который до революции был аристократическим и назывался Липки. Те самые Липки, которым Люсин прадед когда-то предпочел Подол. При виде дома беспокойство усилилось. А квартира... В такой квартире Люсе не приходилось бывать никогда.

Мама Бондарева, Зоя Степановна, монументальная женщина с прицельным взглядом, приняла Люсю с наигранным удивлением. А потом вышел папа, Сергей Васильевич, в белоснежной рубашке и брюках с генеральскими лампасами. И здесь генерал.

Судя по тому, как стремительно шла в гору карьера Бондарева, это можно было предвидеть.

Пригласили к столу. Еду подавала домработница. Люся сидела напротив окна, задрапированного богатыми шторами с ламбрекеном. Такую обшивку она видела на гробах. Кое-как завязался разговор. У Зои Степановны было острое чутье на национальную принадлежность, и хотя Люсина внешность в «этом» смысле совершенно не типична, она всё же спросила Люсю о её семье. Люся прекрасно поняла, что именно интересует генеральшу, и выдала ей информацию самую исчерпывающую. Бондарев знал, что откровенность Люся не отличается и почувствовал, что с её стороны это был выпад, причем уместный. Генеральша тоже всё поняла и в качестве контрудара вскользь упомянула, что преподает научный коммунизм в Высшей партийной школе. Люся попала в логово врага.

Бондарев заерзал на стуле, ему стало не по себе. А Люся подняла глаза на люстру. Что-то похожее висит в Оперном театре. Бондарев поймал этот взгляд.

Удивительно, что Бондарев поведением и манерами так сильно отличался от своих родителей, как будто он сам себя вырастил и воспитал. И даже внешне он совершенно на них не похож. А Люся себе намечтала... Намечтала интеллигентов, каким был учитель ботаники, дедушкин сосед. А где теперь такие есть? Где есть хотя бы настоящие киевляне?

Обречены на пожизненные коммуналки, сидят там и не высываются.

Пока Люся об этом думала, принесли горячее, курицу в вине и сладкий плов. Бондарев не мог дожидаться, когда обед, наконец, закончится, чтобы пригласить Люсю в свою комнату и закрыть за собой дверь. Но после обеда, выдержав вежливую паузу, Люся распрощалась и попросила Бондарева её не провожать. Соврала, что ей надо ещё зайти к подруге.

Сразу после Люсиного ухода Бондареву пришлось выслушать ряд предостережений и претензий, переросших в скандал: «Ты хочешь сломать себе карьеру? У неё же наверняка есть родственники за границей! Если ты не думаешь о себе, то подумай хотя бы о нас! Что будет с отцом? Его сразу отправят на пенсию! А это его погубит! Мы жизнь на тебя положили, и ты не имеешь права с нами не считаться! Разве мало других девушек?»

Но самым невыносимым для генеральской четы было предположить, что их будущие внуки окажутся евреями. Всё что угодно, только не это!

Генеральша брякнулась на кушетку с приступом мигрени и компрессом на лбу. А генерал принял на душу коньячку и ушел в себя, закрылся в кабинете, и оттуда слышалось нервное покашливание.

Театр игрался для Бондарева, и чтобы его прекратить, он ушел ночевать к Сталику, с которым стал водить никому не понятную дружбу. Сталик Люсе и насплетничал о семейной драме.

Люсю это несколько не удивило, она прекрасно понимала, что после её ухода Бондареву не поздоровится. Ситуация её скорее рассмешила, чем обидела. Люся не собиралась выходить за Бондарева замуж хотя бы потому, что не любила его. Кроме того, ей бы и в страшном сне не приснилось, что её дети станут генеральскими внуками. В этом она честно призналась Бондареву, и он глубоко оскорбился. Ведь он собирался бороться и даже пойти на открытый конфликт с родителями. Бондарев мучился и страдал, и напросился в командировку. И уехал, чтобы не видеть ни Люсю, ни родителей, ни Киев, ни самого себя в Киеве. Уехал далеко и надолго, чтобы перебежаться и забыть.

Люся ничего не могла с собой поделать, она всё ещё любила художника. Ей хотелось снова очутиться в мастерской у окна с видом на городские крыши и почувствовать себя вознесенной над миром. Как тогда...

Инка, узнав обо всём, разошлась и раскричалась: «Как можно было упустить такого мужика?! Художника она любит! Городские крышки ей нужны! Дура! Да Бондарев только глянет, и за ним любая побежит. А ты, Люська, всю жизнь просидишь. Где? В заднице!» Сказала, как припечатала. Подруга называется.

Тётя Густа с Инкой согласилась, но от души у неё отлегло.

Генеральша же, узнав, что опасность миновала, перекрестилась. А ещё коммунистка!

А генерал, пропустив на радостях пару рюмочек, поехал в санаторий четвертого управления, чтобы подлечить нервы.

\* \* \*

Был уже поздний вечер, когда Люся приехала в Соколов. Вокзал от гостиницы далеко, тьма стояла кромешная, ни одного фонаря. На привокзальной площади ни одного такси, жарко и душно, никакой вечерней прохлады. Комары кусались похлеще вампиров. Люсе стало жутко. Она увидела двух женщин с какими-то тачками и побежала к ним. Они ей и помогли, довели до самой гостиницы, ещё и чемодан погрузили на одну из тачек, так что Люся шла налегке.

Шла и жалела женщин. С тачками, на ночь глядя, за что им такое наказание?

Гостиница размещалась в бывшем помещичьем доме, чудом не пострадавшем в кутерьме исторических несчасть.

Люся получила у дежурной ключ с тяжелой бляхой, зашла в свой номер и ничего толком не разглядев, завалилась спать, бессонная ночь в поезде дала о себе знать. Сон на новом месте был неспокойным, несмотря на усталость, и только под утро Люся уснула настолько крепко, что даже никакая чушь не снилась. Разбудил Люсю шум дождя, и она этому обрадовалась. Хоть пыль немного прибьет.

В гостинице обитали преимущественно кавказцы, торгующие на местном базаре. Когда Люся вышла на улицу, они стояли небольшой группой в своих огромных кепках и громко разговаривали. Кепки кавказцев проделали смешную траекторию следом за Люсей, пока она совсем не скрылась из виду.

Люся решила не торопиться в поисках нужного адреса, а пройтись по городу и заодно где-нибудь поесть.

Соколов представлял собой типичный районный центр средней полосы России. Тоска удручающая. Заасфальтированными здесь были только две параллельные друг другу улицы, ведущие к реке. Люся дошла до реки и увидела огромный мост с гранитными шарами. Мост имел настолько помпезный вид, что неприметные строения рядом с ним казались ещё более жалкими.

Люся зашла в небольшой магазин. Среди продуктов здесь преобладали макаронные изделия и крупы, причем всё продавалось на развес, товар стоял в мешках прямо на полу. Пахло мылом и гвоздями. С потолка свисали кудрявые липучки с дохлыми мухами. Люся купила бутылку молока и пачку печенья и попросила продавщицу разрешить ей поесть в магазине. Продавщица сразу узнала в Люсе приезжую, и даже не потому, что её одежда казалась вызывающей в

здесь условиях. Дело в самой Люсе, в характере её внешности, которая сразу выдавала киевское происхождение. Кроме того, отсутствие во рту у Люси золотых зубов в соответствии с местной эстетикой являлось свидетельством дурного вкуса. Продащица криворото усмехнулась, сверкнула зубом и указала Люсе на подоконник, даже газету дала, чтоб подстелить.

В магазине было шумно и активно, две покупательницы обсуждали злободневные события, так подробно и доходчиво, что у Люси выстроилась вполне конкретная картина происходящего.

Вчера в доме культуры состоялись танцы, потому как, чем ещё заняться молодежи в воскресенье? В Соколов, как всегда по этому случаю, приехали лихие парни из соседнего Коршунова бить морды местным соколовцам. Конфликт этот давний и вполне объяснимый. Так получилось, что в Соколове соблюдается правильное демографическое равновесие. Здесь есть завод плащевых тканей, где работает много женщин. Таким образом, соколовцы женским присутствием не обделены.

В Коршунове же на цементном заводе работают одни мужики. Конечно, у них в городе тоже есть Дом культуры, но что там делать при такой нехватке особ женского пола? Остается только одно развлечение — пьянство, которое опять же без женщин теряет интригу и смысл. Ну и как бороться с этой несправедливостью? И как тут не набить морды? Похоже, что у коршуновцев действительно нет другого выхода.

Мордобой по воскресеньям стали укоренившейся традицией. Они укрепляют женский авторитет соколовских барышень и определяют превосходство или поражение одной из противоборствующих сторон. Всё зависит от ситуации и качественного состава команд. В прошлое воскресенье реванш одержали соколовцы, так как в город из отсидки вернулся местный авторитет по кличке Рашпиль.

Милиция всех подмела, и под горячую руку попался пламяник первого секретаря райкома. Говорят, что выяснилось это, когда протокол уже был составлен, и теперь районному голове несдобровать, а ему надо поосторожней быть. Предшественник-то его застрелился, представительный был мужчина, но видать, сильно проворовался.

\* \* \*

Люся подумала, что жизнь в Соколове не так скучна, как может показаться на первый взгляд. Она вышла из магазина и сразу наткнулась на женщину, которая катила впереди себя тачку, груженную овощами. Почему женщины здесь с тачками? И лица у всех придавлены многолетним стажем на вредном производстве. А где мужчины? Некоторых из них Люся сегодня видела в очереди у ликероводочного магазина. Ждали завоза.

Та часть Соколова, куда Люся пришла, полностью состояла из частных домов, очень похожих друг на друга. Фасад в три окошка со скромными ставенками, палисадник с фруктовыми деревьями, забор и калитка без излишеств. Люся нашла нужный адрес и поступа-

ла. За забором раздался незлой лай. Калитку открыл улыбчивый дядька в растянутом спортивном костюме и галошах, у него под ногами крутились смешной породы пёс.

Люся представилась и коротко сообщила, по какому поводу пришла. Хозяина звали Андрей Иванович Рыжов. Пока всё совпадало.

В дом решили не заходить и присели поговорить на крыльце. Андрей Иванович рассказывал так:

«Да, жила у нас во время войны квартирантка по имени Фрина. Я хоть и мал был, но её помню, а историю её знаю от своей мамы. Мама умерла три года тому назад и, наверное, могла бы лучше рассказать. Ну, уж не обессудьте, если я чего забыл.

Фрина до войны жила в Польше, в городе Лодзь. В гетто попала, как все евреи. Только ей удалось бежать, и помог ей в этом жених её сестры.

Каждый вечер он вывозил из гетто телегу с мусором, под конвоем надсмотрщика, конечно.

Подкупить надсмотрщика было нечем, но можно было напоить, что и удалось. Так тот с пьяных глаз и не заметил, как Фрину накрыли кучей мусора, а потом выбросили на свалке за городом. Фрина хорошо знала окрестности Лодзи и, просидев в мусорном укрытии до наступления темноты, пробралась на хутор к мельнику, другу своего отца. Он прятал у себя маленького сына Фрины. Шла она долго, всю ночь.

Ну вот, план был такой, что на следующий день этот же трюк с побегом должны были проделать с её сестрой Ханой. А Фрина должна была ждать её прихода на хутор. Только не пришла она, ни на следующий день, ни через неделю. Когда Фрина уже отчаялась ждать, мельник съездил в Лодзь разведать обстановку. Приехал с плохими вестями. Через день после побега Фрины большую группу людей из гетто увезли в концентрационный лагерь в Хелмно, скорее всего, что Хану с её женихом тоже. Фрина подозревала, что это была карательная акция в ответ на её побег. С горя она поседела. В двадцать восемь лет! Но впереди было испытание ещё более страшное. Её сын заболел дифтеритом и умер. Его бы в больницу, может, и выходили бы, да как показать еврейского ребенка?

Прятаться на хуторе стало небезопасно, немцы прочесывали дома. Мельнику пришлось нелегко, но ему удалось выправить Фрине документы и каким-то образом увезти её во Львов. Смелый был человек и деятельный. Из Львова Фрина должна была сама добираться до Киева, чтобы найти там своих родственников. Кроме них у неё никого больше не осталось. Но через несколько дней после того, как Фрина приехала во Львов, немцы напали на Советский Союз. Началась паника и неразбериха, особенно в западных приграничных областях. Все, кому следовало бояться немецкой оккупации, двинулись вглубь страны.

Почему Фрина попала именно в Соколов, я не знаю, мама не рассказывала, а может, и сама не знала. Но удивляться тут нечему, дороги войны запутаны и часто ведут в неправильном направлении.

В Соколов во время войны эвакуировался киевский завод «Арсенал», и Фрина устроилась туда на работу. По-русски она говорила плохо и была очень слаба, но её всё же взяли, из жалости. Фрина надеялась, что когда кончится война, она вернется в Киев вместе с заводом и, может быть, разыщет там своих родственников. Наверное, вас?»

Люся опустила глаза. Развязка казалась близка, но не предвещала ничего хорошего:

«Так и получилось, война закончилась, и эвакуированные взяли Фрину с собой в Киев. Но до Киева она не доехала. У неё ещё в гетто начался туберкулез, и болезнь прогрессировала. Какое во время войны лечение и питание? У Фрины открылись каверны, в поезде началось кровотечение, и она умерла, во сне. Похоронили её на каком-то полустанке под елью, даже нашли большой камень и положили его на могилку.

Об этом маме написала женщина, одна из эвакуированных, вместе с которой Фрина ехала в Киев».

Андрей Иванович вынес Люсе кружку яблочного компота и маленькую коробочку. Он вынул из неё скромную брошку с небольшим аквамаринном, было видно, что он волнуется:

«Это Фрина, когда уезжала, подарила маме. А мама, умирая, просила передать родственникам Фрины, если они приедут в Соколов и будут её искать. Вот и пришел этот день».

В гостиницу Люся шла на совершенно перекошенных ногах, её знобило и трясло. Она попала на базарную площадь, потом не туда свернула и оказалась на задворках какой-то богадельни. Шла по расхлябанной улице, где всё опять было одинаковое: домики в три окошка, палисадники, заборы. Мимо неё быстро прошла женщина с тачкой.

Завтра Люся уедет в Киев.

\* \* \*

Обратная дорога всегда кажется короче. Так показалось и Люсе, наверное, потому, что она почти всё время спала. И вот уже серые российские деревеньки сменились беленькими украинскими с вишневыми садочками и мальвами. Поля колокольчиков и ромашек стали попадаться реже, а посадки кукурузы и подсолнухов чаще.

Пройдет пять лет, и эти мальвы и подсолнухи накроет чернобыльский смрад.

А через десять лет Люся будет жить в другой стране, будет много и интересно работать и растить двоих детей, Лию и Бореньку.

Она объедит весь мир и однажды на книжной ярмарке в шикарном европейском городе встретит постаревшего художника, и ни один нерв не дрогнет.



Люся устанет от завала проблем и изнуряющего темпа той жизни, к которой она так и не привыкнет. Всё будет непросто, и пока она доберется до кругосветных путешествий, ей придется пройти не один круг ада. Ей надоест мотаться по странам, городам и ярмаркам.

И она поедет в Киев, будет гулять по его переименованным улицам и удивляться тому, что даже новые архитектурные недоразумения не смогли испортить этот город.

Окажется, что жизнь разбилась на части, соединить которые невозможно. Но останутся вещи, самые дорогие на свете — спутанный клубок старых бус, портрет девушки в кимоно и скромная брошка с аквамарином.

Но это ещё будет, будет....

А сейчас поезд подъезжает. И уже поднялись над водой зеленые склоны Днепра и Лавра. Поезд едет по железнодорожному мосту, едет долго, потому что Днепр широк и, как писал большой классик, не всякая птица долетит до его середины. И орнитологи это подтверждают.

Через десять минут вокзал. На перроне Люсю ждет тётя Густа. Что она ей скажет?

Люся достала из сумки фотографию — две молодые женщины в лёгких платьях и маленьких шляпках кормят голубей. Вот и всё.



## АДАЛЬ ХОЛЬМ

*/ Москва /*

### ПЕСНИ О ГРУЗИИ

#### 1. ЭЛЕГИЯ

здесь бродит утренняя тень  
не ищет дома, где укрыться  
и в полдень ветер в знойный день  
кружит на кронах кипариса

я знаю муку быть певцом  
в садах пчелой я грозди ягод  
как щёки девичьи, в лицо  
целую с первым листопадом...

зимой я мёрзну на окне  
я застываю искрой в камне —  
и жду, когда сойдёт ко мне  
вечерний свет любви недавней...

#### 2. МАРТКОПИ. ГВТАЭБА

земля погасла в стороне  
с улыбкой странной умерла...  
и день затих, как будто мне  
ночь по ладони провела

веслом качнула неба гладь  
и звёзды, ясные как день  
сорвались вниз — и не подать  
моей руки тому, что здесь...

убогий мир, я разлучён!  
я в тени каждой узнаю  
свою судьбу, к плечу плечом  
прошедшую, прекрасную...

## 3. В КАПЛЯХ ДОЖДЯ

капли дождя  
 покрыли окно  
 мне всё равно  
 где тебя ждать...  
 здесь, у порога  
 туфли и зонт  
 их я могу  
 поцеловать...  
 смехом наполнилась  
 улица в дождь  
 кто-то прошёл  
 наискосок...  
 спелое яблоко  
 режет нож —  
 или огонь  
 греет песок...  
 в памяти больше,  
 чем наяву —  
 мне всё равно  
 где тебя ждать...  
 чёрные кудри  
 холодом рук  
 я отведу  
 в каплях дождя...

## 4. САКАРТВЕЛО

не отошли во тьму века  
 не узнавались с каждым разом  
 чужие мысли, и пока  
 шумел поток над дивным садом —  
 глядел я вскользь, минуя небо,  
 с землёй едва ли не на вы  
 и те же звёзды Сакартвело  
 стояли молча у воды...

## 5. МТКВАРИ

звёзды меркнут в воде  
 ты одна — и нигде  
 будет слышно как ты  
 подошла, поцелуем  
 коснулась щеки  
 будто мёртвой реки  
 и на ухо шепнула...

там, за берегом высится  
 Тсминда Самеба  
 слышен звон отовсюду

с полночного неба  
 слышно сотни шагов  
 пробегающих рядом  
 слышно камень, песок  
 на огне листопада...

так со мною одни  
 в беспокойной реке  
 замирают огни  
 вдалеке...

звёзды — мнимые гости  
 полночного мира  
 над изгибом реки  
 вы проносите мимо  
 унося на века  
 мою смутную весть  
 как обрывки стиха  
 там и здесь...

#### 6. ДЖВАРИ

проститься не могу,  
 не буду, хоть  
 ножом на рёбра  
 и солёной губкой  
 терзай, томи  
 немеющую плоть  
 веди и уводи  
 по переулкам —  
 проститься не могу,  
 целую руки  
 ложусь на камни каплями дождя —  
 и принимая смерть мою за други  
 роняю ночь на лезвие ножа...

#### 7. ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ СЕДЬМОЙ ЛУНЫ

открыты двери  
 звука нету  
 луна бросает свет на камни  
 обвитой изгороди летом  
 в тени домов на Квемокала

проходит ночь  
 прошла уже —  
 и в пробуждённом тает свете  
 сторая свечкой на огне  
 туманный шпиль над Чугурети

## 8. ПАЛИАСТОМИ. КОЛЬЕ АНДРОМЕДЫ

очарование короткого стиха  
меня манило, к берегам тянуло  
и рокотом волны из-под весла  
на водной глади отзывалось гулом...  
я пел, слова произносил, и всё же  
внимая звуку отдалённых волн  
я окунался в зарево без кожи  
в минувший день беспamięтно влюблён...  
и звон зари меня объял как пламя  
со всех сторон, отсюда и везде —  
и слышал я, как замирает камень  
на проведённой в небе борозде...  
я мхом расцвёл и тёрном под осиной  
на берегу шиповником лежал  
и ты меня срывала и носила  
на волосах, как сломанный кинжал...

## 9. МЗИУРИ. ПОСЛЕДНЯЯ БАБОЧКА

октябрь в Тбилиси огненный и серый  
застыли камни, тени подо мной  
с увядших листьев поднимаясь в небо  
крадутся по стволам над головой...

несу лаваш, и отдаю подруге  
и руку на ладони задержав  
я опускаюсь с солнцем над Мзиури  
бегу с дождём выравнивая шаг...

и замирают огненные губы  
как будто мёртвые от ветра и от слёз  
в улыбке, и с рассыпанных волос  
слетает бабочка, последняя в округе...

## 10. ВЕЕР

душа парит у края пробужденья  
отрады нет  
в словах и пусто в вышине  
и замираю  
в головокруженье  
над чёрным веером  
с песчинками на дне...

## 11. СОН

напротив умер в доме старом  
жилец, а я пришёл усталым  
прилѣг и долго у окна  
сквозь сон, не разбирая говор  
я слышал, как поѣт одна  
в квартире женщина над гробом...  
когда проснулся — яркий свет  
стоял над каменной оградой  
играя отблескам вослед  
в незрелой кисти винограда...

2 (60) '2013

# Айдар ХУСАИНОВ

*/ Уфа /*



## КУЛЬТУР-МУЛЬТУР

Роман

### *Часть первая*

1

Ранним утром второго января 1999-го года темное небо над Уфой подернулось судорогой и замерцало дневным светом. Дома, лишенные покрова сумерек, вздрогнули, но, словно припомнив, что такое случается с ними не впервые, успокоились, оставившись в некую точку в пространстве. Они были не одиноки в своем созерцательном безразличии ко всему, что творится на свете — возле перекрестка улиц Ленина и Октябрьской революции, там, где когда-то было трамвайное кольцо, стоял человек, испытывавший приблизительно то же, что и сам город. Весь в черном, словно не стряхнувший с себя тьму ночи, он смотрел в небо, и живая пластмасса лица не выражала ничего, что могло бы как-то объяснить его состояние.

Ничего особенного, впрочем, не происходило и в той степи, которая называется небом. Однотонное пространство светилось ровно и вполне безразлично ко всему земному. Можно было пересекать его вдоль и поперек — и видеть одно и то же ровное, безразличное ко всему свечение. К тому же пустота его притягивала взор, убаюкивала сознание, погружала если не в блаженство, то во что-то близкое тому, как если бы где-то, с той стороны атмосферы, на землю смотрел Бог и слабые частицы Его взгляда передавались небу.

Пал редкий снег, где-то высоко и невидимо отщепляясь от светящегося вещества неба. Впрочем, через восемь минут он стал виден — стеклистые его структуры поплыли перед глазами, резко прыгая назад вслед движению зрачка. В небе определено что-то было. Все же снежинки — это только шестиконечные кристаллические образования, не более того. А здесь что-то роилось, что-то двигалось, и было это всех форм и размеров, всех видов и мастей, словно темные тени скользили в его прозрачной глубине. Но что это были за тени, на

что это было похоже — понять было невозможно. Память отказывалась служить Багрову (это он стоял на перекрестке) и уже не подбрасывала услужливых ассоциаций, как это она делала раньше, возвращая картине мира благостную простоту и завершенность, придавая ей спокойствие и безопасность. Мир стал опасен и непонятен, мир стал жесток и непредсказуем. Отчего так случилось — Багров не знал. Только что он испытывал чувство глубочайшего счастья, какое бывает с такого же глубочайшего похмелья, и вот теперь что-то случилось.

Уже девять минут он стоит на перекрестке улиц Ленина и Октябрьской революции, смотрит в небо и не может понять, что вообще происходит на свете. Решив, что лучше всего будет попытаться разобраться со всеми этими делами по очереди, он и смотрел в небо как во что-то наиболее понятное или, что одно и то же, наиболее непонятное в жизни. Пустое ровное свечение — вот что он ожидал увидеть и увидел. Это успокаивало, пока в небе четыре минуты назад не произошло что-то, чего он не мог объяснить, что только добавило хаоса в его мысли или в то, что мы привыкли называть мыслями.

Если бы происходящее в небе творилось повсюду, Багров мог бы себя успокоить, потому что всегда случается какая-нибудь вещь, объяснения которой не знает никто. Но в том-то и дело, что необъяснимое происходило в точке пространства, определяемой приблизительно так — если посмотреть на магазин «Оптика», который был отреставрирован уфимским архитектором Константином Донгузовым (память вечно подбрасывала Багрову как можно более детальную информацию, вот и теперь он вспомнил, что познакомился с ним на пресс-конференции в агентстве «Башинформ», где сей господин, отвечая на вопросы бедных журналистов, обильно применял такие слова, как «трансцендентный» и «имманентный», отчего с присутствующими случился когнитивный диссонанс и назавтра в газетах об этом событии никакой информации так и не появилось), так вот, если поднять взгляд строго вертикально вверх, то над этим самым зданием, в ужасающей дали, и появилось нечто, не имеющее ни формы, ни цвета, от чего не исходило ни мысли, ни взгляда, нечто не живое, но и не мертвое. После некоторого, очень краткого размышления Багров все-таки решил успокоиться, потому что размышления не шли на пользу человеку в состоянии второянварского похмелья, и он решил, что это просто-напросто самолет типа «Боинг». Почему именно «Боинг», он не знал, но предположил, что только сумасшедшие американцы могут лететь куда-то второго января. Второго января надо отдыхать после наступления Нового года. Это было непреложно, хотя сейчас, после того, что случилось с ним, Багров не знал, правильно это утверждение или нет. Точно так же вполне возможно, что в небе летел вертолет, который должен был подобрать какого-нибудь вполне созревшего пассажира, за которым прилетела морская пехота США или агенты «Моссада», поскольку, как известно по многочисленным кинофильмам, только эти организации выручали своих из беды.

И вместо того, чтобы продолжать развивать эту богатую мысль, Багров незаметно вернулся к самому себе и стал думать, что же такое случилось с ним. Пытаясь найти ответ на этот вопрос, он решил было, что люди — это тоже нечто типа неба. С ними может произойти что



угодно, вот только он никогда не слышал, чтобы человек испытывал такие чувства, какие испытывал он — ему было все безразлично. Это проявлялось так — он не улыбался, потому что не мог улыбаться, он не мог идти, лечь или встать, он просто стоял столбом, как застыл во время того, что с ним произошло. Он был в каком-то коматозном состоянии, просто стоял и смотрел, не в силах даже пошевелиться. «Интересно, сколько времени эта херня будет продолжаться», — думал Багров, радуясь хотя бы тому, что может думать.

Пустынные улицы тем не менее были пустынно не до конца, какое-то движение наблюдалось и на них. Багров краем глаза уловил что-то знакомое, и мимо него прошла тень по имени Илюзя Капкаева.

— Здравствуйте, Багров, — сказала она холодно, и твердым шагом, медленно, как в кино, с обычным своим каменным лицом исчезла из поля зрения. Багров не удивился, потому что способность удивляться исчезла в нем вместе с прочими чувствами, однако у него — и это было странно — вдруг задвигались челюсти. Это он пытался разлепить застывшие на морозе губы. А! да ведь он хотел поздороваться, подумал Багров, как новая тень прошла мимо него.

И на этот раз первым делом среагировало зрение, Багров узнал Александра Касьмова, приветствие которого затем гулко ударило в уши, отразилось от барабанных перепонок и отправилось вослед источнику звука, который удалялся равномерным шагом по направлению к театру оперы и балета.

Отчего-то решив, что совершил бестактность, Багров потянулся ему вослед и вдруг понял, что может двигаться. Это открытие его удивило, но, пока он думал об этом, и Капкаева, и Касьмов были уже далеко, так что догонять их было бы еще большей бестактностью.

«Увижу в редакции и все объясню», — подумал Багров.

Капкаева была театральным критик, Касьмов — литературный, оба они служили в газете «Вечерняя Уфа», где их можно было обнаружить, точнее говоря, перекинуться парой фраз, потому что у них всегда столько дел, отвлекать от которых Багров не смел или, вернее сказать, опасался, опасался неизвестно отчего. Собственно, жизнь и состоит из таких вещей — ты все время чего-то боишься. А понять почему — невозможно, даже если посвятить этому половину жизни.

Багрову по какой-то странной ассоциации вспомнился лесок возле остановки «Трамплин», где он любил прогуливаться зимой, по выходным. Отоспавшись, он выходил с пустой головой в эту сосновую рощу, которая была посажена как символ покорения природы как раз после Великой Отечественной войны, и шел по дорожке вдоль лыжной трассы, по которой его все время обгоняли деловитые граждане, сучившие руками и ногами то в одну, то в другую сторону. Даже если среди них попадался знакомый, поговорить с ним не удавалось — процесс не предусматривал такой возможности. Оставалось только улыбаться, кивать и ждать иного случая для общения.

Тут Багров обнаружил, что, сдвинувшись с места, он не может остановиться, и потому решил перейти улицу, тем более что как раз хлопнула дверь магазина «Оптика», расположенного напротив, на той стороне улицы.

Мягкий снежок под ногами выглядел, как вата под искусственной домашней елкой, ноги в нем утопали, и нечего было даже думать о том, чтобы извлечь из него какой-нибудь мало-мальски сносный крахмальный звук. Вата — она и есть вата.

Багров уныло переставлял ноги, точь-в-точь, как механический заяц из телевизионной рекламы, да и переваливался примерно также, и если бы его память работала, как прежде, он бы вспомнил, что эдак он вел себя давным-давно, на новогодних утренниках в детском садике «Солнышко», в мистически далеком поселке Исянгулово Зианчуринского района, где прошло его детство. Но память словно отшибло или, что тоже вполне возможно, она вышла вся наружу, и вот зайчик Багров весело и глупо перебежал улицу перед одиноким жигуленком шестой модели, похмельный шофер которого еле-еле держал руль в руках.

Фамилия этого шофера была Галинуров, через полчаса, на спуске в жилой район Сипайлово он собьет обкуренного подростка по имени Боря, который, поругавшись с родоками и выйдя из дома без копейки денег, пошел пешком к друзьям на улицу Айскую. Совместными усилиями родных и знакомых Галинурова отмажут от тюрьмы, передав ментам сорок тысяч рублей. Потом он устроится на работу во вневедомственную охрану и всю жизнь проработает младшим исполнителем по технике безопасности.

Эта картинка прошлестела в голове Багрова так быстро, что он даже не успел удивиться, откуда она взялась и куда делась, потому что был занят действием. Уткнувшись лицом в стеклянную дверь иноземного производства, он инстинктивно схватился за ручку и, когда сила противодействия оттолкнула его обратно, потянул дверь на себя. Дверь подалась, и, чтобы не упасть, Багров был вынужден придержать ее и ввалиться в аптеку, как автомобиль, отпущенный пьяным водителем на самоход — неудержимо и по странной траектории.

В «Оптике» было пустынно. Багров успел это разглядеть, когда все та же сила движения швырнула его к стойке, где он, чтобы не упасть и не удариться, взмахнул широким рукавом пальто и что-то свалил. Хотя может быть и кого-то, потому что произошло движение воздуха, и Багров все же больно ударился об эту самую чертову стойку, которой он боялся, опять же, неизвестно отчего. Вполне может быть оттого, что он боялся удариться, это и случилось. Страхи материализуются с невероятной силой, хотя, если ничего не бояться и не опасаться, ковыляя по вечерам пустынными улицами, что помешает какому-нибудь демону материализоваться в двух шагах от тебя?

Свет мигнул в «Оптике», тетка, сидевшая за кассовым аппаратом, улыбнулась понимающе и отвернулась от Багрова, которого все тот же ветер как внес в аптеку, также и вынес, не причинив более никакого ущерба.

Выбравшись, Багров натолкнулся на Юнусова и Себастьяна, они, должно быть, остановились передохнуть — несли сумку с пивом. Пива было много, бутылок двадцать. Багров их знал, в провинциальном городе где встречаться, как не на улице Ленина, и кого знать, как не местных поэтов, хотя поэтом из них был только Юнусов, потому что Себастьян был философ. Впрочем, они были в таком состоянии, что с ними можно было быть и незнакомыми — они говорили о смысле жизни.

— О, братан! — обрадованно воскликнул Юнусов. Его и без того широкое лицо расплылось самой что ни на есть добродушной улыбкой.

— Пива хочешь? — продолжил он, передавая бутылку, которую, не дожидаясь ответа, уже выудил из сумки профессиональным жестом широкой души человека. Его доброта объяснялась не только природным благодушием, спор, так внезапно вспыхнувший по дороге в магазин, грозил опрокинуть миропонимание обоих спорящих, хотя заметить, что весь мир был в опасности, тоже было нелишним. Так что привлечь на свою сторону кого-нибудь — разве это не вернейший способ сохранить мир во всем мире?

Багрову внезапно стало страшно интересно, о чем таком особенном могут спорить люди, как это они могут придавать такое огромное значение всяким пустякам, когда ему безразлично все на свете. Это любопытство холодного разума, а также полная невозможность поделиться, что ему интересно, а что нет, и подтолкнуло его взять пиво, которое он вообще-то терпеть не мог, отхлебнуть здоровенный глоток (только тут он понял, что голоден), и вслушаться в почти бессвязную болтовню двух приятелей.

## 2

Спорили Юнусов с Себастьяном о том, что такое смысл жизни. Багров удивился, что и ему в голову приходят какие-то мысли на этот счет, еще раз шумно отхлебнул и закашлялся.

Себастьян, который, кстати говоря, был философ и в жизни, деликатно хлопнул его по спине и улыбнулся, после чего также деликатно отхлебнул из бутылки. Его конституция не возражала против такого количества пива, так что он выглядел только бодрее и веселее, чем обычно. Он, в общем, тоже не знал, чью сторону примет Багров, так неожиданно появившийся ниоткуда, из двери магазина «Оптика», словно за ним кто-то гнался. Но с кем можно поговорить обо всем на свете, как не с приятелем, которого видишь если не второй раз в жизни, то в третий? И они принялись спорить.

— Ты пойми, — напирал Юнусов. — Смысл жизни в том, чтобы что-то построить, создать! Вот кто построил египетские пирамиды, кому еще это надо было? Зачем тратить столько сил и столько мозгов для осуществления этого архиважнейшего (щегольнул он словом) строительства? А Давид и Голиаф? — перескочил он в другую эпоху. — Надеюсь, ты в курсе, кто такие был Давид? Да и по пустыне сорок лет ходить — это тоже не хухры-мухры. На такое способны только люди, у которых есть смысл жизни.

У Багрова в голове что-то помутилось. Он все-таки думал, что фальсификация истории не дошла до такой степени, чтобы эдак легко перекраивать тысячелетия. Вообще-то у него тоже были кое-какие мысли, если хотите, теория, выросшая из этих самых странствий в пустыне, но смысл жизни там никаким боком...

— Ты на себя посмотри! — напал на Юнусова Себастьян. — Посмотри на себя унимательнейшим образом (он тоже щегольнул неизвестно откуда взявшимся словом).

Юнусов и вправду посмотрел на себя.

— И что ты видишь? — не ослабляя напора Себастьян.

— Да ничего не вижу, — улыбнулся шире двери Юнусов и добавил с еще более широкой улыбкой. — Мужчину вижу!

— Ну, ты даешь, мужчина! Твои предки были герои гаремов и чайхан! Какие, к черту, пирамиды! С таким животом только в чайхане лежать, чай пить. А чтобы пирамиды строить — это надо быть худым, жилистым, — и Себастьян, ничуть не смущаясь, показал на себя.

Однако теорию он толкал при этом совершенно другую:

— Смысл жизни в том, чтобы просто жить! Вот люди пришли из Африки, это правда. Но зачем?

— Жить? — не понял Багров.

— Ну конечно! — обрадовался Себастьян. — Живи и дай жить другим!

Понять, серьезно говорит Себастьян или нет, не представлялось возможным.

— Там, в общем-то, много чего было — Рим, изобретение колеса...

Багров почувствовал, что к нему кто-то притронулся. После пива, которое ударило в голову, он что-то плохо соображал. Он огляделся — вокруг никого не было, хотя что-то все же происходило. Красная крыша Гостиного Двора, которая как раз была видна Багрову, то возникала из тьмы ослепления, то пропадала в белом свете снежного люминесцентного покрова дня.

«Что за, блин, дела, — думал он, пропуская куски разговора. — Что вокруг творится?» Но понять это было невозможно, и, видимо, не нужно.

Очнулся Багров после того, как Юнусов и Себастьян вдруг стали тыкать ему в бока кулачищами с обеих сторон, словно Остап и Андрей своего батьку.

— Ну, ты что задумался, — нетерпеливый Юнусов хотел, чтобы Багров занял какую-нибудь сторону, желательно его. — Ты что об этом думаешь?

— О чем? — не понял Багров.

— Ну как о чем? О смысле жизни. О чем же еще? — возмущился отсутствием присутствия интереса Юнусов.

— Да ему это неинтересно! — захохотал Себастьян. — Живет тут вечно, никуда ходить не надо!

— Почему не надо, — возмущился Багров, ведясь на подначку. — Жить надо просто со смыслом!

Юнусов и Себастьян переглянулись и дружно загыгыкали. Такой подход как-то не приходил им в голову, но, как бы то ни было, это был лучший выход из ситуации, и они его приняли.

— Ну что, — по инерции еще погыгыкав, затем картинно взмахнув руками, сказал Юнусов и не удержался от цитаты из самого себя. — Обнажим наши революционные клинки и рысью до Томска?

— Ага! — только и сказали Багров и Себастьян, запамятававшие ответную реплику из знаменитого рассказа Юнусова, опубликованно-го во всех мало-мальски значимых уфимских газетах и журналах.

И они пошли вдоль по Ленина, словно по льду замерзшей реки, не обращая внимания на идущих навстречу учащихя, слобожан, баб и слесарей. Единственный, на кого обратили внимание все трое, был здоровенный старик в драной шубейке, подпоясанной почему-то шарфом, с задранной назад до отказа головой и до странности детским выражением лица. Он встретился им возле парикмахерской «Наполеон», в дверь которой и вступил как в ворота Иерусалима. И если гражданин Пастернак напоминал араба и его верблюда, то этот тип походил на Иисуса и на его ослицу одновременно.

Это был не кто иной, как поэт Эдуард Смирнов, известный тем, что в свое время предоставил в распоряжение будущего нобелевского лауреата г-на Бродского презерватив, который последний использовал для того, чтобы, вылив в него пакет кефира, совершить знаменитый бросок в открытое окно местного союза писателей и тем начать свой путь к славе. Рядом с ним шел поэт Сиваков, столь же пьяный, сколь и добродушный. Посторонившись и проведив поэтов взглядами, полными восхищения, троица двинулась дальше.

Багров, который был удивлен, что все закончилось так быстро, все никак не мог понять, как это его приятели легко вышли из положения, которое не сулило им обоем ничего хорошего. Теперь они болтали на ходу о том же самом, но уже безо всякого остервенения. Исторические факты легко взлетали в небо, то раздуваясь до размеров вселенских, то съезживаясь до сиюминутных банальностей.

Багров слушал их так, словно школьного учебника по истории не существовало более, а был только некий калейдоскоп, который можно было крутить и вертеть во все стороны, как тебе заблагорассудится.

Впрочем, его отвлекло от этих мыслей ощущение, будто кто-то на ходу легко к нему притронулся, обхлопал по карманам, заглянул в лицо. Что за чертовщина? Багров передернул плечами, поежился, нерв-но оглянулся по сторонам. Никого как не было, так и не было.

Они уже дошли до перекрестка возле главпочтамта, и там, на этом обычно оживленном месте, задержались буквально на секунду, которой хватало, чтобы Багров еще раз обернулся и посмотрел назад — в сторону все той же «Оптики». Там, где он стоял минуты три или четыре назад, Багров увидел удивительную картину, один в один из компьютерной игры «Герои магии и меча 111», которой он увлекался в последнее время.

В это нельзя было поверить — три или четыре светящихся гражданина тыкали друг в друга длинными палками, с конца которых срывались голубые и красные молнии. Наконец, с одной из палок ударила какая-то уж слишком крупная искра, и один из граждан — в обыкновенной шапке-ушанке, каком-то довольно задрипанном черном пальто, которое, правда, светилось изнутри, как светится ладонь, когда ею закрываешь глаза в солнечный день, — так вот, этот гражданин начал медленно гореть, словно свечка. Через некоторое, весьма непродолжительное время он превратился в столбик пепла, который моментально осел на снег.

И тут же вся улица Ленина стала коридором с единственным выходом возле этой самой «Оптики», и Багров почувствовал, как огромная волна воздуха со все нарастающей скоростью

рванулась туда. Он инстинктивно отвернулся, шагнул вслед своим приятелям, и только ветер слегка мазнул его по шапке, которая слетела на снег как от хорошего подзатыльника.

Багров подобрал шапку, и они, как ни в чем ни бывало, пошли вверх по Коммунистической, напевая изо всех сил: «Не спи, не спи, художник! Не предавай сосну!»

## 3

Оглядываясь по сторонам, Багров думал о том, что же такого случилось с ним, отчего его ничто не волнует так, как это было раньше. Впрочем, он поймал себя на мысли, что раньше он никогда ни о чем подобном не думал, словно в голове его, как в стойле, жило какое-то чудовище, которое занимало все мысли. Но вот чудовище покинуло конуру, и он стоит в недоумении, глядя на пустоту более nežилого помещения. Отчего так случилось — было непонятно.

Наконец, устав с непривычки думать, он прислушался к тому, что говорили его приятели. Но они говорили все о том же смысле жизни, как-то незаметно снова свернув на эту животрепещущую тему, и это его возмутило. Как они могут болтать о какой-то херне, когда ему так...

Тут он задумался. Нет, в общем-то, ему не больно, но как-то странно, непривычно, неудобно, неуютно. Багров продолжил бы этот ряд, если бы возмущение его не схлынуло также внезапно, как и пришло, и холодный механизм разума выдал ему возражение, некий контраргумент происходящему. Если его друзья обсуждают что-то, значит, они страдают, а кто может сказать, чья боль сильнее? Так бывает страшно редко и вряд ли это тот самый случай.

— А с чего ты взял, что они страдают? — задался вопросом Багров, как это часто бывает, просто из чувства противоречия — ему захотелось сделать вид, что он сопротивляется.

И в этот момент разум указал ему на то простое и очевидное обстоятельство, что друзья его — такие же люди, как и он сам. Багров остолбенел. Эта мысль не приходила ему в голову, быть может, никогда.

Никогда, никогда он не думал о себе, что он просто человек, что ему тридцать два года, что роста он выше среднего. Ну, то есть он это знал вообще-то, но эти цифры и факты ему надобились разве что в поликлинике, для ответа на вопрос, обычно небрежно задаваемый, о том, сколько ему полных лет, а больше-то и нигде. Да какой дурак думает о себе постоянно? О том, что он шатен, что лицо у него широкое, что он очкарик, что, фланируя по улице, он выглядит нелепо, потому что разговаривает сам с собой, при этом губы странно шевелятся, отчего девицы и пожилые пенсионерки шарахаются от него.

«Боже мой! — подумал Багров, вдруг обнаружив что-то важное для себя. — Боже мой! Так его друзья тоже люди и им тоже бывает больно! Так и все на свете люди — и им тоже бывает больно. И он сам тоже человек. Журналист из карликового журнала. А он-то думал, что он...»

И тут мысли его потекли в направлении страшного отчаяния, потому что пропала между тем, что он думал о себе и кем он был на самом деле, оказалась настолько грандиозна, что если бы не безразличие, охватившее его вот уже минут сорок, он не смог бы выбраться из этой переделки живым или, что одно и то же, с нормальной психикой.

Успокоило его все то же действие механизма, который помещался в черепной коробке. «Поскольку все вокруг люди, и думают они примерно одинаково, и мечтают одинаково, то и они далеко не то, что думают о себе, у них в душе такая же пропасть», — решил Багров.

Эта мысль кое-как вернула ему пошатнувшееся душевное равновесие, и он кинулся нагонять Юнусова и Себастьяна, которые скрылись было за поворотом на Карла Маркса возле Дома офицеров.

Они прошли возле магазинчика «Русское золото», в котором Багров никогда не бывал, ему и в голову не приходило, что золотишком можно разжиться, да просто купить его, затем обогнули контору «Башавтотранса» и свернули в узкий проход между бывшей синагогой и бывшим заводом сельхозмашин.

В синагоге теперь была местная филармония. Ее красивое здание, которое не ремонтировали, должно быть с тех самых пор, как последний еврей покинул его в семнадцатом году, бормоча что-то вроде «ничего-ничего, у нас в запасе вечность», тем не менее, выглядело очень даже прилично. «Если в наши дни оно такое, — думал Багров, — то в прошлом веке это было, наверное, лучшее здание в городе». Тут ему в голову пришла история, которую как-то рассказал башкирский писатель Рашид Султангареев.

— Мужики, — прервал он затянувшееся молчание. — Тут у нас был такой министр печати. Он отмечал свое пятидесятилетие в малом зале филармонии.

— Это где орган стоит? — спросил более продвинутый в музыкальных вопросах Себастьян.

— Ну да, да, — раздраженно закивал Багров, который терпеть не мог, когда его перебивали.

— Орган это клево, — мечтательно сказал Юнусов, никогда органа не слушавший, махнул рукой, словно заводя автомобиль, и добавил:

— У меня в машине куча всяких кассет с музыкой. Я их все время слушаю, это знаете, как развивает!

— Ну да, ты вечно слушаешь «Таганка, те ночи, полные огня!» — захохотал Себастьян, и было непонятно, как такой гулкий смех живет в его жилистом теле.

— Ну, ладно, дайте дорассказать, — сморщил нос Багров и быстро, пока не перебили, продолжил: — Ну вот, вечер прошел, сидят они на банкете, бухают. А министр печати и говорит министру культуры: «Чего, мол, ты мне подянку кинул, какие-то железные грубы на сцене оставил? Мог бы и убрать, пятьдесят лет раз в жизни бывает!».

Юнусов и Себастьян грубо и с удовольствием захохотали. Разумеется, это был хороший повод для подначек, и выражения типа «будем подумать, как сделать, чтобы культура расцвела» засвистели в воздухе как стрелы Ахилла — неотвратимо и неумолимо.

— Все фигня, — отбивался Багров, кидая свои стрелы в обратку проклятым браткам-ажейцам. — Я вот был на спектакле в

русской драме. Приехала делегация из Петербурга, и директор тамошнего театра с трех попыток не смог сказать «Башкорто-стан». Так что не надо ля-ля.

— Любопытно все же, — думал Багров, одновременно изобретая всякого рода эпитеты, которыми он осыпал своих друзей в ответ на их чепуху на постном масле. — Любопытно, что мы ругаемся хрен знает из-за чего. Какие слова, какие слова! — оценил он аргумент, вонзившийся в правое полушарие мозга. И все это только для того, чтобы побольнее уязвить, задеть своего же товарища. Отчего же человек вечно живет в системе «нападение — контрнападение»?

Перепадка, в которой стали звучать имена знакомых, как то рокера Бутякова, осветителя Рапирова, поэтессы Керчиной, заняла всю дорогу до улицы Аксакова, на которую они вышли, ныряя в узкие переулки посреди деревянных домов, мимо станции скорой помощи, мимо того же минпечати, мимо трамвайной остановки, мимо ментовки с унылыми ментами, которые вяло ходили взад— вперед, должно быть, они ожидали проверки из своего министерства и потому не обращали никакого внимания на трех полупьяных субъектов, мимо, мимо, мимо, пока не нырнули в подъезд почерневшей от времени двухэтажки, постройки где-нибудь тридцатых годов, потому что архитектура ее была ужасной.

«Нет, это не синагога», — подумал Багров отчего-то, поднимаясь на второй этаж по скрипучей деревянной лестнице.

Так они пришли к Себастьяну.

Довольно вяло они разделись в тесной прихожей, толкаясь и чуть не падая на стенку, прошли в небольшую комнату с высоким потолком, по пути заглянув на кухню, где стоял огромный стол, заставленный какими-то странными техническими приспособлениями, а также обыкновенная газовая плита, облитая потоками всех цветов радуги и оттенков, не поддающихся описанию.

Бросив себя на диван, Багров облегченно вздохнул. Себастьян гремел какой-то посудой на кухне, а Юнусов с широченной улыбкой стал доставать пиво из сумки.

Когда он достал четвертую бутылку, Багров непроизвольно, словно его предок, впервые попавший в город, сделал изумленное лицо. Тем временем Юнусов продолжал одна за другой выуживать из глубины темные сосуды, и когда изумление Багрова достигло уже крайних пределов, он самым убедительным тоном сказал:

— Ты пойми, с пяти бутылок пива все только начинается!

Тут с кухни пришел Себастьян, который принес тарелки с чем-то съедобным на вид, они расселись поудобнее, раскупорили по бутылке, и время на миг остановило свой ход и затерялось в сумрачных коридорах пространства.

Багров только сейчас понял, как он страшно устал. Устал от прогулки по улицам заснеженного города, от своего похмелья, которое случалось с ним не часто, но уж по полной программе, но прежде оттого, что он все также абсолютно ничего не чувствовал. Сам себе он



казался теперь некоей машиной, роботом, что ли, у которого в голове только и дела, что прокручивать мысли, без конца и начала, без всякого смысла и разумного вывода.

Теперь он думал о Юнусове и Себастьяне. Интересно, почему это одного зовут Юнусов, а другого Себастьян? Этот вопрос никогда не приходил в голову ему, потому что раньше он прекрасно знал, что Юнусов это Юнусов, потому что он Юнусов, а Себастьян, соответственно, Себастьян и есть. Вы же не задумываетесь над тем, как зовут ваших друзей, вы просто живете с этим знанием. Никому и в голову не придет при встрече сверять человека со словесным портретом его — в прошлый раз она была блондинка среднего роста, глаза чуть навывкате, серо-голубые, во рту 128 мегабайт зубов, характер нордический. Куда все это делось теперь, спрашиваю я и не нахожу ответа.

Эта мысль, пробуждая по закоулкам памяти, вернулась обратно, захватив по пути такую историю. Когда-то давно Багров познакомился с девушкой, пригласил ее в кино. Стоя возле кинотеатра, он вдруг с ужасом понял, что забыл, как она выглядит. И вот несколько часов подряд он стоял на ветру, потому что дело было осенью, вглядывался в лица проходящих девушек и даже неловко спрашивал то у одной, то у другой, не Наташа ли она?

Она опоздала на четыре часа, или же это Багров перепутал время, просто, когда она пришла, Багров узнал ее мгновенно.

Это странное включение памяти его позабавило и вместе с тем озаботило, потому что Багров ощутил беспокойство, связанное именно ни с кем иным, как с Себастьяном.

— Слушай, Себастьян. Ты же мне обещал ко мне зайти! Помнишь?

Это были его последние слова, потому что свет померк, освобожденные от контроля сердца мозги уже не хотели ни иметь никакого дела с реальностью и полностью отдались волшебному полету в алкоголическую бездну, имя которой Уфа.

Первым делом в его глазах потухли фигуры Себастьяна и Юнусова, затем скрылись во тьме очертания комнаты, а затем и сама Уфа погрузилась во мрак, возвышаясь все же над окружающим пространством, как молчаливое обесточенное чудовище, душа которого путешествует неведомо где, отторгнутая от тела силой, превышающей всякое воображение.

## 5

Багров открыл глаза и нехотя сел на кровати, глядя полубезумными глазами по сторонам, не понимая, где он и что с ним. Наконец сообразив, что снилась ему какая-то бодяга, в которой разобраться стоит немалых трудов, и потому решив их не предпринимать, он поднялся с постели и, шатаясь, побрел в туалет. Махнув рукой по пути, он щелкнул кнопкой старенького телевизора «Фунай». Он давно и безнадежно был покрыт пылью, и только несколько кнопок блестили от постоянного прикосновения хозяина. Пульз, не выдержав столь варварского обращения, выбрал свободу и скрылся где-то в завалах вещей. «...Расстреляны в центре Грозного, — заволновался сумрачный телевизор, переходя с места в карьер. — Как заявил Аслан Масхадов...

Багров скривил и без того кислую физиономию и побрел дальше в туалет, он же санузел — фырчать, кряхтеть, откашливаться, выплевывать, полоскать, обтираться, пока не вылез несколько посвежевшим в свою комнату. Новости уже кончились и шла реклама, которую Багров уже давно заучил наизусть и проговаривал вслед за голосом из-за кадра просто как мантру хорошего дня.

Электрочайник дошел до крайней точки кипения и, сделав вид, что сейчас лопнет, наконец отключился, как супруга, сделавшая свое дело.

Багров почесал в затылке, поискал глазами большую чашку, сходил ее сполоснуть, после чего кинул заварки и стал смотреть, как она шипит под струей кипятка. Он вспомнил своего племянника, который удивлялся, отчего это у него чайник всегда закипает быстро. «Воды надо меньше наливать!» — с непонятной злобой вдруг сказал вслух Багров и прикрыл чашку единственным уцелевшим в его походной жизни блюдцем. Теперь можно было посидеть на диване, все так же бессмысленно наблюдая, как тени в телевизоре кипятятся, выпучив глаза.

Прихлебывая чернящий чай из огромной кружки, он старался не смотреть на свою комнату, иначе разруха, в которой пребывало все, начинала бить в глаза. Наконец Багров встал и стал одеваться. «Черт, черт! — вдвинулся, отчего это у него надуэтными брюками, сел на диван. Сегодня была суббота, и торопиться на работу не имело смысла. Блин, единственные два дня, когда можно выспаться, и вот один из них потерял. Было ясно, что Багров уже не уснет, нет таких сил, чтобы усыпить человека, который приготовился к ясному дню, страшным усилием всего организма привел себя в бодрствующее положение и вот — облом. Было ясно, что надо что-то делать с этим напряжением, что надо выливать куда-то силу, пробужденную насильно, от которой теперь было не укрыться. Лечь спать насильно — будет болеть голова, а это не самое лучшее ощущение в жизни.

Наконец, смирившись с неизбежным, Багров решил малость прибраться в комнате. С этой целью он, все-таки стащив с себя брюки и оставшись в семейных трусах, стал осматриваться, как Морозовоево. Ему хотелось найти какой-то выдающийся предмет, водворением которого на место можно было бы считать уборку проведенной. Однако, как он ни вглядывался, такого предмета не находилось.

Куча книг, сложенных в несколько ящичков возле окна, угрожающе топорщилась, грозя обвалиться и выползти на свет, словно в этих ящичках книжки размножились по ночам каким-то необычным способом. Велосипед, который стоял возле окна, и должен был стоять там — куда вот ты денешь велосипед посреди зимы? Девать его было некуда. Стол, на котором громоздился системный блок компьютера в окружении всякого барахла — как-то книжек, газеток, журналов, даже пакет полиэтиленовый с теми же книгами лежал на столе слева от монитора — нет, стол трогать было нельзя, бумажки просто разлетятся по комнате и ничего с ними не поделаешь.

Наконец взгляд Багрова упал на черную драпировку возле стола. Это было его пальто, к которому он уже недели две как хотел пришить петлю. Все гардеробщики во всех учреждениях уже изрутали его са-

мыми позорными словами, и вот настала пора это сделать. Решив, что важнейший элемент по уборке территории найден, Багров поднял неожиданно тяжелое пальто и стал елозить им по коленям, пытаясь поудобнее устроиться. Нечто твердое, угловатое скользнуло по колену, и Багров стал ощупывать подкладку — в ней определенно что-то было. После некоторого ощупывания и обшаривания из дыры в подкладке появился очень маленький флакончик с притертой пробкой — очень даже тяжеленький на ощупь и какой-то странной наружности. Ему не доставало этаким бойкости, которой теперь щеголяют всякие одеколоны и духи, той бойкости, которая говорит — съешь меня, вдруг пришла в голову фраза из назойливой рекламы.

Машинально Багров открыл флакончик, натужно дергая пробочку. Никакого джинна, разумеется, не было. Поймав себя на этой мысли, Багров засмеялся. Приблизив к носу флакончик, он понюхал. Запаха тоже не было никакого. Наконец он глянул в маленькое отверстие левым глазом. В глазу защипало. Багров пожал плечами и водворил пробочку на место. Какая-то чушь творилась вокруг, странная чушь, которой не было разумного объяснения.

## 6

За окном, как ни в чем не бывало, стояла зима, и ее холодный промозглый бело-синий отсвет лежал на всем, что попадало в поле зрения Багрова. И в общем, только этим можно было объяснить, отчето все мигает и кружится перед глазами. Слишком долгая зима наконец вступила в свои права не только за стеклом, где она владычествовала уже давно. Теперь и в душу проникли ее потусторонний цвет и запах.

За окном все так же стояли дома, за окном туда-сюда сновали автомобильчики, возникая из ниоткуда и пропадая в никуда, но сами здания, в которых жили люди, вдруг резко поменяли цвет, из привычного желтоватого став пронзительно синими, во всем повторяя оттенки зимы. Багров думал, что он свихнется, когда обнаружил, что он не спит, что какофония света за окном продолжается уже довольно долго, что он стоит и смотрит в окно, потому что в комнате за его спиной творилось нечто уже совсем несообразное.

Началось с того, что Багров, оторвав голову от книги, в которую он пялился минут уже сорок, решительно ничего в ней не понимая, вдруг обнаружил небольшую дыру в стене напротив, дыру, в которую была видна улица. Не веря своим глазам, он вскочил с дивана, подошел к этой самой обыкновенной стене комнаты в обыкновенном общежитии, сложенной из обыкновенных бетонных блоков и глупо, как в фильмах ужасов, ткнул пальцем в дырку. Палец натолкнулся на что-то твердое, консистенции той же, что и стена, однако все-таки прозрачное. И в этой прозрачности был виден соседний дом и работающий телевизор в окне напротив, и там же какая-то толстая сетка раздумчиво меняла рубашку, нюхая швы.

Багров пожал плечами и отвернулся. Каково же было его изумление, когда он увидел, что такое же пятно появилось на противоположной стене, где теперь его соседка, вовсе не обращая на него ника-

кого внимания, кокетничала с каким-то парнем. Багров кашлянул. Соседка не обратила на этот звук никакого внимания, ее руки и плечи стремительно вырастали в дыре, при том что стена также стремительно сокращалась в размерах, пока не исчезла вовсе. Багров сделал два шага вперед и больно ударился о то место, где только что стоял диван. Дивана не было, но что-то твердое на его месте — было.

Багров бросился к окну, которое единственное не поменяло цвета, потому что и так было прозрачным, схватился за подоконник и стал в него смотреть.

Наконец не выдержав, он посмотрел через плечо и тут же отвернулся в ужасе. За спиной не было абсолютно ничего. Тот подоконник, возле которого он притулился, не в силах стоять, оказался карнизом, а за спиной...

За спиной разверзлась пропасть — огромная беззвучная пропасть с клочками тумана на уровне глаз и темным провалом, в котором, однако, что-то блестело тем же бледным светом зимы и где-то очень далеко внизу лежали темные спины валунов, словно на берегу реки. Голова закружилась, в глазах потемнело, а потом, когда Багров стал снова различать предметы, далеко-далеко внизу валуны зашевелились, словно почувствовали, что кто-то смотрит на них пристальным взглядом.

Багров зажмурился, потер онемевшей рукой глаза, другой он крепко держался за подоконник, уже невидимый, но вполне осязаемый. Через минуту он приоткрыл левый глаз, но теперь смотрел не вниз, а вверх. То, что он увидел, было невыносимо. Еще секунда, и он грохнулся на пол, как от удара электрическим током.

## 7

Багров долго смотрел в потолок, не вполне понимая, где он и что с ним. Наконец до него стало доходить, что все эти пятна странного серого цвета — всего лишь пятна на обоях, ничего сверхъестественного, что находится он у себя дома, в маленькой комнатке общежития, где живет уже лет семь, где все так привычно и надо привычно вставать и идти на работу. Ужас прошедшей ночи моментально съезжился и выпал из поля зрения, напоминая о себе только некоторой измученностью сознания, какая появляется после того, как тебя оставит долгая зубная боль.

Багров отхлебывал горячий и густой, цвета ночи, чай, осматриваясь по сторонам и радостно, почти восторженно узнавая привычную обстановку, в которой ничего не поменялось с прошлого дня. Надо прибраться — привычно подумал Багров, откладывая это благое дело на завтра, не глядя поставил чашку и стал одеваться.

В длинном и почти сумеречном коридоре общежития ему было хорошо — мягко стелился обшарпанный уборщицами линолеум, стены, окрашенные в серо-зеленый цвет, не выказывали никаких злобных намерений, кроме тех, по которым они здесь стояли, соседи, которые появлялись из своих комнат, быстро здоровались и также быстро убегали по коридору вдаль — там был выход с этажа.

Багров неторопливо шел по коридору и тихо радовался жизни — это чувство давно уже не посещало его. Подпрыгивая на ходу по лестнице, спускаясь с этажа на этаж, он почти выбежал на улицу. Предчувствие не обмануло — на улице был мягкий зимний безветренный день, такие дни бывают на исходе зимы, когда она, словно кошка, вбирает когти ветра и гладит мягкой шелковой лапкой, наслаждаясь этим спокойствием, которое, в общем, ничто иное, как отдых после прошедшей бури. Вчера выла метель, вчера она заглядывала краем глаза в ночное окно, словно чудовищный Карлсон, вчера она расшатывала дома, пытаясь вырвать их, как болящие зубы, вчера...

Но сегодня и сил у нее не так много. И уже не видит природа какой-то радости во всем этом, и уже машет рукой, дескать, живите, живите. И Карлсон удалется к себе на крышу мира, и люди вздыхают по-новому, и апокалиптические настроения уже не прорываются у едущих в троллейбусе на работу поддевятиго утра.

А всему виной число с тремя девятками, небывалое на нашем веку число, такого еще не приходилось испытывать, и человек, привыкший во всем подмечать необычное, мучительно пытается вложить его в прокрустово ложе своего сознания.

Но даже не оно тревожит, пугает другое — то, что идет следом, число с тремя нулями. Как жить в будущем? Как жить в мире, где все иначе? Как писать эти нули, если за окном все та же обыденность? Или в таинственный миг между первым и вторым числами что-то случится и мир преобразится так, как нам хотелось, как мечталось и на что мы променяли нашу похлебку, выменивая свое первородство обратно? Голод, мучительное присутствие которого исковеркало души наших дедов и отцов, а вернее сказать, бабок и матерей, так вот этот голод вдруг отступил, мы уже не боимся его, как нет в нас и страха перед войной, словно война это не ужас божий, а — как было когда-то, еще у Пушкина — наслаждение?

Но вокруг усталые лица, вокруг люди, которые, быть может, уже пресытились бытовым существованием, ежеминутной скованностью законами великого государства, небывалого в истории. Так люди, которые вышли из дома, еще долго время несут в себя ту домашность, тот уют и тепло, которое ветер не сразу может расшевелить, растормошить, выхватывая по кусочкам из слабееющих рук. Да и человек не сразу понимает, что дом его остался где-то позади, еще хорохорится, еще держит спину, постепенно слабея, понимая, что он один посредине пустынной земли, что рядом такие же, как и он, голодные, слабеющие люди.

И вот здесь таится опасность, потому что надо потерпеть, немного, и снова в груди всколыхнется радость пространства, радость бескрайних просторов жизни, в которой открыты все пути от края и до края, и уже другим глазом взглянешь ты на товарища, который стоит рядом с тобой, так же, как и ты, пытаешься дышать отвыкшей от такого дыхания грудью. Полной грудью вдохнешь, чистым воздухом, и уже освободишься для новой жизни, в которой нет места старым страхам и наваждениям, и тогда ты поймешь, отчего ты бросил гниловатый, сладкий уют, отчего потребовал назад свое первородство, которое пока подспудно лежит в твоей груди еще не разгоревшимся оком.

Но пока настороженность, усталость и безразличие, и жалкие мыслы о том, как заработать, прокормиться, дожить. Дожить не до числа с тремя нулями, когда стукнет тридцать лет, нет, дожить до будущего, которое будет твоим.

## 8

Некто, стоящий на пути к истине, приближаясь в своих размышлениях к Земле, может остановиться в недоумении, не понимая, как вообще может существовать система, в которой все зыбко и неустойчиво. Обнимая собой все шесть или семь миллиардов мыслечувствующих созданий, он может прийти к выводу, что перед ним всего лишь саморегулирующаяся машина, назначение которой невозможно вычислить, прибегая к наблюдению.

Но прибегнуть к эксперименту также не представляется возможным по причине отсутствия контрольной группы, без которой никакой опыт не может быть полноценным.

## 9

Январскую тьму раннего уфимского утра третьего января пробуравил отдаленный треск будильника. Отхлопотав свое в неурочный час, он замолк, но уже показалась из тьмы огромная глыба девятиэтажного общежития работников культуры. Грубого бетона стены казались нежилыми, но света становилось все больше и больше, к нему один за другими, вослед своим будильникам, присоединялись кластеры окон, как если бы запускалась программа, и она таким образом сигнализировала о своей готовности.

За тонкой стеной заверещало особенно неприятно, и Багров рывком приподнялся на постели. Уже минут семнадцать он чувствовал себя отвратительно. Настало утро нового дня, нового рабочего года, но Багров в жалкой попытке отодвинуть его наступление пытался вернуться в полудрему.

Острая боль ударила в висок, и он обвел ничего не видящими глазами свою маленькую комнату. На третьем движении к ним вернулась резкость, и он понял, что лежит в луже блевотины. Она залила все одеяло и ровным слоем разлилась по полу возле кровати, напоминая праздничный зимний салат, из которого, собственно, и была изготовлена.

Держа голову на весу, как бомбу, Багров слез с кровати и пошел в свой небольшой совмещенный санузел, оставляя за собой полосу блевотины. Горячей воды, как всегда, не было. С огромным трудом Багров бросил в раковину одеяло, рыча, включил кран холодной воды.

Замедленно он вытерся, дрожа от холода, пошел в комнату, оделся. С лужей надо было что-то делать, и потому все также бережно, сохраняя пространственную конфигурацию, он опустился на колени и стал двигать тряпкой из стороны в сторону, время от времени выжимая ее в тазик, который служил ему верой и правдой для всех нужд — от стирки до редкого мытья полов.

Наконец все было кончено. Багров посмотрел на часы — пора было идти на работу. Пить чай времени не оставалось. Автоматически он надел пальто, которое показалось ему неожиданно тяжелым, шапку, с трудом завязал шнурки на зимних ботинках — это заняло больше всего времени, и вышел в коридор. Дойдя до вахты, он вдруг понял, что не помнит, закрыл он дверь или нет. Сделав несколько шагов в сторону двери, он резко развернулся, отчего голова чуть не раскололась пополам, и пошел к лифту.

Дверь была закрыта. Багров подергал ее, запоминая сам факт дергания, дескать, закрыто, и пошел вниз. В голове было только одно — не опоздать.

10

Троллейбус резко затормозил, дернулся и остановился. Огромная шаровая молния зажглась на минуту в проводах и тут же погасла, медленно тая в зрачках невольных свидетелей. Багров, выведенный из похмельного мечтательного оцепенения, больно ударился о поручень. Люди в салоне пришли в движение, хватаясь кто за что может. Толчок сообщил их лицам разнообразные неприятные выражения, однако никто не издал ни звука. Люди молчали, молчание это было угрюмым и мрачным и относилось скорее к отчаянию, чем к тупой невосприимчивости к внешним раздражителям. Одна только кондукторша, молодая некрасивая девушка, в полинялом спортивном костюме и лыжных брюках, пробиралась по салону, оттапливаясь от пассажиров, словно шла по палубе корабля при беспокойном море. Резким от страха перед пассажирами голосом она все время повторяла:

— У кого нет билета? Кто еще не обилечен? В зад у всех билеты? У вас спереди есть? Вошедшие, приобретайте билеты, на линии контроль...

Толчок заставил ее лишь на минуту прервать свою пластинку, после чего она решила продираться вперед, сквозь толпу, к кабине водителя, чтобы переждать с ним время вынужденного бездействия.

По дороге она наткнулась на Багрова и запела ему свою привычную мантру.

— У меня-то спереди есть, — мрачно сказал Багров.

— Ага! — сказала кондукторша и пошла по салону дальше.

Однако стояли недолго, секунд десять, и троллейбус вновь принялся раскачиваться во все стороны, так что сходство с кораблем только усиливалось.

Вновь с проводов сорвалась искра, теперь уже тормознул трамвай «четверка», только что лихо промчавший мимо, за ним встал троллейбус, маршрутки сгрудились в кучу, взволнованные, словно куры. Пассажиры все также мрачно молчали, как если бы была дана команда не обращать внимания на то, что творится вокруг.

Багров глянул в окно троллейбуса, остановка была уже недалеко. Застряли они на перекрестке Проспекта Октября и округа Галле, здесь такое случается ежедневно — потому что именно здесь пересекаются потоки грузового и пассажирского транспорта. Баг-

ров и сам не заметил, как стал по привычке профессионального газетчика складывать в уме статейку с лихим заголовком «Перекресток на семи ветрах».

Собственно, только сейчас он обнаружил, что состояние полного безразличия к жизни никуда не делось, оно здесь, рядом, в нем самом, и что только какие-то глупости типа того, что на работу грех опаздывать и надо писать статейки, именно эти глупости заставляют его двигаться и — Багров пафосно подумал, подбирая точное слово — жить.

— Куда лезешь? Тебе что, жить надоело? — закричали за окном так громко, что эти возгласы разорвали привычный шум дороги. Какие-то люди пробежали за окном троллейбуса, как петухи, у которых перед глазами ясная цель. «Преступник Соловьев попытался уйти от погони и справедливого возмездия Фемиды путем бегства», — сложил очередную строчку Багров, с любопытством наблюдая, как некий чудак лихо вынырнул из кустов и теперь мчался по аллее на одиннадцатом трамвае. За ним на приличном расстоянии бежали какие-то люди. Все происходило так быстро, что нельзя было понять, кто да что, может быть, и вправду это были блюстители порядка.

Троллейбус наконец тронулся, люди возбужденно стали переговариваться между собой. «Убил», «украл», «везли под конвоем, да вырвался», «наверняка, это Гамаюнов» и все такие прочие выражения повисли в воздухе как лапша.

Но что там случилось за окном, понять, узнать было невозможно. Кто бежал, зачем, от кого скрывался? Жизнь, собственно, состоит из таких вещей, которые начались неизвестно когда, идут неизвестно как и кончатся неизвестно когда. А почему произошло то или иное событие — нам того не понять.

Багров, успокоившись на этой мысли, почти что весело выпрыгнул из троллейбуса на своей остановке и пошел к Дому печати — там была его контора, его журнальчик, в котором он работал вот уже второй год.

## 11

Дом печати приближался к Багрову, как чудовищная детская самосборная игрушка — огромный кирпич, поставленный на попа и подоткнутый таким же кирпичом, только уложенным на широкую свою грань. Чем ближе Багров подходил, тем больше Дом печати вырастал в глазах, разворачиваясь широкой своей стороной, надвигаясь медленно и неотвратимо, словно гигантский клык зверя, тускло отсвечивающий невсыхающей слюной больших, во весь этаж, окон.

Должно быть, с тяжкого бодуна все вокруг было бесцветно белым, люминесцентным, и Багров безразлично шел по тротуару, по небольшой аллейке тяжелых от тумана лип, нагоняя таких же безрадостных, спешащих на работу коллег. Они возникали в сознании, как фигуры из кино, говорили незначущие фразы и снова исчезали с линии обзора, а Багров, который понимал, что и он для коллег — всего лишь фантом, шел и шел вперед, словно замороженный магнетизмом здания, в котором работал уже несколько лет. Когда-то здесь было



Ивановское кладбище, закрытое после войны и разворошенное в семидесятые годы неумной энергией первого секретаря обкома Шакирова, который черта не боялся. Но, как это часто бывает, разворошить разворошили, на это секретарского толчка хватило, а обустроить как-то руки не дошли.

Кто-то позаботился родственников перезахоронить, кому-то было недосуг, в общем, долгие годы мальчишки таскали отсюда черепа пугать девчонок да поздние прохожие перебежали пустырь с опаской. Туман хозяйничал здесь, как хотел.

Наконец один конец кладбища застроили Дворцом культуры «Юбилейный», на другом поставили Дом печати и на том успокоились.

Никаких особых историй с ним связано не было, только вот умер незначай журналист в закрытом кабинете, просидит за столом трое суток, словно при жизни не сиделся, и только тонкий запах из-под двери привлечет внимание коллег. Двери выбьют, человека оприходуют, повесят внизу портрет в черной рамке. Коллеги напьются, будут буянить, бить стекла, совать друг другу в лицо ручища, которыми ничего тяжелее пера не держали, потом разбегутся по домам, лелея свои обиды. Тяжела ты, участь журналиста, нелегка.

Багров забежал в здание, прошел к лифту мимо милиционера, этот молодой прапорщик никогда ни с кем не здоровался — от сантехника до главного редактора правительственной газеты (легкое презрение, неизвестно чем вызванное, застыло на его лице, как маска Тутанхамона).

Из трех лифтов все время работают только два, и то обычно только на подъем. Единственный лифт, который можно вызвать, чаще всего бывает полон, потому журналисты вниз идут пешком, останавливаясь на этажах поговорить со встречным Гекльберри Финном.

На этот раз в лифт набилось шесть человек. Они молча нажимали кнопки своих этажей.

— Привет!

Багров поднял глаза. Это была коллега.

— Привет.

— Вечером пойдешь в Русский драм?

— Иду. А что там?

— Да не помню я. Там узнаем.

— Ладно. До встречи!

— До встречи.

И снова подъем, лифт останавливается, выпускает людей, вновь закрывает дверь, продолжая свою работу неторопливо, уныло, но добротно.

Багров также уныло выходит на площадку, идет почти до середины этажа и входит в дверь. Здесь редакция журнала «Сельские деривативы», карликового образования карликовой тематики. Здесь Багров работает вот уже почти два года.

Странное дело, никогда такие мысли не приходили в голову Багрову почти за все четырехста дней работы здесь. Что же такого случилось, не с похмелья же лезут в голову всякие мысли, с пьянки взгляд на вещи не меняется. И тут он понял, что нечто, случившееся с ним на перекрестке двух улиц еще вчера, не прошло, как про-

ходит дурной сон, что безразличие, охватившее его, штука реальная и с ней надо что-то делать, если уж универсальное русское лекарство не сработало.

С раскальвающейся головой он поздоровался с коллегами, прошел к шкафу, где они вешали одежду, на ходу снимая заметно тяжелое пальто. Ему не хотелось пожимать им руки, ему казалось, что любое прикосновение вызовет немедленную тяжкую рвоту.

— Багров, закройте за собой шкаф, — грубым горловым голосом сказал заместитель главного редактора Волшебнов, так же грубо сработанный мужчина с лицом обиженного девятилетнего мальчика. Эту фразу он произносил на протяжении всех дней работы Багрова, и Багров к ней привык. Он молча вернулся, закрыл эту проклятую дверцу, прошел за свой стол, сел. В комнате снова воцарилась тяжелая тишина.

В этой большой, соединенной из двух, комнате сидели пять человек. Все они молчали. Молчал и Багров, для вида открывший чью-то рукопись. Он думал о том, что никогда раньше ему не было так плохо. Потом уронил голову на предусмотрительно подставленную руку и уснул.

## 12

Багров поднял голову, медленно возвращаясь к действительности. Башка трещала самым страшным образом, жуткие картины сна еще стояли у него перед глазами. Он не сразу понял, что он в редакции журнала «Агитаторы Ктулху». Странное дело — он никак не мог запомнить, как называется учреждение, в котором он служит. Самые разные названия приходили к нему на ум, и всякий раз ему казалось, что последнее и есть самое верное.

Мутным еще взглядом Багров обернулся и увидел коллегу по журналу Волшебнова. Он за столом, на своем рабочем месте, спал с открытыми глазами. Мышцы его лица обвисли, гримаса, на которую голливудские мастера, работающие в триллерах, тратят по восемь часов инвальнойного времени, жила на нем сама собой, словно его специально и очень долго тренировали вызывать из небытия.

Из горла вырвался короткий вскрип, туловище дернулось, и в глазах Волшебнова медленно, как это было в фильме про терминатора, проявилось сознание. Пошатываясь, он встал и вышел из комнаты.

— Ну вот, поработали, пора и пообедать, — весело, словно часа три уже травил анекдоты, сказал Эдуард Абрамович Ноль, первый заместитель главного редактора. Изображая старческую немощь, он медленно, на полусогнутых ногах появился на сцене из-за шкафа, за которым сидел, тщательно записывая редкие реплики сослуживцев и их также нечастые передвижения по комнате.

Любопытно, что, несмотря на говорящее имя-отчество, Эдуард Абрамович был человек стального цвета. В молодости, рассказывали, он косил под Сергея Есенина, известный портрет с трубкой и виноватыми глазами. Многие наивные люди так и считали его ласковой болонкой посреди жестокого мира.

Между тем на столе появилась нехитрая снедь — три кусочка черного хлеба, банка желтого до отвержения масла, красная кружка для чая, цилиндр гадливой ливерной колбасы. Медленно, демонстративно Эдуард Абрамович стал намазывать масло на хлеб, приговаривая самым жалобным, какой только существует на свете, тоном и вздыхая через каждое слово.

— Как жить-то будем? Картошка ведь не уродилась, а Чубайс все поднимает и поднимает цены на электричество...

— Да, да, вы правы. Трудно нам живется, русским писателям, — проскрежетал заведующий отделом сельской жизни Никандров, неслышно подсевший к столу и отвернувший крышку от стеклянной банки, в которой виднелась какая-то очень странная белесая масса.

— А вот есть у меня старенький велосипед, — продолжал ныть, бросая по сторонам контрольные взгляды, Ноль. — Может, продать его? Тогда недели две продержусь как-нибудь.

— Тогда, конечно, продержитесь, — в тон ему абсолютно искренне пропел Никандров, деликатно, чуть виновато почавкивая.

— Это евреи во всем виноваты, — прорычал Волшебнов, вернувшийся с посвежевшим лицом и руками. Он тоже принялся вытаскивать какие-то пакеты с бутербродами, еще какой-то пищей и одновременно проводя политинформацию. — Жиды...

— Да, да, — как-то особенно тонко проурчал Никандров, проглатывая какой-то аппетитный кусок.

Багров издал странный горловой звук и выбежал прочь из кабинета.

Поэт Шалухин, до того сидевший с закрытыми глазами и гримасой отчаяния на лице, с любопытством открыл один глаз и глянул ему вослед, но затем та же гримаса овладела его лицевыми мускулами, так что глаз закрылся вновь.

Ноль, Волшебнов и Никандров, словно охотники на привале, продолжали обмениваться сокровенными словами о тяжелой жизни русского народа.

## 13

Прелесть состояния, которое в просторечии именуется бодун, состоит в том, что человек словно соскакивает с некоей безумной лошади и какое-то время лежит в этаких метафорических кустах, жадно глотая воздух и озирая первооткрытыми глазами окрестности, которые он более и не увидит никогда. Но думать о том, что если тебе все безразлично, то ты и счастлив, не приходится. Дело в том, что на место отчаяния бешеной гонки приходит пристальный взгляд.

Полумрак и расслабленность пьянки дают ощущение, что все вокруг прекрасно, да и времени-то задуматься, что к чему, в общем-то, нет. Однако стоит только остановиться, как уродство мира лезет в глаза, вызывая только одно чувство — тошнотворное раздражение.

Багров оторвал свой взгляд от безобразной массы, которой он залил унитаз, и наконец поднялся на ноги. Полчаса уже он оглашал туалет непередаваемыми звуками отчаяния и боли, которые, впро-

чем, вызвали только недобрую усмешку коллег из других изданий, которые стояли на лестнице и курили, комментируя каждый звук нецензурными одобрительными возгласами.

Когда наконец Багров, бледный и помятый, появился в дверях, они встретили его дружным хохотом — так он был жалок и вместе с тем так понятен в своих страданиях.

Отхохотавшись, они принялись отпускать самые жалкие шуточки. Багров посмотрел на них мрачным взглядом, дабы бросить в них стальное слово. Ничего путного в голову не лезло, так что он молча пошел по лестнице вверх.

Этажом выше он посмотрел в огромное окно. Там лежала заснеженная Уфа — двухэтажные дома по улице Пархоменко, которым давно уже нужен ремонт, хотя бы косметический, уродливые, монструозные корпуса завода РТИ.

Багров думал о собственном безразличии ко всему. Он чувствовал, что жизнь его подошла к какому-то особенному моменту, но в чем его особенность — он не знал. Он даже не понимал, что он очнулся, осознал, что он живет, потому что раньше такого с ним просто не случалось никогда.

Что делать со своей жизнью, если знаешь, что ты живешь? Что делать с жизнью, если ты очнулся — очнулся впервые с тех самых пор, как появился на свет? Собственно, это и есть самый главный вопрос, на который нужен ответ, причем ответ нужен немедленно, и никаких подсказок, шаргадок, а тем более переэкзаменовок не будет. И это, в общем-то, странно, потому что долгие десять лет в школе, пять лет в институте человек привыкает жить в таком пространстве, когда на все вопросы ему просто обязаны дать ответ, а если ты сделал что-то не так, то пожурят. Тем дело, в общем-то, и кончится.

И если человек идет по коридору, то время от времени он видит указатели, типа отдел писем, техотдел, указатели, которые, в общем-то, не врут. Потому что стоит открыть дверь с табличкой «техотдел», там будут люди из техотдела, никак не иначе. Мало того, человек, который хочет попасть из одного города в другой, просто-напросто садиться в автобус соответствующего маршрута и попадает куда надо. Но путешествие из точки А в точку Б, неужели оно более важная вещь, чем жизнь, которая, как известно, дается только раз? Отчего же нет таких автобусов в жизни, почему не проложены маршруты, которые могли бы взять на себя это тяжкое бремя? Пусть выбор будет за мной, а все остальное будет уже легко, и если деньги заплачены, то тебя везут, и только мелькают за окном года, как виды городов, в которых тебе удалось побывать.

Багров шел по коридору, сумрачно дрожал его подбородок, жизнь, которой всегда не хватало, вдруг разрослась до огромных размеров. Вот она, бери не хочу. Но что делать с ней, Багров не знал. Ему хотелось войти в кабинет, взять не спеша стул за ножку и с добрым чувством, от души опустить его на голову своих коллег по журналу.

Багров открыл дверь, посторонился, пропуская Волшебнова, который вышел вон с остановившимся взглядом и походкой человека, наложившего в штаны. За его столом, на его стуле сидел человек, которого Багров не знал.

«Владимир Ильич Ленин — это Христос нового времени. Чтобы это доказать, нет нужды проводить особого рода изыскания, достаточно припомнить то, что известно каждому, то, что мы еще не успели забыть. Смерть старшего брата, ставшего для юного Владимира Иоанном Крестителем, двенадцать апостолов во главе с Троицким и, конечно же, царство Божие, которое он создал на земле — страна, в которой мы жили. А его Голгофа — это были страшные муки, сравнимые с теми, что испытывал Христос.

Это все видимая часть, это даже не надо доказывать, надо просто поверить, и тогда величие Ленина откроется каждому.

Тем не менее, люди — существа страшно недоверчивые и подозрительные, им нужны доказательства, причем доказательства особого рода. Но и здесь могу успокоить сомневающихся — такие доказательства имеются. Начнем с того, что Ленин рода Давидова, восходит он к Адаму и Еве, так что библейские пророчества в его случае исполнены в точности и в срок, указанный в Книге. Не буду приводить всю родословную, с ней можно ознакомиться в Библии, которая теперь, слава богу, доступна каждому.

Особый вопрос — это так называемые чудеса и знамения. Действительно, у нас нет сведений о том, чтобы Ленин исцелял страждущих, превращал воду в вино, ходил по воде аки посуху и так далее. Однако то, что у нас нет подобных сведений, не означает, что чудес не было. Вспомним все ту же каноническую историю жизни Ленина. Как мог человек, пусть даже самый гениальный, так организовать ход истории, чтобы маленькая кучка заговорщиков не только взяла власть в свои руки, причем — обратите внимание — в огромной стране, но и смогла противостоять практически всему миру. Нет, как хотите, но без чудес здесь не обошлось.

Таким образом, мы можем считать, что Миссия Ленина доказана. Остается несколько частных вопросов, один из которых заключается в следующем — как же, ведь христианство существует уже две тысячи лет, а вот ленинизм не протянул и ста? Ответ на этот вопрос очень прост — дело в том, что темпы развития человечества теперь иные, и 70 лет ленинизма практически равновелики двум тысячам лет существования христианства. Еще один, уже более глобальный вопрос в следующем — не есть ли Ленин истинный Мессия? И не означает ли это, что царство божие следует строить все-таки на земле? На эти вопросы у меня пока нет ответа. Тем не менее, статью обо всем этом я принес вам в журнал. Прошу опубликовать в ближайшем номере. Вот мой адрес и все остальное — соцномер, пенсионный и так далее», — посетитель протянул Багрову замызганный листок, на котором и вправду были написаны все эти данные. Статья — десятка полтора страниц, отпечатанных на хорошей бумаге, — уже лежала на столе.

Багров вздохнул, взял бумажку, стараясь не смотреть в глаза посетителю, имени которого он не запомнил, назвал телефон редакции.

— Позвоните через две недели, — неуверенно сказал Багров. — Я постараюсь прочесть к тому времени.

— Честь имею! — преувеличенно громко сказал посетитель и ушел.

Багров бросил статью в ящик стола, задумался. Поймав себя на мысли, что не помнит, каков из себя был посетитель — то ли высокий, то ли низенький.

— Вроде бы мужик, — пробормотал Багров, пытаясь на этом успокоиться. Было много других забот, но до этой чуши. Но чушь из головы не выходила. Носят и носят, думал Багров. Чего им не живется спокойно?

Всякий, кто работал в редакции любого издания, знает, как много сумасшедших и просто малость прибабахнутых приходят сюда для того, чтобы рассказать, что они узнали от жизни такой. Кто-то видел НЛО, причем еще в советские годы, только молчал об этом. Его даже забирали на орбитальную станцию, делали над ним опыты, и вот здоровье подорвано, психика ни к черту, а денег нет. Помогите, люди добрые, дайте похмелиться.

Кто-то просит опубликовать письмо в защиту брата, которого поперли с должности, посадили в психушку и вот уже десять лет не дают свиданий. Кто-то приносит тексты племени шу, вымершего на территории Башкортостана сто сорок две тысячи лет назад. Считается, что они оставили свои тайные знания на каменной грубо обработанной плите, а трещинки, которые бегут по поверхности в разных направлениях и без какого-либо явного порядка и есть их письмена. Однако тут же приходят другие люди, которые с полным на то основанием говорят, что та же самая плита есть карта каналов древней ирригационной системы, которую по одной версии соорудили инопланетяне, а по другой — китайские механизаторы и садоводы. Овладев секретом этой карты, можно восстановить систему и получать до восьми урожаев в год. Чушь. Полная чушь. И этим занимаются взрослые люди, вполне приличные с виду. На что они тратят свою жизнь?

Багров покосился на коллег. Никандров, высунув язык, отчего он стал похож на первоклашку, азартно чиркал по чьей-то рукописи. Заголовков был перерезан чертой, сбоку жирно чернело новое название. На страничку словно бросили горсть тараканов — черных, неопрятных. Багров безразлично поморщился и перевел взгляд на Волшебнова. Тот спал, и губы его шевелились во сне. Должно быть, он оправдывался перед бывшим своим начальством, кому-то грозил собранным за долгие годы компроматом, перед кем-то елози. Полгода назад его вышвырнули из министерства пропаганды и агитации, и теперь он работал в журнале, который создавал под себя как запасной аэродром. Но даже здесь его унизили — он был просто зам, даже не первый заместитель. Он всхлипнул во сне, зашевелился чаще.

За шкафом, которым отгородился от комнаты и от остальных сотрудников Эдуард Абрамович, стояло тяжелое молчание. Но Багров знал, что первый замредактора на страже, и остро заточенный карандаш его не упустит ни малейшей детали. Многолетняя привычка записывать действия коллег брала свое.

Багров тяжело поднялся и вышел. Все ему было в тягость. Ничто не радовало глаз.

Походив по длинному коридору своего этажа, уныло здороваясь с коллегами, он вышел на лестничную площадку. Слава богу, там никого не было. Он подошел к окну и снова стал наблюдать унылый пейзаж за окном, пейзаж привычный, как письменный стол, за которым он сидел в редакции.

— Привет! — услышал он за спиной. Багров обернулся — это был Амир, его однокурсник бывший по сельхозу, теперь он был башкирский поэт, работал в газете «Йашлек». Впрочем, как настоящий поэт, он нигде долго не задерживался.

— Слышал, тут на проспекте такая штука приключилась утром. Двое взяли такси на вокзале, доехали до угла Халтурина — проспекта, устроили там пробку, избили милиционера за то, что он не отдал им честь, и сбежали. Представляешь?

— А таксисту заплатили? — зачем-то спросил Багров.

— Да ты что-о-о! Конечно, не-ет! — Амир радовался, словно когда-то какой-то таксист его самого обидел до последней степени.

— А! — сказал Багров и замолчал. Замолчал и Амир, он наконец разглядел, как худо его приятелю, и молча сочувствуя, попрощался и отошел.

Багров безразлично уставился в небо, которому было безразлично, что происходит внизу. Хотя как сказать, пришло ему в голову, разве стало бы оно насыпать дождь или хуже того, бурю с градом и порывами ветрами до штормовых, будь оно безразличным, разве наступали бы ясные, теплые летние дни? Или вот хотя бы сегодня — чем плохо? На улице легкая поземка, небо заволокло белыми тучами, но пронзительный свет неба так хорош, что хочется смотреть и смотреть на него, не отрываясь. Нет, надо наоборот, удивляться тому, что за тысячелетия небу не надоела эта вечная смена погоды, это почти послушное следование в русле настроения людей — то ясному, то хмурому, то безразличному ко всему. Тут жить и радоваться, в общем. Как живое подтверждение равнодушия из-за спины Багрова послышался хриплый кашель курильщика, и до боли знакомый голос весело сказал:

— А, вот ты где! А я тебя ищу по всем этажам. Сказали, что ты вышел.

Это был Фидус, дальний родственник Багрова, человек, которого Багрову меньше всего хотелось видеть сегодня, впрочем, как и в любое другое время суток.

## 15

Вдруг, как всегда это бывает, мертвое спокойствие утреннего часа взбаламутилось какой-то суматохой. Вверх-вниз мимо Багрова с его дядькой побежали взволнованные люди. Но из цепких лап родственника вырваться было непросто.

— Через две недели у нас будет полторы тысячи долларов, — быстро сказал Фидус, и откинулся назад, глядя на Багрова злым, прищуренным взглядом. То ли он так проверял действие своих слов, то ли ждал, что собеседник упадет в обморок прямо на него и потому отстранялся. — Все схвачено, свои люди везде. Шестой отдел с нами.

Багров помотал головой, он ничего не понял из жаркого шепота, и все смотрел, как мимо все быстрее и быстрее снуют его коллеги. До него уже долетели отдельные слова и фразы:

— Напечатали статью...

— Закрывают...

— Вызвали в администрацию...

— Написал заявление...

— А триста долларов — твои, — вернул его к своей ирреальности голос Фидуса. — Ты только напечатай статью, все остальное делаем мы. Понял?

И он снова откинулся назад и прищурил глаз, словно открыл страшную тайну, выдавать которую было нельзя ни под каким предлогом, ни под какими пытками.

С грехом пополам Багров наконец связал воедино услышанное и понял, что Фидус зовет его в свое очередное коммерческое предприятие. Все они у него были криминальными до мозга костей, и во все он тянул Багрова. Самым невинным из всего этого была попытка отсудить у КПСС партвзносы, которые Фидус платил бог знает сколько лет. Тогда, это был 87 год, Багров излазил весь дом Печати. Побывал во всех кабинетах и наконец нашел того, кто согласился напечатать открытое письмо Фидуса. Но тот в последний момент испугался, все же коммунисты были еще сильны. Мало ли что они могли сделать с человеком, который пошел против них. Не побоялись же они шандарахнуть кирпичом Юру Шевчука, который мирно пел свои алкоголические песни и с которым все знакомые Багрова не раз осушали вакхические сосуды в подворотнях на улице Ленина. Так что все понятно.

Еще один, тоже вполне невинный эпизод — Фидус появился у него, когда его забрали в вырезвитель. Тогда мода была такая — печатать списки тех, кто попадался. А он был какой-никакой начальник, руководил мелким строительным подразделением. Но было поздно, фамилия уже появилась, так что единственное, что было возможно — это уничтожить тираж. Но такое под силу только обкому, тут Багров был бессилен.

Это и были самые невинные похождения дяди Фидуса. Потом он пустился во все тяжкие — торговал красной ртутью, спекулировала ваучерами, выманивая их у старушек за какое-то сомнительное барахло, какие-то носки цвета подпространства, брал сумасшедшие кредиты, которые протекли через его фирму, как Ниагара, давал сумасшедшие взятки, торговал наркотиками — сперва анашой, потом героином, налаживал связи с колумбийской и итальянской мафией, торгуя контрактами на бензиновой бирже. И все без толку. Он как был нищим, так нищим и остался. Любой другой на его месте давно бы призадумался, но он продолжал фонтанировать идеями.

— И вот теперь надо было напечатать объявление в газете, очень простое — требуются девушки для работы нянями на западе, в Швеции. Это и должен был сделать Багров, причем сделать так, чтобы потом следов нельзя было отыскать, потому что Фидус собирался продать этих баб в шведские бордели. У него все было схвачено, его друг



таджик, с которым Фидус ездил в Душанбе, договорился с таджикской мафией открыть шестнадцать борделей в Швеции. На что не пойдешь ради денег?

Раздался высокий нервный звук, и Фидус хватанул себя за карман. Это пищал пейджер, темный прямоугольник экрана высвечивал прибытие сообщения. «Федя, давай объяву. Деньги будут послезавтра. Нусрулло», — прочитал дядька и на глазах подобрел. «Видишь, видишь! — толкнул он в бок Багрова. — Давай, все схвачено!».

Он повторял одно и то же, а Багров тем временем в ужасе понимал, что газету «Байские попреки» только что закрыли. А ведь была у него договоренность с главным редактором, что он уйдет туда, наконец, вырвется из карликового болота.

— Ладно, иди! — неожиданно для самого себя сказал Багров, и в этот момент на площадку вылез Андроидов, главный редактор журнала. Это был здоровенный мужик лет пятидесяти с неистребимо детским выражением лица, в данный момент искаженным муками непереносимого похмелья.

— Зайди ко мне, — сказал он, увидев Багрова. И, словно спохватившись, нахмурился и сделал умное лицо. После мхатовской паузы он, однако, отпустил эти мышцы, потому что два дела делать одновременно было для него мучительно, развернулся и вышел с площадки.

Багров машинально пошел за ним, хотя ему хотелось все бросить и побежать вниз, узнать, в чем все-таки дело. Он же собирался с утра забежать в эту «бабайку», так по-свойски называли газету местные.

Но уже было поздно что-то предпринимать, и Багров уныло вошел в кабинет главного редактора. Тот суетливо усаживался в свое кресло, пытаясь таким образом прибавить себе значимости. Это заняло у него несколько минут. Наконец он посчитал, что выглядит внушительно и поднял на Багрова лицо с огромным носом, похожим на морскую раковину и дверную ручку одновременно — ручку, небрежно изваянную из чугуна и также небрежно всажённую в древесину головы.

## 16

Дело было пустяковым. Других в редакции никогда и не было. Оказалось, что Ноль, Волшебнов и поэт Шалухин едут в командировку в Белорецкий район. Два дня там, потом они осчастливят своим присутствием Зауралье и вернутся в родные пенаты. Багров обо всем этом, конечно же, догадывался. Зря, что ли, эти придурки две недели до нового года перешептывались, закрывшись в кабинете главного, зря, что ли, гоняли шофера Ахмета на техосмотр, а Белорецкий район не сходил у них с языка. Машину редакции дали еще осенью, с тех пор редактор полюбил уезжать обедать в двенадцать, а возвращаться в четыре с таким видом, как будто он только что вышел из многолетней комы. Человек, случайно попавший в номенклатуру, он ошалел от неожиданного счастья и машину не давал никому, даже бухгалтеру, которого по идее страшно боялся. Шофер Ахмет как-то жаловался Багрову. Сад, говорит, в машину и командует: «Значит так — сперва на работу к жене, потом домой, потом в сад».

Спрашиваю:

— А где это?

— Ну-у-у, дорогой, — протянул Андроидов. — Теперь ты должен знать, где работа моей жены, где мой дом и где мой сад!

В общем, на то, чтобы сообщить новости, а также поведать о том, что Багров должен быть на работе не в десять утра, как обычно, а в девять тридцать, Андроидов потратил три часа.

Обед давно кончился. Шофер Ахмет уже устал просовывать в дверной проем свою мрачную физиономию глубоко пьющего, но в данный момент успешно завязавшего человека, уже пришла на работу и ушла с нее техслужба, уже корректора вычитали треть дневной нормы и два раза пили чай. Андроидов все размахивал руками и завывал, словно Карлсон, рассказывая о важности момента. Он вспоминал все случаи из жизни, когда кто-то из его сослуживцев опаздывал на работу и потому происходили какие-то грандиознейшие катаклизмы, он выкатывал глаза, стараясь уверить Багрова в том, что все это очень важно и, наконец, сам уверился в том, что рядовая поездка трех сотрудников в четыре или пять захудалых районов республики имеет важнейшее значение для судеб человечества и нашей галактики в целом. Поняв это, он испугался, как это с ним всегда происходило перед лицом любой, даже малейшей ответственности. Теперь он и сам не знал, как выкрутиться из этой ситуации, теперь ему казалось, что нужно что-то такое сделать, непременно с занесением в личное дело: или созвать собрание всех тружеников коллектива, или позвонить министру печати и средств массовой информации, или почему-то в МВД... Полностью запутавшись, он махнул рукой и усталился в изнеможении в давно уже требующий ремонта потолок. Воспользовавшись этим его коматозным состоянием, которое часто на него находило, Багров поднялся и вышел. Голова раскалывалась на мелкие части, и что было делать? Это было, в общем-то, неясно.

Самое странное, что впервые Багров слушал редактора серьезно, странная метаморфоза, случившаяся с ним, требовала этого, любой, кто был бы мало-мальски настойчив, кто мог ясно объяснить, куда идти и что делать, имел теперь над ним необъяснимую власть. Здесь все вылилось в какую-то сумятицу, в какой-то бессмысленный словесный понос, из которого нельзя было вынести ничего, кроме головной боли. Вот голова и болела. Багров сидел в кабинете, куда машинально пришел от редактора, потом, не в силах о чем-то думать, оделся и вышел, попрощавшись с коллегами.

— Дасвиданния, дасвиданния, — с ядовитой улыбкой откликнулся Волшебнов. Никандров промолчал, Ноль, дождаввшись, когда закроется дверь, аккуратно записал в блокнот ФИО, действие субъекта и поставил время — 16:45. Будет что завтра рассказать главному редактору. Он любит с бодуна слушать таинственные, вкрадчивые речи, ему кажется, что именно так осуществляется процесс руководства журналом. И только поэт Шалухин ничего не сказал, потому что его ежедневное обеденное путешествие в кафе «Огонек» еще продолжалось. Там была жизнь, там была волшебная успокаивающая жидкость, которую можно было пригубить у столика, перекидываясь парой фраз с каким-нибудь местным Томом Сойером.

Багров вышел в коридор и вместо того, чтобы энергично устремиться к выходу на лестничную площадку, остановился. Голова болела нестерпимо, словно из нее высосали все жизненные соки, и оттого череп вогнулся внутрь, не в силах противиться энергичному призыву вакуума. А может быть, как раз наоборот, кровь устремилась в голову и подняла давление, как в паровом котле, застоялась, а нейроны, парализованные чужой волей, не могли отдать команду продолжать движение, продолжать жить.

Пошатнувшись, Багров сделал несколько шагов и уперся в дверь техслужбы. В глазах неотвратимо потемнело, словно звукооператор медленно убавил звук до конца, а потом таким же плавным движением вернул все на место. Так же медленно свет вернулся в очи, и Багров увидел, что находится в кабинете техслужбы, а перед ним стоит секретарша Наташа с каким-то листом бумаги в руках.

— Багров, что с тобой? Тебе плохо? — услышал он озабоченный голос и провалился опять в какую-то темноту, из которой, впрочем, довольно скоро вынырнул.

Он сидел на стуле. Наташа подала ему стакан воды, который он медленно, как в кино, выпил. Осматриваясь, куда бы поставить пустую посудину, он машинально посмотрел направо и увидел на столе тот самый лист, который до того держала Наташа. Там было написано:

#### Приказ

1. Назначить первым заместителем главного редактора Ноля Эдуарда Абрамовича.

За хорошую работу в конце 1998-го года премировать следующих сотрудников:

1. Главного редактора Андроидова Николая Антоновича.

2. Первого заместителя главного редактора Ноля Эдуарда Абрамовича.

3. Водителя Ахмета...

И больше ничего!

Страшная боль охватила все существо Багрова. Он вскочил с места, опрокинул стул и ломанулся к двери.

— Багров, ты что! — закричала в ужасе Наташа. Она всплеснула руками, и на лице ее отразилось недоумение, какое бывает от неожиданного страха.

За ее спиной вздрогнули техредактор Лена и оператор Миляуша, словно ужас, как волна, перекинулся на них, ударился о стены и стал кататься по кабинету, как сумасшедший бильярдный шар, и с ним ничего нельзя было сделать, а только ждать, пока все утихнет само собой.

— Бах! — закрылась за Багровым дверь, женщины вздрогнули, шар остановился, и неприятная тишина воцарилась в кабинете.

Прошло несколько — секунд? минут? — и издалека раздался какой-то страшный, жуткий, непонятный вопль смертельно раненного существа.

18

— Странный вы народ, сотрудники! — искренне недоумевая, сказал Андройдов. Он вышел из-за стола, развел руками, словно намеревался обнять весь земной шар, и посмотрел на Багрова, размышляя, какая муха его укусила. — Вы же получаете зарплату, вот и работайте! А повышение и премию надо еще заслужить, трудом заслужить, понимаете?

Он был обижен такой вот черной неблагодарностью. Вместо того чтобы тихо делать свою работу, сотрудники еще что-то от него требуют!

— Но...но... — выдавил из себя Багров, — это же я как раз работал, заслужил. Это же я поднял тираж, принес двадцать тысяч реклам, договорился о выпуске спецномера, выпустил его. Этого же никто не сделал, это же я!

— Какая реклама! — отмахнулся Андройдов, — бухгалтерия записала ее как подготовку материала! Тебе ничего не полагается, иди! Все и так на тебя жалуются, ты по телефону много болтаешь, какие-то люди к тебе приходят! Ну, Багров! Ну, Багров!

И он снова затянул свою плаксиво-надменную шарманку.

Багров смотрел на него и ничего не мог понять. Время словно остановилось в его глазах. Он вдруг осознал, что его так мучило все это время, почему он перестал что-либо чувствовать. Потому, что вокруг ничего не происходило. Чтобы ты ни делал, все вокруг, словно дурной сон, длилось и длилось. И этому не было никакого конца.

Можно было тысячу лет приходиться в этот кабинет, в эту редакцию. Здесь сидели одни и те же люди, которые изо дня в день говорили одно и то же. В них, как в заезженных пластинках, осталась только одна дорожка, по которой скользила игла времени, не в силах перейти дальше.

Багров махнул рукой, встал и вышел. Его глаза наполнились слезами. Наконец он понял, что попал, что выхода нет. Что было делать — он не знал. Жизнь, как вода в темном омуте, поглощала его судьбу без малейшего всплеска, без малейшей реакции. Вокруг не менялось ничего. Где было действие?

Никакого действия не было.

19

Багров шел вниз по лестнице в состоянии самого крайнего отчаяния и почему-то самым глупым образом думал о том, как легкомысленно люди относятся к жизни. Ведь это та самая жизнь, которая дается только раз, ну, или два, так как же можно тратить ее вот так бездарно?

Но жизнь никак не хотела признавать за собой какой-то ценности, метель, начавшаяся, должно быть, с полчаса назад, билась в

широкие окна Дома печати. Багров спускался все ниже и ниже по этажам, тусклый свет метели шел за ним всюду, природа словно бы говорила, что у нее есть место и для высокого, и для низкого, для смешного и серьезного. От такой мешанины голова у Багрова стала пульсировать нестерпимыми ударами, и он ускорил шаг, только чтобы быстрее выйти на улицу, в метель, забыть обо всем, что окружает и что — теперь он ясно это понимал — невыносимо раздражает его.

## 20

На третьем этаже у окна курил литературный критик Касымов. Багров поздоровался и остановился поговорить.

Касымов был счастлив — в Москве, в литературном журнале «Мамми-паппи» освободилось место заведующего отделом критики, и Александр Гайсович душою был уже там.

— Мне неинтересны ваши провинциальные дразги, — говорил он и весело стряхивал пепел догорающей сигаретки. — Здесь и писателей-то нет. Поговорить не с кем!

— Да на это место возьмут чью-нибудь племянницу, — не подумав, злобно сказал Багров.

Но Касымов сегодня был добрым, и потому этот страшно антигуманный выпад остался безнаказанным. Мало того, Александр Гайсович решил простить Багрову на радостях еще более страшное преступление.

— Помните ли вы, что советовали мне касательно квартирного вопроса? — обратился он в своем витиеватом стиле к бедному провинциалу, который от стыда не знал, куда себя девать.

Дело было тому лет десять назад, Багров только что познакомился с Касымовым, пришел к нему в гости в его однокомнатную квартиру на округе Галле, где он жил с женой и тремя детьми. Оказалось, что от редакции ему выделили трехкомнатную квартиру, тогда как по закону полагалась четырехкомнатная. Однако горсовет милостиво позволил им однушку оставить себе с целью их объединить, чтобы гармония людей и квадратных метров была достигнута самым очевидным образом. И вот в эти радостные хлопоты объединения и вступил Багров очевиднейшим диссонансом. Он предложил жить в трехкомнатной, а однокомнатную сдавать кому-нибудь. Например, ему.

Никакие восхваления Гитлера не были бы встречены такой обструкцией, как это заявление. На долгие годы оно стало своеобразным камнем преткновения в их отношениях, и вот Багров оказался прощен!

Он смотрел на собеседника и не мог понять, в чем дело — Касымов то и дело пропадал, словно у него было две частоты существования, и одну из них Багров не мог увидеть, как бы ни пытался.

«Может быть, дело в том, что Касымов вырвался из этой западни, — думал Багров. — Может быть, теперь он живет и в настоящем, как я, и в будущем, которого у меня самого нет».

Волна отчаяния снова охватила его, и, не в силах с ней справиться, он поблагодарил, как мог, Касымова и попрощался с ним, радуясь хотя бы, что бессмысленное существование старшего товарища закончилось, и началась настоящая жизнь...

— Бедные провинциалы, а ведь этот еще из лучших, — радостно улыбнулся ему вслед Касымов. Он был счастлив. Впервые за многие годы.

## 21

На улице ветер ударил Багрова своими длинными ручищами, и он стал сильнее кутаться в свое длиннополое хасидское пальто, пытается закрыть все бреши. Эта борьба на минуту отключила механизм, который жужжал в черепной коробке, а когда он включился снова, Багров уже сидел в троллейбусе, который медленно тащил его по заснеженной Уфе. Относительное тепло и отсутствие внешних раздражителей переключило внимание на внутренние раздражители. Он стал вспоминать, что с ним было сегодня, и когда раздражение и обида улеглись, он вдруг почти вскрикнул от неожиданности. Забыл, забыл! От нетерпения он даже подскочил на месте.

Пассажиры, что сидели в троллейбусе, вздрогнули от неожиданности, стали мучительно вглядываться в источник хаоса, наконец, видя, что ничего страшного не произошло, стали снова погружаться в свои миры, только одна укоризненно подумала: «А еще журналист!»

И действительно, не произошло ничего страшного, просто Багров вспомнил, что забыл позвонить Юнусову. У Себастьяна не было телефона, так что о нем Багров отчего-то даже не волновался. Но вот Юнусов чем-то его мучил. Он не мог вспомнить, когда он видел Юнусова в последний раз в тот вечер и в ту ночь, когда они пили у Себастьяна. Какой-то провал в памяти говорил ему, что не все тут однозначно. Багров не помнил, как он добрался до дома. Так почему он ночевал у себя дома, если пил у Себастьяна? Как так — только что он был в гостях и вот уже просыпается дома. Такого с ним еще не было, чтобы он из гостей добрался домой и чтобы ничего не помнил — ни автобуса, ни тачки, ни заснеженных улиц родного города, ничего. Ничего. Ни-че-го.

И если с ним, в общем, было все в порядке, что случилось с тем же Юнусовым? Себастьян, дело ясное, остался дома, что с ним могло случиться? Скорее всего — ничего. Но Юнусов мог пойти с ним, мог заблудиться по дороге, или просто уйти куда-нибудь. Однако в этот момент таинственный механизм памяти сработал как надо и выдал ясную картинку — Юнусов рассказывал о том, что на складе, которым он то ли заведовал, то ли имел в собственности, стала пропадать бумага, толстые пачки по тысяче листов с коммерческим названием «Снежинка». По бумагам все было идеально, как в чистом поле, занесенным этой самой снежинкой. Однако в реальности пустотелого склада с темными проемами полок число наличия не совпадало с идеалом, который высвечивался на экране бухгалтерской программы. Начали шерстить людей — от завсклада до экспедиторов. Не помогло. Какая-то мистическая сила боролась

со снегом, как удалой работяга дворник, подчищая склад — медленно, верно, неумолимо. Вот почему Юнусов был так зол, подумал Багров, но кто же мог тырить эту бумагу?

Потом он вспомнил, как тот же Юнусов рассказал ему смешную историю. Один клиент за долги отдал его фирме большой аквариум. Они туда запустили рыбок местных и одного щуренка. Ну, щуренок всех слопал. Выжил только один карасик, он забился в игрушечный кремль, который был в аквариуме для красоты. И вот уже две недели живет...

«Чтобы все это значило?» — снова подумал Багров, желая под все на свете подвести один знаменатель, все понять, все разложить по полочкам. Не найдя ответа и на этот вопрос, он решил поступить так, как часто поступал в жизни — просто перестал думать об этом, полагаясь на то, что жизнь сама разрешит все проблемы и познакомит его с результатом в более или менее удобоваримом виде.

Но механизм, который жужжал в черепной коробке, не подчинился самоуспокаивающей команде и продолжал вырабатывать только ему известное вещество размышлений. Багров подскочил второй раз, и тетка, которая стояла возле него, снова неодобрительно сморщила губы и подумала: «И такие люди работают в нашей прессе!»

— Сидя я занимаю меньше места и никому не мешаю! — вдруг громко сказал Багров и сам вздрогнул от своих слов. Тетка откинулась, как от удара, а механизм черепной коробки от такого заявления зажужжал еще быстрее. Теперь надо было понять, что эта за тетка и откуда она его знает. Бедный Багров стал вспоминать бесчисленные редакционные задания, по которым он ходил в такие же бесчисленные организации и конторы, где было такое множество людей всевозможного возраста, рас и пола, что впору запутаться, это же не три сосны, это несколько больше, если кто понимает. Так отчето бы кому-нибудь и не запомнить корреспондента, который пришел к людям на работу разгонять скуку буден? Они же видят людей других профессий очень редко, чуть ли не раз в жизни, попробуй посиди с в девяти до шести на работе, причем не год, не два, а?.. И соответственно, поскольку у них нет информации о том, какие такие корреспонденты шастают у них под носом и как они живут, они и питаются разного рода слухами и чудовищными предположениями. Может быть, он сейчас разрушил стройную картину мира, может, она думала, что корреспонденты это ангелы, которые прилетают на землю в тщетной попытке ее исправить...

Багров, нервничая, ерзая на месте, машинально запустил палец в нос...

«Это, друг мой, не красит, далеко не красит человека, тем более такого ангела, каковыми являются корреспонденты, — говорил себе Багров, уже почти забыв, отчего он снова стал дергаться и ерзать. Но механизм, видимо, сделал оборот внутри самого себя по довольно вытянутой орбите, опять ввинтился в сознание. Багров припомнил, что в доме печати шушукались о новой газете «Право первородства!» Черт, как он мог забыть, ведь он хотел же пойти туда на работу. И уже ни о чем не думая, Багров вскочил, ввинтился в толпу, сшибая каких-то теток по дороге и выпрыгнул на ходу из троллейбуса на остановке

«Округ Галле». Электрическая машина затормозила, но видя, что блудный сын, в общем-то, и не собирается возвращаться, начала опять набирать скорость, несомненно матеря Багрова, как недисциплинированного пассажира Ноева ковчега.

Однако порыв его быстро иссяк, как только он оказался на твердой поверхности асфальта, на пустынном проспекте Октября с его хрущевками, возведенными в свое время в таком должно быть азарте, что только пешеход мог заметить, что между ними есть какие-то прогалы. Пассажир городского транспорта, а тем более человек приезжий только и видел, что одну бесконечную пятиэтажку, которая тянулась, как китайская стена, по всему проспекту, вплоть до синтика или шадьма, что, впрочем, означало одно и то же — Дом культуры завода Синтезспирта. И в этом была своя мистика — остановиться, оглянуться можно было, только до одури хлебнув этого самого шадьма, что в переводе на русский язык и означает спирт.

Делать было нечего, надо было как-то выбираться из глупого положения, в котором оказался Багров, однако это было не просто — механизм в голове продолжал свое мерное жужжание, отзываясь на всякое внешнее воздействие, главным из которых была реклама.

Самый длинный проспект в Европе подмигивал ему огоньками, что-то требовал указующим перстом. Багрову захотелось разом заглянуть в ресторан, который виднелся сквозь негустую аллею деревьев, купить себе памперс, затариться хлебом, к чему также призывал его огромный плакат, пойти служить в иностранный легион, простить за все какого-то Навуходносорова, которого угораздило проштрафиться непонятно в каких делах. Равнодействующая всех этих призывов, которая рождалась в голове Багрова после некоторой борьбы, повела его по направлению в универмагу «Уфа», пиетета к которому он не потерял с тех еще пор, когда выискивал в советское время то зимние сапоги на свою огромную ногу, то куртку, то джинсы, когда на них пошла отчаянная мода. Правда, вот уже лет семь, как ему не приходилось в него заглядывать. Покупать было нечего, потому что вся торговая жизнь давно переместилась на местные рынки, которых пооткрывалось огромное количество.

Должно быть, так и было во времена нэпа, с некоторой поправкой на время, думал Багров. Вот вездесущий китаец сидит на жутком холоде, чинит немудреную обувь, из такой же немудреной зарплаты отстегивая всем, начиная со своей мафии и кончая чужой. Вот пенсионерки несут свои матрешкообразные формы туда, где пучок морковки стоит на пятак дешевле, вот мрачные парни, которые здесь на работе, покупают золотишко и швейные машинки «Зингер», вот и сумасшедшие тетеньки, которые просто забежали купить то да се после рабочего дня, а вот художник Сергей Игнатенко покупает серебряный подстаканник, наклоняясь с высоты своих двух метров к грязной клеенке, на которой лежит товар.

Багров вышел из павильона, где он лениво пробежал взглядом по разложенным товарам и не купил ничего просто потому, что скорость его перемещения была быстрее, чем призывы теток купить пучок морковки или лука, с которыми он не знал бы, что делать, но взял бы обязательно, не в силах сопротивляться напо-



ру. Легкая мысль пробежала в его голове, и он улыбнулся, припомнив коллегу журналиста, с которым они познакомились в Свердловске на семинаре по Интернет-технологиям. Решив спрыснуть знакомство по-журналистски, отравой местного производства, они зашли в магазин, и когда Багров спросил, чего взять, коллега замахаал на него руками — выбирай сам, я не знаю. И то правда — глаза разбегались от ненужного изобилия, и отку-да было взять столько сил, чтобы выяснить, какая водка лучше — все плохи. Это что же, теперь надо проводить целое исследование, думал Багров, спрашивать знакомых, кто что пил и как она действовала, и сколько стоит, и где взять, мучительно высчитывая соотношение цены и качества. А ведь этих продуктов сотни, а теперь уже и тысячи. Где взять на это силы, Багров не знал и потому ограничивал свой рацион некоторым разнообразием продуктов, количеством не более трех или пяти, на что хватало зарплатных денег. Вот и теперь он хотел было купить мороженое, самый обыкновенный стаканчик, но поскольку и павильон как-то быстро отошел назад, и желания возвращаться тоже не было, он просто-напросто забыл об этом. Жить можно и без мороженого, вообще без многого можно жить, как оказалось.

Он уже выходил на тротуарчик, который вел его дальше, в сторону остановки «Спортивной», как его кто-то схватил за рукав. Продолжая двигаться в том же направлении, он медленно, по большой дуге, развернулся и увидел, что за руку его держит невысокий пацан в джинсах и потертой крутке неопределенного цвета. Что-то щелкнуло в голове Багрова.

— Ну, Земфир, блин, так и до инфаркта можно довести, — только и сказал Багров, наблюдая растущую улыбку, от которой нельзя было ждать ничего хорошего.

## 22

— Привет! Здравствуйте! Как дела? Прекрасно пицешь! — только и говорил на все стороны Багров, проходя по фойе Русского драмтеатра. Повсюду были знакомые лица — журналисты, пишущие о культуре, важные господа чиновники, художники, писатели, галеристы, отставные политики, краеведы, местные сумасшедшие, красавицы, светские дамы и не поддающиеся классификации существа. Где бы ни появлялся Багров, всюду были они, за ними не замечались простые зрители, те, кто ходил в театр для того, чтобы просто сходить в театр, кто приходил на какой-нибудь вечер или праздник не для того, чтобы встретиться с кем-то, обговорить свои дела, да и просто написать в газету. Это, собственно, ничуть не удручало Багрова, он сам был такой, и старался не ходить на открытие выставки, если там не намечалось фуршета, банкета, чего угодно, лишь бы кормили. Вот и теперь он ощутил, что голоден, и пожалел, что не перекусил в Доме печати, там после пяти в столовой работал махонький буфет с самой простой, почти деревенской пищей — пирожки с картошкой, яблоками да чай со следами сахара. В местный буфет рваться было бесполезно — его уже оккупировали зрители, да и цены кусались. Самый

маленький бутерброд возлежал не просто так, а со смыслом, словно акуленок — стоит только подойти поближе, стремительный бросок, и половины зарплаты как не бывало.

Багров прошелся от стены до стены, где висели картины художников из группы «Чингисхан». Стало быть, у них тут была выставка. Багров покрутил головой. Гениального присутствия Василя Ханнанова не ощущалось. Это радовало, потому что когда Багров видел Василя, тот весь вечер говорил об одном — когда ж о нем появится статья. Самое смешное было то, что Багров никогда — ни в трезвом, ни в пьяном виде не обещал писать о «Чингисхане», но всегда виновато кивал, обещая поправить дело, и облегченно вздыхал, когда Вася удалялся прочь, величественный и смешной, словно король Лир.

Посмотрев картины, большинство из которых Багров уже видел неоднократно, он стал оглядываться, размышляя, с кем бы поболтать, потому что времени до спектакля было еще довольно много, минут пятнадцать. Все равно в зал он входил практически последним и садился на свободное место — такова участь людей, которые приходят в театр на работу, а не на праздник, и слава богу, что администраторы в русском драме люди приветливые, это, блин, не оперный, где на тебя шикают, указывая на место и радуются, когда ты уходишь на бельэтаж, и ликуют, когда партер зияет беззубыми рядами.

Багров почувствовал, что улыбка сама собой появляется на его лице — возле противоположной стены широкого фойе русского драмтеатра он увидел себя самого, степенно беседующего с какой-то девушкой. Это был не глюк, это был осветитель Рапиров, который трудился в татарском театре «Нур».

Их вечно путали — как-то Багров зашел к нему на работу. Охранник на вахте, некрасивый гибрид, убежал куда-то вверх, и Багров минуты три смотрел на сейф, в железной дверце которого торчал ключ, на телефон, с которого он мог позвонить в Париж, на рабочее место Биал Зариповича, уроженца Чекмагуша, пятидесяти восьми лет, бывшего водителя с «Промсвязи».

— Щас, — сказал Биал Зарипович, возвращаясь назад и восстанавливая контроль за вверенным ему заведением.

— Я так и думал, что это ты, — грустно сказал Рапиров, который появился некоторое время спустя обряда вызывания.

— Почему? — наивно спросил Багров.

— А мне сказали — брат пришел, — печально сказал Рапиров.

Они посмеялись. Что было потом — Багров не помнил. Скорее всего, напились до полусмерти.

Рапиров представил Багрова своей спутнице, которая, кстати, оказалась актрисой, и они стали болтать о том, о сем, и больше всего о театре, в котором они находились и для которого не жалели ехидных замечаний. Девушка только хихикала, что, в общем, еще больше подстегивало друзей-приятелей.

— Да ну тебя, Багров. Злой ты и вообще неправильно ходишь в театр, — наконец вырвал на привычную дорожку подначек Рапиров.

— Чего это я злой? — уже в который раз обиделся Багров. — И как это правильно надо ходить в театр?

— Ну, вот ты расскажи, как ты это делаешь, — снисходительно сказал Рапиров, привычно тыкая в переносицу толстым указательным пальцем.

— Ну, я, это, прихожу, — неуверенно начал Багров.

— И... — продолжил за него Рапиров.

— Иду в гардероб...

— И...

— Болтаю с кем-нибудь типа с тобой...

— И...

— Иду в зал и смотрю спектакль! — бухнул Багров, который уже и не знал, что тут можно такого придумать.

— А вот и не правильно! — меланхолично сказал Рапиров, и девушка, которая с интересом слушала их перепалку, радостно захихикала. Она ждала чего-то интересного и дождалась. День был прожит не зря.

— Ну и что надо было сделать? — уж совсем обиделся Багров.

— Надо было пойти в буфет и принять 150 грамм коньяку. И тогда все будет отлично, ты сразу станешь добрым.

Багров задумался. Такая мысль никогда не приходила ему в голову, но времени подумать уже не было, потому что загудела прозвенела мелодия, которая тут символизировала третий звонок, и оказалось, что они уже одни в фойе и что надо бежать в зал.

— Ладно, увидимся, — сказал Багров, и они растаяли.

В партере мест уже не было, и Багрову пришлось подняться в бельэтаж. Перегнувшись через балкон, он смотрел в зал, в котором вспыхивали знакомые лица, в частности, Капкаева, наконец, занавес пополз в разные стороны, как драные штаны, погас свет, и незнакомая мелодия возвестила о начале спектакля.

Давали «Чайку» Чехова, и Багров, который видел ее раз, наверное, десять, и три из них — в Национальном молодежном театре. Что же там было такого, отчего мурашки бегали по коже? Багров нахмурился, припоминая, и вдруг вспомнил, как Тансулпан Бабичева, уходя по зрительному залу, вдруг нагнулась к нему и сказала страшным шепотом: «Я там дала рубль, это на троих». Волосы дыбом встали тогда, словно призрак нищеты прошел рядом, призрак, от которого нет спасения, призрак мучительного несчастья души, попавшей в капкан экономической стороны этой жизни. «Чур меня!» — опять заволновался Багров, а между тем действие на сцене шло своим чередом, актеры беспрестанно хохмили, словно пять или шесть писателей-сатириков читали по фразе из своих бесконечных пасквилей на окружающую действительность. Дело было в деревне, все было проще пареной репы.

Багров смотрел и в очередной раз дивился тому, как одна и та же пьеса производит такое разное действие на режиссеров. На сцене была не деревня, а какая-то Одесса. Блин, как им всем было весело, как смачно звучали хорошо поставленные голоса, когда каждое слово долетало до галерки. Каждый выверенный жест вызывал смех и одобрителный благодушный выдох зала. Телега действия лихо скакала по колдобинам чеховского текста, и вот уже Дорн, раздевшись до трусов, весело скакнул в озеро, над которым летала чайка, и Багров только и смог, что криво усмехнуться, отпрянув от грязных брызг.

Но затем ему стало не до улыбок, потому что в глазах у него потемнело, как то бывает при высоком давлении, однако на этот раз темнота была не красно-красавого цвета, она была — и тут Багров, не в силах подобрать слов по старой журналистской привычке, застыл, потому что у него перед глазами, как в фантастическом фильме, запрыгали, засверкали тончайшие линии, словно в зале шла какая-то звездная битва. Людей уже не было видно, только темные купола их голов аккуратно темнели внизу, как яйца фабричной упаковки, а над ними пролетали еле различимые корабли звездного флота, оставляя за собой острые полосы света.

Багров покрылся потом, ноги ослабли, противная дрожь пробежала по спине. Ужас, который он пытался забыть, снова напомнил о себе, и теперь он смотрел вверх, не отрываясь, только чтобы не смотреть в партер, где бог знает что могло открыться его воспаленному взгляду.

В воздухе между тем редкие линии стали закручиваться в какие-то сложные геометрические фигуры, и даже вроде стало их больше, откуда-то, словно из-за угла, как хулиганы, выскакивали все новые и новые летящие искры, и Багров заметил, что они чем-то напоминают реплики актеров, словно звуки в зале стали если не материальны, то видны его левому глазу, который стал пульсировать ни с того, с ни с сего. «Завтра, завтра же пойду к окулисту», — в бешеном страхе шептал про себя Багров, ничего не понимая во всей этой круговерти.

Между тем сложный процесс сборки, видимо, шел к своему концу, потому что геометрическая фигура уже получила свое завершение. В ней явно образовались верх и низ, и даже по бокам появились какие-то непонятные рюшечки, и это полупрозрачное, непонятное нечто повисло в воздухе в пугающей тишине.

Слова зашелестели в голове, как пули, и страх, сковавший Багрова, тем не менее принес какую-то ассоциацию. Он вспомнил вдруг все эти фильмы ужасов, которых насмотрелся, еще когда билет в самодельный видеоклуб стоил рваный советский рубль. Обычное дело — стоило раздаться непонятному звуку, как даже неискушенный зритель понимал, что впереди какая-то жуткая, бесконечно опасная штукавина, и герой тут же устремляется к ней и засовывает руку с решимостью комсомольца тридцатых годов.

Но у Багрова не было никакого желания понять, что же это такое он видит, он только хотел как можно скорее выбраться прочь. Эта мысль пронеслась у него в голове, когда дрожащая в воздухе непонятная геометрическая фигура плавно скользнула вниз и исчезла в партере. Багров только успел заметить, что она на секунду засияла вокруг какой-то особенно яркой головы — человек подскакивал на месте, на миг являя миру оскаленный рот и широко вытаращенные глаза, в общем хохоте зала представляя собой маску смеха. И вот теперь некая хренотень засела в нем, Багров был уверен, что все это не обман зрения, что все это не просто так, но только сидел и ошеломленно тарачился вниз.

Наконец аплодисменты стали затихать, занавес пополез неотвратимо, а соседи, радостные, возбужденные, стали подниматься, недовольно поглядывая на Багрова, которого не держали ноги.

Он еще с минуту сидел в кресле, приходя в себя. Отдышавшись, однако, Багров решил, что все это очень клево и страшно прикольно. Действительно, вдруг, на банальном спектакле он увидел какие-то глюки, которые ему ничем особенным не угрожали! Тем не менее, следовало с этим разобраться поосновательнее, и потому он встал и на еще развезжающихся ногах отправился в буфет. Пробравшись мимо шумной толпы, в которой встретились еще несколько знакомых (Как дела? Где работаешь? Какие новости? Прекрасно пишешь!) он подошел к хвосту очереди и там увидел своего приятеля, который что-то нашептывал своей спутнице.

— И что явился! — накинулся он на Багрова. — И так почти весь первый акт пришлось о тебе рассказывать. Он кивнул на свою спутницу, которая при этом потупила глазки и очень мило захихикала. Багров оживился, но тут же вспомнил, что за нелегкая погнала его искать Рапирова.

— Да ладно тебе, вечно ты чем-нибудь недоволен, — улыбнулся он в ответ. — Ты лучше мне вот что скажи — ты же каждый день спектакли смотришь в своем театре?

— Ну, не каждый, больно надо их смотреть, — скривился Рапиров, которого от осветительской работы уже просто тошнило.

— Все-таки, ты какие-нибудь глюки видишь?

— Ну, если выпьешь, то бывают. А так нет.

— А какие бывают? — лез в душу Багров. Ему вовсе не хотелось быть психом или, тем более, попасть в какую историю, но тут дело такое — чертовщина на ровном месте, да еще на трезвую голову.

— Да ничего особенного, что пристал! — замахал на него руками Рапиров. — Ты сам что, допился, что ли? Чертей гонишь?

— Да. Хотя нет, тут дело в другом.

— Для газеты нужно? — страшным шепотом спросил Рапиров. — Знаем, откуда ваши письма читателей! Журналисты, вруны!

— Да ладно! — обиделся Багров. — Как будто на сцене у вас правда. Ты сам вон в глаз светишь, правду-матку скрываешь. У тебя артистка на седьмом месяце, ты же на живот ей не светишь.

— Надоел уже, — сказал Рапиров. Девушка хихикала. Ей все это страшно нравилось, поход в театр удался.

— Сам ты надоел, — сказал Багров, делая вид, что страшно обижен.

— Ну, иди, — сказал Рапиров, делая вид, что страшно зол.

Так они препирались минут пять, пока очередь не дошла до них и они не взяли по бутерброду с колбасой и мягкому стаканчику сока. Тут Багров вспомнил, как в 97 году они тут и вправду брали коньяк. Но было это давно.

Впрочем, он был доволен, что не стал рассказывать о своих глюках, хотя история эта вертелась у него на кончике языка.

В жизни, собственно, мало по-настоящему интересного и забавного. Только с течением времени можно увидеть что-то смешное, а когда идешь по темному коридору и сердце трепещет от страха, ты же не думаешь, что попал в ужастик и сейчас тебя сожрут. Так, может, тварь эта — и правда вызвана кем-то из глубин Вселенной? И что же делать? Что бывает с теми, кто попал в фильм ужасов? Скорее

всего, они просто выходят на улицу и растворяются в толпе. Ведь их задача и была, скорее всего, показать, оттенить собой свирепость и кровожадность твари из глубины этой самой Вселенной.

Они допили свой сок, дожевали бутерброды и уже пошли гулять по заду, когда снова зазвенело где-то под потолком и надо было отпраиваться в зал. Багров сделал это с облегчением, потому что препираться и подкалывать друг друга, что в общем-то и есть дружеское общение, ему было на этот раз как-то в тягость. Ему хотелось посидеть одному, если, конечно, можно в темном зале театра остаться одному и просто смотреть на сцену и думать о чем-то своем или, если от этого отвлекает плач и смех, смотреть представление, пытаясь понять, что же такого хотят тебе сказать, преподнести на блюдечке с голубой...

Как было странно, никогда не приходило в голову Багрову, что Треплев так мучается оттого, что он киевский мещанин. И только сейчас, глядя на маленького, худенького Костика, с подростковой ненавистью и неприкаянностью бегящего по сцене, он вдруг осознал, как же ему больно, этому мальчику, которого судьба забросила в деревню и не дает сделать ничего великого, ничего такого, отчего содрогнулся бы мир. Какая пропасть между ним и его предками — царями-пастухами Иудеи! И Бог не придет к нему и не скажет библейскими словами о жизни, которую он должен вести, о миссии, которая на него возложена. Бог-Тригорин устал. Ему нет дела до юных наглецов, единственное, что еще может его тронуть — это незрелое, педофильское тело чайки...

Возбужденно, словно поросята с прогулки, бросились в гардеробы зрители. Они размахивали руками и радостно переглядывались. Поход в театр удался. Дешевый заменитель светской жизни сработал как надо, и теперь будет о чем вспоминать длинными зимними вечерами на одинокой кухне, грея щекой телефонную трубку. Незнакомые девушки, все, как одна, без кавалеров, попарно скрылись за темными дверями, ведущими на улицу, и Багров, который продевал руку в длинный рукав, почему-то не испытал ни малейшего желания ринуться за ними вослед, говорить что-то сбивчиво, одновременно пытаясь разглядеть, куда ставить ноги, чтобы не упасть. Темной дождинкой жалкая жизнь, которая так бездарно прекратилась на сцене, словно облачком вылетела ему вослед и кружила теперь над головами. «Люди, звери, черепахи. Как-то там было иначе», — подумал Багров и решительно вышел на улицу. Еще минут пять ему в голову приходили какие-то мысли, и он то хмурился, то улыбался. Подходя к остановке, он увидел, как из полутьмы проспекта вынырнул турецкий мерседес, который, скорее всего, шел до торгового центра «Башкирия». Багров прибавил ходу, потом побежал, потом втиснулся в 69 автобус, и мысли его покатались, уступив напору простой душевной энергии людей, которые ехали домой с работы, со своих нефтеперерабатывающих заводов Черниковки. Усталость прожитого дня, которой веяло от них, навалилась и на Багрова, и он ехал во тьме уже на автопилоте, уже почти ни о чем не думая, а только кивая головой в такт движению могучему зверю, который неумоимо тащил людей сквозь тьму ночного города.

Холодный ветер ударил в лицо Багрова на остановке «Трамплин», когда он вылез из 69 маршрута, и то полусонное состояние, в котором он пребывал во время пути, куда-то моментально улетучилось. Откуда-то появилось желание пройтись, прогуляться, и ноги сами понесли Багрова на ту сторону дороги, в парк «Олимпик», который не так давно открылся во глубине сталинских лесопосадок, на крутом обрыве, откуда город смотрел на протекавшую внизу реку Караидель — Черную реку.

Холодный воздух как на крыльях нес Багрова все дальше, во глубину леса, и он буквально летел навстречу неизвестно чему. Деревья в лесу высились, как огромные обглоданные рыбы, торжественные и бессмертные. Багров немедленно вспомнил, что посвящены они подземным богам, торжествующим в этот час. Но воспоминание это, как всякое книжное знание, никак не повлияло на его решимость продолжать свой путь.

Замигали огоньки — это были фонарики лыжной трассы, с крутой горы лихо слетали запоздавшие лыжники.

Багров обошел место их старта и добрался до обрыва. Чудесная картина открылась ему, словно художник изрядно поработал над этим местом всеми оттенками тьмы. Глубокое черное небо, тонко оттененное точками звезд, плавно спускалось с горы, в глубину, где текла иссиня-черная река, на берегу которой лежали темные неподвижные валуны. Тишина и покой, вечные тишина и покой — вот что сулила картина, умиротворение и забытьё, которых так не хватало ему.

— Ках-гах-ах! — послышалось над ухом Багрова и медленно, из темноты, слева от него появился черный человек. Медленно, словно зомби, он огляделся вокруг и снова прохрипел, но на этот раз уже отчетливо:

— Хар-ра-шо!

Ужас охватил Багрова, неотвратимый, липкий, неостановимый ужас, и чтобы не умереть тут же, на месте, он бросился бежать, и страх мчался за ним, словно падучая звезда, что обратила на него внимание с невообразимой своей высоты. Жизнь висела на волоске, и надо было бежать изо всех сил, бежать, бежать на подкашивающихся ногах, что угодно, когда угодно, но только прочь от этого страшного человека на страшной земле.

## **Часть вторая**

Багров открыл глаза. Картинка вздрогнула, как на экране монитора, и медленно пошла наводиться на резкость. Голова трещала так, словно по ней пробежало стадо слонов. Каракумский канал имени Ленина пересох окончательно, и никаким поворотом сибирских рек спасти положение не представлялось возможным.

Перед глазами Багрова все еще стоял чудовищный бред его сна, в котором он бежал от кого-то, потом метал в небо какие-то круги,

серпы и молоты, свастики, звезды Давида и прочую херню. Они разлетались во все стороны, всплывая на линии горизонта, которого достигали с быстротой неимоверной, каким-то коротким синим пламенем. Наконец какая-то штукovina, что вырвалась из рук Багрова и полетела прямо в небо, где-то в черном зените вдруг расцвела ярко-золотой головою льва, оскалившегося в яростном рыке.

Что все это значило — понять было невозможно, и Багров лежал себе на постели, несколько минут привыкая к мысли, что увиденное им было только сон, а не чудовищная реальность, справиться с которой не достало бы никаких сил.

Наконец он понял, что находится у себя в комнате. Как он сюда попал, где он был все это время — он не помнил. Впрочем, память, которую у него отшибло пару дней назад, он и не звал на помощь, но ему казалось, что он был не один, и эту память — память рук, тела, было труднее обмануть. Он осторожно повернул голову, но рядом, на узком его диване, никого не было. В общем, Багров не ожидал ничего другого, и все же он смотрел, не узнавая, на свою комнату.

Теперь, после сна, который так ударил его по мозгам, с похмелья, которое не давало ему сосредоточиться, все казалось странным и непонятным. Он огляделся, не в силах узнать комнату, в которой жил уже лет семь или восемь. Здесь по углам стояли большие коробки с книгами, шкаф был так же завален, а сверху лежали рубашки, брюки, носки, еще какая-то всячина. Все это было покрыто двухнедельной пылью, и потому напоминало лунный пейзаж, тем более что в окна светило бледное утро, пришедшее в этот мир, как всегда, по расписанию.

Багров посмотрел на палас, который запечатлел, как фото-пленка, все события прошедшей недели — пьяного нового года, который он встречал все же не здесь, иначе руин было бы куда больше, но эта неделя, эти десять дней! Не в силах сосредоточиться, Багров скользнул взглядом по табурету, на котором еще стояла початая бутылка водки, полусохший бутерброд с докторской колбасой, литровая банка неизвестно чего, в ней торчала ложка, словно остаток сбитого истребителя.

Багров стал подниматься, потому что надо было уже идти на работу. Невидимый механизм в голове знал свое дело. Снова промелькнули какие-то картинки, страх убыстрил движение рук, поворот туловища в жалких попытках надеть на себя рубашку, натянуть брюки... Извиваясь, как рыба на безжалостном крючке реальности, Багров неотвратимо приводил себя в некий порядок. Наконец он накинул на себя тяжелое пальто и длинными шагами вышел за дверь. Заскрежетал ключ, и все затихло. Пара пустых бутылок из-под водки, которые закатились под диван, настойчиво слушавшие странные звуки сверху, облегченно вздохнули и снова погрузились в дремотное состояние, свойственное тем, кто сделал свое дело и сделал его хорошо.

Багров засмеялся, и вдруг в голове прояснилось, и он вспомнил, кто он, и узнал, где он. Все было просто — он сидел в столовой Дома печати и разговаривал с девушкой по имени Лена. Она работала в



какой-то газетке на полставки, кажется, «Вечерней Уфе». Багров познакомился с ней недавно, кажется, за неделю до нового года. Все эти «кажется» и были свидетелями недавнего знакомства, когда говоришь ни о чем, вот так же стоишь вместе в очереди в столовую, болтаешь о чем придется, тут не до точных сведений о человеке.

Но с тех пор прошла та самая неделя, а может быть, и две, и вот Багров снова видит ее, даже не пытаясь восстановить, что он там такое знает о ней и о чем они говорили тогда. Так что и сейчас они говорят о всяких пустяках, одновременно занимаясь процессом поглощения пищи. По этому обстоятельству Багров и понял, что сейчас обед, что-то около двенадцати. Потому что как раз в это время народу бывает не так много, и журналисты не стоят молчаливой нервной очередью, не косятся друг на друга, словно подозревая собратьев по перу в потаенной мыслительной работе, которая не останавливается ни на минуту, напоминая, должно быть, некий громадный бур, который прет без остановки, пронзая все новые и новые пласты бытия с тем, чтобы дойти до нефтеносного слоя, и тогда наружу хлынут новые, еще никем не отработанные темы, и читатели кинутся раскупать газеты, и тираж подскочит до небес.

Но, в общем-то, ничего такого никогда не происходило, и редкие сейчас журналисты, печатники, фотокорреспонденты, да и просто случайные люди, которые попали в это время в Дом печати и решили перекусить в столовой или намеренно пришли сюда за этим, вставали из-за стола с отрешенным выражением лица, которое свидетельствовало только о том, что кормят здесь не так чтобы хорошо, но и не так плохо, как в столовых сельхозинститута, и что некоторое время можно не думать о том, чтобы такого бросить в бездонную яму желудка.

Багров засмеялся еще раз, и опять сознание вернулось к нему, словно смех был живой ниточкой, протянутой от реальности к мрачным глубинам мозга. Теперь он сосредоточил луч понимания на собеседнице и вдруг увидел, что она бледна, и припомнив, что с того не то чтобы памятного разговора прошла неделя, если не больше, понял, что ее, скорее всего, не было на работе.

— Ты болела, что ли? — спросил он с некоторой прямотой журналиста, для которого говорить о нравственности в доме уличенного в ее отсутствии есть самое милое дело.

— Да, на новый год вышила коктейль, — нехотя сказал Лена. — Прочитала в своей газете, что если выпить водки, а потом закусить сырым яйцом, будет очень хорошо. Ну, а потом две недели валялась дома с животом.

— А ты давно работаешь в газете? — спросил Багров, внутренне усмехаясь.

— Да уже года два, а что?

— Ты разве не знаешь — все, что пишут в газете — это ложь?

Багров засмеялся. Засмеялась и Лена, вдруг приложив эти слова к своей ситуации, словно попав на свою собственную удочку.

Но от смеха вдруг тошно стало самому Багрову, его мозг, лишенный всякой эмоциональной защиты и ограничений, в какую-то долю секунды просчитал все, что следовало из этой сентенции и уже доложил свой главный вывод, из которого следовало только одно — что

Багров уже столько-то лет своей жизни потратил бог знает на что, на ложь, от которой никому на свете не было хорошо, а скорее всего, только плохо. Вереницы статей, заметок, публикаций промелькнули перед глазами Багрова. Сотни тысяч слов, которые он то легко, то с трудом нанизывал в более-менее стройные предложения, были никому не нужным и даже вредным хламом. Багров еще продолжал улыбаться, но ком уже подступил к горлу и он, чтобы не разрыдаться тут же, при всех, неловко встал, опрокинув стул, пробурчал что-то непонятное, и быстрым шагом пошел на выход. Ошарашенная столь непонятной реакцией на собственную шутку, Лена (если, конечно, это была она) смотрела вслед Багрову, пытаясь отхлебнуть почти остывший чай из граненого стакана. Руки у нее тряслись, она выронила стакан, и сладкая жидкость разлилась в кисельных берегах, залив стол и частично — упавший стул, на котором только что сидел Багров. Поверхность стола вздыбилась, сладкая судорога прошла по нему, гоня волну к краю, на котором образовалась неровная трещина, изгибами напоминавшая чудовищную пасть. Секунда, и все исчезло. Девушка вскочила, ее стул тоже упал. На грохот оглянулись, но все уже было кончено.

## 26

Багров, который столкнулся в дверях с какими-то посетителями и чувствительно их зашиб, шел по коридору, не оборачиваясь на приветствия и полузадушенные вскрики. Очнулся он, когда уже спустился на первый этаж и встал возле лифта, поймать его здесь было куда вернее, чем на втором, где была столовая. Мимо второго этажа лифт чаще всего проскакивал мимо, в него уже успевали набиться люди снизу.

Возле лифта стояли коллеги, с которыми Багров поздоровался — с кем за руку, кому кивнул, кого хлопнул по плечу, типа давно не виделись, все это он делал автоматически, как делал всегда, но теперь в нем билась жилка вопроса — неужели и это все ложь, неужели и это он делает исходя из каких-то непонятных ему самому побуждений, а вовсе не потому, что он искренне рад видеть кого-то, а кто-то, в общем, и не заслужил этой его радости?

Бешенство уже почти прошло, и он был рад, что не выскочил на улицу или в окно, ни там, ни там ничего хорошего не ждет человека, который находится в почти невменяемом состоянии. Багров отодвинулся, пропуская мрачных газетных теток, как увидел невысокую девушку, которая скромно стояла за их могучими спинами. Багров, не задумываясь, шагнул к ней, и только потом в голове что-то щелкнуло. Он знал эту девушку, года четыре назад видел в мастерской Василия Ханнанова, ее тоже звали типа Лена или что-то вроде того. Так и вышло, все так и было. Только что-то было не так. Быть может, просто прошли эти четыре года, их пути не пересекались, а вот теперь они пересеклись — ни с того, ни с сего.

Они поговорили о том, о сем, что, в общем-то, означало только одно — привет, как дела, где ты пропадала, чем сейчас занимаешься, и все эти вопросы и ответы.

— Ты была такая тревожная, — вдруг сказал Багров и улыбнулся. — Я даже тебя боялся. А вот теперь ничуть не пугаюсь. Интересно, что с тобой случилось?

— Все просто, — сказала Лена или как там ее зовут. — Просто я обрела свою религию.

— Католичка? Православная?

— Нет, — улыбнулась простодушная дева.

— Неужели мусульманка? Где тогда платок?

— Нет. — Лена продолжала улыбаться, спокойная, радостная, сытая, и даже — почувствовал Багров — чем-то очень даже привлекательная.

— Я теперь ангел судного дня. Это такое ответвление католичества.

Багров никогда не слышал об этой организации, и несколько секунд глупо хлопал глазами.

Довольная произведенным эффектом, Лена улыбнулась чуть шире и сказала:

— Я теперь знаю, для чего живу, чем могу помочь человеку, что он ждет от меня и чего я жду от него. Я стала просто понимать людей.

Их толкали, потому что они стояли возле лифта и не удосужились отойти в сторону. Наконец после особо энергичного толчка Багров сделал шаг назад к стенке, но лифт уже вернулся, и Лена вошла в него, махнув рукой — попрощавшись. Кажется, у меня был ее тогдашний телефон, подумал свою думочку Багров, но мысль его не пошла дальше, потому что ее причудливый изгиб перешел в другую плоскость.

«Что же, — думал Багров, — если она примирилась с жизнью, то что с ней произошло, как не примирение с жизнью, и она вполне спокойно ходит здесь, в Доме печати, и ничто ее не раздражает, а наоборот, она улыбается, она счастлива, так, может быть, все дело именно в том, чтобы обрести подобный взгляд.

И все же Багров не захотел вернуть ее, не бросился рыскать по этажам, чтобы порасспросить поподробнее, вдруг и ему удастся стать этим ангелом судного дня, или мормоном, или еще кем-нибудь? Потому что, чем экзотичнее вера, тем более идиотическая улыбка расцветает на лице, вот что смущало Багрова, он уже насмотрелся всех этих представителей белого братства или — как она там себя назвала?

Лифт вернулся обратно, с партией покидавших Дом печати, и Багров вошел в него, успокоенный своими умозаключениями. Он вдруг подумал о том, что встретить он сегодня человек сто, которым не везет, то к концу дня он тоже чувствовал бы себя полным неудачником, у которого в жизни нет ничего хорошего, ну и, соответственно, наоборот — когда вокруг тебя улыбаются милые, добрые люди, то и жизнь хороша, и жить хочется еще пуще.

Тяжелое молчание висело в лифте, и Багров поспешил задержать дыхание и прикрыть глаза — еще с полминуты, и он поднимется на свой этаж. Скоро, скоро его встретят дорогие сердцу коллеги.

Багров поставил точку и для верности покрутил карандашом, так что грифель хрустнул и сломался. Жирная точка расплзлась по бумаге формата А-4 рядом с глупостями, которые на ней были написаны. Это была статья, которую Багров редактировал, сделать это надо было срочно, и вот за два часа упорной работы текст был приведен в более или менее удобоваримое состояние. Собственно, ничего особенно глупого в тексте не было, просто автор лихо сводил всю полноту бытия к одной-двум вещам, так что даже было как-то неловко за человечество, которое за миллион лет своего существования не сподобилось дойти до такого элементарного заключения.

Подобная спешка была не исключением, а правилом работы. Главред Андрюидов каждое утро начинал с глубокого похмелья, и потому жизнь его была полна откровений. Вдруг выяснялось, что нужна такая или сякая статья, которая была отправлена в запас до воскресения Христова. Мучительные поиски, которые не всегда увенчивались успехом, порой все же приводили к тому, что на столе редактора появлялась кипа листов с практически нечитаемым шрифтом. Пробежав глазами пару строк и исправив пару-тройку орфографических ошибок, главред вызывал заведомом, нервно совал ему в руки статью и полчаса рассказывал, что это такое, почему ее надо основательно и самое главное очень быстро почистить. Еще полчаса уходило на препирательства, потому что заведомом эта статья попадала уже второй или третий раз, на ней уже были его пометки, когда главред снова забирал ее, чтобы посоветоваться с неутомимым, а главное, политически подкованным первым заместителем главного редактора.

На этот раз было политическое обстоятельство. Статью пригнала обыкновенная тетка с обыкновенной для слуха главреда туземной фамилией, так что ей отказали с ходу — самым мерзким тоном, бывшим в ходу. Однако потом, недели через три, неторопливый первый заместитель главного редактора вдруг сообразил, что эта самая туземная фамилия поразительным образом напоминает ему фамилию некоего очень ответственного товарища из самых что ни на есть верхов. И статья была возвращена пред светлые очи главреда. Дрожь от некоторого возбуждения, которое всегда охватывает нижестоящее начальство при соприкосновении с вышестоящим, главред прочитал статью и понял, что она представляет собой полный бред. Не зная, как выйти из положения, он отдал ее на редактуру заведомом публицистики, а сам выпил больше нормы, после чего редакционная шестерка доставила бесчувственное тело домой раньше положенных шести часов.

Новый день принес новое похмелье и новую уверенность, связанную с потерей памяти. И потому главред с чистой совестью отправил статью обратно в корзину, забрав ее из рук изумленного заведомом. Так прошел месяц. Однако в один прекрасный день тетка снова пришла в редакцию и подняла такой хай, что фильм «Терминатор 3» можно было смело снимать, не покидая пределов Уфы. Когда рассеялись волны ограниченного ядерного удара, стало ясно, что текст пуб-

ликовать надо. Началась суета, в самый разгар которой в редакцию заглянул известный литературовед Мурат Рахимкулов, который подлил масла в огонь, ответственно заявив, что тетка никакая не родственница, а, можно сказать, самозванка, что от нее стонет вся пресса Башкортостана и гнать ее надо в шею. Рукопись, на которой уже успел поплясать Багров, полетела в корзину, и весь рабочий день до ухода домой был посвящен руководством журнала обсуждению нахалки. Очи пылали, руки вздымались горе, благородное негодование перекачивалось из уст в уста, вспоминались аналогичные случаи, когда удавалось останавливать подобных нахалов, вспоминались случаи, когда этого не удавалось сделать, и все дружно соглашалось с тем, что чистоту местной прессы надо блюсти как зеницу этого, как его там, блин, ока.

Наутро хмурый редактор вызвал Багрова к себе в кабинет и молча вручил ему истерзанную рукопись. Что случилось, отчего все поменялось — никто не знал. Злой Багров сократил рукопись в восемь раз и только собиравшись пойти в техотдел, как дверь открылась и в кабинет ввалился редакционный художник Иван, как всегда, пьяный вздырг.

— Где Петров? — спросил он утомленным голосом. Это был его коронный вопрос, после которого следовала материализация самого Петрова, его друга и коллеги по издательству «Китап», в котором они оба многие годы оформляли книги. Нетвердо улыбаясь, Иван поздоровался со всеми, после чего покинул помещение, видимо, полагая свой долг перед учреждением, в котором он числился, исчерпанным. Незнакомно отчего Иван пользовался привилегией посещать редакцию журнала «Мрачные пропасти» два раза в месяц, а именно в день аванса и день полочки. Какое совпадение — именно в эти дни в редакцию являлся и Петров, такой же нетрезвый, жаждущий встречи с товарищем. Иногда они промахивались на день или два в ту или иную сторону, и тогда их жалобные взгляды преследовали коллег, лишенных подобных привилегий, но обремененных лишними, на взгляд сотоварищей, суммами, которые должны были всенепременно перетечь в карманы одиноких птиц, не обретших друг друга. Жалобно, словно два брата Сак и Сок из башкирского предания, выкрикивали что-то на своем языке.

Багров вышел в коридор и вспомнил Юнусова, который в подобной ситуации, указуя на бодрых горожан, что неспешно фланировали под балконом его жилища, выкрикнул с болью в душе:

— Ну, вот зачем им здоровье? Они же не пьют!

Тут раздались приветственные крики — заблудшие души обрели друг друга! Нетвердо улыбаясь, радуясь, что сегодня все вышло, как надо, два товарища, задев стены узкого коридора, покинули редакцию и отправились в свой волшебный алкоголический полет.

Багров вернулся в кабинет.

Поэт Шалухин, который сердито молчал за своим столом, все еще посверкивал светлыми глазами да сжимал до отказа челюсти. Наконец он шумно поднялся, шумно подошел к вделанному в стену шкафу

и стал так же демонстративно надевать куртку черной полиэтиленовой кожи. Подергав плечами, застегнув молодцеватый пояс, он напялил на голову плоский, такого же черного цвета берет, отчего стал похож на какого-то испанского гранда и грузина одновременно, потом также шумно вышел из кабинета, не сказав ни слова, зато энергично помахивая черным же полиэтиленовым пакетом с легкомысленной блондинкой на нем.

Багров, который уже знал, что в жизни многое случается без всякого на то смысла и не имеет никакого объяснения, молча пожал плечами и пошел в техотдел. По дороге, которая занял секунд десять, он думал о том, как много всего и всякого случалось с ним в жизни такого, что не оставило следа и отчего не имело никакого последствия. И чего это пришел Иван, думал Багров, забыв, что сегодня просто получка, и чего пришел Петров, забывая, что это ритуал дружбы. И куда убежала Шалухин? Хотя было ясно, что Шалухин пошел через дорогу в кафе «Огонек» острограммироваться, и все на свете имело более-менее разумное объяснение. Но для этого нужно было поменять точку зрения. Это-то сделать и было нитруднейшим. А с другой стороны, какого черта менять эту самую точку зрения? Разве она — это пуп земли, который нужно носить с места на место, потакая быстротекущему времени или ...

Додумать эту мысль он не успел, потому что вошел в техотдел.

Через сорок минут он вышел в коридор, поболтав с девчонками из техотдела о том, о сем, о пятом и десятом. На самом деле все было важно, потому что за это время была решена куча вопросов относительно правки статьи, ее размещения в очередном номере журнала, попутно Багров рассеянно заглянул в верстку текущего номера и обнаружил ошибку в оглавлении, которую пропустили корректора. Разумеется, он остался страшно доволен этим делом, потому что тысячи ошибок, которые пропустил он сам и которые бдительные корректора выловили, были не в счет. Ну, и много всего там было, включая два стакана чая, которые Багров выпил с удовольствием.

И все же что-то мучило его, быть может, он хотел, выходя за дверь, увидеть в небе картины Страшного Суда, и возвращаясь обратно — картину мирного Эдема? Бог весть. Но часто какое-то смутное недовольство живет в человеке, заставляя его мучиться на пустом месте, словно каждый встречный норовит обидеть, уязвить посланнее, зная то плохое, что имярек совершил в этой жизни, что-нибудь вроде неоплаченного проезда в общественном транспорте. А мимо пройдешь — и кажется, что все смеются за твоей спиной, показывают пальцем, гогочут. А ты и сделал-то всего ничего, вот даже и вины своей не помнишь, но мучаешься, растравляя себя...

Багров вышел на лестничную площадку, остановился возле большого окна, стал смотреть в небо, все тоже обычное, пустое небо январского дня. Мрачные мысли вертелись в его голове, всякая такая чушь, от которой хочется что-нибудь сделать гадкое, ну, что ли укунить себя за руку, как это делают дети, все будет повод заплакать, или обидеться на весь свет. Но даже ребенок в принципе понимает, что это глупо и кусает себя только исподтишка, словно не он сам себе делает больно, а какая-то злая рука.

В небе была наведена резкость, как в хорошей, очень качественной компьютерной игре, отчего далекие дома казались резко очерченными, обведенными по контуру такой же хорошей краской. Автомобили проскакивали в частые промежутки домов, словно показаться и исчезнуть была единственная их задача, наконец, деревья раскачивались на невидимом ветру вполне декоративно, в том же ритме, строго заданном не самым изобретательным программистом.

Ощущение вот такой заданности не покидало Багрова, словно все вокруг имеет смысл, который прячется от него, как-то недоступен, словно его самого недостаточно, нужен еще некоторый логин и пароль для доступа на этот уровень. Он вспомнил, как уже много лет назад купил свой компьютер, тогда еще 286-й с черно-белым экраном, от которого так болели глаза и охватывало отчаяние, когда случайно он вываливался в чистый ДОС. Где, где знакомые рамочки Нортон командера, где мои кнопочки альт F2? Нет ничего, только мигает в небе палочка курсора. Самое главное, что перезагрузиться невозможно.

В общем, подобными глупостями он загружал свою голову и смотрел в небо просто оттого, что страшно не хотелось идти в кабинет, видеть эти отвратительные рожи, к тому же, как-никак, был еще обед. Багров даже не помнил, ел он сегодня или нет, скорее всего, бросил что-то в бездонную яму желудка, потому что чувства голода не было, чтобы подумать о нем, надо было как-то сосредоточиться, а это и есть вернейший способ узнать, голоден ты или нет, потому что когда голоден, ни о чем не думаешь, кроме как о том, чтобы...

Когда он отвлекся от этих мыслей, выяснилось, что уже больше минуты смотрит в небо, которое вдруг стало менять картинки, словно взбесившаяся программка для смены обоев на рабочем столе. Каждая смена, происходившая с интервалом в пять-шесть секунд, сопровождалась дрожанием картинки, как бывает, когда глухой смотрит на работу отбойного молотка — ничего не слышно, но все дрожит. Кто-то менял светофильтры в небе — то в синем, то в голубом, то в зеленом. Интенсивность красок заставила Багрова зажмуриться. Когда же через минуту он открыл глаза, картинка была в порядке, но в ней появились какие-то новые предметы, на этот раз очерченные нарочито нерезко. Они представляли собой что-то полупрозрачное вблизи и темно-серое вдали. И этих образований было довольно много, они были повсюду, словно грибы, которые растут на пеньке без какого-либо плана и графика. Багров, который смотрел на завод резинотехнических изделий, а что еще видно из окна Дома печати, как вы думаете, с удивлением обнаружил, что все эти новообразования покачиваются в небе, словно растения, и не имеют никакого желания ни тронуться с места, ни как-то проявить свою активность. Это было даже неинтересно после приключений, которые с ним случились, поэтому Багров уже собрался было пойти в кабинет, как его внимание привлекла именно что активность в той стороне, где были общежития авиационного университета и высился памятник «без пяти семь». И только что там не было ничего, как на тебе — целая гроздь шаров повисла в небе. Странные предметы, которые с некоторой натяжкой можно было все же назвать шарами, если только учесть, что у них на боках были впадины и выпуклости, никаким законам не подчинявшиеся.

Багров потер глаза, теперь он уже не думал о том, что творится в небе, он думал о том, когда появятся санитары и увезут его в дурку. Или, быть может, надо идти сдаваться самому? За подобными размышлениями прошла еще секунда, в течение которой Багров припомнил историю девочки, которую, как на грех, тоже звали Лена, с которой он дружил давно, еще когда учился в сельхозе.

Как-то они гуляли ночью, и Багров ни с того, ни с сего брякнул, что он сумасшедший, имея в виду всего лишь некоторое пристрастие к тому, чтобы пописывать стишки. Ка-а-ак она отпрыгнула! Как загорелись ее глаза! Еле-еле Багров ее успокоил, но как показали последующие события, не до конца, потому что они перестали встречаться после той ночи. А все дело было в том, что мамаша, намучившись с ребенком (плохо спит, капризничает, кашу не ест), взяла и сдала ее в дурку. Врач, конечно, разобрался, что дело в обычной подростковой неразберихе, когда ребенок никак не может понять, чего он хочет, однако на всякий случай поставил ее на учет. И вот, каждую весну и осень Лена ходила к врачу, информация каким-то образом просочилась в школу, одноклассники и одноклассницы над ней хихикали и все такое. В общем, ничего хорошего. А чего она насмотрелась в этой дурке за многие годы!

В общем, Багрову вовсе не улыбалось идти сдаваться. Он все же думал, что может сам справиться, тем более что, протирая глаза, он вдруг обнаружил, что чертовщина пропадает, стоит только закрыть левый глаз. Это открытие его удивило, и он стал проверять его, то зажимывая оба глаза, то открывая один правый, то левый. За этим странным занятием и застал его главред, который на ходу глянул из-за двери, по инерции прошел мимо, а потом вернулся. Оказалось, что он как раз искал Багрова.

— Значит, так, — Андрюидов сделал значительное лицо, — тут нам позвонили из галереи «Мирас», давай сходи. Там открытие выставки. Напишешь заметку.

— Во сколько? — спросил Багров, рассматривая левым глазом редактора.

— В 16-00, — сказал главред. — Повезло тебе раньше уйти домой с работы! — и от греха подальше развернулся и ушел восвояси, видимо, приберегая речевые характеристики для другого раза. Что-то смутило его, и он не стал, как обычно, полчасика объяснять, в чем тут суть да дело и почему, если не сделать этого, Апокалипсис неизбежен.

Багров открыл второй глаз и — после некоторого раздумья — пожал плечами. Затем отправился спрашивать, сколько времени натикало уже. В любом случае он хотел убежать пораньше, тем более что теперь у него был повод. На ходу он обернулся и посмотрел в окно. Ноги у него подкосились, он по инерции сделал два шага куда-то вбок и уперся в стенку. По спине пробежала дрожь мелкого электричества. Он торопливо закрыл оба глаза, но уже впечаталась в мозг картина чудовищного размаха — все, что принимал Багров за грибницу, вдруг увеличилось в размерах и заняло видимое пространство, словно окна дома получили дополнительное свойство телескопа. Вблизи эти странные образования вспыхнули всеми красками полупрозрачных цветов, странным образом напоминая внутреннее пространство животного,



когда острый нож взрезает опаленную кожу свиный, и черное, грубой фактуры вещество вспыхивает ярким цветом кишок, ослепительно белого жира, голубоватых, сиреневых, в прожилках, благородного цвета печень и еще, еще, чего нельзя понять, чего нельзя назвать по имени, а только смотреть и видеть.

Красота картины доставила физическую боль Багрову, контраст между обыденностью жизни и чертовщиной, которая творилась в небе, оказался слишком резким, судорога свела мышцы рук и ног, он дернулся, почти не понимая, что с ним, но чувствуя, как глупо, как нелепо он выглядит. Но что нужно было сделать для того, чтобы выйти из такого положения — он тоже не знал. Сидеть с закрытыми глазами тоже было невозможно, поэтому, тяжело дыша и привыкая, он стал смотреть в окно, видя, как чудовищная картина медленно живет по каким-то своим правилам, как различные ее части движутся в том или ином направлении, меняя цвет, или только оттенки, как происходит движение каких-то частей вверх и вниз, как иные частицы уходят куда-то вбок, словно ракеты, нацеленные на что-то далекое, хотя, разумеется, по своим аэродинамическим свойствам они никак не были похожи на ракеты. Багров стал прикидывать, что бы это могло быть — такое зеленоватое, полупрозрачное, с нарушенным центром тяжести, словно сапог, который летит вперед носком.

Очнулся он оттого, что кто-то ощутимо потряс его по плечу. Это были коллеги из газеты «Йэшлек», одного Багров знал, звали его Мунир, он был поэт, как и половина журналистов Дома печати. Плохо соображая, что ему говорят, он с трудом встал, начал отряхиваться, и только потом до него дошел звук:

— ...леа, что ли? Сидишь, молчишь...

— Да все нормально, это я так, задумался...— сказал Багров и стал пробираться среди небольшой уже толпы, которая образовалась на лестничной площадке. Люди расступились с некоторым испугом и пропустили его, не совсем понимая, правильно ли они поступают.

28

Багров шел по улице вниз от Дома печати. Было только полтретьего, когда он схватил в охапку свое черное пальто, пакет с бумагами и выскочил в коридор. В этом был расчет, потому что он видел, как главреда увезли домой, когда он успел так наклюкаться — было непонятно. Только что ходил, разевая рот и вытягивая к потолку голову, на которой практически отсутствовал подбородок, и вот уже шофер тащит его вниз по лестнице, обнимая, как внимательный любовник.

С этим все было ясно, оставался первый заместитель главреда, который аккуратно вел свои записи, но завтра он, Волшебнов и Шалухин уезжали в большую поездку по Зауралью, так что гром небесный за ранний уход с работы достигнет Багрова только через четыре или даже пять дней. Но об этом он подумал, только пройдя квартала два или три, потому что сил уже не было находиться в редакции, в которой словно разбился градусник и пары ртути мед-

ленно растекались по комнате, повисая в воздухе неразличимой простому глазу пленкой. За ним словно летели миазмы ежедневных разговоров:

— Это же какие льготы надо иметь, чтобы за пять лет захватить шесть миллиардов долларов? — возмущался первый заместитель главного редактора, который получал несопоставимые с Чубайсом надбавки за то, что был заслуженным работником культуры республики.

— Картошка нынче плохо уродилась, — гудел Волшебнов, и его детское лицо в седых кудрях покрылось крупными, в советскую копейку, капельками пота. — Я вот думаю, что до февраля еще хватит, а потом придется лапу сосать.

— Теща пишет из деревни, что у них корова отелилась, — робко вставлял Никандров.

Так они говорили, попивая жидкий, почти без заварки, чай и аккуратными укусами уничтожая бутерброды с ливерной колбасой.

«Забудь, — успокаивал себя Багров. — По двум или трем фразам, вырванным из контекста, судить о людях не есть хорошо. Говорят же они и хорошие вещи, например, что печатать в журнале надо только добротные вещи или о том, как они любят родину».

Но успокоиться не получалось. Отчего-то все, что бы ни говорили или ни делали эти люди, воспринималось в штыки. Багрову казалось, что начни они проповедовать любовь к людям, то сразу стало бы ясно, что по ночам они их просто-напросто жрут.

Только возле центрального рынка Багров кое-как успокоился, или, точнее сказать, его отвлекли шум и толчая этого места. «Огромный крабовидный организм», — вспомнил он стих уфимского поэта Сивакова, что написан был как послание уфимскому же поэту Эдуарду Смирнову в ответ на его строчку «В мясных рядах мы встретимся с тобой!».

В белесом свете дня люди быстрым шагом шли, и шли, и шли, и ничуть не пели, направляясь ко входу. Рты их были плотно сжаты, так что ниточка губ казалась нарисованной резким жестом, в глазах ярким пятном светилось желание поскорей отовариться и покинуть это место. Почти подавшись непонятному чувству, которое тащило его внутрь, Багров прошел мимо. Слишком свежи еще были воспоминания от предновогодней беготни за продуктами, когда он стоял на этом самом рынке, весь в пакетах и сумках. Какого черта он покупал все это, всю эту бодягу, выбирая жратву по непонятным признакам — где-то дешевле, где-то упаковка хрустяща до безобразия, где-то голая девка прилапана. А по сути вся та жратва одинакова, отличить невозможно, и давай, парь мозги, думай, что лучше. Оттого, наверное, и сдаешься на милость рекламы, только чтобы не думать, не тратить жизненную силу на такой пустяк, как еда.

И тут Багров, проходя мимо башни с часами, заворачивая за угол, в сторону улицы Ленина, скрываясь с рыночной площади, как раз подумал о том, как с тем же Рапириным они зашли в магазин что-то взять спиртоводочного. Тот, словно корчась от зубной боли, посмотрел на полки магазинов.

— Выбери сам, — только и сказал, заслоняясь рукой и отворачивая голову.

За этими размышлениями Багров и не заметил, как прошел метров двести и уперся взглядом в большую афишу, возвещающую городу и миру о нахождении здесь галереи «Мирас». Ну, он-то знал, что слово сие означает «наследие». Багров пару раз бывал в этой галерее, воспоминания торкнули в голове, и он сам не заметил, как быстро взбежал на крыльцо и вошел в стеклянную дверь. Снова мысль, только зародившись в нем, захватила его в свои почти железные объятия, и, не давая ему опомниться, закрутила им по своему разумению.

Из-за стеклянной перегородки, обозначающей сторожку, иначе говоря, вахту, высунулся пожилой, серьезный, но вообще-то безликий мужчина и таким же безликим тоном осведомился, куда это Багров направляется. Имя галереи оказалось магическим, Багрова пропустили без лишних слов, должно быть, много ходит в эту галерею людей не совсем в себе, отметил про себя Багров и прошел в глубину задания. Открыв деревянную, красивого евроремонта дверь, отчего та звякнула колокольчиком, он вошел в такую же евроремонтную, большую, почти квадратную комнату. Она была пуста, только в углу негромко играла заунывная музыка и сидел бородатый мужчина непонятного возраста за сорок. Был он худ, к тому же борода его была не огромная, окладистая, а такая небольшая бородка, можно даже сказать, просто шерсть, красиво облегающая подбородок.

Багров уселся рядом с этим мужчиной и стал тупо смотреть на стены, на которых были развешаны картины. Все, что он видел, были какие-то пятна разного размера и разного цвета. Поводив головой налево и направо, морщась от музыки, Багров стал замечать, что пятна эти понемногу перетекают друг в друга, пока вдруг они словно бы навелись на резкость и образовали картину. Багров перевел взгляд — мужчина все так же безразлично сидел рядом с ним, не обращая на Багрова никакого внимания. Может быть, он слушал музыку, а может быть, просто задумался — понять это было невозможно. Багров стал рассматривать его лицо, уделив некоторое время полузакрытым глазам. Затем он чуть отодвинулся, чтобы видеть всю голову и часть шеи своего визави, но понять, слушает он музыку или просто задумался, так и не смог. Интересно, думал Багров, а какие мышцы человек напрягает, когда слушает музыку? Что должно случиться, чтобы сидеть вот так — выгнув шею по направлению к источнику звука, затем выставив вперед ухо и склонив голову под углом сорок пять градусов. Как же понять человека, как узнать, что творится в его голове?

Мужчина открыл глаза и встретился взглядом с Багровым.

— А что это за музыка? — мотнул головой Багров, который словно ждал, что сей господин обратит на него внимание.

— Бах! — сказал господин недовольно и снова закрыл глаза. Багров, словно бы оскорбленный в лучший чувствах, снова обратил свои взоры на стены, где оказалось, что это красивые разнообразные пятна, изображающие то яблоневые сады в пору цветения, то небо с волнующимся веществом облаков, то что-то еще столь же возвышенное и мерцающее. Багров стал смотреть на разнообразие изображений, как вдруг обнаружил, что в галерее полно людей, которые стоят в кругу, как перед жертвоприношением.

— Вы не встанете с нами? — прозвучало в тишине галереи. И Багров соскочил с места, даже не осознав смысла этих слов. Он тоже встал в круг, и тут одна из приветливых дам начала что-то говорить. Багров огляделся и вдруг увидел, что мужчин в зале всего двое — он и тот самый худощавый мужчина с бородкой.

Когда одна приветливая дама закончила говорить, в дело вступила вторая, за ней третья, и Багров казалось, что музыка их речей образует что-то вполне себе осмысленное и радостное, но вообще-то идущее вразрез с тем, что слышалось из динамиков магнитофона.

Голоса сплетались друг с другом, Багрову казалось, что они возвращаются к нему по замысловатой траектории, и тут он снова увидел, как приоткрылась узкая, около метра щель в воздухе, словно прорезанная кривой бритвой, и показали какие-то внутренности воздуха — цвета удивительной, небывшей жизни, чего-то яркого и счастливого. Багров потянулся к этой узкой полоске, она стала расширяться, вдруг оказалось, что весь воздух пошел разрывами и из него хлынула в залу какая-то яркая масса, поток, который стал медленно перетекать друг в друга, меняя цвета на линиях пересечения, сверкая на изломах и неожиданных поворотах вещества. Словно разноцветные линии лент, летящих вслед гимнастке, они образовали какой-то яркий узор и вдруг слились в яйцо размером чуть больше куриного. Яйцо вращалось секунду, словно заглазная цвета, и вдруг стало полупрозрачным и повисло в воздухе.

— Вам плохо? Помогите! — посылались голоса, и Багров в следующую секунду обнаружил себя полулежащим на небольшом диванчике. Вокруг него хлопотали женщины, в их лицах сквозило недоумение и озабоченность, и только краем глаз Багров видел в них остатки тягостного чувства, которое только что было в галерее.

Он огляделся. Разумеется, никакого яйца в воздухе не наблюдалось. Была обыкновенная большая комната, в которой висели картины. Багров еще хлебнул воды из стакана, который ему сунули под нос, с трудом, пошатываясь, поднялся и, буркнув что-то, долженствующее означать спасибо и неумелое прощание, вывалился в коридор.

Дамы переглянулись, а затем, как это бывает после неожиданного вторжения, поверхность дня сомкнулась над событием, который ушло на дно, течение плавно понеслось дальше, и только редкие завихрения поверхности, сохранившиеся где-то углам, говорили о том, что случилось нечто необычное. Но чтобы увидеть их — не было ни человека, ни глаза, который бы различил это в наступающих сумерках вчерашнего дня.

Багров помотал головой, потом заморгал — не помогало. Наконец, он принялся тереть глаза, словно от этого зависело прояснение в голове. Чего-то он не помнил, словно перелистнул в книжке пару страниц, а в них была пара-тройка каких-то важных вещей, словно герой переехал в другой город или пережил метаморфозу, равной которой еще не было на земле. Мутным взглядом он обвел комнату. Бледный свет дня, идущий от окна, прояснявшийся с ка-

ждой минутой, успокоил Багрова, он поднялся с дивана, постоял так еще немного, оглядывая разруху, которая царила в его комнате, а потом снова растянулся на диване. Была суббота, не надо было идти на работу, которая — странное дело — уже не вызывала в нем такого сильного отвращения, какое было раньше и какое он еще не успел забыть, да и безразличие, которое комом лежало в груди, вроде бы ослабило свое действие и отодвинулось в тень, так что при желании можно было сделать вид, что его нет. Что же случилось, что за вещи творятся с ним, задумался Багров. Он довольно энергично почесал голову, в которой, это было ясно, как раз и творится бог знает что. Собственно, понять, что творится в жизни, чаще всего просто невозможно. Тут Багров задумался над течением ее и вдруг понял то, что он всегда чувствовал, но не мог сказать словами — отсутствие некоторого плана. Блин! Дожить до тридцати и никогда не задумываться над тем, зачем ты живешь! — думал Багров. С ним, собственно, так и было. Закончил школу, потом институт, потом работа. Вот и все.

Ну, хорошо, а что потом? Только черточка между годами рождения и смерти, только столбик на могилке появится, и не останется ничего, что бы говорило о жизни человека. Собственно, если бы это происходило с кем-то еще, Багров бы как-то смирился. Но ведь это происходит с ним самим! Что делать, как быть? Багров разозлился, в первую очередь, конечно, на то, что живет так бездарно, а во-вторых, что он разозлился. Когда же, ну когда же он начнет жить спокойно, не нервничая из-за пустяков. Но тут дело было, конечно, не в пустяках. Но ведь можно как-то жить, как-то успокоиться и решить, что же делать, выправить положение. Но положение не хотело выправляться, и Багров вскочил, походил по комнате туда-сюда, наконец включил компьютер и долго ждал, когда он наконец загрузится. Винюк — операционная система виндоус — наконец выкинул рабочий стол с какой-то голый теткой на нем. Багров бешено погонял пасьянс, но успокоения так и не было. Наконец он решил, что пришла пора пообедать, и решительно выключил комп. И чего, спрашивается, включал? Ответа на этот вопрос не было.

Ну вот, ругался Багров, такое было хорошее утро, и вот опять пришла в башку какая-то странная мысль, и утро потеряно. Было уже без пятнадцати минут три часа дня. Что же делать, как быть? — думал Багров, и никаких иных мыслей в голову ему не приходило. Тем не менее, отметим положительную сторону проживания в общежитии — не прошло и пяти секунд после того, как Багров задался отчаянным вопросом, как в дверь постучали. Радуйся возможности отложиться на потом трудное дело, Багров легко поднялся с дивана и пошел открывать дверь. Это была Рамиля, его соседка. Пришла занимать полтинник, но дело, как всегда, не ограничилось приемом-передачей купюры, которую Багров тут же взял с телевизора, где она лежала со своими товарками. Стоя в дверях, Рамиля выспрашивала Багрова, куда он пропал, что у него происходит интересного, какие за-а-аботы гнетут молодого холостяка.

— Э, все нормальная, — бодрился Багров, интонационно поворачивая великого художника Сергея Краснова, у которого как-то

пил в его мастерской, быстро перешел на ты, хлопал по плечу в пьяном угаре, кричал что-то типа «клевый ты парень, Серега!», отчего наутро было не по себе.

— А у нас сняли Элеонору Абдрашитовну, — жеманясь, рассказывала Рамиля. — Вызвали в министерство и сказали, чтобы убиралась сей же секунд.

Они поахали и поохали. Судьба творила свое дело, не обращая внимания ни на какие заслуги перед национальной культурой. Багров смущенно почесал подбородок и без малейшего перерыва обнял Рамилю за существенную талию.

— Ну, опять, — пропела Рамиля, не меняя интонации. — Как к тебе не зайдешь, ты обниматься лезешь. Ну, что это такое?

Багров не обращал ни малейшего внимания на эти ее песни, он уже слышал их тысячу раз, и только упорно продолжал свои изыскательские работы. Сопение, возня, наконец, Рамиля вырвалась из рук, пропела что-то вроде «до свиданья» и удалилась. Багров вздохнул, пожал плечами и закрыл дверь.

## 30

Жизнь катилась дальше, не спрашивая, хорошо тебе или плохо, просто некий механизм неумоимо двигает секундную стрелку, накапливая некий груз, который передается минутной, и уже вместе они сдвигают час, казавшийся непоколебимой глыбой. Вслед за часом перекачивается второй, за ним третий, и вот уже день идет к закату, и в окне зажглись огоньки — сначала рукотворные, домов напротив, а потом уже и небесные, один за другим, словно проявляясь на гигантском фотоснимке под неумолимым действием вещества январских сумерек. Спыхватываясь, ты размышляешь о том, что удалось сделать за день, а что не удалось, потягиваешься, вздыхаешь, ходишь по комнате взад и вперед, думая о чем-то непонятном, затем идешь в ванную комнату и, пока вода с грохотом, словно лед, наливается в электрочайник, еще о многом можно подумать, о многом помечтать. Спыхватываясь, когда вода перебегает через край и приятно холодит руку, которая внезапно становится словно бы из другого вещества, и смотришь на нее, перехватив чайник другой, не случится ли и с ней метаморфоза, подобная небесной. Однако ничего такого не происходит, и ты идешь в комнату, ставишь электрочайник на родную ему подложку, щелкаешь выключателем и ждешь, погрузившись в блаженство ничегонеделания, блаженство мечты, когда все, что от тебя зависит, сделано и осталось только получить результат. Маленькое чудо не замедляет проявить себя, чайник словно ни с того, ни с сего начинает шататься, затем словно подпрыгивает на месте, раздается щелчок, и все стихает. Далее в ход идет мелкий заварной чайник, купленный под окнами, в торговом комплексе, кипяток шумно устремляется в него, звучно наполняет до краев и успокаивается, достигнув каких-то, ему одному известных пределов, и далее идет уже другая работа, которая уже не видна, потому что в действие вступает крошечный пакетик зеленого чая. Кладешь на место корбочку, из ко-

торой он был извлечен, и мысли уже о другом, и сознание места и времени словно отключилось на миг, отошло на второй план, а на переднем — только легкая грусть прожитого дня.

Как часто в некоторых местах детства, при захлопывании очередной книжки приходила мысль о том, как интересно живут ее герои, которые по мановению руки, перелистывающей страницу, оказываются в переплете один интереснее другого, ведут разговоры один любопытнее другого, переживают события, которых другим хватило бы на сотню лет судьбы. Это как в индийских кинофильмах — еще одна любовь детства — главный герой, после восьмидесяти пяти ударов, каждый из которых превратил бы в лепешку автомобиль «Камаз», как ни в чем не бывало, встает и делает — как дань некоторой правде — отбивную из врагов немереного числа.

В жизни, какую проживал Багров, ничего подобного не случилось, и вот теперь, как он понимал, уже может и не случиться никогда. Жизнь это только день, и этот день повторяется и повторяется — то радуя, то надоедая до омерзения. И слава богу, что сегодня все обошлось, ничего страшного, ничего грустного или печального не произошло. И пусть не было ничего, чем можно было бы похвастаться кому-нибудь, желательно особе противоположного пола в соответствующей обстановке, но и это вполне компенсируется отсутствием неприятностей.

Размышляя подобным образом, Багров вдруг вспомнил, что вычитал эту мысль в каком-то стихотворении Сашки Банникова, своего друга, уже лет пять как ушедшего из жизни. Там как раз и говорилось обо всем этом, за единственным исключением — полный мрачного настроения, Сашка считал, что каждый день есть только ухудшенная копия предыдущего, и что радость постепенно исчезает, чтобы сойти на нет. Неудивительно, подумал Багров, что Сашка умер, кто бы вынес такой груз отчаяния, который носил в себе Банников, притом что груз этот увеличивался день ото дня.

Настроение у Багрова стало еще более злегическим. Он включил телевизор, сел на диван, бросил руку на спинку и вдруг — о чудо! Рука его нащупала пульт! И Багров принялся яростно щелкать, переключаясь с одной говорящей головы на другую, пока не обнаружил какой-то американский боевик, в котором все было предсказуемо вплоть до последней секунды.

Рушились дома, поднимался в небо вертолет, унося Багрова в неизведанные дали, на подножке обнаруживался враг, который лез в кабину, и которого надо было без всякого на то настроения бить ногой по лицу, чтобы он упал и чтобы мир, таким образом, оказался спасен. Оглядываясь на картину феерических, фантазмагорических разрушений, Багров думал о том, что на этом месте пару веков не сможет жить ни одна сволочь, но кто гарантирует, что в это самое время в эти места не летит какой-нибудь другой Багров, который проделал тоже самое с местом, куда сейчас летит главный герой боевика.

По экрану пробежала быстрая рябь имен, которые ничего не говорили Багрову — все это мелкие американские иероглифы тех, кто продуцировал мечты для стран третьего мира, затем картинка сменилась другой. Реклама — все та же мечта, но уже более материальная.

Багров поймал себя на мысли, что повторяет всю эту чушь, и даже ждет, когда появится та или иная, хотя ни прокладками, понятное дело, не пользуетесь, ни мылом этим долбаным, зато время бежит со страшной силой, время убегает, словно оно и есть самая невыносимая вещь на свете, от которой нужно избавиться во чтобы то ни стало.

Но время и вправду бежало вперед, и уже надо было ложиться спать, потому что завтра снова на работу, такую привычную, такую надоевшую, но тем не менее дающую хотя бы какую-то уверенность в том, что жизнь твоя нужна, что от нее есть какая-то польза.

Багров снова поймал себя на мысли, что думает о смысле собственной жизни, странным образом он припомнил, как недавно ему ничего не хотелось, так что его охватила столбняк на улице Ленина. Но вот прошло несколько дней, и ему снова хочется жить, и даже приходят какие-то мысли, и он даже испытывает какие-то чувства, и даже опостылевшая работа не так тяготит, как раньше. Что же такого случилось с ним, думал Багров, в общем-то никак не связывая перемену своего настроения со странными событиями последних дней. А почему с ним произошло то, что произошло с ним в самом начале января? И на этот вопрос у Багрова не было ответа, потому что люди, в общем, никогда не задумываются особо над тем, что с ними происходит. Ну, вот случилось и случилось, кому какое дело! И прошло, и забылось, как например, с зубами — два дня болел зуб, а теперь боль прекратилась, и значит, можно на время забыть о том, что во глубине тихо набухает нерв, что он-то ничего не забыл, он только копит силы, чтобы заявить о себе, когда настанет его время.

Багров повздыхал, думая о том, что сейчас уснет и провалится в некоторое небытие, в котором он будет так незащищен и нелеп, как бывают незащищенны и нелепы дети во сне, но детям не угрожает зло просто потому, что они безгрешны и спят дома, под присмотром своих родителей, скорее второе, чем первое, разумеется. Багров потому и засыпал всякий раз, припоминая всех, кого обидел или думал, что обидел, ворочался, пока, наконец, сон не смежил ему веки.

Все же, какой-то частью своего сознания Багров понимал, что погружается в сон, и, даже уснув почти полностью, он помнил, что все это видится ему во сне. Первое время, когда предметы расплылись и стали неуправляемы, он думал, что сейчас, еще через несколько минут, он погрузится в сон и постарается забыть обо всем на свете, что, в общем-то, и составляет главную прелесть сна. Однако время шло и предметы, которые окружали его, вовсе не собирались уходить в дальнейшую темноту, вдруг оказалось, что они начали приобретать какую-то особую четкость, буквально за несколько секунд они переменили свой облик, но произошло это, видимо, только для того, чтобы они явили Багрову какую-то иную сторону своего бытия — словно в себе они содержали еще интерьеры, как то бывает в театре, когда стоит повернуть декорацию, и городская квартира превращается в степь и можно кричать на все четыре стороны света, или же невинный стук за окном, сопровождавший погружение в сон окажется выстрелом из пистолета, и некто во фраке зашепчет на ухо — уберите Илюзу Эриковну, Абрам Гаврилович только что застрелился. Бедный, бедный Абрам Гаврилыч! Это, как понял Багров, была «Чайка», но в



это время декорации повернулись еще раз, и его взору предстал картина, которую он словно бы наблюдал изнутри, и даже был в ней почти что непосредственным участником.

Багров повернулся на бок, устроился поудобнее и затих. Сон, наконец, вступил в свои права.

## 31

Неясные обрывки какого-то происшествия преследовали Багрова почти всю дорогу до работы. «Какого черта мне приснился аэропорт? Что это были за люди?» — думал Багров, который не узнал никого из тех, на ком останавливался его взгляд во время сна. Привыкнув к мысли, что сон — это, в общем, некоторое продолжение дневной жизни, когда возбужденный мозг успокаивается от всех перипетий и потому сбрасывает какие-то излишние сцены просто для того, чтобы они не путались под ногами, Багров не мог понять, с чего вдруг ему приснилось абсолютно незнакомое место и абсолютно незнакомые люди.

Троллейбус равномерно качался из стороны в сторону, время от времени дергаясь так же или назад. Пассажиры уже привыкли к странным его движениям и потому не обращали на него никакого внимания, послушно выписывая собственные траектории в пространстве. Собственно, поэтому и Багров не обратил внимания, что на задней площадке происходило какое-то шевеление, но когда оно приблизилось к нему, он понял, что и кто был причиной волнения — к нему пробирался Рапилов, огромным корпусом отодвигая в сторону пассажиров.

— Ты слышал, что пропал Шалухин? — спросил он трагическим шепотом. Видимо, это было что-то вроде «здравствуй». Все тревоги и страхи ночи отошли на второй план, и Багров принялся расспрашивать, что да как, отчего возмущенные пассажиры стали оглядываться на них, словно в троллейбусе ни с того ни с его два бегемота устроились танцевать буги или шейк. Через остановку ничего не разъяснилось, но и было уже пора выходить. Багров выскочил на ДOME печати, помахав рукой Шапирову, который поехал дальше, навещать склады театра «Нур». Из краткого обмена информацией Багров так и не понял, в чем дело.

Выйдя из троллейбуса, который страшно долго стоял на перекрестке, пропуская трамвай, Багров пошел в Дом печати, по пути расспрашивая встречных. Кое-что прояснилось — оказалось, что его коллеги вернулись из командировки, но с ними не оказалось Шалухина, который пропал неизвестно где. Можно было подумать, что коллеги сему обстоятельству дают путаные объяснения просто потому, что на самом деле где-то в Белорецком районе они попали в пургу, заблудились, замерзли, потеряли окончательно человеческий облик и просто съели товарища, вот и все.

Встревоженный Багров вошел в Дом печати, опять страшно долго ждал лифт, отбивая пальцами такты по железной двери. Наконец эта черепаха, моргая огоньками, подъехала к ним и открыла свою гостеприимную пасть. Но к тому времени уже набежало почти с деся-

ток коллег, в основном женщин, и Багров был вынужден пропустить их вперед. Нетерпение его нарастало, он даже подумывал побежать вверх по лестнице, но, вспомнив, что это довольно высоко, на девятом этаже, он все же остался ждать лифт. Мысли, одна другой враждебнее, словно вихрь, метались в его голове, он не знал, что делать, как быть, куда бежать, и только одна из них еще более-менее держала его в равновесии — это мысль добраться до коллег в редакции, расспросить, узнать, в чем дело, что случилось. Ошибка? Но такими вещами не шутят. Ведь это же Зауралье, снег, мороз. Как может пропасть человек, который поехал вместе со всеми в легковушке?

Лифт язгнул и остановился. Дверь открылась, из лифта вышел сияющий Касымов, а за ним — Багров не поверил своим глазам — тот самый черный человек!

— Здравствуйте, Багров! — сказал витиевато Касымов. — Вот, познакомьтесь, это поэт Леша Кривошеев. Я вам о нем не раз уже говорил.

Кривошеев смущенно улыбнулся и протянул Багрову руку. Тот автоматически ее пожал. Но рука была крепкой, сильной, человеческой.

Багров помотал головой, говорить он уже был не в силах, и вошел в лифт. Дверь захлопнулась, машина пошла наверх. Атомный взрыв в голове достиг своих крайних пределов.

Лифт остановился, дверь отворилась. Багров вышел на площадку. Первый, кого он увидел, был Шалухин, который выходил из туалета, на ходу застегивая ширинку. Багров очумело посмотрел на него и спросил:

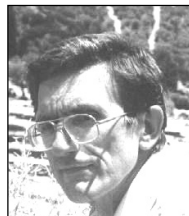
— Это, зарплату сегодня дают?

— Нет, — мрачно пробурчал Шалухин и пошел дальше. Багров долго смотрел ему вслед, потом побежал в туалет, на ходу вырывая пуговицы на брюках, пальцы не слушались, хотя чуть позже наконец все получилось. Очнулся он только когда обнаружил, что стоит возле дверей своего кабинета. Он вошел в кабинет, бросил на стол пакет и поднял глаза.

*(Окончание в сл. номере)*

## Вячеслав САМОШКИН

*/ Бухарест /*



Вячеслав Самошкин (р. 1945) — яркий, серьёзный, значительный, давно состоявшийся поэт. Я дружу с ним с 1963 года — и твёрдо знаю: друг он настоящий и человек замечательный. Он был в нашем СМОГе, принимал участие во многих наших чтениях стихов, ныне ставших легендарными. Самошкин по образованию филолог, окончил МГУ. Но стал он журналистом. Долго работал в АПН. И ныне он — широко известный, крупный журналист-международник. Живёт в Румынии, в Бухаресте. Как журналист, публикуется во многих отечественных и зарубежных периодических изданиях. Успешно переводит с румынского стихи и прозу, публикует свои переводы. Многие делает для сближения культуры России и Румынии. Является главным редактором нового международного журнала. Но главное для него — поэзия. При советской власти его стихи, как и стихи его друзей, на родине не печатались. Публикации стихов в различных российских журналах начали появляться в новые для страны времена. Стихи Вячеслава Самошкина, внешне вроде бы традиционные, всегда изумляют особой, ненавязчивой, но необходимой новизной, совершенны по форме, «исполнены высшего смысла» — по выражению Аполлинера, порою драматичны, но всегда благородны и светлы. Несколько лет назад в Москве, в издательстве «Водолей», вышла книга стихов Вячеслава Самошкина «В сторону (от) СМОГа», получившая немалое число хороших отзывов в прессе. Презентация этой книги проходила в Коктебеле, на Волошинском литературном фестивале. Вскоре должна выйти в свет двуязычная книга Самошкина — на русском языке и на румынском, в переводах, выполненных известными румынскими поэтами. Через некоторое время будет издана в России и новая книга стихов Вячеслава Самошкина. Знаю, что публикация его стихов в журнале «Крещатик» привлечёт внимание ценителей поэзии и станет ещё одним напоминанием о том, что героический наш СМОГ жив, что его участники, каждый в меру своих сил, доньше работают, создавая новые произведения, что русская речь — жива.

## ВСЕ ЭТО БЫЛО

Полнометражный шум дождя,  
гул несмолкаемый турбины,  
а если вслушаться, трибуны,  
с нее срываясь, речь вождя

звучит... Все это было, было,  
да вот по кладбищам остыло,  
не остывают только в сердце,  
сквозь дождь, былого килогерцы.

## В ДЫМКЕ ДЕТСТВА

Тополь, твой зеленый китель,  
сапоги и галифе...  
Ты как будто мой родитель,  
в дымке детства, вдалеке.

Моды шик послевоенной —  
вечный сталинский мундир:  
фронтоник и бывший пленный,  
кто-то даже не военный,  
бывший зэк и конвоир...

Помню, солнце пригревало,  
становилась жизнь добрей.  
Мать Россия выползала  
из советских лагерей.

## ПОРТРЕТЫ

В детстве времени помню приметы:  
на меня со страниц букварей —  
отовсюду, глядели портреты  
знаменитых советских вождей.

Ленин в галстук черном, в горошек,  
как у птицы весенней крыло.  
Столько мыслей внушало хороших  
благородное это чело!

Рядом Сталина, вплоборота,  
вид торжественный, грудь в орденах.  
Беспримерного духа работа,  
всех врагов повергавшая в прах!..

Но становится тайное явным,  
из щелей выползает и нор:  
то, что было в семнадцатом главным, —  
узурпация власти, террор.

Беззакония грех изначальный  
обернется великой бедой  
и для многих дорогой печальной,  
вместо будущего — в перегнутой...

И развенчаны будут кумиры —  
их портреты поди обнаружь! —  
надзиратели и конвоиры  
наших пленных, обманутых душ.

...Свято веря в красивую сказку,  
в школу звонко печатаю шаг.  
И портрет Ильича на раскраску  
на асфальте разложен в растяг.

## ДО РАССВЕТА

Бессонная ночь сгорает дотла.  
Дотрагиваюсь до утра.  
Строфы полуночной ломая размер,  
первый трамвай прозвенел.  
Но годы прожиты, избалован слух —  
по умолчанью тут нужен петух!  
и только потом, как в твой колокол, Реймс,  
ударит охранник в подвешенный рельс —  
точку отсчета для нового дня...  
Если усну, не будите меня.

## ВОЛЧОК

Подчиняясь всемирным законам,  
что мудрей, чем любая змея,  
совершает под вечным наклоном  
круговое вращенье Земля.

Агрегат потрясающей силы,  
грандиозный крутящий момент!  
Даже в Библии слов не хватило  
на существенный столь элемент...

Смену суток, работу и отдых,  
настроенье и мыслей поток,  
круглый год путешествуя в звездах,  
регулирует славный волчок.

↓

Может быть, рассуждаю безбожно,  
но вам скажет профессор седой:  
жизнь сама не была бы возможна,  
не вращайся наш шар голубой.

Солнце, грея, рождает теченья  
масс воздушных и масс водяных,  
их давление на сушу, смещение  
вкруг оси многопудий земных...

И в далеком я прошлом провижу:  
поклоняясь дождям и ветрам,  
были к жизни язычники ближе  
и смышленей, чем кажется нам.

Трепетали пред силой природы,  
но принес им здоровый подход  
астрономии дерзкие восходы  
и крутой математики взлет.

А большого искусства творенья?  
А мыслителей целую рать?..  
Долго будет потом Возрождение  
своего человечества ждать!

## КАРПАТЫ

Зима без снега, ни снежинки!  
В природе явный виден сбой.  
И солнца странны мне ужимки  
торчать так низко над землей.

Сценарий неблагополучен.  
Снимать? Какое тут кино!  
Антониони с Бертолуччи  
нам переплюнуть не дано...

Но словно ватным одеялом  
земля укроется в пургу  
и станет звук настолько малым,  
что весь свой слух я напрягу.

И снова в бой идут лопаты,  
гребут дорогу грейдера.  
Румынской армии солдаты  
откапывают города.

Снежинки в воздухе витают.  
Зимы незыблемый статут.  
Свое Карпаты дело знают  
и пол-Европы заметут!

## **А СНЕЖИНКИ ВСЁ ПРО ЭТО...**

А снежинки всё про это —  
отрешенность, мир, покой,  
все про Тютчева, про Фета,  
Лермонтов им как родной.

Проникая в сны глубоко,  
обнажая суть вещей,  
всё про Пушкина, про Блока,  
нищих духом и царей.

А снежинки всё про то же —  
бесконечное в земном,  
про Твои деянья, Боже,  
про Тебя — во мне самом.

Ах, снежинки-балеринки,  
из какой вы Мариинки?..

## **ОКТАБРЬ**

Мне в дуга бы заливные!  
Мне б на реки да в моря!..  
Снова жабры молодые  
ловят воздух октября.

В уголках родной природы —  
все равно, какая власть! -  
лишь бы был глоток свободы,  
лишь бы брагою лилась.

Но октябрь — он самый ражий:  
всех он в красках превзошёл!  
Не смотри, что он оранжев —  
он и охрист, он и жёлт.

В общем, он, дитя распада,  
сердцем чист, как изумруд.  
И в объятых снегопада  
руки, сжав его, замрут...



## ЦВЕТОВОДЬЕ

Если ветер, природа — в плач,  
и народ потянулся с дач,  
тут уже ничего не поправить,  
разве в рамку хорошую вставить  
лето красное, снятое «цифрой» —  
твои розы по имени Circus...  
Ну, зачем мне Канары, Хеопсы,  
когда есть твои лилии, флоксы?  
Поневоле станешь ботаник,  
и не тянет совсем на «Титаник»!

## ВЕЩИЙ СОН

Этот сон мне как повестка  
в мир иной... В глазах стоит  
отшлифованный до блеска  
храм странного гранит.

И соскальзывает воздух  
с малахитовых колонн...  
Кто такую роскошь создал,  
из каких она времен?

Божий храм, его ступени?  
Но ведущие — куда?..  
В край унынья, в край забвенья,  
чтоб исчезнуть без следа?

Вещий сон о том, что будет,  
всех земных путей итог...  
Мир безмолвья, мир безлюдья,  
одиночества чертог.

К неизбежному готовясь,  
репетирует душа  
и свою мне шепчет повесть,  
снами вещими шурша...





## Дмитрий ТАРАСОВ

*/ Москва /*



### В ОЖИДАНИИ...

— Эй, куда полез?

Туда же, куда и всегда, когда не давали мяса, а давали черт знает что — какие-то отбросы, да еще укладывали их на немывтое блюдо с засохшими остатками обеда. Уж лучше залезть в гущу герани на окне и поесть свежей зелени. Горшок падает на пол, рассыпая вокруг крупные комки чернозема, — такое уже случалось пару раз, и старик, хозяин, был тогда очень недоволен.

Худой черный кот замер в полудвижении — поднятая лапа, поворот головы, чтобы узнать намерения хозяина, хвост поджат и изогнут, в память о былых наказаниях; посмотрел и спрыгнул вниз, на деревянный пол, от греха подальше, — лучше быть голодным, но не битым. Однако сегодня хозяин был настроен миролюбиво.

— Ну, чем я тебе помогу? — глядя вслед коту, который пренебрежительно прошел мимо блюда, старик встал, открыл окно.

Потянуло свежестью, ароматом цветущего сада, когда-то ухоженного, чистого, теперь же вконец запущенного. Нет сил следить за деревьями, ставить подпорки, прививать, на зиму красить стволы. Да и кому теперь все это нужно? Он живет одиноко, ест мало (зубы сгнили и истерлись до десен), вот только кот (имени ему старик так и не придумал) развлекает его и по-своему любит. Прибился когда-то — уличный, наглый — и остался в доме — единственный собеседник, молчаливый, но зато внимательный. Благодарный, с ласковой повадкой тереться возле ног, — когда есть чем угостить; важный, снисходительный, — когда пенсионные деньги заканчиваются.

Хватает пенсии недели на две, не больше, потом старик кормится от огорода и сада, да перебивается случайными заработками — поможет кому-нибудь по хозяйству, пристроится на железнодорожную станцию или в соседнюю воинскую часть — там всегда нужны работники. Летом можно разжиться в округе — на дачах, возле многочисленных свалок и продуктовых ларьков. Зимой жизнь затихает, народу мало. Зимой вообще хуже.

Последнюю зиму старик пережил с трудом: простыл, долго лежал, не мог выйти на улицу. Едва дождался весны. Теперь начало ле-

та, тепло, можно ходить в огород, копать землю — картошка в этом году взошла дружно, зеленеет густая ботва, так что и из окна видно. Хороший будет урожай. Недаром он прошлой осенью все ходил на свалку, отыскивал подходящие клубни.

Хорошо летом и другое: открыл окно, глядишь на улицу, кто-то работает, кто-то праздно ходит, можно перекинуться парой слов, даже сходить в гости.

— Через неделю, даст Бог, получу пенсию. Куплю тебе тогда мяса, рыбы, корма. Ты чего хочешь?

Старик сидел неподвижно, глядел в окно и говорил медленно, чуть повернув голову назад. Но в комнате уже никого не было: кот выбрался наружу и теперь крадучись пробирался по саду, меж высоких сорных трав — туда, где на ветке дикой малины чирикал воробей, издевательски близкий и беззаботный. Раз хозяин не дает мяса, приходится самому заботиться о себе. Для жирного домашнего кота, что живет на даче за рекою, охота — развлечение, для черного Бандита (как прозвали его в деревне за буйный нрав) охота — прямая необходимость.

Сидеть у окна — чуть ли не единственное развлечение, которое осталось старику. По крайней мере, тут он волен: хочет — глядит, не хочет — пойдет в огород или ляжет спать. Другое дело — телевизор: год уже не показывает, — а как починишь? — нужно вызывать мастера, деньги платить. Радио, правда, еще работает — плохо, с треском, но жаловаться грех, новости он все-таки иногда слушает.

Вот недавно он попросил — за бутылку — починить телевизор соседа Лешку, вечно пьяного, но толкового парня, образованного, что называется «с руками». Тот взялся, потом выпил, потом опять взялся, опять выпил, — но так ничего и не сделал. Помнится, Лешка сказал тогда:

— Иваныч, плохо дело — иди еще за водкой, иначе никак.

И после сказал еще:

— Я хоть и учился в институте, как раз по телевизорам, но здесь поделать ничего не могу. Ламповый еще, старье, хлам. Советую просто выкинуть... Или нет, знаешь, можно по-другому сделать: на станции принимают старые детали, дешево, конечно, но на пару бутлоков хватит.

Лешка вообще всегда полон идей. Живчик. Загорается так же быстро, как и гаснет. Вот и сегодня утром старик видел, как он, с криком и песнями, куда-то шел. Старик спросил:

— Далеко ли?

— Да есть одно дельце. Михаыч, председатель-то, попросил зайти, помочь разобрать завал на рельсах, мол, заплатит... А ты все сидишь, старче? Все прибавки ждешь?

Да, он продолжал сидеть. Чужие куры забрались в огород, переваживались меж грядок. Разважалась поленница. Поперек тропинки лежала поваленная ветром береза, грязно-белая, со сгнившей сердцевиной. По ее изъеденной коре медленно перебиралась крыса.

Он устал бороться — с хаосом жизни, с самой жизнью. А что касается крыс... Их всегда здесь было много: жили под железнодорож-

ной насыпью, у станции, возле торговых ларьков, по берегам реки, а в деревню заходили поживиться. Кот только и спасал, особенно зимой, когда крысы в поисках тепла лезли совсем уж нагло.

Сквозь ветви деревьев виднелся соседский дом, крытый серыми чешуйками. Черная ель, ровесница деревни, посаженная еще первыми поселенцами и разросшаяся теперь вширь и ввысь, громоздилась над домами, видная, как ориентир, со всех близлежащих дорог. Вдали, у забора, белым облаком цвела сирень — какой-то поздний, особый вид. Возле самого дома росла яблоня; одна из ее кривеньких веток всегда заглядывала в окно, — стоило его только приоткрыть, как раздавался шум листьев, легкий стук по стеклу, — и вот уже ветка, упруго перемахнув через раму, колышется и свисает прямо в комнату. В августе, не выходя из дома, можно срывать яблоки. Они, правда, маленькие, кислые, как плоды дичка, — но отчего им быть другими, если за деревьями уже давно никто не смотрит.

Поглядев в окно, старик вернулся мыслью к утренней встрече с Лешкой. Председатель его использует: чуть что, какая работа, посылает за Лешкой, платит копейки, с которыми Лешка тотчас бежит в магазин. Совсем сопется парень — а жаль, сердце у него доброе. Это ведь он надоумил насчет пенсии. Говорит, что ты все, Иваныч, бедствуешь, с хлеба на воду перебиваешься, ведь ты, говорит, работал, воевал, а пенсия у тебя, что у твоего кота — хрящи да кости. Тебе, продолжает, писать надо в пенсионный фонд, в военное министерство, добиваться своих прав. Ты же труженик, ветеран войны, и пенсия тебе полагается соответствующая, раз в пять больше нынешней. Я ему: «Да как же я такую бумагу составлю, я и писал-то последний раз уж не помню когда». А он: «Ничего, я вместо тебя напишу, ты только распишешься». Я опять: «У меня и документов нужных не осталось, все сгорело в пожаре». Тут Лешка стал меня успокаивать (расплакался я по-стариковски) и сказал, что он все берет на себя, что для него, мол, восстановить справедливость — дело чести. Вот какой он парень. И ведь не обманул. Все сделал, как обещал: письма написал, отправил, ходил куда-то, что-то доказывал. Через некоторое время пришло мне письмо: с извинениями, дескать, ошибки у всех бывают, и просьбой подождать немного, пока они там бумаги новые оформят. А потом все надолго затихло, и я уже рукой махнул. И вдруг, с месяц назад, как снег на голову: ждите, со дня на день получите новую пенсию, пересчитанную, все необходимые документы уже к вам направлены. И вот я жду. Уже скоро. Хоть на старости лет поживу по-человечески. Спасибо Лешке.

Думал ли старик о пенсии или о сломанном телевизоре, за всеми его мыслями всегда стояла одна, неотступная... Единственный сын. Михаил. Причина бессонных ночей и горьких размышлений. Его боль. Его наказание.

Сыну было сейчас сорок четыре года (его возраст старик вычислял, исходя из своего — отнимал тридцать лет). Рос парнем нормальным, озорничал иногда, но не больше других. Отслужил в армии, вернулся, устроился на работу, через год женился на местной. Все, вроде бы, как следует. Однако что-то там у них с женой не залади-

лось — и после развода его как подменили. Запил страшно, потом бросил работу, вернее, выгнали. Несколько лет вообще ничего не делал, только пил. А тут еще мать, жена старика, умерла: пошла утром за продуктами на станцию — и нет, и нет, старик оделся, отправился искать, но только дошел до поворота, а ее уж несут навстречу, неживую, с закатывшимися глазами. Доктор потом сказал, что сердечный приступ. Сын после этого стал пить еще сильнее.

В пьяном виде Михаил бывал неуправляем. Старик, от греха подальше, прятался от него в комнате, когда же сын сорвал засовы, старик нашел толстую веревку и стал привязывать ее с одного конца за ручку двери, а другой крепил к чугунному костылю, вбитому с незапамятных времен в стену. Получалось довольно крепко. Из коридора старик слышал угрозы, проклятия, иногда Михаил колотил ногами в дверь, рвал на себя дверную ручку — веревка все выдерживала. Внутри комнаты старик чувствовал себя в относительной безопасности. Но порой он все-таки боялся — а вдруг сорвет дверь, ворвется, злой и пьяный? Вон, в соседней деревне, обезумевший от пьянства Сашка Копытин (с ним Михаил тоже выпивал) зарубил топором родителя. В такие минуты старик смотрел — больше, правда, для самоуспокоения — на кованный сундук в углу, где, под грудой старого тряпья, лежал с лихих еще послевоенных времен охотничий обрез. Мог, конечно, уже заржаветь, оказаться негодным. Надо бы выбраться в дальний лес — опробовать, пострелять по консервной банке. «Первый выстрел — в воздух, предупредительный, второй — на поражение», — вспоминал старик, как их учили, когда они, взвод молодых солдат, только начинали нести караульную службу. Второго выстрела, думал старик, не понадобится, хватит и первого.

Но внезапно сын пить прекратил. Пришел как-то к старику, покаялся и говорит:

— Здесь, в деревне, перспектив нет. Пойду в город, на заработки. Там и возможностей больше, и жизнь интереснее. Пить не буду. Я и пил-то от безнадёжности.

— Ну, молодец, Миша, — ответил старик, сам еще не очень веря в такую перемену. — А как ты решил-то?

— Да надоумил один человек, знакомый, из города. Говорит, и работу тебе найду хорошую, денежную, и жить будешь совсем по-другому. Надо только денег немного подкопить, первый взнос сделать.

Видя, что сын действительно бросил пить, работает с утра до вечера на железнодорожной станции, старик тихо радовался и не спрашивал — какую такую работу ему предложил городской? — еще обидится, накричит.

Так продолжалось несколько месяцев, а потом Михаил уехал, попрощался и обещал изредка наведываться.

Полгода прошло, прежде чем он объявился — в каком-то рванье, пьяный, голодный. Рассказал, что знакомый его обманул, взял деньги, а на работу не устроил, все только обещал, а потом исчез куда-то. И все это время Михаил жил у случайных людей, в основном у собутыльников, а то и вовсе ночевал на улице или в подвалах. Домой возвращаться было стыдно.

Как старик ни уговаривал сына остаться, тот ни в какую — почувствовал уже вкус городской жизни, привык к безделью и пьянству, и все повторял:

— Я еще добьюсь своего, вот увидишь. Встану на ноги, разбогатею, тебе еще буду помогать. В городе, знаешь, какие возможности?!

Так и ушел. Единственно, что старик сделал — накормил, да кое-какую одежку на зиму, перекрестил на дорогу. С тех пор виделись они урывками: сын приходил все реже, раз от разу все более дурной, помятый жизнью и всегда навеселе. Он очень постарел: испитое лицо, морщины, круги под глазами, а то и синяки; похудел страшно, руки трясутся, глаза беспокойные, бегают. И все свое:

— В городе, знаешь, какие возможности...

Глядя на него, старик едва сдерживал слезы. Соседи, и те говорили:

— Иваныч, совсем Михаил твой плох. Если не образумится, долго не протянет.

Старик и сам это знал. В одну из бессонных ночей, когда сын тихо спал в соседней комнате, он прокрался туда и разглядел на боку у сына ножевое ранение — пустяковое, по касательной, но все-таки ножевое. Старик не мог ошибиться: на фронте он видел много таких ран, и знал, что, придется удар на несколько сантиметров левее, сына было бы уже не спасти...

В последний раз они виделись позапрошлым летом. Сын тогда выглядел лучше, чем обычно, да и одет был опрятно, в новое. В его манерах появилось что-то развязное, пренебрежительное. Слушая, он сплевывал на сторону, говорил сквозь зубы.

— Я теперь с умными людьми сошелся — беззаботные, веселые, всегда при деньгах, и ко мне уважительно относятся, за своего считают — про таких здесь и не слыхивали. Скоро, отец, скоро выбьюсь в люди.

Чуя недоброе, старик только вздыхал.

Михаил тогда пробыл недолго. Оставил пачку немятых, еще пахнущих типографской краской денег (старик жил на них несколько месяцев), а напоследок, глядя на отца с лукавым прищуром, сказал:

— Смотрю я на тебя с удивлением: лапотъ лаптем, крестьянская душонка, а туда же — рассуждаешь, жить учишь... Твои-то ровесники все перемерли, а ты что-то зажился, ходишь по деревне как привидение, один-одинешенек, среди старых бабок. Нашел бы себе, что ли, какую, все веселее... Ладно, ладно, не обижайся, шучу я.

С тех пор старик не видел сына. Но слова его последние запомнил. Ведь Михаил, по существу, прав был — зажился он что-то.

Он помнил еще то время, когда в округе было много ребятишек, а на холме, за рекой, открыли школу — большое серое здание, с навесом над крыльцом и футбольным полем сбоку от дороги. Туда они ходили пешком, за десять километров, а после уроков гоняли тряпичный мяч — он постоянно вылетал на дорогу, под колеса грузовиков. Да, грузовики были здесь прежде не редкость — сновали туда-сюда, поднимая пыль, с военных складов в город и обратно, везли снаряды. Это теперь снаряды хранят кое-как, частью разворовывают, частью они сами взрываются, особенно летом, в жару,

когда начинают гореть торфяники и дым от пожаров стелется над всей округой (местных жителей просят на время перебраться в безопасное место, но почти никто не уходит — некуда), — а раньше, особенно перед войной, каждый снаряд был на учете и ничего не взрывалось. Склады теперь обнесли двойным забором с колючей проволокой, вроде бы, и ток пустили — но все напрасно, раз нет дисциплины, ничего не поможет. Даже если смотреть издалека, с холма, где расположена деревня, то видны дырки в заборе, проволока отогнута и примята.

В детстве (как всякий старик, он значительно лучше помнил давно минувшее) они, мальчишками, любили забираться на высокий раскидистый дуб, который, по легенде, был посажен чуть ли не в екатерининские времена и рос на самом высоком месте, в центре деревни. Оттуда вся местность была словно на ладони: вдали острыми зубьями лезли в небо городские дома; чуть ближе, вся в дыму, суетная и шумная, раскинулась рядами краснокирпичных депо и пакгаузов железнодорожная станция, сердце всего района (при помощи бинокля можно было рассмотреть даже номера на бочках локомотивов); слева, прямо за деревней, начинался довольно крутой откос, так что от крайних домов грядки бежали все вниз, вниз, вплоть до болотистой, неширокой лощины; а за лощиной, на искусственно насыпанном холме, находились те самые военные склады, снаряды от которых разлетались на многие сотни метров; справа от деревни пролегалo шоссе, по обе стороны от него, около автобусных остановок, стояли продуктовые ларьки, по виду «собачьи будки» — приметы смутного времени; дальше шумела сквозь деревья река, по берегам которой шла своя жизнь — лягушки, крысы, змеи переплелись в единый омерзительный клубок (в реке, естественно, никто не купался); а еще дальше, на противоположном берегу за лесом, расположились дачи, где жили люди, по-видимому, не брезгливые, охочие до откровений подножного мира; и совсем далеко, так что рассмотреть можно было только в бинокль, да и то лишь приблизительный очерк крыши, стояла школа, куда ходили все окрестные мальчишки, ходил и он, огибая реку, выбираясь на мост и только потом нащупывая в лесу тропку, из которой затем получалась школьная, усыпанная гравием дорожка.

Нынче школу закрыли — из-за недобора детей — и предложили ездить в городскую. Старик часто думал об этих детях: каждый день отправляться рано утром из деревни... Почему все говорят — из деревни, из деревни? Полно, деревня ли это? У нее и названия-то нет и никогда не было, а после того как черту города перенесли дальше, деревня и вовсе оказалась в его пределах, так что разделяют, говорят — город, деревня — только по старой памяти. Даже на самой подробной топографической карте (что висит у старика в сенях, порванная на сгибах, абсолютно ненужная), с лупой и циркулем в руках не отыщешь и подобия населенного пункта на том месте, где стоит деревня, кругом лишь загадочные значки — кусты, перелески, болота, — а рядом с ними сальные отпечатки пальцев. Ни единого дома. Ни единой дороги. Хотя история у здешних мест давняя.

О временах прошлых старик знал со слов родителей да по рассказам очевидцев, из которых теперь уже никого не осталось. Поселение возникло здесь в середине XVIII века. Сначала построили конюшни (чуть ли не первые каменные в округе): пять приземистых, длинных здания, с мощным двором перед въездом и арочными, под рост коня, воротами. Конюшни и по сию пору стоят — в руинах, со сгнившими крышами, зияя черными пробоинами окон. Там теперь поселились бомжи, разводят костры, пекут картошку. Впрочем, в одном из зданий, что стоит чуть в стороне от других, до сих пор живет вместе с семьей потомок тех коневодов, которые жили здесь издавна, живет и наотрез отказывается переселяться, хотя ему не раз предлагали. В окрестностях конюшен часто находят в земле конские подковы, стальные удилы, даже остатки кожаной упряжи, металлические пуговицы от камзолов кучеров, а то и офицерские знаки отличия.

Еще до революции стали селиться в этих местах те, кого не принимал город: как правило, из крестьян, неимущие, так и не прижившиеся среди камня; их тянуло назад, к земле. Жили тихо, обособленно, так что чудом считалось здесь появление какого-нибудь чиновника или жандарма, а закон и порядок соблюдали сообща, всем миром. Поблизости ни больших дорог, ни заводов, ни помещиков, земля ничья, бедная, не годится ни под посевы, ни под дачные участки.

После революции мало что изменилось. Сначала большевикам было не до этих гиблых мест, а потом они долго ломали голову над тем, как определить классовую сущность местного населения. Вроде, еще не деревня, но уже и не город, — и попросту махнули рукой, не создали ни производства, ни колхоза. Так и жили, по-прежнему кормясь от земли да от близлежащих военных складов и железнодорожной станции. Склады здесь стояли еще с екатерининских времен, был раньше и полигон для стрельб, затем его ликвидировали. Из года в год пыхла и станция, а вот железнодорожную ветку потянули от нее в сторону деревни гораздо позже, в 30-е годы. Старик помнил, как это было, как он, вместе с другими мальчишками, бегал смотреть на первый паровоз, на штабеля рельс и просмоленные шпалы, а рабочие (были среди них и заключенные под охраной конвоиров) гнали их прочь, но изредка и подпускали, рассказывали про хитрости своей работы. Цементный завод, к которому тогда тянули ветку, теперь стоит без дела, не дымят его прокопченные трубы. Зброшена и ветка, заросла травой, вдоль полотна пасутся козы, а на путях, прямо за деревней, стоят позабытые вагоны, ржавые, с выломанными на дрова боками. Откосы по сторонам полотна облюбовали бомжи, — их вообще здесь очень много, роют землянки, настилают сверху металлические листы, присыпают их землей. Так и живут, словно в войну.

Был в жизни деревни и забавный эпизод, когда, в конце 70-х, решили все-таки организовать колхоз и даже назначили председателя — Ивана Мухомова, местного (того, к которому побежал сегодня Лешка). Затея с колхозом провалилась — худородная земля, сплошь суглинок и болота вперемежку со сваяками, да и народ не приученный, шальной народ, — но Михаил Мухомов с тех пор все

звали не иначе как председателем, отчасти в шутку, отчасти и всерьез. Уже очень он на самом деле походил на председателя, какими их изображают в книжках и в кино; походил и статью, и лицом: высокий, крепкий мужик, деятельный, волевой, с пышными усами и громовым голосом. Он и командовать любил, ходил по деревне как хозяин, заглядывал во дворы, советы давал, а то и прикрикивал. Многие слушались.

С неделю назад он заглядывал и к старику. Как начальник, оглядел его худое хозяйство, покачал головой, сказал:

— Скоро, Иваныч, выправят тебе пенсию. Я уже насчет тебя справлялся. Там справлялся, — он указал большим пальцем куда-то назад и вверх. — Избу подправишь, огород. В общем, прими мои поздравления...

И ушел с чувством выполненного долга, будто и впрямь был председателем и от него зависело, повысят старику пенсию или нет.

Потом, глядя из окна, старик видел, как председатель зашел к соседу, Володьке Хромову, и как они вдвоем полезли по скрипучей лестнице наверх, на Володькин чердак, и там о чем-то долго спорили, кричали на всю деревню. Хозяин есть хозяин...

Этот Володька был ровесником старика, еще в школе в одном классе учились. Так что сын не совсем прав: двое их таких, кто зажили. Так и ходят — правда, по-одиночке, никогда вместе — между старух, которые уже давно своих мужей похоронили; живут, словно вопреки общеизвестной статистике, согласно которой мужику после шестидесяти пора уже в земле лежать.

В детстве они не дружили, случались между ними и драки. Даже теперь — хоть и делить-то им нечего, и воспоминаний общих целый воз накопился, и осталось их всего двое, так что впору как раз держаться друг дружки — старик недолюбливает Володьку, считает его прижимистым, хитрым, недаром же он увильнул от армии, сославшись на какую-то липовую болезнь. Бык быком, до сих пор здоровенные бревна ворочает, кирпичи таскает, избу свою все обустривает — какая тут болезнь?.. Однако же, раз они соседи, негоже жить по-волчьи — вот старик и не показывает виду, терпит, даже улыбается и разговаривает при встрече.

Ближе к вечеру к старику зашел гость. И гость неожиданный — Володька Хромов. Стоило только вспомнить, подумал старик.

Он догадался о приходе соседа заранее: Володька, прежде чем войти, всегда долго обивал обувь о порожек — показывал, дескать, свое уважение к хозяину; кроме того, в сенях злобно заурчал кот, которму, верно, передалась хозяйская нелюбовь к соседу.

Здоровый дед, матерый. Темные пятна на рубахе под мышками. Запах пота — значит, опять таскал бревна. В руках какой-то сверток с разводами жира на толстой бумаге. Голова лысая, как шар, а на скулах и на подбородке всегда щетина длиной в три-четыре дня — мода такая, что ли? Когда Володька однажды побрился начисто, внизу лица так и осталась голубоватая тень, след от несостоявшейся бороды.



— Твой кот и впрямь Бандит, точное ему дали прозвище. Облаял, как собака.

Старик цыкнул на кота, тот важно поднял хвост, подошел к блюду, понюхал и — верно, уж совсем оголодал — стал есть.

Две чашки, заварной чайник, тарелка с желтоватыми кусками сахара, упаковка с куда-то идущим индийским слоном — у старика больше ничего не было.

— Картошка еще не подошла, — виновато сказал он.

Володька со снисходительной улыбкой глядел за приготовлениями старика, затем развернул свою бумагу.

— Вот купил колбаски, сыру, ватрушек... У меня ведь сегодня день рождения.

— Ну, по такому случаю... — старик встал, подошел к шкафчику, достал, звякнув стеклом, небольшой графин.

Сидели уже с час. Володька делился своими хозяйственными планами; старик больше молчал, слушал, но, захмелев, тоже разговорился.

— У меня, видишь, две мечты есть. Заветные...

— Знаю, знаю, — перебил сосед, — пенсию новую ждешь.

— Да, но не только. Деньги-то мне для чего нужны — для себя, что ли? Сыну, Мишке, надо помочь, выкупить его из рабства. А без денег — как? Он человек еще молодой, пожить, понятно, хочет. Его поддерживать нужно, может еще и выправится.

— И это знаю. Мишка твой, говорят, спугался в городе с людьми недобрыми. По лезвию ножа ходит.

— То-то и оно. Надо его из города вытащить. Вот появятся у меня деньги, глядишь, и Мишка вернется.

Когда за окнами уже разлились золотистые сумерки, Володька — вот глазастый! — разглядел в конце улицы Лешку.

— Где, где? — не понял старик.

— Да вон идет, совсем пьяный. Уже успел. Свинья грязи всегда найдет.

— А, теперь вижу.

— Вот что, пойду я. Еще, чего доброго, сюда заявится.

Сосед не любил Лешку, особенно после того, как Лешка взялся настроить ему новый телевизор (слава мастера по телевизорам укрепилась за ним давно и почему-то только росла, несмотря на все возраставший список его неудач), но не только не настроил, а и вовсе слома. Сосед потом вызывал мастера из города, заплатил ему большие деньги.

Володька как чувствовал: через несколько минут Лешка, прислонившись к дереву, кричал в открытое окно:

— Иваныч, принимай гостей. Есть новости.

Он долго ходил по дому, зачем-то заглядывая во все углы, постукивал по мебели, стирал с нее пыль. Старику казалось, что он хочет что-то сказать, но не решается. Затем Лешка с размаху сел на диван, откуда медленно поднялось облачко пыли, тут же встал, опять начал ходить по комнате. Допил, между прочим, водку. И

тут, хотя в графине было всего несколько капель, его развезло окончательно. Рухнул на стул, закрыл лицо руками. Стал говорить сквозь сомкнутые пальцы:

— Работал по разнарядке от председателя. На завалах.

— Где?

— Ну, там, на железно... на станции. После грозы деревья повалило, прямо на рельсы.

— Долго работали?

— Да нет, чего там работать-то...

— Заплатили?

— Ага. Председатель выдал.

— А где ж ты так долго был?

— Я-то? Да пошел в тамошнее кафе, посидел. Плохо помню...

— Один сидел?

— Не, с друзьями...

Лешкина голова вдруг упала на стол, руки повисли вдоль туловища. Он посидел так некоторое время, затем резко поднял голову, встрепенулся.

— Где я, а? У тебя, что ли, Иваныч?

— Ну, да.

— А чего я здесь делаю? Мне же домой идти надо. Брат меня ждет.

Лешка встал, шатаясь пошел к выходу.

— А ты чего, Лешка, заходил-то? Говорил, новость какая...

— Новость?.. Ну да, новость: председатель, Михаальч, просил тебе что-то передать. Сейчас... сосредоточусь... Не, не помню... Слушай, Иваныч, отстань. Потом вспомню, скажу. Потом, потом. Пора мне уже...

Старик видел из окна, как Лешка медленно брел вдоль улицы. Навстречу ему энергично шел председатель. Вот они поравнялись: Лешка вскинул голову, председатель что-то с жаром говорил, размахивал руками, показывал, вроде бы, в сторону стариковского дома.

О чем это он? Старику стало как-то не по себе. И вдруг пронзило: новость, новость, что за новость? Наверно, насчет пенсии, с облегчением подумал он, но все-таки продолжал волноваться, знал, что теперь председатель пойдет к нему.

А председатель, действительно, уже шел к старику, шел медленно, на ходу обдумывая, как лучше сказать, и все-таки пока не зная, не решившись, не выбрав верный тон. Его губы и усы над ними едва заметно шевелились, он рассуждал и ругался вслух:

— Никому ничего нельзя доверить. Я же не могу разорваться, быть и здесь, и там. Я, черт возьми, председатель им, что ли? Попросил этого идиота, а он напился как свинья, маму с папой не помнит. Опять придется говорить самому — а как, как принято говорить в таких случаях? Неужели так: у меня две новости, хорошая и плохая — с какой начать? Тьфу!.. Так только в фильмах разговаривают.

Он стоял уже у калитки. Напротив, в каких-то двадцати шагах, сидел старик, подсвеченный сзади бледной, без абажура, лампочкой; сидел и, словно заставляя себя, напряженно улыбался.

## Борис ХЕРСОНСКИЙ

*/ Одесса /*



### СИНЕЕ СТЕКЛО

\* \* \*

Нас грели синей лампой, когда у нас болело,  
рефлектор, отражатель, лечебное тепло.  
Особо, если холод, по пояс запотело  
высокое, двойное оконное стекло.  
Душа от нагревания расширилась, а тело  
лежит под одеялом, по-прежнему мало.

Наверное, и небо — большой зеркальный купол,  
а Солнце тоже синее, и оттого — жара,  
но это будет летом, в приморском парке рупор  
поет плохую музыку, и всем домой пора.

И если к небесам — твое воображенье  
выходит на просторы заоблачных полей,  
все это — тоже ты, кривое отраженье,  
но в синем-синем цвете, и потому — теплой.

\* \* \*

И настанут дни, когда воды Ахеронта и Леты,  
на поверхность выйдут, протекая через притихший город.  
на набережной Леты мы будем читать газеты,  
кутая горло в кашне, поднимая ворот.

Машет рукою Харон из лодки, обеспокоен  
отсутствием пассажиров — только время теряет.  
Потому, что мост через Лету давно построен,  
а кто по мосту переходит — не умирает.

Там, на другой стороне — пейзаж городской, унылый, серые многоэтажки. Кричат вороны, летая над плоскими крышами. Но не сравнить с могилой — нормальный район, можно жить, особых надежд не питая.

## EX ORIENTE LUX

От Востока сей свет воссияет! Видать, не от нас, от Китая, скорее. Теперь персонажи для рождественского вертепа: новорожденный Спас, пастухи и животные, Санта-Мария и даже ангелочки — из лучших пекинских пластмасс. Все — в картонной коробке и каждый — в отдельной ячейке. Расставляем под елочкой. Иглы с ветвей осыпаются понемногу. В Китае знают цену копейке. «Мэйд ин Чайна» на каждой фигурке, на каждой наклейке, а у нас тут Россия, точней, Украина и небо над ней. Все, что мэйд не ин Чайна, видно, создано Господом Богом, пруд замерзший и замерший лес, и заснеженное село. Блеют овцы и козы в вертепе селянском, убогом. Тяжкий свет мироздания ложится на младенческое чело.

\* \* \*

Мыть зимой посуду холодной водой, за неимением горячей. В магазине у кассы следить за копеечной сдачей. Вечерами вязать в кресле старорежимном. Прибавку к зарплате считать счастьем или большой удачей. Будильник не заводить. Радиоточка разбудит гимном.

Темным темно за окном. Но соседи уже на кухне, в том числе и Яша, которого ты на дух не переносишь, и он — тебя, а в пространстве узком ненависть будет гореть, даже если газ потухнет, даже если выключат свет. Ну, с кем,

с кем еще, как не с этим, в пижамных штанах, с волосами, покрывающими голову, со сталинскими усами, можно ругаться до хрипоты из-за струйки из крана, из-за лампочки в коридоре, о ком часами можно рассказывать мужу? Тебе пора, но ты не в обиде: вся страна просыпается рано.

\* \* \*

Это юг, и тут не допросишься снега зимой. Дождь — иное дело, его не надо просить, он сам пришел и гремит по крышам, пришел, как к себе домой. Нет смысла взор поднимать к небесам.

Зимой небеса бессмысленны, затянуты пеленой.  
 Как пережить отчаяние тусклого зимнего дня?  
 Каждый прохожий думает — что завтра будет со мной?  
 Что будет со мной потом, когда не будет меня?

Прохожий заглянет в храм. Здесь пробуют дать ответ.  
 Золоченый митрополит рассказывает о нищете  
 Три старушки поют на клиросе. Свечек мерцающий свет.  
 Просите — и вам дадут. Ищите — обрящете.

Стучите — и вам откроют. Покайтесь — отпустят грех.  
 Старушки смолкают. Или хор заглушает их?  
 Сквозь шум в голове, как будто из радио, где от помех  
 не отстроиться, и не надо, хоть бы дождь поутих.

\* \* \*

Ни слова о городе. Ни вздоха о море, о пляже,  
 например, о лестнице между двух шаров на Лонжероне.  
 Что колоннада у Воронцова, что стеклянная крыша в Пассаже?  
 Что львы на воротах, обком и горком в законе?

Что портреты членов Политбюро? Безвозвратных и безотрадных  
 не воротить лет. Возросшие в черном теле  
 молодые люди целовались в темных парадных.  
 Теперь они в лучшем мире. И дети их поседали.

Все изменилось. Выросли внуки и цены.  
 Стены остались, как декорации по завершении пьесы.  
 Ночью по улицам ходят рабочие сцены  
 расчищая пространство памяти, оставшейся от Одессы.

\* \* \*

Посмотри на гору и сосчитай,  
 сколько видел замков и монастырей на склоне горы,  
 сколько над ней облаков и ангельски-птичьих стай  
 плывут-мельтешат до наступления тьмы.

Осенью здесь прохладно. Но летом помрешь от жары,  
 солонины, гнилой воды, холеры-чумы.

Хорошо еще, если прирежут в междоусобной войне,  
 потому что каждый замок это страна, враждебная всякой стране,  
 расположенной по соседству, и сотня-другая солдат  
 в латах и шлемах, под сенью пестрых знамен  
 всегда под рукой, и каждый барон-психопат,  
 спешил показать другому, как славен он и умен.

Каждый был за себя, только Бог был за всех,  
 и поэтому каждый надеялся на успех.

Жены рыцарей столбиками на башнях ожидали вестей.  
 Пели-ходили слепцы, держась за поводырей.  
 Пушки падали из разрушенных крепостей,  
 звонили колокола сожженных монастырей.

\* \* \*

На 16 станции Большого Фонтана,  
 она же — «Золотой Берег», она же  
 конечная восемнадцатого трамвая, два старикана,  
 впоследствии уличенные в шпионаже,  
 ходили с удочками и сачками,  
 на полавки смотрели во все глаза,  
 украшенные роговыми очками.  
 На полавке сидела синяя стрекоза.

Поймали стрекозу, насадили на крючок,  
 подождали часик — клюнул бычок.  
 Наживили бычка,  
 клюнула скумбрия,  
 наживили скумбрию, клюнула камбала:  
 плоская, с шипами была,  
 оба глаза на одной стороне,  
 не помню на брюхе, или на спине.  
 Поневоле сплющиться, если на глубине  
 лежишь, распластавшись на дне.

Наживили камбалу, поймали морского гада.  
 Казалось бы, чего еще дедушкам надо?

Тут-то задержали их пограничники,  
 оба — комсомольцы, оба отличники  
 боевой и, главное, политической подготовки,  
 у обоих — смазанные винтовки,  
 у обоих — на поводке овчарки.  
 Винтовки заряжены, овчарки — не подарки.

Смотрели отдыхающие на пляже,  
 как стариков уводили с шестнадцатой станции, она же  
 «Золотой берег», она же  
 конечная восемнадцатого трамвая.  
 Там наполняют стаканы квасом, не доливая.  
 Заправляют сифоны, продают пирожки с мясом.

Вот и все, что нужно народным массам.

\* \* \*

На рассвете голые бабы опахивают село,  
три молодухи впряглись, старуха на плуг налегла.  
Хороша борозда в черноземе, жирна, глубока зело,  
нужно, пока не встанет солнце, обойти вокруг села.

У каждой медный крестик болтается на груди,  
следом девки идут, поют, да не держат строй:  
«Ты, коровья смерть, ты к нам в село не ходи,  
не ходи к нам в село, сиди за дальней горой.

Ой, за дальней горой, за глубокой рекой,  
за темным лесом, за дальним монастырем,  
откуда тебе не дотянуться поганой своей рукой,  
мы идем вокруг села, а тебя с собой не берем.

Ты, коровья смерть, сиди, да свой грызи локоток,  
на наше молочное стадо во все глаза, паскуда, гляди.  
Мы опахиваем село, мы крестимся на Восток,  
не ходи к нам, коровья смерть, ох, не ходи!»

А мужики той порой посреди села — до одного.  
Чтоб никто не пошел на диво дивное поглядеть.  
Потому, что если посмотрит кто, то через него  
все дело погибнет, и стаду не уцелеть.

Старейшина счет мужикам ведет по головам,  
каждый следит за соседом, чтоб ни ногой.  
Ибо от предков святых заповедано вам,  
чтоб ни бабы своей, ни дочери вам не видеть нагой.

Чья идет с крестом, предваряя плут?  
Чья надрывает голос, чтоб перепеть подруг?  
Чья размахивает кадиллом, не хуже, чем дьякон Трофим,  
чья размахивает руками, что крыльями серафим?

Ох помилуй нас, святой Лавр, огради нас, заступник Флор,  
сохраните скотинку нашу, мы вам свечку зажжем!  
А коровий мор ухмыляется из-за гор,  
любуется наготой деревенских румяных жен,

оценивает девиц, отворачивается от старух,  
ничего, думает, побываю у вас в гостях!  
А пения мор не слышит — он от рождения глух.  
А ноги ддинны, — борозду перепрыгнуть — пустяк.



## А. Киров

*/ Каргополь /*

### ПОЛНОЧЬ ВО ЛЬДАХ

Повесть

**ГЛАВА ПЕРВАЯ,  
в которой Велорий Александров смотрит  
на своих родителей вблизи, а также издаেকে**

Всю жизнь Велория Александрова, начиная с сиреневой и двадцатой мартовской ночи, когда он дрых без задних ног, изменило убийство, которое совершил его отец.

Между тем девятнадцатое марта был самым обычным и даже по-своему счастливым днём в жизни Александровых. Родители были дружны. Младший сын послушен. Старший — студент — предупредителен (он позвонил по межгороду и сказал, что у него всё хорошо). И ничто не предвещало беды. Или всё-таки предвещало?

Разве что, когда Велорий, собираясь на вечернюю прогулку, стал бороться с отцом, забыв при этом, что выше родителя на две головы, Николай Михайлович, вопреки обычному, не впал в шуточно-яростное остервенение, а как-то застенчиво скособочился и отступил.

Впрочем, это можно было списать на последствия одного недавнего тяжёлого ночного разговора между отцом и сыном.

Велорий тогда лежал в своей комнате и пытался учить уроки. В этом ему мешали: сингапурский двухкассетник, наушники с большими ушами, кассета с песнями популярной группы «Кармен» и мысли о том, как лучше встретить своё совершеннолетие, которое в этом году впервые с рождения приходилось на Пасху.

Тоненькая розовая тетрадь пала смертью храбрых в неравном бою. Велорий откинулся на подушку и даже начал похрапывать, но тут его внимание привлекли робкие шаги за стеной, бряканье посуды на кухне, снова шаги, снова бряканье.

«Отец, что ли, распекать собрался?» — подумал Велорий.

И не ошибся.



Дверь в его комнату открылась. На пороге стоял отец. В белой майке, белых плавочках, очках в роговой оправе на грачином носу. Лицо Александрова-старшего было неприязненно. В руках он держал какой-то здоровый лист бумаги, который Велорий принял сначала за старую газету.

— Вот, показать принёс, — буркнул Николай Михайлович. — Аттестат за среднюю школу. Вы тут с приятелями смеялись, ты им говорил, что я всё брюзжу, а сам-то жалкий троечник. На, смотри. Пятёрки, конечно, нет, но всё одни четвёрки. И только одна тройка — по труду. Уж над тем, что у меня, безотцовщины при живом-то в ту пору отце, по труду три — ты не будешь, наверное, смеяться? Бесстыдник. Куришь. Пьёшь. Сквернословишь. А у меня... Только наладился сон.

В этом месте голос Николая Михайловича дрогнул, и Велорий испытал острое желание одновременно броситься отцу на шею и вытолкать его за дверь. Представив себе, как объятия стащестидесятивосьмисантиметрового отца и двухметрового сына будут выглядеть со стороны, Велорий буркнул:

— Я хочу спать.

— Ну и чёрт с тобой, — взвыл вдруг отец и вышел из комнаты, сильно хлопнув дверью.

Через минуту за стенкой успокоительно заворковала мать. «В сговоре», — злобно подумал Велорий.

Господи!

Но ведь у всех...

Но ведь все...

На следующую ночь отец снова приходил к Велорию, который пытался готовиться к урокам.

— Что читаем?

— «Преступление и наказание».

Отец взял книгу и стал читать вслух:

«В самую эту минуту вдруг мелкие, поспешные шаги послышались недалеко на лестнице. Подходил еще кто-то. Раскольников и не расслышал сначала.

— Неужели нет никого? — звонко и весело закричал подошедший, прямо обращаясь к первому посетителю, всё еще продолжавшему дергать звонок. — Здравствуйте, Кох!»

— Странно...

— Ну же, это который потом упустил Раскольникова, — по своему поняв паузу, подсказал Велорий.

— Какой это год?

— Грозные шестидесятые...

— Странно... — в задумчивости и заинтересованно повторил отец. — А точно шестидесятые?

«Грехи замаливает», — подумал Велорий и зевнул.

А где-то через неделю Анна Михайловна строго, обиженно и ревниво сказала ему приходите не позже одиннадцати.

— Двенадцати, — бросил Велорий с порога и хлопнул дверью, за которой раздавалось, но, впрочем, тут же смолкло лёгкое роптание, перебитое телефонным звонком.

— Коль, тебя.

— Кто?

— Гошин какой-то...

— Нет дома...

Доносилось вслед Велорию как будто из другой жизни.

Своих родителей Александров увидел ещё однажды, причём ровно через полчаса после того, как оказался за дверью.

Выбежав из подъезда, он едва не сбил с ног мутного соседа, которого не видел около полутода и вот встретил таким странным образом.

— Здравсте! — не очень приветливо пробурчал Велорий.

Перед самым своим исчезновением сосед нахамил Анне Михайловне, которая взялась его воспитывать, после того как ночью в квартиру Александровых позвонила совершенно обнажённая женщина, назвавшаяся Мальвиной, а следом за нею ворвался он сам. Из-за неожиданного возвращения с ночной смены жены, мутный окольными путями эвакуировал объект своей внебрачной страсти, но тут же воспользовался ревностью ко всем, кто этим объектом сможет без него пользоваться и, окончательно забыв той ночью про законную супругу, бросился в погоню.

— Здорово, — ответил сосед. — Это не твоя кошка?

Из подъезда вынырнул самого разбойничьего вида одноглазый котяра, которого можно было назвать не иначе как Пиратом или — на испанский манер — Конкистадором.

— Нет, — пожал плечами Велорий.

— Блядь, весь подъезд зассали. Скоро возьмусь за вас как следует.

Конкистадор скрылся поспешно и восвояси.

— Давно не видел вас, — из вежливости заметил Александров-сын.

Отсидев за что-то нехорошее девять лет, сосед, видимо, так привязался к местам не столь отдалённым, что периодически навещался туда, правда, уже на менее внушительные, но столь же характерные сроки.

— Лечился, — важно ответил сосед и, не прощаясь, захлопнул перед носом Велория дверь.

На протяжении всего этого короткого разговора юношу не один раз кольнуло ощущение, что в нём принимает участие некто третий, незримый, но в то же время материальный. Микроскопический разведчик, способный проникнуть в замочную скважину, игольное ушко.

Не придав этому значения, Александров-младший двинул к своему старинному приятелю. Но приятеля дома не оказалось. Тогда Ве-

лорий направился «в город». На языке жителей их посёлка, который условно находился за городской чертой, это означало отправиться в центр или ближе к центру.

Двигаться по направлению к центру можно было двумя путями. По объездной дороге (долго, неудобно, в марте — труднопроходимо) и «через поле», то есть через двухкилометровую пустошь вдоль по корпусу постепенно разбираемой теплотрассы.

У пилорамы Велорий и увидел своих родителей в последний раз. Они шли под ручку в направлении объездной дороги. Мама была полна, спокойна и потому — прекрасна. В несколько обрызгшем, но всё ещё стройном и красивом отце ничто не выдавало человека, о котором через неделю и в миноре будут писать СМИ всего мира.

Как-то мимоходом Александров-младший подумал: «Предки-то мои, однако, постарели». И двинулся скорым шагом через асфальтовый квадрат к видневшейся вдалеке тропинке.

Далее события последнего в жизни семьи Александровых спокойного дня распадаются на две линии, которые соединятся воедино через несколько часов (кстати, ровно в полночь), а лучше сказать, не соединятся никогда, ибо двум линиям, в которые, разъединившись, превращается одна линия, бывает порой очень трудно или даже невозможно найти друг друга.

Преодолев пустошь, Александров-младший вышел на улицу Болотникова и направился к зданию общежития педагогического училища.

А Николай Михайлович и Анна Михайловна (на всякий случай скажем, что ни в коем, даже самом дальнем родстве, кроме брака, не состоявшие), по труднопроходимой, разбитой мартовской оттепелью объездной дороге добрались до старого родительского дома Анны Михайловны, где семья ютилась вплоть до девяносто первого, урвав на распада Империи после двадцатилетней очереди трёхкомнатную квартиру.

Году в девяностом Николай Михайлович попытался в доказательство своей мужественности предпринять капитальный ремонт сего дома, но был так изруган в лесной конторе за незнание классификаций дерева («Ты чё хочешь-то, врач?»), что сразу оставил эту попытку.

Таким образом, родительский дом превратился в дачу, которую нужно было проведывать, а ключи — прятать от младшего отрока.

Перед самым домом родители Велория заглянули в «комок», коммерческий ларёк, среди прочих, выросший и перед их носом. Анна Михайловна купила сушки челночок. Николай Михайлович недобро посмотрел на продавщицу, которая ответила ему и вовсе неприязненным взглядом. За последнюю неделю Александров дважды устраивал здесь сцены одна другой краше. Первый раз — из-за спичек, при черкании которых пылающая головка отлетала от деревянного основания и норовила поджечь одежду. Второй раз — по пустяку. Из-за пятидесяти грамм колбасы, на которые его обвесили (не поленился

проверить на «дачном» безмене и с негодованием швырнуть на прилавок). Бессменная продавщица даже рассказала об этом случае своему мужу, который, в свою очередь, пожелал встретиться с разборчивым клиентом наедине и в безлюдном месте объяснить ему подходчивее основы рыночной экономики. Насилу отговорила. Да и не было у бессменной продавщицы твёрдой уверенности в том, что отговорила.

### **ГЛАВА ВТОРАЯ, в которой мы узнаём пикантные подробности из жизни Велория Александрова**

Достигнув своей заветной цели — пятой комнаты студенческого общежития — и встреченный радостным криком: «О! Шурик!», Велорий Александров, которого все здесь называли именно так, попал на пирушку в честь вечера субботнего дня. Сидя рядом с Инкой, девушкой старше его на три года и вообще — женщиной — Шурик робко трогал под столом её правую коленку, а Инка упорно делала вид, что этого не замечает...

...Восьмого марта одна тысяча девятьсот девяносто четвёртого года Велорий Николаевич Александров был пронзён и задушен мыслью о том, что женщины с полотен Рембрандта, модели эротических журналов, красотки с игральных карт и студентки педучилища в плане внешности, фактуры ничем не отстоят друг от друга, что те самые существа с длинными, а иногда короткими (как у Инки), называемыми «каре» волосами, в длинных и коротких юбках, кофточках и блузках на самом деле...

Эта не оформленная до конца мысль настолько плотно засела в сознании Александрова, что, вероятно, закупорила какой-то проток, вследствие чего восьмого марта девяносто четвёртого года в двадцать два тридцать по московскому времени он застыл в оцепенении.

— А хочешь, я что-то сделаю?

Конечно же, он хотел.

Тогда Инка, впервые назвав его «Александровщиной» и подмигнув, выключила свет и зажгла настольную лампу с красным абажуром.

Только вот настойчивый стук в дверь и голос вахтёрши, напоминающей, что общежитие закрывается через полчаса:

— И вообще, почему вы выключили свет?

...Не способствовали тому, чтобы образы ню окончательно соединились с чертами миловидной шатенки.

Которая, в отличие от двух своих предшественниц, не возражала, когда рука Александровщины проникла под ворсистую кофточку, обнаружила там бархатистую кожу, взлетела вверх и наткнулась на кружева, кружева, кружева...

— Дай, я сама сниму...

Велорий положил руку ей на грудь.

— Маленькая? — как-то застенчиво поинтересовалась Инка.

— Нормальная, — голосом надломленного барда ответил Велорий.

— Хочешь её поцеловать?

— Да, — пискнул опозорившийся бард и со смешанным чувством страсти, любопытства и детскости потянулся губами к большим, уже по-взрослому потемневшим, но всё ещё по-девичьи набухшим соскам.

Стаскивая с Инки колготки, Велорий упал с кровати, под которой немедленно загрохотал таз.

— Через двадцать минут общежитие закрывается! — раздалось так, словно таз включил какую-то механическую игрушку.

Инка неожиданно захохотала.

— Ну и Серафимовна, вот так су-учка! Иди ко мне, Александровщина...

Получилось холодно и никак...

— Ты молодец, — успокаивала его Инка, пока он внутренне рыдал у неё на груди. — Мой хороший красивый мальчик. Не все ведь могут, когда пятеро в комнате или в дверь лмяются. Погоди... Мы с тобой ещё — ого-го! А-лек-санд-ро-вщи-на!

Эти же слова, вдруг наклонившись к уху Велория, Инка прошептала ему и за столом вечером девятнадцатого марта.

### **ГЛАВА ТРЕТЬЯ, в которой Велорий веселится, а его родители грустят**

Тем временем, с трудом открыв примёрзшую новую калитку (старую кто-то спёр: то ли с каким-то подтекстом, то ли без оногo), Николай Михайлович затопил русскую печь, Анна Михайловна согрела чайник, и родители Александрова провели за столом примерно то же время, что и сын их в общежитии, но только в гораздо более пуританской и романтической обстановке. В частности, прикосновения Николая Михайловича к колену Анны Михайловны места здесь не имели. Анна Михайловна завела было разговор о предстоящих выборах в районную администрацию, но тут Николай Михайлович скорчил такую болезненную мину, что разговор как-то сам собою замер.

Про выборы можно было сказать лишь то, что таковыми они являлись если только по названию, что кандидат там был один — и куча целая зищпредседателей — и что единственный кандидат ни коим образом не мог способствовать, чтобы, например, во время хирургических операций, когда Николай Михайлович стоял у операционного стола, в больнице перестали отключать свет.

Стоя среди прочих студентов, празднующих вечер субботнего дня, возле уборной, сын Александровых, Велорий (здесь — Шурик) горланил песни про ту, по чьей вине «я горький пьяаницааа». Поскольку музыкальным слухом Шурик был обделён, то пел он через строчку, чередуя фразу на выдохе с затяжкой терпкого невкусного дыма, от которого саднило в горле и кружилась голова.

— Александровщина, ты прям по-цыгански поёшь, — шепнула ему восхищённая Инка.

Велорий глубокого затянулся дымом и посмотрел на Инку влюблёнными глазами.

А вот Николай Михайлович посмотрел на Анну Михайловну скорее странно, чем влюблённо, и, когда поворачивал в скважине ключ, пробормотал: «Прощай, дом».

Анна Михайловна это слышала, однако значения не придавала: её мысли были заняты другим, насущным и потому, как казалось, более важным.

Здесь, надо сказать, имел место и ещё один странноватый эпизод, и если бы главврачиха знала о нём, то ещё там и тогда ударила бы в набат.

Пока Анна Михайловна ещё раз завернула в ларёк, чтобы купить позабытый сахар (Александровы могли позволить себе и сахар и мыло), Николай Михайлович наведаясь к жившей в соседнем доме старушке, которая присматривала за «дачей», а в прежние времена служила у этой заметной в городке семьи домработницей. Бесчисленные добрые качества бабушки были подпорчены длиной её языка и свойством сводить сплетни. Впрочем, Александров направился к ней не за сплетнями, а за своим салом, которое добрая товарка хранила в холодной кладовой. То есть сало было, конечно же, свиным, и только принадлежало Александровым, но хранилось у бабки.

— Какой кусок-от дать? — поинтересовалась старушка, между делом втюхав-таки в гостя новость местного разлива, которая напрямую касалась вверенной ей семьи (бабушка верила, что «вверенной» и «ей»).

— Самый большой. А лучше — давай два куска, — подумав, ответил Николай Михайлович.

Отбивая мёрзлое от мёрзлого, бабка нашёптывала:

— А твоя-та на плане и скажи: «Лутшее — детям. Это как человек и как коммунист я вам». Предрик: «Что, товарищи, поддержим больницу?» Тут строитель-то и взвился. «Нахапка! — это он твоей-то, при всех. — Бесчовесная! всю жизнь токо на ифект работат». Она, сердешная, по сторонам глазами хлоп, хлоп, а мужики взгляды отводят. Предрик только начал: «Вы же с женщиной...» Да й не договорил.

А чего это ифект? Наверде ифарта?

Эй, Михальч? Ты куды?

Анна Михайловна тем временем скоро и сбивчиво извинялась за поведение своего мужа и просила у надменной продавщицы, чтобы склоки обошлись без последствий.

Ни та, ни другая не знали, что разговор, которого Александроважна боялась, а продавщица не боялась и даже в глубине своей неравнодушной к зреющим души хотела (но только чтобы самой посмотреть), так вот, разговор этот уже состоялся.

Проходил он на редкость спокойно: «Был?» — «Был!» — «Из-за спичек ругался?» — «Ругался!» — «Колбасой кидался?» — «Кидался!»

И закончился дилеммой, почерпнутой мужем продавщицы в некогда популярном фильме «Последний бойскаут»: «В бубен или в душу?»

«В душу», — подумав, ответил Николай Михайлович.

Через пару минут дежурный врач осторожной походкой двигался по направлению к хирургии, на вызов (машины «Скорой» той ночью встали из-за отсутствия бензина), а муж продавщицы ехал в каб-бак на разрисованной и не новой «десятке».

Велорий в общежитии вернулся за стол. В пятой комнате царил атмосфера взрывоопасного эротизма, так, что, когда кто-то из толпившихся гостей ненароком задел выключатель и комната погрузилась во мрак, а потом щёлкнул выключателем, и комната осветилась — три пары в ней целовались самым усердным образом, закрыв глаза и делая крутовые движения головами: мальчики — по часовой стрелке, девочки — против часовых стрелок. Тот же человек, который выключил, а потом включил свет, (признаюсь, что это был я) пошутил, что если бы мрак был чуть более продолжительным, картина при включении электричества рисковала показаться куда как более откровенной. Над этой шуткой смеялись, а Инка глубоко и нежно посмотрела на Велория.

Родители последнего по объездной дороге, слякоть которой зацементировал мороз, кое-как добрались до квартиры в посёлке Пригородный. Об этом пути обратно и, как выяснилось позже, последнем совместном пути можно не говорить вовсе или говорить бесконечно. Но о чём именно беседовали родители Велория — сокрыто полумраком вдоль ограждения агросервиса и слышали о том разве что тоскливо и страшно, особенно по ночам, скрежещущие от ветра цепи в одном из разворованных цехов.

#### **ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ, в которой отцы и дети культурно отдыхают**

— Пошла!

— Пошла, пошла...

Этим возгласом в пятой комнате общежития и по дороге на дискотеку в районный дом культуры сопровождали поглощение разноцветных жидкостей из бутылок, коих вследствие получения стипендии было накоплено вагон, пить уже не хотелось, а пить было надо, ибо не оставлять же на завтра. Похмелье лет до двадцати — редкий гость в доме под названием юность. И похмельяться там — моветон. Пьющие махали руками и балансировали на тонкой грани, когда понятно, что пойти-то — пошла, только вот приживётся ли?

У Шурика грани были другими. «Идти» в него всегда «шло». И приживалось тоже. Но меры он не знал. Причём, не только во время первой пьянки, которую немногие заканчивают на ногах, но и вообще...

...На последней «ёлке» с ним и вовсе произошёл конфуз. Шурик так нарубился (он помнил, как пил с кем-то целую кружку на брудер-

шафт; кажется, это была женщина), что его не пустили в спортзал, где шла дискотека, сердито сказав: «Иди, откуда пришёл». И Шурик отправился туда, где пил, в общежитие.

Не пустили. Надо сказать, что в женской обители будущих педагогинь был верхний тупичок, пожарный выход со второго этажа, с дверью постоянно украшенной замком, но лестница-то со стороны коридора наверх была свободна и бесконтрольна!

И много же тайн хранил этот пяточок-тупичок.

Одна из них была выцарапана гвоздём на стене: «Здесь жила и трудилась Люда. Блядя».

Под этой надписью вахтёрша перед закрытием общежития и обнаружила Велория. И отвела в комнату отдыха. И растёрла снегом. И позвонила родителям. И вёл Николай Михайлович ночью по узкой тропинке теплотрассы своего Велория. А Велорий икал и заваливался на сторону, в снег, то влево, то вправо. Долог и труден был этот путь для Николая Михайловича. Велорий же помнил дорогу смутно.

К Александровым вечером девятнадцатого марта нагрянули гости. Две тётушки, подруги Анны Михайловны из квартиры этажом выше. Одна из тётушек была художницей, другая — педагогом, поэтому беседа на кухне временами обретала декадентский характер. С тётушками во время их поездки в областной центр вышел конфуз, о котором они наперебой щебетали супругам Александровым.

— Сидит... Подвыпивший такой.

— Но-вый рус-ский!

— Крутой!

— Смотрит на нас и говорит...

— На слезе говорит.

— Моё любимое поколение...

— Поколение Веры Холодной.

— Хи-хи-хи-хи...

Глава семьи, то есть Анна Михайловна, благосклонно улыбалась, и муж её пребывал, казалось, в самом благодушном расположении духа, попивая чаёк и пошучивая. Правда, ни одной его шутки наутро ни тётушки, ни, разумеется, сама Анна Михайловна вспомнить не могли.

А младший Александров утло качался под смутную музыку девяностых, нервно думая сквозь песню про жизнь, которую непременно нужно поставить на рулетку, успеют они сегодня с Инкой или не успеют.

В соседнем кругу, образованном юными телами обоого пола, в самом центре, гордо и независимо гарцевал на своих двоих абсолютно гармонический боксёр-легковес Костя по прозвищу Коха, поэтому Александрову не нужно было сегодня думать, как бы не получить по балде...

Двухметровый рост Велория в сочетании с тщедушием пятнадцатилетнего возраста постоянно побуждали окружающих и старших особей мужского пола, брызжущих гормонами, к единоборствам с ним. Но пару месяцев назад Коха-Костя поставил в этом точку. Прав-



да, перед этим он порвал губу приехавшему домой на каникулы старшему брату Александра и надломил будущему медику передние зубы, но уж после как извинялся: «Братцы, не признал. Не признал — не признал. Ваша мамка меня от армии отмазала, бабушка её упростила». А потом Костя-Коха путём троекратного вбивания переносицы в череп объяснял одному из подоспевших любителей единоборств (его, давеча обидевшего Велория, и пытался найти в средневековом сумраке дискотеки старший брат побитого, да вот наткнулся на Коху и первоначально даже не понравился ему), что искать оных (единоборств) с членами семьи Александровых, пожалуй, не стоит. И, не будучи педагогом по образованию, Коха объяснил эту истину своему не самому талантливому ученику (тому, который метелил Велория неделю назад и упивался чувством безнаказанности) — безусловно. В уроке хорошего тона присутствовал и материал для наблюдения (братья Александровы), и объяснение нового (с использованием наглядности), и закрепление (в виде повторения окровенными губами: «Иа... бо... не бу...»).

Велорий с Инкой не успели. Девушки опоздали в общежитие, и человек пять кавалеров, из которых Велорий был самым младшим, сначала упростили вахтёршу, чтобы она пустила гулён во временно отчий дом, а потом молили гулён, чтобы те пустили в форточку их самих.

Девушки, выдержав психологическую паузу, согласились. Первым в форточку полез Василий, который недавно вернулся из армии и занимался культуризмом. Но проём форточки был настолько узким, тело Василия фактурным, а ремень солдатским, что пряжка, упершись в живот, намертво зажала Василия в самом жалком и согбенном положении, извлечь из коего дембеля и культуриста позволило лишь разрезание добротного солдатского ремня на части.

Тут на улицу выбежала вахтёрша. Закричала, загорланила, припугнула милицией. Пришлось расходиться.

— Завтра! — шепнула Инка сквозь форточку и посмотрела на Велория многообещающе, точно фея из бара.

### **ГЛАВА ПЯТАЯ, в которой родители Велория Александрова отходят ко сну**

Родители Александрова тем временем легли спать. Николай Михайлович — сразу вырубился. Анна Михайловна — почитала полчаса или около того. Или только делала вид, что читала.

Изменения, которые происходили с её сыном — и это чувствовалось — беспокоили Анну Михайловну настолько, что в редкие часы, свободные от больничных хлопот, она не могла думать ни о чём другом.

Привёл в начале марта!

— Мама, девочки опоздали в общежитие. Можно, они переночуют у нас?

Нет, конечно, потом был разговор, даже истерика с убеганием Велория из дома и вызваниванием его через соседей из окрестностей дачи (кстати, нет худа без добра: после двенадцати приходить перестал).

А тогда что сказать? «На улицу ведь не выгонишь?» Пришлось чаем поить. Общаться.

И всю-то ночь дверь из гостиной зачем-то открывали. А Колька как взбесился. Они двери откроют, он закроет. Они откроют он — закроет.

Ии-на, значит. Никуда без Инки. Можно подумать, инок этих больше не будет...

От сына мысли Анны Михайловны перешли к ещё одному трудновоспитуемому субъекту — мужу.

Жизнь Анны Михайловны легко делилась на пять. Первые пять лет — война. Вторые — постепенный переезд из деревни в город. Третьи — школа и мысли о выпускном. Четвёртые — окончание школы с золотой медалью и медицинский институт. Пятые — окончание института и работа по распределению в деревне. Шестые — начало работы в городе и назначение главным врачом.

Тут в её жизни и появился Николай Михайлович. Притом, что они в одно время закончили тот же институт, Анна Михайловна не выделяла будущего мужа из числа других юношей-студентов. А после — мужчин-подчинённых в районной больнице. Внимание к Николаю привлекла его мать, которая явилась в кабинет к главному и пожаловалась на холостяцкие заботы сына.

Тогда-то и начала Анна Михайловна достаточно сложный воспитательный процесс, которым несколько увлеклась.

Николай Михайлович стал её вторым серьёзным увлечением.

Первым же был молодой врач из Ленинграда, которому она помогала собирать материалы для докторской диссертации по туберкулёзу. Но — не сложилось. Доктор стал доктором наук, уехал домой и писал Анечке пыльные письма, на которые она с не меньшим восторгом отвечала, пока мать не напомнила Анне Михайловне о том, что с момента её рождения прошло уже тридцать лет, «а больно внуков помянуть хоца».

Брак, на который она дала согласие двадцать три года назад, вполне счастливым было назвать сложно. Он был заключён в тот момент, когда ей нужно было решительно выбирать: оставаться в девках (тут уже — в девах) или не оставаться. Подумав, она решила не оставаться.

Было в этом браке и ещё одно соображение, которое можно назвать — укрепление административных позиций молодого руководителя больницы. Дядька Николая Михайловича был крупным учёным, хирургом, ректором мединститута. Против такой «крыши» не попрёшь. Было или нет замужество уступкой личным счастьем во имя общественного блага — трактовка этого перед самой собой зависела от настроения Анны Михайловны. Если муж начинал выкобениваться, было. Если семья проживала «золотой век», конечно же, нет.

Следующие пятнадцать лет опять чётко распадались на три пятiletки.

Рождение и детство первого сына.

Рождение и детство второго сына.

Переезд из холодной казённой квартиры в дом умерших родителей и освоение (вспоминание) азов крестьянского труда.

Потом Анна Михайловна сделала ошибку.

Она не стала планировать изменений на следующую пятилетку и с головой ушла в работу, которой и так отдавала значительную часть себя.

Тут-то и начались проблемы, потому что Николай Михайлович с головой в работу, естественно, тоже вместе с ней ушёл. Но голова его начала болеть и выдавать сбои, так что Анна Михайловна тут же перестала затыкать мужем все дыры должностного расписания, но было уже поздно.

Муж, кажется, надорвался, отстегнулся от упряжки под названием «больница», попытался обрести самостоятельность, потерял фиаско — и стал откалывать колена.

И пошла игра вразнос...

А тут ещё путч, ГКЧП, октябрь 93-го...

Надо было что-то делать, и Анна Михайловна сама обозначила начало новой пятилетки переездом в новую квартиру.

Вариант с ремонтом дома был забракован как затратный. Квартиру государство было должно и на своём закате долг семье Александровых успело отдать.

Несмотря на то, что после этого из жизни исчезла пустота, быт предельно наполнился, Анна Михайловна чувствовала: что-то не то.

И с этой мыслью лежала рядом с Николаем Михайловичем.

Но через пять дней ей должно было исполниться пятьдесят пять.

Подумав об этом и сопряжённом, Анна Михайловна озадачилась и сама не заметила, как заснула.

На улице Болотникова Велорий встретил того самого школьного приятеля, которого давеча не застал дома. Поздоровавшись, они вместе направились к посёлку Пригородный. А поскольку идти было долго и скучно, в условленный момент опустили на колени и некоторое время ползли на четырёх конечностях вместо двух.

За минуту до того, как Велорий с приятелем, который называл его не оставшим со школы прозвищем — Сашок — доползли до тропинки через пустошь, что волей-неволей заставило их совершить мощный скачок в эволюции, поднявшись с четырёх конечностей на две, Сашок вспомнил обеспокоивший его накануне сон.

Это был сон про ружьё. Вполне даже настоящее ружьё, долгое время хранившееся на чердаке старого дома, теперь — дачи. Ружьё было одноствольное, нарезное, шестнадцатого калибра. Его то ли забыли, то ли подарили деду снимавшие комнату в доме парашютисты из лесной авиации. Дело было в конце пятидесятых. Но об этом Велорий знал лишь понаслышке. Мол, ржавеет где-то среди хаама. А незадолго до въезда в новую квартиру, разбираясь на чердаке, Велорий увидел ружьё воочию. Разобрал его, смазал, собрал обратно, пощёлкал курком — и положил «где росло», в средних размеров ящик.

Ружьё стало тайной Велория, его мужским хобби. Он собирал и разбирал ружьё на скорость и с закрытыми глазами, двумя руками и даже одной рукой. Это продолжалось неделю. А потом ружьё пропало.

— Пап, где ружьё? — напрямую спросил Велорий у отца.

— Какое ружьё?

Вот и поговорили. Про ружьё Велорий больше не спрашивал. В этом и других вопросах его отец искренне верил в правильность своих односложных ответов и был непоколебим в своей вере. Спрашивать же про ружьё у мамы сын не решился.

Во сне кто-то целился из этого ружья в кого-то. И тот, кто целился, и тот, в кого целились, были Велорию до боли знакомы, но лица их, словно нарисованные акварелью на мокрой бумаге, казались размытыми, и узнать ни охотника, ни жертву он не мог. В отчаянии, заламывая руки, бросался Велорий от одного к другому, кричал, плакал во сне (наяву он уже давно стыдился своих слёз), но тщетно. Выстрела Велик не слышал, но чувство надвигающейся и неотвратимой беды очень долго преследовало его и после пробуждения.

### **ГЛАВА ШЕСТАЯ, в которой девятнадцатое марта незаметно и неумолимо переходит в марта двадцатое**

В подъезде, в прихожей и на пути в свою комнату Велорий был очень осторожен, дабы не вспугнуть спящих родителей.

Не вспугнул. Осторожно разделся, залез под одеяло — холодно! — сжался в комок — холодно-холодно! — подумал об Инке и провалился в бездну сна.

Это было в ноль часов пятнадцать минут, двадцатого уже марта. А в три часа двадцать минут дверь в комнату Велория открылась. В «детскую» зашёл отец. Вдохнул воздух с содержанием паров, как минимум, пяти алкогольных напитков, открыл форточку; проходя рядом с кроватью сына, не утерпел; мимоходом глянул на него:

— Спишь, Велик? Ну спи, спи...

В семье у Велория тоже было прозвище.

Вообще, дела с именем не заладились с самого начала.

Отец хотел Алёшу. Мама, как коммунист, настаивала на Вилории, что является сокращением от Великого — Владимир Ильич Ленин. В паспортном столе, естественно, сделали ошибку, самовольно заменив Вилория на Велория. Менять документы сначала было некогда, а потом неохота. В итоге имени своего Александров-младший стеснялся и сам иногда настаивал на прозвищах.

В каждой общности, куда он попадал, «Шурика» и «Велика» называли ещё как-нибудь, хотя бы «кособокий хер» (так старшие ребята поощряли его неправильную осанку, следствие отроческого увлечения фантастической литературой — в смысле кособоконости), порой — Александровщина (это Инка обволакивала), реже — Сашок, бывало — Николаич (приятели, которые самого Николая Михайловича, мягко говоря, недолюбливали: он ходил к их родителям

ругаться, что они, приятели, плохо влияют на Велория; и прозвищем приятели то ли вытесняли неудобного Велориева отца, то ли пытались найти с ним компромисс)...

Велик, действительно, спал, и видел во сне продолжение кошмара с ружьём.

Александров-младший с ужасом искал неизвестного стрелка, не находил — и чувствовал этому только одно объяснение...

Через какое-то время в его руках возникло и само ружьё, словно бы опоздавшее в сон. Оно было как живое, само ставило его руки в положение выстрела, само притягивало к курку палец Велика. Да. Он уже видел: и ствол ружья, и его ложе, и свой большой палец, вопреки его, Велика, воле взводящий курок, и потёртый, сбитый приклад, упирающийся в плечо, и защитного цвета ремень.

Тут он взглянул в сторону неизвестного и всем телом содрогнулся во сне.

Акварель, скрывавшая лицо человека, в которого он целился из ружья, была словно живая. Она то принимала контуры какого-то знакомого, и даже узнаваемого лица, то вновь расплывалась тёмно-зелёным пятном.

Николай Михайлович прикрыл дверь в «детскую», потом в спальню, где почивала жена. Открыл ящик с инструментами во встроенном шкафу, хранившем свои недра в прихожей, разгрёб весь скраб, при этом поранился о стамеску, поморщился, пососал ранку на пальце, выждал, когда остановится кровь, и в самом углу, за большими прямоугольниками чёрной крупнозернистой наждачной бумаги, нашупал средних размеров коробку. Достал её на свет. Открыл.

И вынул из неё оружие убийства.

**ГЛАВА СЕДЬМАЯ,**  
***в которой к Велорию приходит друг детства***  
***и рассказывает ему историю некоего художника***  
***и его дома***

Спустя пятнадцать лет Велорий валялся всё на той же кровати и ждал моего возвращения.

Это чувствовалось по тому, как он затопал и сразу после звонка открыл дверь, по согретому чайнику, чистой пепельнице на столе и лихорадочному блеску его зелёных глаз, по тому, как были всклокочены волосы у него на макушке.

Я неспешно расположился на табурете, с удовольствием потянул к батарее ноги, замёрзшие после затычного, через местную «Рублёвку», в которую превратилась пустошь, марш-броска с автобусной остановки (такси в тот день, кажется, просто невозможно было вызвать), одним глотком опустошил маленькую кофейную чашечку и устался на хозяина квартиры.

В руках у Велория запиликал мобильный телефон, однако он не стал разговаривать и, хлопнув крышкой о крышку (свой телефон Александров называл за это «ударной установкой»), открыл его и выключил вовсе.

— Ещё кофе? — вместе с тем вежливо поинтересовался он.

— Нет, спасибо. Я и так чувствую себя не адвокатом, а кем-то вроде Великого Инквизитора. Значит, слушайте, вечный юноша, по поводу интересующего вас вопроса.

Внезапно напомнивший о себе потенциальный источник информации по имени Гошин Валентин Петрович, не получил твоего письма и, следовательно, не отписал, потому что временно не проживает по указанному на конверте адресу, а днюет и ночует в санатории, поправляя здоровье и готовясь к персональной выставке...

Железнодорожный вокзал в том городишке, куда ты меня упёк, напомнил хроники военных лет. Автовокзал там и вовсе отсутствовал. Таксист, поймавший меня на незнании маршруток и наказавший вашего покорного слугу за это на восемьсот рубчиков, оказался продуктивным малым, про которого хотелось сказать словами одного поэта:

Не люблю разговоров на общие темы  
Среди молодых, но уже располневших людей.

Справедливости ради надо сказать, что именно он рассказал мне про обстоятельства Гошина и, переменив маршрут, двинул к санаторию, а также заметил паренька, который бросился к окну, когда подъездало наше такси, и не отлипал, пока я не поднял на него глаза, не натолкнулся на его взгляд.

— С какой грустью смотрит. Скучает! — для особо тупых прокомментировал извозчик.

Тут я сделал паузу и попросил ещё кофе.

— Сначала я расскажу тебе историю. Для полноты восприятия, тык-скыть. Она уходит корнями аж в девятнадцатый век.

Велорий молча кивнул.

В некотором царстве, в некотором государстве лет сто с лишним тому назад жил-был крестьянский мальчик. Жил себе жил до пятнадцати лет, и вдруг оказался болен, так, что не оставалось никакой надежды. Родители дали зарок, что, если он останется жив, то на год уйдёт в монастырь, бесплатно работать на обитель.

Болезнь после этого, понятно, отступила.

Мальчик отправился на Соловки, как на каторгу, и стал трудиться на рыболовецком судне, обеспечивая братию провиантом. Работа была тяжёлая, но очень интересная. И мальчик проникся любовью, во-первых, к путешествиям по большой воде, а во-вторых, к иконописи.

Ещё до монастыря он видел не только иконы, но и картины (спасибо передвижникам) и очень хотел научиться рисовать так, чтобы на плоском листе создать объём.

Домой он вернулся ровно через год. И обнаружил, что «на каторге» ему было гораздо лучше, чем дома. Монахи понимали и поощряли его увлечение художествами. Дома... Отец как-то раз застал его за из-

готовлением макета монастыря. Там было несколько зданий, водяная мельница. Макет был уже почти готов, но отец — в прямом смысле слова — растоптал это чудо и оставил сына в горьких слезах.

Тогда мальчик задумал бежать из дому.

Был он очень не гупым. Понимал, что к побегу нужно готовиться, и проявил исключительные стратегические способности. Сначала через родственника-старшину тайком от родителей выправил себе паспорт. Потом стал медленно, но верно склонять маму к паломничеству в Соловецкий монастырь. «Я чувствую, что если ты не пойдёшь в обитель и не возьмёшь меня с собой, то я заболею и умру». Мать согласилась.

Когда они добрались до монастыря, мальчик объявил ей о своём желании не возвращаться домой. Женщина отговаривала его, как могла, но настоятель монастыря убедил её оставить сына Богу. Тут и паспорт пригодился...

В слезах и одна женщина отправилась обратно домой.

Мальчик этот стал послушником, учился в иконописной мастерской, пробовал сам писать иконы. Тут в монастырь пожаловало одно Высочайшее лицо, которое обратило внимание на работы юноши, забрало его в Петербург и определило сначала в художественное училище, а после... в Академию художеств, да ещё в класс Куинджи.

Через несколько лет мальчик превратился в молодого художника, о работах которого благосклонно отзывался Рерих, а Шишкин, наряду с Куинджи, небезосновательно считал его своим учеником.

Но период ученичества закончился. И художнику нужно было пробивать свою дорогу. Он это и сделал — в прямом смысле слова. Пользуясь знакомством с тем самым Высочайшим лицом, убедил Его помочь снаряжению экспедиции в Арктику.

Как он там чудом не погиб — это отдельный разговор. Вот послушай (я достал из кармана блокнот):

«Сидишь, уткнувшись в снег, и не хочешь ни с кем говорить, ни смотреть друг другу в глаза. Да и о чём говорить? Всё уже переговорено. У всех только одна мысль о смерти. Засыпая вечером, не надеешься ещё раз увидеть рассвет. И боишься взглянуть другому в лицо. И так медленно, целой вечностью тянутся минуты безмолвия, нарушаемого лишь треском льдов».

Или вот ещё:

«На жестоком холоду художнику приходится совсем иначе работать: стужа превращает краски в твёрдое тело, которого кисть не берёт и которое не размазывается по полотну... Кисть трещит, ломается. Коченеющие руки отказываются служить».

Экспедиции удалось открыть несколько мысов и ледник. Мысы он назвал именами своих учителей и близких по духу художников. Леднику дал имя Высочайшего лица.

Из Арктики приехал другой человек. Взял себе псевдоним — Северов — под которым и получил всемирную известность. Привёз

множество этюдов... Его, кстати, упрекали в излишней этюдности. Рерих и упрекал. А просто Северов человек был такой... Широкий. Всё пытался в себя вместить.

— Видел когда-нибудь его картину «Страна смерти», одна тысяча девятьсот третьего года? — поинтересовался я у Велория. — Арктика, льды, багровый закат...

— Похоже на рот, полный крови, которая сочится между льдин-зубов.

— Именно! Слушай дальше. Мы всё ещё далеки от твоего вопроса.

Велорий положил на стол пачку сигарет, достал одну, подвинула пачку мне. Чувствовалось, что он основательно подготовился к долгому и нелёгкому разговору.

Вот, ещё:

«Птичье мясо было неожиданным лакомством после тюленьих плавников, да ещё из собачьих зубов».

Это уже о другой экспедиции.

М-да. Собственно так и проходила его дальнейшая жизнь.

Сходит в экспедицию. Привезёт этюды. Порисует с них картины. Выставит. С каждым разом всё увереннее объедет Европу. И опять — во льды. И каждый раз что-то новое откопает, вроде:

«Мы похитили тайны полярного мира, воспроизвели его таинственные красоты, и это сладостное сознание сторицей вознаградило нас за всё, что было вынесено, за все те долгие дни, когда, казалось, не было никакой надежды вырваться из ледяных лап смерти в мёртвой стране».

Женился художник поздно. Жена Северова — вдова Заблудовского, профессора медицины Берлинского университета. Сама — медсестра. Детей Бог не дал. Да и женились: ему было за сорок, ей — и того больше.

В связи с браком, надо было обустроить жизнь. И вот решил Северов недалеко от своей малой родины, по которой, как ни странно, всю жизнь скучал, построить себе дом с мезонином. Проект этого дома чертил не кто-нибудь, а Васнецов, который не художник, а родной брат его, тоже известный, но как архитектор.

В доме было печное отопление. Двадцать одна затопка: представляешь? Но в смысле воды жилище своё Северов благоустроил. На кухне стоял насос, который работал, правда, вручную, но и прислуги у бывшего крестьянина хватало. Прямо в доме находилась баня. Новейшие технологии Царской России позволили обустроить её на первом этаже так, чтобы влажность не распространялась по всему жилищу.



Всё-всё. Избегай твоей ненависти (Велорий изумлённо приподнял брови), почти заканчиваю предисловие. Скажу лишь, что Северов и в браке пожил на славу. Съездил ещё несколько раз в экспедицию. Попробовал учить эскимосов уму-разуму. И убедился, что занятие это бесперспективное, о чём свидетельствует следующая запись (рассказчик занудно посянул палец и неспешно запустил его в записную книжку, надеясь извести Велория раньше срока):

«Я часто говорил самоедам, что нехорошо убивать людей и приносить их в жертву сядэю (дьяволу) и самоеды отвечали мне на это всегда неизменно: «Да мы и сами знаем, что это нехорошо, потому и делаем, что это худо. Ведь это мы делаем не для бога (хая), а для сядэя. А сядэй любит, чтобы мы делали худо, и за это нам пригонит много, много зверя и рыбы».

— А я уж собирался похвалить его за эстетизм и отсутствие грёбанного морализаторства, — огорчился Велорий.

— Нет, он, скорее, натуралист. Декаданс в его работах, конечно, чувствуется, но такой... Подсознательный что ли. Не контролируемый автором. Нет, не то... Не то... Надо всем довлеет Арктика. Мы — лишь одна из цивилизаций, которую видели вечные льды. Это не декаданс. Это другое.

При советах его никуда не задевали, но и не привечали особо. Он помощь оказал при строительстве северной железной дороги, материальную то есть. Луначарский вовремя про это вспомнил, когда у художника нашего неприятность с женой вышла (убегла баба обратно в Германию), а то не сносить бы первопроходцу головы.

К сталинщине Северова изо всех художественных союзов уже выжили. Он плюнул — и доживал свой век в охоте, рыбалке и встречах с выжившими приятелями. Пару республиканских выставок ему всё же сделали, но что для его мирового имени две локальные выставки за семнадцать лет? Воистину, первые пятнадцать лет своей жизни и последние семнадцать он, как художник, натерпелся.

В 1934-м Северов почил в бозе.

Конечно, художественнее, чтобы это произошло на Соловках, в СЛОНе, вернувшись, тык-скыть, на круги своя... Но помер он в собственном особняке, среди любящих слуг, на кресле-каталке, укрытый аглицким пледом, в трудах и самым буржуазным образом съездив перед этим в Берлин к жене, о которой, судя по всему, скучал и которой, очевидно, всё простил (*если было там что прощать*).

Смерть прервала его работу над полотном «Полночь во льдах».

Имение, естественно, национализировали.

И разместили в нём школу десантников...

— Господи, — поморщился Велорий.

— Но сейчас там снова музей. Картины разные висят, в том числе и Северова. Знаешь такого художника — Котова?

— Он ведь жил в наших краях!

— Жил, и даже работал в нашей alma mater. Правда, мы его уже не застали. Тоже представлен. «Утро в Лядинах». Лядины — это реальная деревня. Название важно чётко артикулировать, особенно, когда имеешь дело с коренным населением. Полотно — утопическое с элементами котовской иронии.

Пейзаж, на нём церкви, коровы, навоз и грязь. Одинокий велосипедист едет. И стоит себе колодец с журавлём. Если не знаешь, интеллигентшилка, приспособлением для подъёма воды по форме таким же, как велосипедное колесо...

— Музей... — напомнил мне Велорий.

— Да-да. Эрудиция нынче не в цене.

Так вот. Произведя строительную экспертизу, дом перестроили. Зачитываю: «Здание было передано музею в аварийном состоянии. Биохимический анализ гнили выявил: бурую, белую и мягкую гниль, грибы синевы, плесневые грибы, cotofozia cerebrala и жука-древоточца, а также разрушение целлюлозы в несущих конструкциях, потерю в массе на 10%, уменьшение плотности дерева на 50%».

Короче говоря, здание было глубоко больным. И, да не покажется тебе преувеличением моя следующая мысль, оно заболело от увиденного и пережитого именно в тот сорокалетний период, пока не было связано с именем Северова. А знаешь, что там находилось после десантной школы?

— Ой, прям напугал. Тюрьма, наверно, как у нас в детской библиотеке.

— Нет, Велорий, не тюрьма.

— А что же?

Тогда-то я впервые и произнёс на протяжении своего рассказа, а он впервые услышал слово:

— ЕВМА.

**ГЛАВА ВОСЬМАЯ,  
в которой мы почему-то изучаем медицинскую  
документацию**

...

№446

Андреев Иван Александрович, 5 ½ лет.

Находился в Евме 16 сентября 1942-16 октября 1942.

Умер от гангренозного абсцесса.

№ 447

Александров Николай Михайлович, 7 января 1936 г.р.

Находился в Евме 16 сентября 1942 — 27 августа 1945 г.

Излечен. Поехал домой к маме.

Historia morbi

Александров Николай Михайлович, 1936 г. р.

Диагноз:

Spondyl tbs 91 L5

Родители: Александрова Анна Велорьевна.

Госпитализирован 4 июля 1942 г.

Мать заметила опухоль в области левого тазобедр. сустава. Через неделю стал жаловаться на боль в суставе при ходьбе.

Родился доношенным. Воспитывался дома. Условия хорошие. Кормился грудью.

Пошёл в год и три.

Мать заметила, что ребёнок как ещё начал ходить и бегать, что бег его чем-то отл-ся от бега др. детей как будто он боится остерегается.

Районный врач ничего не нашёл. Пошёл в садик. Снова обратилась, сказал, что есть признаки туберкулёза сустава. В туб. диспансере диагноз подтв-ся. Направили в туб. больницу Вахта, оттуда — в санаторий Евма.

Телосложение правильное, упитанность удовл., кожные покровы чистые. Лицо, ноги и руки покрыты ровным загаром. Живот напряжён, выпячен.

#### ВЫПИСКИ ИЗ ЖУРНАЛА

1942

16/IX 42

Самочувствие удовлетворительное. Мальчик спокойный...

16/IX 42-7/X 42

В изоляторе.

7/X 42

Переводится в IV отделение.

30/X 42

Самочувствие хорошее. Жалоб нет. Температура №. Не кашляет и вообще спокойный мальчик.

12/XI 42

Язык чистый. Живот мягкий. Сон удовлетворительный. Мочеиспускание норм. Жалобы матери не подтвердились.

20/XI 42

Жалуются на боль в области задних шейных позвонков. Болезненность шейки только при пальпировании.

24/XII 42

Жалобы на боли в левом глазу.

28/XII 42

Воспалительных явлений со стороны левого глаза не отмечается. Жалоб нет.

1943

9/I 43

Состояние удовлетворительное. Зев чистый. Кожа смуглая...

29/I 43

Очень спокойный мальчик, жалоб нет. Мать послала посылку. Очень довольный.

16/III 43

Жалоб нет. Смугленький...

14/IV 43

Во время завтрака была рвота. Докормили. После завтрака рвоты не было. Днём самочувствие хорошее. Жалоб не было. Перед обедом и после обеда опять была рвота.

17/IV 43

Кушает хорошо. Ничем не отличается в поведении чем в предыдущие дни.

5/VI 43

Самочувствие удовлетворительное. При пунктировании получено 1 см<sup>2</sup> жидкости жёлтого цвета, прозрачная.

10/VII 43

Самочув. хорошее жалоб нет. Мочейсп. №. Очень обидчив — плакал.

28/X 43

Позвоночник скован. Объём левого бедра несколько больше. Абсцесс.

1944

7/I 44

Абсцесс стал меньше.

15/II 44

Состояние без особых изменений. Ни на что не жалуется. Лежит в гипсовой кровати, неплохо.

4/III 44

Лежит хорошо. Учится удовл.-но. Объём пр. бедра 29,44<sup>17</sup> лев. бедра 31,44<sup>17</sup> (абсцесс).

15/IV 44

Всё время чувствует себя хорошо, температура нормальная. Днём иногда не спит, стал немножко баловаться. Лежит в кровати неплохо. Учится удовлетворительно. По характеру молчаливый. Немножко заикается.

6/VII 44

Всё время чувствует себя хорошо. Не температурит. Загорел.

16/VIII 44

Жалуется на боли в горле. Обнаружено: ангина.

28/VIII 44

Чувствует себя хорошо. Температура нормальная. Миндалины значительно увеличены.

24/IX 44

Спинка не беспокоит.

28/X 44

Мальчик мало разговорчив. Нервный.

10/XI 44

Особых изменений за это время нет. (Далее — вымаранное предположение). Кожа (слово вымарано) смуглая, чистая (зачёркнуто — «сухая»). Температура №. Жалоб нет. В поведении (зачёркнуто слово «странный» отличается от других (зачёркнуто — «Отстаёт в развитии») Застенчив, хотя иногда упрямый (зачёркнуто: «нервный, заикается в разговоре»). Говорит мало.

2/XII 44

Мальчик чувствует хорошо. Кифоза нет.

29/XII 44

По поведению один из лучших за месяц. Получил большую игрушку «Собака».

1945

9/III 45

Сделана новая гипс. кровать с головой.

27/IV 45

Начали поднимать на щите.

8/V 45

На голове увеличенная железа в области затылка.

21/V 45

На голове железа увеличена, мягкая. Кожа смуглая.

12/VI 45

Железка рассосалась. Кушал хорошо.

29/VI 45

ХОДИТ

10/VII 45

Мальчик чувствует себя хорошо. Ходит. Ни на что не жалуется. Выглядит хорошо, смуглый, упитан достаточно. Температура нормальная.

27/VII 45

Всё время чувствует себя хорошо. Ходит хорошо. Температура устойчиво нормальная. Жалоб нет.

№448

Снежкова Гаина Михайловна. 3 г. 9 мес.

Находилась в Евме 16 сентября 1942 года — 12 апреля 1943.

Умерла...

**ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,  
в которой появляются новые и симпатичные лица,  
а также крысы**

— Крысы съели котёнка Уголька.

Эту фразу лежащий справа от Валька Колька Александров выпалил на одном дыхании, не заикаясь.

И новость совершенно и как-то сразу выбила Валька из колеи.

- Точно съела? — не поверил он.
- То-то-точно, точно, — «успокоил» его Колька. — Дядя Саша сейчас п-проходил, ш-шахматы п-принёс. Он и с-сказал.
- Сыграем?
- Р-решётнику уже к-кинул. Т-теперь г-глушняк. Н-неделю не видеть.
- У-у-уй п-п-п-прыакиатый к-к-к-к-крис, — подтвердил Краус Керхарт, который лежал перед Валькой во втором ряду от окна, и, значит, получается, тоже был соседом.

Валька, помолчал, подумал и вплоборота, сколько мог, повернул голову к соседу слева:

- Слышь, сынок?
- Ась, — захихикал проснувшийся Вовка, который только и ждал, что батя обратит на него внимание.
- Крысы...
- Кысы? — с восторгом завопил Вовка и заколотил по кровати ручками, которые кто-то успел отвязать.
- Нет, крысы...
- У-у кыысы!
- Да. Крысы. Съели. Ам-ам? Понимаешь?
- Дя, ням-ням. Кыысы ням-ням. Фу!
- Фу! Уголька съели. Кису.
- Кыысы сели кисю? — как-то на удивление спокойно поинтересовался Вовка.

Но Валёк знал, насколько обманчиво это спокойствие. И, вытянув, сколько мог, руку стал покачивать Вовкину кровать. А через несколько секунд раздался рёв, не уступающий по громкости львиному...

Вообще-то малышам лежать в отделении младших школьников было категорически запрещено. Просто так получилось. Бывшего Валькина соседа, Морозова, месяц назад, прямо ночью, перевели в другую больницу.

Морозова привезли из Ленинграда, эвакуировали по Дороте Жизни. И пролежать он успел после карантина меньше суток. Морозов был загипсован вместе с шеей. Может, если бы не эта загипсованная шея, Валёк бы не решился, ведь предупреждала тётя Маша.

Но кидать было важной частью евминской жизни. Кидать было иногда равно жить. Или не жить. И кидать хотелось по-разному.

А Морозов был одно разочарование. Все надеялись: приехал парень из Ленинграда, расскажет о героических подвигах солдат и офицеров. Чёрта лысого.

- Кушать... Дайте кушать... Кушать...
- Морозов, ты немцев-то видел?
- Нет. А у тебя есть покушать?
- Морозов, а правда, что в Ленинграде клей едят?
- Да. Кушать дайте. Кушать!..

Вечером, часов около девяти, терпение у Валька закончилось. — Дадут тебе покушать, глистопоносина. Не стони только.

Но Морозов не унимался. И когда он принялся сосать кружку, пытаясь размочить глину слюной, терпение у Валька закончилось.

— Морозов!

— А?

— Я дам тебе покушать. А ты мне за это расскажешь, как было в Ленинграде. Идёт?

— Замётано.

— Морозов, ты башкой-то совсем не бум-бум?

— Нет, закаменело всё.

— Так, Мороз, ты руку вытяни вверх... Можешь? Молоток. Левую, дубина ты стоеросовая. Так. Пальцы растопырь. Как только почувствуешь, что по ладони стукнуло, успевай пальцы сжать в кулак. Сгибаются пальцы-то, дундук контуженный?

— Сгибаются. Не обзывайся, пожалуйста. Я не контуженный. Меня на ящик в машине бросило.

— Лови! Разнылся.

И Валька стал катать первый шарик.

А после десятого Морозов замолчал.

— Эй, рассказывать-то дядя будет?

Но Морозов рассказывать так и не стал, а начал хрипеть. Валёк заорал, чтобы звали тётю Машу. Прибежала сестра, потом тётя Маша, схватили Морозова на руки, потащили куда-то. И уж больше никто не видел Морозова.

Про то, что его перевели в другую больницу, тётя Маша сказала наутро сама. Вальку и сказала. Но Валёк не поверил. Он чувствовал, что с этими переводами что-то не то. Да тут ещё один из ходячих, больших, Костя, трепался, что на кладбище полно свежих крестов.

У Валька начало грызть спину. И он понял, что не поправится к лету, и подумал, что до лета вообще надо ещё дожить. А зачем, дери его, в таком разе и доживать? И сотворилось с ним что-то. Что-то в нём обломилось. Он потерял всякий интерес к жизни.

Тут-то и приспела тётя Маша, которая долго не подходила к нему после Морозова.

— Валентин, у меня к тебе очень серьёзный разговор.

— Ы?

— Ты помнишь Вову?

— Сынка?

Безрукий солдат Андрей Ревякин переехал Валька лошадь, когда они с матерью шли из бани. Лошадь была умная, кавалерийская, она перешагнула через мальчика, но по его распаренной спине проехали сани.

На этих же санях через месяц его везли в Евму, расположенную по соседству.

Спина болела так, будто по ней било током. Впрочем, каково это — когда бьёт током — выросший в деревне Валёк узнал несколько позже.

— Господи, почему ты не дал мне умереть? — роптал Валёк в свою первую евминскую ночь.

А на следующий день познакомился с сынком. Вовке тогда было что-то около года.

Холодным зимним утром измученная молодая женщина сунула в руки тётё Маше пищащий свёрток и со словами: «Делайте с ним, что хотите!» — развернулась и ушла прочь. В свёртке оказался маленький мальчик с удивительно красивым лицом и двумя горбиками на уродливо изогнутой спинке.

Это разумным детям навроде Валька можно объяснить: лежи, мол, Валёк, не дёргайся: хуже будет. Писать-какать подадут. Накормят. Попрекать не будут: здесь народ привычный, и пострашней тебя типов видали. А Вовке — что? И вот, когда стали приматывать мальчика к кровати полотенцами, не выдержал Валька, заблажил, запустила пену, заорал на сестёр:

— Да вы что, охерели? Вы охерели, кобылы деревенские? Да я шчас встану, я так вас отвожу за волосья, вас самих надо будет в гипс закатывать. Дайте сюда ребёнка. Дайте, я говорю, мне сюда это дитя. Ты, кобыла охерелая, не смотри, что у меня до титек в гипсе всё. Я двумя руками и головой такое могу делать, до чего твоя жопа незагипсованная ни в жизнь не дотумкает...

Сёстры, уже зная неумный нрав Валька, а главное — последствия, которыми это могло сопровождаться, сбегали за тётёй Машей. Тётя Маша пришла, вынула Вовку из кровати и переложила к Вальку:

— Держи, папаша.

Через месяц это подтвердил и сам Вовка, бесхитростно обратившись к десятилетнему Вальку первым в своей короткой жизни словом: «батя»...

После изолятора Валёк и оказался в четвёртом отделении, бывшей зале и мастерской художника Северова. Зала была большая и походила на морг, только все покойники были дети, мертвы наполовину и шевелились в своих маленьких гробиках...

— Как ни помнить сынка. Он бы меня не забыл.

Но сынок не забыл.

Через две недели на место Морозова принесли Вовку. Ненадолго. До конца зимних каникул. И кровать придвинули вплотную к Вальковой.

И всё было бы хорошо, если бы не эти проклятые, обнаглевшие, всюду шныряющие крысы...

...Вовка проплакал часа полтора. Потом успокоился. И Валёк сказал соседям, что если кто ещё хоть слово скажет про Уголька, царствие ему небесное, то тому Валёк не поленится: встанет и глаза натянёт на жопу.

Вальку не то чтобы поверили, но про покойника говорить перестали.

Краус вежливо поинтересовался:

— Шы-ыыгытыо иессь г-г-глас на жоп? В кыякокой п-п-пыааат?



— В нашей скоро будет — немец один: весь в гипсе, сам заикается, а на жопе глаза светятся, — мрачно ответил Валёк, у которого от непрерывного качания Вовкиной кровати заныло плечо и два раза выстрелило в спине.

Переспрашивать Краус не решился. Вовка заснул.

Тут приспел обед.

После обеда решено было играть в шахматы круговой турнир.

Решётников напялил на нос очки и за пять минут ухайдакал Крауса. Валёк ухайдакал Крауса за полчаса и пал смертью храбрых от ладьи Кольки Александрова ровно в шестнадцать ноль-ноль. Начинать битву Решётников — Александров до ужина было не резон.

Кроме этого, проснулся Вовка, и батя с дядьками, в которые он посягали Решётникова, Крауса Керхарт и Кольку Александрова, состязались в развлечении дитяти. Но Вовка, видимо, вспомнил про своего любимца Уголька, который частенько запрыгивал к нему в кровать, и снова разнюнился.

— Заики, за работу, — мрачно скомандовал Валёк.

— Сыам зыаика, — неожиданно огрызнулся Краус.

— Ладно, ладно, — пошёл на попятную Валёк, которого, совесть мучила ещё за давешнюю шутку.

Хотя образ, признаться, получился весьма колоритный и, когда Валёк станет великим художником, известнее Кукрыниксов, он непременно нарисует... — Не кипятись, Краус. На сцене хор Александрова.

— И К-к-кырауса, — не унимался Керхарт.

— Уломал. На сцене хор Крауса-Александрова.

Колька Александров уже выдувал щеками туш.

Девочки, которые лежали в правой половине палаты, подалше от огромных окон, зааплодировали.

На самом деле, петь Крауса и Александрова заставляла врач Александра Яковлевна, делившая дежурства с тётей Машей. В Евму её откомандировали с фронтовой полосы. В военном госпитале, где Ая, как сокращённо и по-свойски называли её дети, прослужила около года, ей часто приходилось иметь дело с контужеными, и она знала о приёме, который использовался для восстановления речи после подобных ранений.

Александров начал заикаться в Евме, на первом месяце лежания. В это время со многими детьми странные вещи происходили. Менялись маленькие люди. До неузнаваемости менялись. Или, цепляясь за воспоминания, оставались прежними. Но даже тогда обретённый опыт отстаивался и кристаллизировался во взгляде, которого не могла выдержать ни Ая, ни сама тётя Маша.

Колька по этому поводу очень просто ответил на вопрос врачей: как, мол, привыкаешь к нашей жизни:

— Мыама го-ооворила шыто я д-дома п-писался. З-здесь я писать п-перестал, но с-сытал ниизмного за-заикаться.

А Краус Керхарт стал заикаться после того, как в деревеньке под Кёнигсбергом нацисты расстреляли у него на глазах отца. К заиканию добавилась ещё одна проблема. Временами Краус бледнел и дёргался в судорогах.

— Это не эпилепсия. Это нервы. Я такое уже видела, вылечу! — пообещала Аля, которой тётя Маша перепоручала детей, хвативших войны.

И Краусу стали давать разведённый спирт.

Петь Краус, плохо, хотя и всё лучше говоривший по-русски, долго стеснялся. Да и Александров заплакал, когда его заставили солировать «Маленькой ёлочке».

— Александра Яковлевна, они у меня запоют, — неожиданно и тактично вмешался в обретающую контуры попытки арт-терапию Валёк, который был способен крыть по совершенно непонятным причинам и до поросычьего визга обожавший его, Валька, медперсонал, но с докторами, тётей Машей и Алей, был чрезвычайно предупредителен, даже если они, говоря его языком, «хернёй страдали». — Они у меня не то что запоют — затапчуют. Только вы... того... дайте нам самим разобраться.

Привычная к мужским делам, Аля не возражала.

Самым сложным в деле обучения пению Крауса и Александрова было кидать по кругу банку с разведённым спиртом, не разлив оного и не разбив стеклотару.

Выпросив под каким-то предлогом у дяди Саши крышечку, которой можно было плотно закрывать баночку, проблему решили. Дядя Саша, старый кавалергард, не выдал, хотя и прекрасно понимал, чем эта крышечка пахнет.

— Так, хор Крауса-Александрова, долго ещё будем титьки мять? — поинтересовался Валёк.

— Т-три, ч-четыре, — скомандовал Александров.

*Дыюждик лил, дыюждик лил,  
Йыя у милушки п-прос-иил.  
Кыагда дождик пйэристал,  
Она дыавала йыя н-не сытал.*

Поскольку в дуэте вёл Краус, частушки, разом успокоившие всеобщего сынка и племянничка, пелись с немецким акцентом.

...Партия Решётников — Александров длилась уже четвёртый час, и Валёк, успевший тем временем передумать всю свою десятилетнюю жизнь назад и вперёд, громко зевнув, предложил:

— Победила дружба.

— Во! — одновременно с двух сторон ответили ему два товарища, показав четыре кукиша.

Шахматная доска лежала на Александрове и, казалось, слилась с юным спортсменом в одно целое так, что он переставлял словно бы частички себя.

В шахматы играли с комментированием. Как таковые они были только одни, гуляя по отделению, но большую часть времени находились у Решётникова. Остальным любителям этой игры приходилось довольствоваться самодельными (спасибище дядище Сашище!) шахматными досками. Делая ход, Решётников комментировал его громко и важно. Доску он помнил как свои пять пальцев. Александров, в свою очередь, комментировал каждый ответный ход (он играл чёрными). Остальные водили пальцами по доскам.

— Крысы! — вдруг взвизгнул кто-то у девочек, то ли испугавшись спросонья, то ли и вправду увидев шмыгнувшую в угол хвостатую гостью.

— Крысы!

— Крысы!

— Крысы! — пронеслось по отделению.

— Утром кого-то из малышей покусали, — заметил отвлекшийся от игры Александров.

Следивший за игрой Валёк отложил доску и осторожно придвинул к себе кровать со спящим Вовкой.

— Харэ орать, бабы глупые! — громким злым шёпотом успокоил он паникёрш. — Ребёнок спит.

— Сам дурак, — буркнул кто-то из девчат.

Партия продолжилась.

В мальчишеской и девичьей половинах отделения всё громче раздавалось посапывание, постанывание, всхлипы. Народ отходил ко сну.

— Валя, — неожиданно твёрдо и тихо позвал Краус.

— У, — неохотно ответил он, не отрываясь от игры.

— Крыс ползёт.

— Отстань, Краус. Или ты страус.

— В-валя, тыы с-сыам с-сравс. Она к Вовка п-п-пыалзёт.

Валёк снова отложил доску.

— Смотри-ка, тварь, — с холодной ненавистью констатировал он.

Крыса осторожно двигалась по проходу между кроватями метрах в десяти от Вовки.

— Пугани, — предложил оцепеневший Александров.

— Толку. Ночью придёт, когда заснём. Мяса детского захотела, да?

Крыса остановилась. На худой мордочке задёргались усики.

— Смеёшься, тварь, — бледнея шептала Валёк. — Думаешь, лежачие — и всё. И парня защитит некому. Ужо я тебе за него нутро-то распахастаю.

— Валь, ты чё? — забеспокоился Александров, думая, что у товарища начинается припадок.

— Я нормуль. Вот скажи, Коля, ты очень не любишь математику?

— Ненавижу, — не думая выпалил Александров.

— Дай-ка мне учебник. Только тихонечко.

И Валька, сколько мог, вытянул руку вправо.

— Лови! — почти с рук на руки положил ему ненавистную книжицу второй гроссмейстер отделения.

Валька стиснул учебник в руке:

— По врагам нашей родины, по фашисткой сволочи, — он не чувствовал, как по его щекам текут слёзы, а лицо искажается чудовищной гримасой, — броневой... прицел семнадцать... трубка двадцать три...

И Валька шандарахнул учебником по крысе, которая вплотную подобралась к Вовке.

Он не сразу понял, почему так загрохотал его учебник, почему крыса, которую спугнул Краус и в которую он не попал, вдруг растянулась и мёртвая скорчилась на полу и почему по всему проходу между первым и вторым рядами кроватей покатались шахматные фигуры.

— Фоер, ф-фоер, ф-ф-ф...! — визжал Краус и бился в припадке.

Ревел Вовка. Плакали девочки. Бежали медсёстры и следом за ними Аля в военной форме (другой одеждой обзавестись не успела).

В проходе между кроватями лежали: белые пешки, чёрные пешки, кони, офицеры, ладьи, ферзи, короли, дохлая-дохлая крыса и старая шахматная доска, сломавшаяся от удара напополам.

Перед тем, как потерять сознание, Валёк услышал, что Решётников сказал Александру:

— Коллега, я уступаю эту партию Вам.

Он и сам буркнул более простое:

— Зашибись ты в доску, Колян, друг мой ситный.

А потом провалился в бездну.

— Мама, — отчётливо услышал приходящий в себя Валёк слева от себя.

— Смотри, как он тебя, — изумилась Александра Яковлевна, во время утреннего обхода вводя в работу новую медсестру. — Вовка уж если назовёт, то назовёт. Смотри! А вот это папка его. Валентин. Командир отделения. Героический мужчина, скажу тебе. На фронте таких поискать.

Валёк заёрзал в гипсе.

— Дальше — Коля Александров.

— Рядовой? — пошутила медсестра, которая, чувствовала, была не из робкого десятка.

— Уже сержант, — уточнила Александра Яковлевна. — Снайпер от Бога.

Спохватившись, она сделала строгое лицо, стала делать наставления и даже отчитала медсестру: по первости и для порядка. Ожидалось большое поступление больных детей.

— Валя! Валь! — раздалось с девичьей половины после того, как ушли врачи.

— Чего тебе? — мрачновато, отходя от ночной встряски, не сразу ответил Валёк, узнав по голосу Зинку, которая ему нравилась, хоть он и видел её один раз — мельком, когда его несли на перевязку.

Да и что видел-то? Голова с косичкой из платица торчит. А платице-то, знает он, каким-то хитроумным способом натянуто на гипс.

— Ты молодец, Валь, — похвалила его Зинка.

— Да я-то при чём. Молодец вон, — кивнул Валёк в сторону Александра.

— Враг нашей родины был взят под перекрестный огонь. Попадание Александра стало закономерным следствием манёвра, начатого Вальком. Валёк выбил фашистов с первой линии обороны, а Колька накрыл доблестным огнём на второй линии! — разглагольствовал Решётников.

— Решётник, а ты не лезь... — начал было Валёк, но Зинка перебила его.

— Ва-ля! А тебе приз.

— Какой ещё приз?

— Котлетка.

— Дура что ли? Ешь сама.

Валёк лукавил.

В отношении еды Зинка, такой же голодный ребёнок, как и все, была тем не менее большой привередой. В этом проявлялось её стремление быть не похожей на остальных, вполне понятное для маленькой женщины в коллективе, где все на одно лицо.

Вместе с тем надо сказать, что, при всей тяжести времени, дедушка Невзоров, муж тёти Маши, развёл в санатории целое садово-парковое хозяйство и, как мог, баловал детей.

Но если даже в малине с молоком плавало один-два червяка, Зинка непременно отодвигала чашку в сторону, пока их выкинут. Ещё она не любила пенки в молоке, гущу в компоте, какао. И не уставала повторять об этом.

— Фу, Валя, ну не будь грубияном. Я не ем котлеток, ты же знаешь.

— Плохо есть хочешь.

— Ва-ля... — в голосе Зинки чувствовалось нетерпение и первые симптомы обиды.

— Зин, вот ты взрослая девушка, а того не имёшь, что: я лежу колодиной в первом ряду первой половины, ты — в четвёртом ряду второй половины. Меж нами по прямой двадцать аршин. И как ты мне эту коллетку передашь? По рукам? Мне жажёт, не дойдёт.

— Кину.

— Зин. Вот ты уж невеста, а как дитя малое упёрлась. Вовка у меня и тот...

— У! — подал голос Вовка и показал пальцем на ротик.

— Шут с вами, тошнотиками, кидай, — сразу решился Валёк.

— Ва-ля. На счёт три. Не пропусти...

— Я-то нормальный. Это Александров считать не умеет, да ещё последнего учебника лишился...

— И раз... И два... И... три...

Кидала Зина лучше всех в отделении. Через несколько секунд Вовка уже уплетал за обе щеки «коклетку».

— Кушай, сынок, кушай, сердечный, кушай, кровиночка моя, — предчувствуя скорую разлуку, шептал Валёк.

Справа громко, навзрыд заплакал Колька Александров.

Вечером Вовку унесли. На его место положили какого-то долгового парня, загипсованного с головы до ног.

Говорят, что Вовка просто прилип к той сестричке, которая заступила в этот предновогодний день на свою первую смену. И постоянно требовал её. Она испугалась. Уволилась из Евмы. Вышла замуж за покорителя Берлина, молодого офицера-фронтовика, который после демобилизации увёз её жить в Москву. Говорят также, что, выписавшись из санатория уже в начале пятидесятых, Вовка, которому было тогда четырнадцать, первым делом рванул к маме. Не к своей родной, которая всё же нашла, а к маме в белом халате. Долго искал её в Москве. Хромая, таскался сзади за маломальски похожими на маму барышнями по переулкам. Ломился в чужие квартиры. Потом смирился и вернулся всё же домой.

После выписки Валёк несколько раз навещал сынка в санатории. А когда Вовку подлечили, и он укатил из Евмы уже на своих двоих — с тех пор отец и сын больше не виделись.

Вовка не отвечал на письма Валька и тот постепенно успокоился. Но в своей одинокой жизни бедного художника нет-нет, да и вспоминал Вовку. И разводил руками, пытаясь понять, почему жизнь так меняет людей. Понимал что-то и пожимал своими широкими, как у всех выпускников Евмы, плечами:

— Он горбатый, я горбатый — так чего встречаться?

Военный врач, впоследствии врач Евмы, Александра Яковлева, Аля, на гражданке ни любви, ни счастья не нашла, а на старости лет вовсе тронулась умом. И в доме инвалидов, где доживала свой век, когда подавали ей первое, второе, третье, смешивала всё это в одной тарелке — и ела.

**ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,**  
**в которой Валёк вместе с читателями и**  
**Валентинкой**  
**встречает морячку**

Валёк и Валентинка в валиетиком лежали на койке в женской палате областной больницы.

Все три названных обстоятельства — и ещё десяток предшествовавших им — изрядно досаждали Вальку.

Мало того, что в гипс закатали, отправили куда-то за тридевять земель. Не могут что ли этот ре-ге-но-вский аппарат в Евму попросить? Мурыжат детей.

Обратно же: кто детей в область без присмотра отправляет? Кто? Тётенька Машенька. Не могла что ли сопровождение дать? Понятно, что не могла. Но поворачать-то надо.

Ещё: а почему, спрашивается, на пароходе положили рядом с трубой? Хоть ясно, чтобы не холодно было, однако ты всю дорогу только и смотри, как бы бинты не зашаяли.

Конечно, приходится отвлекаться и как тут соседям, добрым попутчикам, не скоммуниздить у калек хлеб? Эх, поймать бы да натыкать носом. Да уж что теперь сделаешь.

И куда определить двух детских получеловеков, как не в институт. В комнату со слепками. При этом воспоминании Валька передёргивало. Трое суток почти не спал. Череп в углу подмигивал и зубами клацал.

Хватит? Натерпелись?

Куды там. Из музея этого со скелетами и черепами переводят в бабскую палату.

А на реген потащили, так надо ж было дураку в обморок хлопнуться.

И этого аспидам мало. Присоединяют теперь к аппарату, от которого начинают дёргаться ручки-ножки.

А тут ещё Валентинка эта. Нет, правду батышка говаривал: на чужой сторонушке поклонись вороношке. Ворона и есть. «Смотри, — говорит, — Валяк. Фокус-покус!» И р-раз клок волос из головы. Попробовал. И что? Такой же клок выхватывается.

Врач сказал: «ангельский лишай». Не зря батя говорил: все беды от англичан.

Валёк заёрзал на кровати и почувствовал, что ткнул ногой Валентинку в плечо.

— Разлеглась, — буркнул он.

Валентинка, кажется, спала.

Тогда он повернул голову.

И, конечно, тут же увидел лахудру.

«Пятые сутки здесь лежу — ни разу не причесалась», — неприязненно подумал Валёк.

Ляхудра словно прочитала его мысли.

И тут началось.

Голову-то ворочать надо. А куды её ворочать? В одну сторону и можно. С другой-то — стена. А с этой только и радости, что лахудра да спина лахудриной соседки. Трое суток спиной ко всему белу свету лежит. Ей ведь не сегодня — завтра выпишут. Что — и дома будет спиной вперёд лежать? А лахудра каждый раз ещё и спросит: «Чего уставилась?» А куда ещё, спрашивается, уставляться?» Но уж в этот раз...

— Чего уставилась? — взъелась неопрятная, опухшая баба с гноящимися глазами. — Чего, говорю, уставилась? Не видал что ли? Припёрлись, чёрт вас надавал. Без вас тошно. Нет, ты чего уставился, спрашиваю?

Лахудра, которая сидела на кровати вдруг начала вставать.  
 — Чего уставился, говорю? Я тебе сейчас остатки волосёнок-то повыдергаю.

И лахудра медленно пошла на Вальку, в ногах у которого судорожно всхлипнула Валентинка.

Но тут случилось странное. Та, что лежала спиной ко всему белу свету, спиной к нему лежать вдруг перестала. На соседней постели села молодая, коротко стриженная женщина с большими глазами на скуластом лице. Левый рукав её халата болтался пустой.

Затем большеглазая и однорукая вступила в общую беседу:

— Там, в тумбочке у меня именной пистолет. Награда такая за оторванную по плечо руку. Самая верхняя у нас награда. И, если ты, сука, крыса тыловая, ещё раз повысишь голос на этого ребёнка, я тебе его покажу. У меня ещё на гражданке был первый разряд по стрельбе.

Лахудра, вплотную подошедшая к Вальку и Валентинке, отпрянула от них, зашипела зло, вышла в коридор.

— Ничего, морячок, — подмигнула Вальку новая знакомая. — Не бойся. Больше она тебя не тронет.

А потом легла на койку, но только уже спиной к матрацу, и уставилась не мигая в потолок.

С тех пор он только и смотрел, что влево. Лахудра успокоилась, да и не удостоил Валёк больше вниманием её торчащие патлы. Он украдкой наблюдал за своей спасительницей. Как она лежит на койке. Как, словно заведённая, ходит туда-сюда подле кровати. Как медленно, без удовольствия, ест одной рукой больничную баланду. Даже как спит и чему-то едва уловимо улыбается во сне.

Валентинке всё это не понравилось. И она заревновала. Но Вальку ревность Валентинки и её обиды были до лампочки. Тогда Валентинка начала разговаривать, попросту, трещать без умолку.

— А я заболела из-за врачей. То есть заболела я потому что заболела, а врачи меня обманули. Они сказали, что мне надо на полгода съездить к морю. И отправили в Одессу. Я там четыре месяца жила, а потом началась война. И всё время бомбили. А бомбы так свистели и рвались, что мы все визжали и плакали. И прибежали бойцы на помощь тётенькам-врачам, и уносили нас в бомбоубежище. А потом меня оттуда увезли. Тётя Маша сказала, что мне надо было не полгода, а больше года там жить, чтобы поправиться, а теперь я не знаю сколько мне надо лежать, может, и не поправлюсь.

«Морячка», как окрестил Валёк свою спасительницу, вдруг повернула голову к Валентинке:

— Девочка, никогда не жалеяй, что ты уехала оттуда? Слышишь? Даже если долго проблеешь! Не смей об этом жалеть...

Тут подад голос одна из женщин, лежащих у дверей:



— А правду говорят, что фрицы этих детей сбрасывали прямо в кроватках в море?

Валёк почувствовал, как Валентинка вздрогнула всем телом.

— Молчать, — вырвалось вдруг у морячки внутреннее, такое, отчего вздрогнул уже Валёк. — Не смей...

Неожиданно она отвернулась к стене и пружиной сжалась в комок.

Морячка заговорила ещё два раза, причём в один день.

Было это вот как.

Однажды утром, перед выпиской морячки, женщины разговорились.

— Патефон бы сюда, — вдруг брякнула та, что лежала у дверей.

— Потанцевать на костылях захотела? — огрызнулась лахудра.

— А что и потанцевать...

— Польку...

— Вальс цветов...

— Танго...

Неслось по палате.

— А я, девочки, мелодию такую люблю, — вдруг подала голос морячка.

— Какую?

— «Аделиту» Тарреги. Я её всего один раз слышала.

После обхода морячка начала одеваться.

Валёк тихонько повернул голову влево и, делая вид, что спит, смотрел на её гибкую фигуру: очень женственные и какие-то беззащитные плечи, небольшую высокую грудь, плоский живот с какой-то детской впадиной пупка, длинные стройные ноги. Культы в профиль не было видно.

Вдруг морячка повернулась к нему вся.

— Красивая?

— Красивая, — задохнулся ответом Валёк.

Она с трудом, неловко натянула юбку, морскую гимнастёрку с кубарями и Орденом Мужества, единственной рукой расправила гюйс.

Потом подошла к нему.

— Помоги-ка ремень застегнуть, морячок.

Через два дня Валька и Валентинку отправили обратно в Евму.

На пристани детей встретили тётя Маша и дядя Саша и повезли на телеге в санаторий.



## Сергей ЛАЗО

*/ Тернополь /*

### ПРОЩАНИЕ<sup>1</sup>

Кружит и стелется листва.  
Перрон пустеющий вокзала.  
Оставь на память мне слова,  
Которые не досказала.  
И всем сомненьям вопреки,  
Случайно, будто ненароком,  
Оставь на память взмах руки,  
Исчезнувший за поворотом.

\* \* \*

Как это дорого —  
                                прийти  
Домой  
        и чувствовать, что дома,  
Что на сегодня все пути  
Закончились в дверном проёме.  
Что гулкость комнаты пустой  
Никто словами не нарушит,  
Что можно быть самим собой  
И врачевать покоем душу...  
Что рыжий чай остыл давно,  
Что свет погашен —  
                                ночь ранима...  
Курить в раскрытое окно  
И знать:  
        всё в мире поправимо.  
Вдруг вспомнить прошлогодний снег  
С его несбывшейся любовью,  
И одинокий лунный свет  
Поцеловать у изголовья.

<sup>1</sup> Стихи из книги «Баловство небес». Из-во «Алетейя» СПб., 2013.

## ПУСТЫННЫЙ ПАРК

Пустынный парк. Преддверие зимы.  
Я со скамьи,

как будто с пьедестала,  
Свои стихи читаю наизусть.  
Стихи про обнажённые деревья,  
Про равенство печали и тепла,  
Про листьяв пожелтевшие страницы,  
Которые никто не перечтёт.  
Слова, срывая с губ, уносит ветер,  
Расплющивает в капли о стволы  
И об ограду летней танцплощадки...  
Пустынный парк,

спасибо за молчанье,  
За пустоту и глянцевоcть аллей,  
Спасибо за поклоны гордых статуй  
И этот влажный поцелуй дождя...

\* \* \*

Как надоела мне  
Эта старуха-сплетница...  
Каждый вечер у самых окон  
Она выгуливает свою тень  
На длинном поводке.

## ДЕТСКАЯ ПОДУШКА

В обыкновенной детской подушке  
Прячутся сказки, шепчутся сны,  
Звёзды — ёлочные игрушки  
На спящих ветках ночной тишины.  
И снятся детям хвосты и лапы,  
Зимой — ромашки,

а летом — снег,  
Кому-то кукла,  
кому-то папа,  
В общем, то, чего у них нет.

\* \* \*

И радость горчит,  
Потому что она —  
Начало печали.



\* \* \*

За каждодневной суетой  
Есть чудный облик узнавания,  
И потому всегда со мной  
Разлуки, встречи, расстоянья.  
Хитросплетения дорог,  
Тех, что друг к другу нас приводят,  
И бездна глаз, и пик тревог,  
И занавес, который поднят.  
Мне в жизни всё сходило с рук,  
Как исполнение желаний —  
Букет свиданий и разлук  
Был в тонком вкусе расставаний.  
И хоть былых дней не вернуть,  
Из них открылись в завтра двери,  
Важна единственная суть:  
Любить,  
                надеяться  
                                и верить.

\* \* \*

Пока идём одной дорогой —  
Мы вместе.  
Дороги соединяют даже тех,  
Кто расходится.  
Даже тех, кто ушёл.

## Андрей ВЫСОКОСОВ

*/ Москва /*



### БЕЛЫЙ АНГЕЛ

Есть ли в жизни тайна? Есть ли тайна у жизни? Хранит ли она некую тайну? Эти три — совершенно разных — вопроса, по-видимому, подразумевают и три разных ответа, хотя ответ может быть один. Его может не быть вовсе. Ответов может быть много. Круг жизни очерчен четко: ты точка в центре этого круга, от этого центра до окружности, ограничивающей этот круг и делающей его кругом, всегда одинаковое расстояние: около пяти километров до горизонта; впрочем, расстояние может изменяться, если на горизонте появляется другая точка, которая служит центром другого круга; расстояние между вами может сократиться, скажем, до пяти метров или даже исчезнуть вовсе, но горизонт не исчезнет. Слабый вереск на границе смерти, за ним каждый вечер прячется солнце, он может быть заставлен домами, как это всегда бывает в городе; но и сужившийся до пределов безымянной улицы, горизонт не исчезает, просто он распадается на составные элементы, на атомы — людей, деревья, машины, облака. Неловкий самообман совершается ежесекундно, и ты уже веришь, что то, что ты видишь, не обманет тебя в смысле тайны, пусть и лишено того таинственного ореола смысла, которым окружено всё обыденное. Таинственное — бессмысленно.

В четырнадцать, в пятнадцать, в шестнадцать лет человек остро хочет смерти. То, что он почти так же остро хочет любви, ничего не меняет, а только усиливает основное чувство. Самый воздух, которым он дышит, пропитан смертью. Отвращение к жизни так сильно, что оно почти непреодолимо. Оно на долгие годы отравляет жизнь. Годам к двадцати пяти оно постепенно проходит, и приходит другое чувство: человек остро хочет жить. Продолжается это недолго. Насколько недолго, зависит от того, что человек вкладывает в понятие жизни. Большинство вкладывает не очень много, и, несмотря на казалось бы обширную программу, выполняется она довольно быстро. У некоторых глагол жить все же сравнительно громоздкая конструкция, как какой-нибудь плюсквамперфект в древнеславянском языке, на нее приходится тратить больше времени. Но вот все книги прочитаны, все мысли помыслены, набор и тех и других значителен, но не слишком велик. Та музыка, которую выдумывают композиторы, к десятому, к пятнадцатому серьезному произведению надоедает, как надоедает всё однообразное и сделанное по математическим законам.

Философия очень похожа на музыку. Только математику там заменяет формальная логика. Закон исключенного третьего исключает заодно и Троицу, а начинающаяся святоотеческая паника выводит в итоге бога философов на кончике карандаша как некую недоступную для глаза, но вполне реальную оледенелую планету, обретающуюся где-то на задворках солнечной системы. Симфония очень похожа на философский трактат: одна и та же тема в разных вариациях и тональностях по спирали ввинчивается в застывшее, остекленевшее время, так же и одна, вполне несложная, и даже не новая, но исполненная ностальгической грусти и меланхолического обаяния мысль, видоизменяясь и преломляясь, такой же спиралью движется в никуда по пути доказательства, на котором нечего, некому и незачем доказывать. Пластические искусства — живопись, скульптура, архитектура, а также балет и тому подобное всегда оставляли его равнодушным, хотя он никогда не отказывал им в самоценности, имея в виду культурную самоценность, или, если употребить более точное слово, цивилизационную ценность, то есть буржуазную или, смотря по обстоятельствам, феодальную, что, конечно, одно и то же.

Для разгадки тайны нельзя знать о существовании тайны. Это как нельзя написать стихотворение, зная, что ты пишешь стихотворение. Всё настоящее случайно. Всё подлинное не знает о себе. Для тайны в жизни давно придумано название: Бог. На самом деле Бог — это отсутствие какой бы то ни было тайны в жизни. Бог присвоил себе тайну, он забрал ее из жизни себе рассеянным и своевольным движением, каким берешь сдачу в магазине, не считая, зная, что берешь свое и что, скорее всего, не обманут, какой смысл, есть множество других, гораздо более эффективных способов обмануть, о них и следует беспокоиться. Бог принял на себя тайну жизни, оставив саму жизнь без средств к существованию. Жизнь не может существовать без тайны, без тайны она затаивается, замирает, она может теперь существовать только подспудно, как бы во сне; сняв самой себе, она превращается в одноактную драму, поскольку сон всегда одноактен, одномоментен, сжат в одну точку, все рядоположенные события происходят в нем в одну и ту же долю мгновения, которое, впрочем, способно растягиваться до известного предела, ограниченного вечностью, точнее, той окружностью, о которой уже было сказано выше. В детстве у него был друг. Они были, говоря языком литературы, неразлучны. Когда они учились в шестом классе, его друг умер. Это было очень неожиданно для него, хотя ничего неожиданного тут быть не могло, у его друга был диабет, он помнил эти его постоянные обмороки, и гнилый запах изо рта с уже почти полностью выпавшими зубами, и как последний раз он был у него в больнице, когда у него отказали почки, и смотрел на это существо, еще недавно бывшее человеком, и не понимал, почему врач ничего не хочет сделать, ведь он может проколоть его кожу иглой и вылить всю эту воду, от которой раздулось его тело, и тогда его друг выздоровеет. Прошло много времени со дня его смерти, когда впервые он приснился ему. С этого момента он стал сниться ему постоянно; не каждую ночь, иногда с большими перерывами, он приходил к нему во сне, и они разговаривали, как раньше. Его друг и раньше был сдержанный и закрытый, и теперь никогда не рассказывал ему, как он живет, и никогда не приглашал его к себе. Видимо, эта деликатность характера не была свойственна ему в той же мере, и однажды, ненавязчиво, случайно и к слову, но он сам пригласил его к себе и сейчас же забыл об этом. После этого его друг исчез. Он долго ждал его; после стал размышлять и вспоминать, и вспомнил тот случай и свои слова, и снова не придавал им значения, поскольку, наверное,

никакого значения они не имели, и только подумал, что он ничего не понимает, и еще подумал, коротко и вскользь, о природе абсурда, что она совсем не та, что принято считать, хотя это лежит на поверхности, и что абсурд — это полный отказ от попыток ответить на вопросы, на которые и так нет здравомысленного ответа.

В юности он не писал стихов и даже не мог взять в толк, зачем они пишутся. «Вот парадный подъезд. По торжественным дням, одержимый холопским недугом, целый город с каким-то испугом...» — читал он в книжке. Он не понимал, зачем это. У них была учительница литературы, пожилая сухая и педантичная женщина, которая говорила: «Лучшее русское лирическое стихотворение — это «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты...», но пока вы об этом ничего не знаете». Еще у нее была особенность: она любила распускать руки. В классе у них был свой, домашний хулиган, звали его Седой, то есть хулиган он был настоящий, уличный, и на улице довольно опасный, но для них он был свой и своих почти не трогал; однажды она в педагогическом западе отвесила ему хорошую затрещину, и он моментально ответил ударом на удар, поставив ей синяк под глазом, который она потом старательно и безуспешно запудривала. Что она почувствовала, кроме резкой физической боли, в то мгновение, когда кулак Седого входил в соприкосновение с ее лицом? Маша Миронова, Катерина Ивановна, Лаврецкий, черный монах, Иван Иванович Перерепенко — какой ряд лиц, картин и образов прошел перед ней? Может быть, не было никакого ряда; или, быть может, мелькнула и сорвалась в конце, как учебник с края парты, ночная бескрайняя степь в Малороссии, около Ивано-Франковска, в котором они жили до войны и откуда уезжали на восток, когда она началась, так спешно, что от всей этой долгой и мучительной дороги в памяти не осталось ничего, кроме каких-то черно-белых пятен и всполохов. Как вообще у человека стройная и идеальная этическая система, выработанная всего несколькими русскими людьми, литераторами, в их золотой век, по сути, за очень короткий промежуток времени, и воспринятая и перенятая миллионами людей самых разных национальностей, могла сочетаться с его внутренней этической системой, в подавляющем большинстве случаев резко противоречащей той, идеальной, даже если он был уверен, что его система прочно покоится на христианских заповедях или иных религиозных основаниях, называемых иногда и в некоторые, неблагоприятные периоды истории, совестью? Но это было позже, в классе в восьмом, а гораздо раньше у него была одна любимая книга: «Атлас вымерших животных». Любимой она была скорее не у него, а у его двоюродного брата, страдавшего в средней форме задержкой развития, и они вместе рассматривали картинки в ней: всё в ней было такое большое — птеродактили, похожие на немецкий самолет мессершмитт, саблезубые тигры, пузатые бронтозавры с длинной шеей, оканчивающейся несоразмерно маленькой головой. Однажды за обедом его тетя положила себе в тарелку суповую кость и принялась с аппетитом высасывать из нее мозг. Его брат спросил ее: «Мам, а это косточка мамонта?» Подвоха в его вопросе не было, просто детский мозг пытался во едино связать живописную теорию и скучноватую практику. Тетя сделалась пузатая и ничего не отвечала, но на завтра «Атлас вымерших животных» куда-то пропал. Они с братом искали его по всей квартире, с шумом отодвигая стулья, а снизу им шваброй в свой потолок стучала старуха Углова. Особенно старуха Углова не любила, когда они с братом играли в войну. Это была уже третья война в ее жизни, самая затяжная, и она переносила ее с остатками терпения, растрченного в первых двух. Умерла

она года через два, в конце лета. На этаже вдруг сладко и удушающе запахло; и тогда пришли участковый и плотник из ЖЭКа, оформленный на ставку сантехника, более высоко оплачиваемую. Оба были сильно пьяны и не чувствовали запаха. Плотник стамеской отжал дверь, и они стали искать старуху Углову, сначала в ее единственной комнате, после на кухне, а потом догадались открыть туалет. Она сидела на толчке, распухшая, шевелящаяся, сочащаяся сукровицей и слизью, и при виде нее участковый и плотник, который на самом деле был сантехник, застыли в бессмысленном молчании, как подданные перед своей императрицей.

Сколько он себя помнил, он никогда не верил в то, что умрет. Это было неясное, но очень точное ощущение, которое правильнее было бы определить так, что он был уверен в том, что не умрет, знал это точно, но не так же точно, как знал, что земля обращается вокруг солнца, а как-то по-другому, но тоже точно. Много лет он думал, что это его личная тайна и что она умрет вместе с ним, то есть не умрет никогда, но потом случайно, в один день, ему вдруг открылось, что такой же точно тайной, с некоторыми вариациями, владеет подавляющее число самых обыкновенных людей, которые о смерти, по существу, никогда не задумывались, несмотря на частое упоминание о ней в своей повседневной жизни. Его мать, когда была школьницей, училась недалеко от того места, где жил Лаврентий Берия. Берия любил прогуливаться там, вдоль по Малой Никитской улице, никакого пенсне на нем никогда не было, была черная шляпа, а в карманах пальто он всегда носил шоколадные конфеты, которыми угощал идущих стайками после уроков девочек. У него в семье долго хранилась конфета, подаренная Берией. Это был обычный «Мишка на севере», съесть ее никто не решался, выбросить почему-то тоже, она давно засохла и лежала на самом дне хрустальной вазы, которая помещалась на комод. Однажды собака прыгнула на комод, вазу повалила на пол и разбила, а конфету сожрала. Собака была рыжий кобель, подобранный из жалости в холодную зиму с перебитой лапой. Он был совершенно дикий, и летом его решили отвезти в деревню. Деревенские пацаны сказали: «Этот долго не протянет, мохнатый очень». — «Чем плохо быть мохнатым?» — спросил он. Ему сказали: «Вы, городские, тупые». Протянул, он, впрочем, довольно долго, до поздней осени, но начались холода, и местные мужики задушили его на шапку. Говорят, его ударили палкой по голове и по спине, наверное, ему сломали позвоночник, он с отнявшимися задними лапами полз еще по снегу и щерился, и не подпускал к себе, но вот наконец он обессилел и не мог больше сопротивляться и только тихонько скулил, и к нему тогда подошли, кто-то встал ему сагогом на горло и задушил его. Ему тоже однажды довелось долго ползти по снегу. Он учился тогда во втором классе. Еще с утра у него болеало горло, а к концу уроков поднялась температура. Он подходил уже к дому, когда в голове всё поплыло, но до дома было рукой подать, просто нужно было срезать путь, пойти не по дороге, а напрямик, через придомовый палисадник, по едва протоптанной в снегу тропинке, он пошел по тропинке и упал, но уже было близко, и он пополз по снегу, он полз так некоторое время, может быть, час, иногда он лежал и отдыхал, потом он выполз во двор, и недалеко от двери в подвезд ему так захотелось спать, что он заснул посреди двора, у обочины, прямо под доской, на которую кнопками прикрепляли объявления различного содержания, где его и нашли.

В школе у них было два учителя физкультуры. Одного звали Натан Абрамович, он носил на огромном носу роговые очки с сильным минусом



и ходил и летом, и зимой, сообразно профессии, в тренировочных штанах; он не пил и не курил, но было такое ощущение, что он все время жуёт бутерброд, даже когда никакого бутерброда он не жевал, и от него всегда пахло дешевой колбасой. Огромным у него был не только нос, но и другое; и когда он показывал какое-нибудь новое физическое упражнение или просто неслабо бежал рядом с руководимым им классом, в его широких тренировочных штанах что-то тяжело волновалось и подпрыгивало, что приводило девочек в известное смущение. Если ученика нужно было освободить от занятий физкультурой, от родителей требовалась записка. «Уважаемый Анатан Абрамович», всегда начинала такую записку его мать, совсем не предполагая, что анатан — это маленькое животное, похожее на крысу, а вовсе не человеческое имя. «Механизм не может работать без выхода», — говорил Натан Абрамович, если кто-то попросил выйти. Его не любили и побаивались. Другой учитель, Иван Иванович, был бывший футболист, к тому времени вполне спившийся и отпустивший большой живот. Ученикам, конечно, они оба казались почти стариками, хотя Ивану Ивановичу вряд ли было больше тридцати лет. У него осталось в памяти, как два эти учителя физкультуры показывали правильную технику передачи эстафетной палочки. Натан Абрамович разбежался и, подбежав к Ивану Ивановичу, стал правой рукой, сзади, с левой стороны совать ему толстую, грязновато-серую алюминиевую чушку, но Иван Иванович ожидал увидеть ее спереди, а не сзади, и так они и бежали, удаляясь от стоявшего шеренгой класса: Натан Абрамович, чуть отклонившийся назад, похожий на одного из братьев Стругацких, с заведенной за спину рукой, держащей эстафетную палочку, и Иван Иванович, чуть наклонившийся вперед, с перевешивающимся через резинку штанов животом, в ожидании эту палочку получить; класс грустно смотрел на них, никто не смеялся, и казалось, что это никогда не кончится и жизнь будет продолжаться вечно. Ивана Ивановича все любили. Уроки он, бывало, проводил, будучи слегка навеселе, и тогда часто выходил покурить, а поскольку одному ему курить было скучно, то он не запрещал, чтобы с ним курили некоторые ученики, здесь была своя иерархия, для этого нужно было хорошо играть в футбол или хотя бы скверно учиться, но и здесь бывали исключения, странные и необъяснимые, впрочем, редкие; и теперь ему кажется, что он прожил две жизни, в одной из них он плохо учился и хорошо играл в футбол, в другой в футбол играл плохо, но хорошо учился, и в обеих этих жизнях Иван Иванович с усмешкой позволял ему покурить рядом с ним в маленьком предбаннике школьного черного хода, где стояли пятидесятилитровые алюминиевые бидоны, в которых на грузовике каждое утро в школу привозили мутноватый ячменный кофе, жидкий чай или странно пахнущий водорослями компот из сухофруктов для школьных обедов, которые почему-то назывались завтраками.

Его всегда удивляла традиция рассуждений о свободе выбора. Может быть, эта традиция возникла в эпоху мореходства, у очень дальноразпорных людей, которые умели рассмотреть на горизонте, в зыбком вечернем свете, неясные очертания неизвестной земли, но не видели того, что у них прямо перед глазами. Он не понимал, о какой свободе выбора может идти речь. Свобода выбора — это когда можно выбрать и попробовать; и если бы такая свобода действительно была, человек, обладая знанием обо всем, жил бы в раю райской жизнью. А теперь, совершив неисправимую ошибку, он, на всем протяжении множества жизней и поколений, пытается ее исправить; и ближе всех к ее исправлению подошли в той стране и в то время, где и когда ему довелось родиться. Рай, в конце

концов, это полная нищета, материальная и душевная, и слепота на самые очевидные вещи. Забвение знания, по сути, прямая дорога в рай, те самые врата Иезекииля, которые уже никогда не откроются, потому что забвение невозможно, и, если даже человеку химически вытравить память, он будет помнить кожей, а если ее содрать, а будет помнить теми окровавленными бинтами, которыми он обернет свое тело. Когда у него появился свой магазинчик, у него появились и добровольные помощники. Это были два бескудниковских парня, они учились в ПТУ, но почти никогда туда не ходили; одного из них звали Витя, другого Толик; они были то, что наиболее точно по-русски называется шпаной, но уже давно значение этого слова расплылось и потеряло первоначальное значение, которого у него, быть может, никогда и не было, он видел, что такой же точно шпаной был депутат госдумы, которого он случайно подвозил, когда уже бомбил на своей старой шестерке и тем зарабатывал на жизнь, и пьяненский бывший полковник КГБ, каким он назвался, хотя, конечно, врал, который тыкал ему в бок газовым пистолетом и говорил, что ничего не случится, если он будет вести себя разумно, а в конце щедро расплатился и даже зачем-то сунул ему в бардачок две банки женского коктейля, которые вытащил из целлофановой сумки, валявшейся у него всю дорогу под ногами, и которым, вероятно, набрался сам до состояния добродушного пьяного идиотизма, — и такой же шпаной был президент страны, и его ближайшее и далекое окружение, и, вероятно, президенты и руководители многих других стран, и многие ученые, писатели и художники, и герои, настоящие и вымышленные, и император Юстиниан, и царь Одиссей, и Александр Великий, и Петр Первый, и равноапостольный князь Володимир, и многие канонизированные святые, и если в каком-нибудь аду они соберутся вместе, то они, наверное, быстро найдут общий язык, что-то среднее между древнегреческим койне, блатной феней и языком жестов, которым пользуются глухонемые. Витя и Толик привозили на его машине водку, которую он покупал недорого у каких-то людей, которые, кажется, сами ее делали, она была в пивных бутылках с криво приклеенными этикетками, но, как ни странно, вполне нормального качества, помогали ее разгружать, выполняли другие поручения, в основном связанные с разъездами, машина, поэтому, находилась почти все время в их распоряжении, они ее мыли, даже немного ремонтировали и считали ее практически своей. Толик был пухлый и приземистый, очень себе на уме, а Витя был худенький и немного косил. — Понимаешь, пердит прямо в машине, — рассказывал ему Толик про Витю; Витя стоял рядом и улыбался. — Приходится открывать окна; а они у тебя сзади не открываются. — Они никогда сзади не открываются, — отвечал он. — Вы лучше форточки откройте и покурите там. — А чего ж, мы не курим? — говорил Толик. — А еще дробит. — Что, тоже прямо в машине? — рассеянно говорила он. — Нет, он уединяется, — отвечал Толик, и ему показалось странным, что он знает слово «уединяется», вряд ли он его узнал в ПТУ, наверное, где-нибудь услышал и взял в употребление, что только подтверждало то, что человеческий мозг способен к индивидуальному развитию и пределы этого развития неясны. Витя стоял рядом и по-прежнему улыбался. Витя был хорошей малой; когда погиб его отец, Витя продолжал помогать ему, в то время как другие люди отвернулись от него, сославшись на свои дела, которые они не могут отложить. Отца убили прямо в его магазинчике, его оставили ненадолго одного, тогда и случилось это; одна из горизонтальных витрин, проще говоря, стол со стеклом, была разбита, его ударили со всей силы лицом о стекло, а потом до смерти забили ногами; рядом валялись веревка и топор, лежавший всегда в подсобке, когда они пришли, он не

дал себя связать, он взял топор, хотя, конечно, понимал, что теперь его уубьют. Витя возил его всюду на его машине, потому что сам он за рулем сидеть не мог, в морг, в контору кладбища, в магазин за похоронной одеждой. По странному и абсурдному стечению обстоятельств отец Вити погиб сразу после его отца. Это был местный пьяница, дядя Лёша, весельи и безобидный, он выпал из окна собственной квартиры в бескудниковской хрущевке, с четвертого этажа, и разбился насмерть. Дверь его квартиры была устроена так, что запереть ее изнутри можно было только ключом; когда его нашли мертвым под окнами, дверь в квартиру была аккуратно заперта, но ключа в двери не было, не было его и на теле дяди Лёши, его вообще нигде не было. Витя пришел к нему, он не плакал, но глаз его косил сильнее, чем всегда, он попросил у него машину, чтобы быстрее все сделать, что он сам делал незадолго перед этим, но он не дал. Потом он жалеет об этом.

Он любил книги, в которых нет теплоты и очарования. В очаровании нет тайны, оно самодовольно и самодостаточно, оно забирает тайну в себя, растворяет ее, заменяет ее собою, Бог не уживается рядом с очарованием, Бог сух и холоден и бессмыслен, как та жизнь, что он видел вокруг и в которой Бог незримо присутствовал. Он любил книги Гоголя, в его представлении Гоголь был похож на маленького онаниста Витю, вечного пэтэушника, робкого и немногословного, хотя Гоголь был многословен. Он любил книги Льва Толстого, пустоватого и ограниченного, в которых, безнадежно материальных, как будто их написала женщина, Богу было просторно и хорошо и Он глухо и беспорядочно рокотал там, как далекий гром или как симфонический оркестр, музыканты которого только настраивают инструменты, готовясь сыграть что-то сочиненное кем-то и потому изначально скучное и плоское. Он любил романы Достоевского, лед которых растапливался и ложь которых оправдывалась тем, чего в них не было, но что было и в нем, и в его слабоумном брате, и в спившемся физруке Иване Ивановиче, и в его безрассудно смелом отце, не побоявшемся защищаться от того, от чего защиты нет. Отвращение к чтению, которое прививали во всех учреждениях, где по роду обязанностей прививать должны обратное, в силу действия неких биологических законов проявилось только через поколение и на нем не сказалось, и он ловил себя иногда на том, что думает фразами, взятыми из книг, и когда, например, продавщица в магазине спрашивала его, сколько ему свесить яблок, то он говорил сколько, а про себя отвечал ей почти по-гоголевски: да, достаточное количество лошадей понадобилось бы. Его удивляло, что даже у людей, далеких от идеологических и временных глупостей, принятых в официальной литературе его страны, отличием хорошей книги от плохой считались искренность и поиски истины; но он не видел искренности в психологизме и натурализме реалистических сочинений и в барочной вычурности произведений модернистских, равно как не видел поисков истины ни в натужном богоискательстве, ни в неистовом богоборчестве, напоминающем больше всего маленькую личную фронтду. У него было ощущение, что все книги написаны с одной целью: умолчать о чем-то, но о самом главном, но о таких вещах, которые могли бы на это главное указать, как стрелка компаса указывает на магнитный полюс, но не может сказать, где этот полюс и как он выглядит. И нигде он не встречал, чтобы было сказано: что бывают мгновения, они длятся секунду, две, может быть, несколько, когда, казалось бы, вдруг открывается что-то, что объясняет и оправдывает всё, это всегда проявляется в мыслях, огромной силы и глубины, мысль эта не основана на логике, точнее, на логиках, поскольку их

много самых разных, и движется, вероятно, тем, что принято называть неопределенным словом «интуиция»; но до конца эту мысль додумать невозможно, она внезапно слабеет и сразу сходит на нет, оставляя после себя тревожное ощущение, с холодком в низу груди, что в следующий раз, когда она придет, всё будет додумано и сказано, причем сказано без слов, и тогда откроется то, что древние греки почитали истинным благом, — истина и что, возможно, и есть Бог. И вся жизнь человека до и после таких мгновений — страдания, любовь, размышления, «творческое горение», от которого, если глядеть на него со стороны, всегда остается чувство недовольства — только подготовка к ним, а они суть оправдание ее. Древние греки считали всю жизнь человека подготовкой к смерти и что единственная цель жизни — это хорошо умереть. Но те люди, которых он знал и которые уже умерли, умерли плохо. Они умерли как-то некрасиво, как-то нехорошо и тяжело, хотя, возможно, это было только внешнее впечатление. Он завидовал смерти детдомовца Александра Матросова и князя Андрея Болконского, пусть князя и выдумал другой князь, вернее, граф; они умерли на войне, в их смерти был смысл — благополучие их страны, они умерли хорошо и правильно, и значит, вся их предшествующая смерти жизнь тоже была правильной. Может быть, народу нужна война, чтобы оставаться народом, как человеку нужна смерть в конце жизни, чтобы на протяжении этой жизни оставаться человеком. Ночью, в четвертом часу, он шел из Бусинова домой, на правый берег реки. В Бусинове у него был железный гараж; он отработал вечер и половину ночи на машине и теперь шел спать, поставив машину в гараж, потому что оставлять ее у дома было опасно, особенно на платной стоянке, которая была недалеко от дома и на которой машины чаще всего и «раздевали», несмотря на что ставить их туда продолжали с прежним упорством. Он подошел к воротам стоянки. Они были уже закрыты. Сторож в будке не было. У ворот стоял мужик и чего-то ждал; видимо, он услышал его шаги и из любопытства, которое лучше всего можно объяснить еще с пещерных времен сложившимся человеческим взаимным притяжением, решил подождать его. — Не откроет? — спросил мужик. — Нет, — коротко сказал он. Мужик вздохнул и пошел вдоль забора. К забору была приставлена доска, мужик встал ногой на доску, схватился руками за верх забора и взгромоздился на него, потом еще раз вздохнул и спрыгнул на ту сторону. — Я прошел, — сказал мужик оттуда. Он подошел к доске, прислоненной к забору, и проделал ту же операцию. Мужик ждал его. Они стояли в зимней мазутной грязи и молча курили; потом не прощаясь разошлись в разные стороны. Он пересек Бусиново, взошел на мост и вскоре уже был на другой стороне железной дороги, идущей на Санкт-Петербург. Он почему-то вспомнил, что Санкт-Петербург по-чешски — Петроград, с южным, украинским «г». Вокруг не было никого, ни людей, ни машин, даже собака, брехавшая из-за загородки шиномонтажной мастерской, замолчала. Он двинулся по разбитой дороге вдоль леса и шел так какое-то время, размышляя. Абсурд не в концлагерях, не в массовых убийствах и бессмысленных полетах в космос, это всё суть «разрешение от бремени» абсурда, абсурд — это когда человек идет по дороге и ни о чем не думает. Он думал о том, что вот он идет и думает и тем самым, по-своему, борется против хаоса и бессмыслицы. И еще он думал, нет, это была, скорее, не мысль, это было чувство, неясное ощущение, похожее на теплоту, разливающуюся от ладоней к сердцу, к легким и дальше, по позвоночнику, что если в конце всего вдруг получится так, что у него будет свобода выбора, то он станет ползать на коленях и умолять, чтобы его вернули сюда, на эту зимнюю ночную дорогу, а не отправляли бы в какой-нибудь велико-

лепный рай или в новую жизнь, которая может оказаться иной, счастливой, потому что он не сумеет жить иной жизнью и забыть эту, она будет звать его, она будет снится ему, как снится людям что-то, печальное и недостижимое, и они просыпаются в слезах, не в силах вспомнить, что это было. Он вышел к желтому мигающему светофору. До дома оставалась половина пути. В сторону уходила длинная Левобережная улица, где-то там, в ее середине, располагались конюшни спортивного общества ЦСКА, а ближе к ее концу стоял кинотеатр Нева. Он припомнил давно забытую историю, связанную с ним. В их школе учителем математики работала одна женщина, средних лет, полноватая здоровой женской полнотой, холеная, с красивой мушкой на щеке, как у петербургской светской дамы эпохи балов и дуэлей, только мушка у нее была своя, естественная; она была не замужем и одно время крутила любовь с Иваном Ивановичем, учителем физкультуры, их соединила свекла, на которую они поехали однажды осенью, каждый со своим классом, и оба класса потом разбрелись по свеколному полю, а они держались вместе, он в широчайших брезентовых штанах, она в обтягивающих ее формы рейтузах, и все время о чем-то тихо говорили, наклоняясь друг к другу, она гораздо старше его, еще молодого, но уже как будто захваченного той, последней неподвижностью, во взгляде, в интонациях голоса, в движениях его грузного туловища, и это было страшно, смешно и трогательно одновременно. Звали ее Надежда Павловна, а фамилию она носила вполне аристократическую — Галицкая; и в одном классе с ним учился мальчик, очень слабенький и рахитичный, фамилия которого тоже была Галицкий, причем родственниками они не были; странность этого совпадения усиливалась еще тем, что номера их телефонов различались всего одной цифрой. Через несколько дней после выпускных экзаменов этого мальчика нашли повешенным на дереве в том лесу, который он только что миновал. Худого этот мальчик никому не сделал, он был совершенно безобидный; после он узнал, что произошло. Существовал тотализатор, связанный с кинотеатром Нева: не часто, но периодически, по настроению, на номера кресел в зрительном зале ставили деньги, и того, кто садился на определенное кресло во время определенного сеанса, убивали. Вся вина бедного мальчика с княжеской фамилией была в том, что он сел не на то место; и когда он смотрел какой-то фильм, уже не узнать, веселый или грустный, так же как и множество людей вокруг, и вместе с ними смеялся или сосредоточенно глядел на экран, он не знал, что обречен и поделать тут уже ничего нельзя.

Сознание — это не то, что сознает, это то, что создается. Создается кем? Если создается сознанием, то это тавтология, замкнутый круг, из которого нет выхода. Сознание сознанием самого себя называется самосознанием, это маленькая часть сознания, его частный случай, который не объясняет целого и не может как достаточная величина распространяться на целое. Создается человеком? Но человек и его сознание в данном случае одно и то же. Тогда, быть может, создается Богом? Но Бог не может ничего сознавать, Бог, который сразу здесь, всюду и нигде, не создает и не создается, введение по отношению к Нему этих категорий, ограниченных реальной либо воображаемой протяженностью, а также временем и всем аппаратом причинно-следственных связей, приводит к тому, что Бог является нам в человеческом обличье, с руками, ногами, полноватым телом и седовласой головой, похожий на того комически благообразного старика, каким его изображали в советской «библии для атеиста». Бог создал шизофреников, думал он, по Своему образу и подобию, шизофреник, сознавая сам себя, одновременно не сознает никого;

но обычному человеку, для того чтобы быть и оставаться в сознании, нужен другой человек. Когда-то был Адам, он был один, и не было никого, кто мог бы стать его сознанием, и ему было очень плохо; и Бог сжалился над ним и дал ему женщину, которая уже была частью его, а теперь стала чем-то иным, чем он, и он стал человеком, который осознал себя человеком через другого человека и осознал другого человека и весь мир вокруг себя через себя, ибо человек мыслящий — это возможность, а человек сознающий — это данность. Данная данность, данная Богом, познается таковой через веру; вера, таким образом, есть инструмент познания. Вера не может быть абсурдной, поскольку абсурд и познание суть вещи не совместимые даже диалектически. Но в какой-то ее части, едва уловимой и постоянно ускользающей от него, он не был уверен в этом. Когда он мыслил о вере, он все время ловил себя на чувстве, что мыслит о вере и только о вере, но не о Боге, Бог как бы не был нужен при этом. Он ругал себя, говоря себе, что о вере не следует мыслить, надо просто верить, и тогда всё встанет на свои, законные места; однако это не помогало. Когда же он помышляла о Боге, ему переставала быть нужна вера, Бога было вполне достаточно; и он не понимал, как это рыцарь веры, законченный обыватель, перелистав биржевые сводки, не теряет веру, ибо для того чтобы потерять веру, достаточно самой малости, хватит и того, чтобы отобедать, а тут биржевые сводки; может, это рыцарь веры, потерявший веру, и то, что он потерял веру, всего лишь подробность, а важно то, что он ее рыцарь; но все равно, как он себя не заставлял и не уговаривал, он не верил в такую веру. То, что он не верил в свою смерть и понимал, что в свою смерть не верит и не верил ни один живой человек на земле, не говорило о том, что он не верил в Бога, напротив, это, возможно, доказывало обратное. Бог, который забрал в себя тайну жизни, поскольку Он больше любой жизни и любой тайны, сам стал тайной, искалится и принизился до нее через веру и посредством веры; но и в этом Своем состоянии, вечном, так как о чем-то временном в отношении Бога говорить нельзя, Он не стал ни для чего и ни для кого эквивалентом смерти, потому что в смерти нет тайны, но есть тайна в сопричастности бытию. Но он не видел этой сопричастности в застывших и неживых конструкциях, которые были выстроены на пути к тому, чтобы ее постичь. Упорное желание материалистически объяснить нематериалистические вещи поражало его: в равной степени — и все эти семь небес с какой-то нимфой на самом верху, и категорический императив, и чистые вещи, и дядсебябытие; ему нравился Марк Аврелий, он уважал его, быть может, потому, что Марк Аврелий не был философом, может, потому, что единственный из всех императоров, когда-либо существовавших на земле, он не был шпаной. Он вспоминал академика Ландау, который не слышал музыки; и это было так же прекрасно, как и в случае с людьми, которые слышали слишком много музыки, потому что и Ландау, и эти люди, видимо, предчувствовали ее судьбу; но был еще другой Ландау, он не был ни ученым, ни философом, ни писателем, ни поэтом, он вообще не был ни кем, он прошел незамеченным и стигнул неизвестно где, успев сказать что-то, что было ничем, и он любил его. Когда он вспоминал Берсона, ему становилось хорошо, и он улыбался про себя, тепло и без всякой иронии, какой обычно встречают имя Берсона умные и начитанные люди; но он не был настолько умным и до такой безнадежной степени начитанным человеком. Он думал о Хайдеггере, и, думая о нем, он знал, что ничего о нем не знает, поскольку с немецкого языка Хайдеггера нельзя перевести на русский или на какой-нибудь другой язык в такой же мере, в какой его нельзя перевести на немецкий; если бы я его знал, думал он, я бы, наверное, мно-

гое понял, зачем прожил свою жизнь Гитлер, движется ли время или оно стоит на месте, а движется что-то иное, грядет ли евангелие от Святого Духа и многие другие вещи; и он вспоминал, что он помнил человека, которого звали Янкелевич. Об этом человеке он всегда думал с удивлением, потому что он его прочитал и ничего не понял, но почувствовал что-то, чего, вероятно, понять нельзя, и когда он почувствовал эту свою беспомощность, то вдруг осознал всю враждебность для себя как человека той своей части, которая, быть может, единственная и отличала его от животного, — рассудительного отвлеченного разума, но и враждебность того, что принято называть сердцем, а на самом деле все тот же разум, только уже не рассудительный и не отвлеченный. И этот еврей, вышедший из России и писавший по-французски, возможно, что-то знал, но не успел сказать, потому что ему пришлось говорить много, а в словах теряется суть; и он настолько полюбил его в своем сердце, что даже написал о нем, тоже что-то сумбурное и неопределенное, и потом зачем-то показал написанное одному знакомому доценту, специализировавшемуся на литературоведении, и доцент, прочитав, сказал ему: «Ну, старик, дело, конечно, хорошее, но экзистенциалисты, мой милый, это прошлый век, теперь, знаешь, ими никого не удивишь», на что он спросил, кого он подразумевает под экзистенциалистами, и доцент отвечал: «А что, разве Янкелевич не экзистенциалист?» И тогда он забрал свои листочки и молча ушел и, идя к двери, подумал, что он лучше будет ночью стоять и курить и бессмысленно молчать у ворот автостоянки с соседом по гаражу, идеально далеким и от экзистенциалистов, и от Господних ипостасей, чем беседовать все равно о чем все равно с каким доцентом.

После окончания школы он работал в вычислительном центре. Вычислительный центр представлял собой огромный зал, разделенный прозрачными перегородками, посередине его стоял большой железный ящик, похожий на железнодорожный контейнер, это был мозг, процессор, тогда это называлось ЭВМ; к мозгу проводами подсоединялись всякие агрегаты, помещавшиеся в железных шкафах и ящиках поменьше; на столах стояли консоли, похожие на телевизоры, с синими экранами, которые кроме бесконечных рядов цифр и значков ничего не показывали. Он работал посменно, смены бывали дневные и ночные. Ночью, сделав всю работу, пили дешевое красное вино, а после сидя засыпали до утра, положив голову на клавиатуру. Курили прямо в зале, выдыхая дым вниз, чтобы клубок дыма случайно не попал в специальный уловитель на потолке, из-за чего с потолка, теоретически, должна была быть полилась вода; один раз дым в уловитель все же попал, замигал свет, что-то зазвенело, но вода не полилась, видимо, она, где-то там, где нужно, просто закончилась. Матюхина, единственная девушка в сменах, порой к утру напивалась так, что не могла идти домой, тогда ее переносили в женский туалет, сажали в кабинку на унитаз и оставляли спать. — Протри перединомокль, — кричала Матюхина, — ты видишь перед собой женщину в расцвете жизни; от женщины в расцвете жизни пахло невымытой бабой и перегаром; привалясь к унитазу, она засыпала часа на два. Иногда по ночам перепадала халтура. Кто-то доставал остродефицитные либо просто запрещенные книги, и они их перепечатывали на консоли, а потом размножали на специальном устройстве, которое называлось АЦПУ. Это был ящик, в который стопками заправлялась бумага; потом, с напечатанным текстом, она вылезала из него широкой лентой по принципу туалетной бумаги, но с перфорацией не только поперек нее, а еще и по краям. Получалась увесистая книга ин-фолио, симпатичная, с аккуратными дырочками, бегущи-

ми по ее корешку, через которые она сшивалась. Книги они печатали разные, это были в основном бесконечные переводные полицейские романы, англо- и франкоязычного производства, и такая же фантастика, и разнообразный стегб, тоже по преимуществу с вражеской стороны, но попадались уже отечественные сочинения, призванные поколебать существующие общественные устои, Факультет ненужных вещей, Белье одежды; особой популярностью пользовался Бугаков. Он ничего не имел против Собачьего сердца, милая книжица, но Мастер и Маргарита, эта бесконечная мыльная опера, да еще с Понтием Пилатом не на последних ролях, его раздражала; впрочем, она стоила пятерку и расходилась хорошо, за что он готов был простить ей по крайней мере часть ее художественных, так сказать, изъянов; книжки потоньше, либо погуще, либо поскучнее, какой-нибудь Посторонний или Лысая певица, не исключая Кафку, поскольку он был очень не ддя всех, шли по трояку. Тогда он впервые прочитал «Москва-Петушки». У него был дядя, мамин брат, бывший офицер-подводник. Они дружили. Он принес дяде «Москву-Петушки» прочитать. Дядя прочитал и сказал: Хуйня твоя Веничка! Это была высшая похвала в его устах. — Чего, так хорошо? — спросил он дядю. — Полная хуйня, — подтвердил он. Однажды, когда он еще учился классе в пятом, они с дядей поехали на Химкинский рынок покупать ему меховую шапку. Рынок был рядом с железнодорожной платформой, с рук там можно было купить все что угодно. Они выбрали самопальную собачью ушанку, очень теплую, с длинным лезущим мехом, он сразу надел ее, дядя крепко взял его за руку, и они пошли на электричку. Дело было зимой, а дядя круглый год ходил с непокрытой головой; с Химкинского же рынка не принято было уходить без покупки. К ним подошли какие-то мужики. — Гражданин, — усмехаясь сказал один мужик, — купи шапку. Остальные стояли у них на дороге. Дядя пошел левым плечом на них, загораящая его своим телом и оттесняя его вправо; мужики нехотя посторонились. — Спасибо, сказал дядя, я купил ребенку шапку, а мне не нужно. Мужики засмеялись. — Слышь, фраерок, оставь мальчика, пошли отойдем, — сказала все тот же мужик. Дядя шел вперед, не отвечая, как будто глухой; он шел рядом; дядя крепко сжимал его руку. Народу кругом было много, мужики еще какое-то время шли за ними, потом отстали. Дядя его был не робкого десятка, в юности занимался боксом, из военного училища его отчислили за драку, он мог постоять за себя, а в ярости себя не помнил. — Почему ты им не ответил? — спросил он с обидой, когда они сели в электричку. — Нельзя, — помолчав, сказал дядя. — Почему? Дядя еще помолчал. — Нож в спину сунут. — Прямо при всех? — Да. — А зачем? — спросил он. — Просто так, — сказал дядя. Он был прямой человек и, когда увольнялся из армии, потребовал себе коня. Действительно, был такой старый указ, еще с Гражданской войны, который никто не удостоужил отменить, что демобилизующимся с крайнего севера офицерам положено выдавать коня, чтобы им было на чем добраться к месту проживания. Коня дяде, конечно, не дали, и он на поезде, через всю страну, ехал откуда-то с Дальнего Востока домой. Он видел потом его чемодан, фибровый, с обитыми железом углами; изнутри крышка чемодана была обклеена фотографиями женщин, вырезанными из разных журналов. Женщины все как на подбор были очень красивые, но было бы странно, если бы чемодан офицера-подводника был обклеен изнутри изображениями некрасивых женщин.

Борьба со смертью — неравная борьба, и в основном потому, что трудно с полной отдачей бороться с тем, в существование чего не веришь.



А поверить в то, чего нет, сложно. Для этого нужно быть особенным человеком, рыцарем смерти, или для этого нужны особые условия. Неизбежное то-чего-нет вызывает ироническую улыбку. При помощи этой улыбки человек борется со смертью, она его единственное оружие против этой несуществующей напасти. Иронизируя, человек всегда иронизирует над смертью, хотя он может не замечать или не понимать этого и думать, что он иронизирует над кем-то или чем-то не имеющим к смерти никакого отношения. Однако ирония всегда печальна, это косвенное доказательство правоты того, что она и смерть находятся в состоянии войны, причем если ирония использует прямолнейные, лобовые атаки, то есть действует тактически, то смерть постепенно окружает противника, стараясь загнать его в западню, из которой нет выхода, а значит, смерть большой стратег. Невербализованная ирония есть ностальгия, хотя, казалось бы, ирония и ностальгия суть противоположные вещи. То, что было и прошло и чего никогда больше уже не будет, вызывает ностальгию, даже если то, что было, было ужасно; но вот оно умерло, и теперь кажется, что ты все отдал бы за то, чтобы вернуть это. Но вернуть ничего нельзя, можно только с примерной точностью повторить, как повторяет эхо то, что уже отзвучало; и повторяющиеся рефреном куплеты припева какой-нибудь песни иронически указывают на эту ежесекундно совершающуюся несправедливость. Несправедливо то, что смерть, которой нет, все-таки однажды приходит, нарушая тем самым законы здравого смысла и формальной логики, которыми человек привык руководствоваться в повседневной жизни; однако иронизируя и над этими законами, которые смерть так легко ломает, и над самой смертью, которая живет по своим законам, если могут быть законы у того, что есть отрицание всего, в том числе каких бы то ни было законов, человек отрицает абсолютное отрицание, утверждая тем самым бессмертие, которого тоже нет, поскольку у абсолютного отрицания не может быть начала и конца, а стало быть, смерть и бессмертие — это одно и то же. Жаль не здравого смысла, тут нечего жалеть, и можно было бы сказать: но жаль того огня, но, увы, и огня не жаль; жаль того самого мига постижения, мгновения, которое было однажды и, быть может, больше не повторится, но которого ждешь снова, потому что только в нем, в этих нескольких секундах, цель и смысл человеческой жизни, а не в делании чего-то, что не истинно и не ложно, но лишь приблизительно истинно и не исключено, что ложно, а следовательно, несущественно. Но в эти секунды истинного взлета мысль, которым движется этот взлет, настолько сильна, что она затмевает сознание; и печаль об этом состоянии бессознательного прозрения сродни печали о смерти, ибо и в смерти нет сознания сознания, неважно, смерть ли это, потому что еще-нет-ничего, или смерть, потому что уже-ничему-не-бывать. Печаль о смерти двойка: это и печаль о том, что уже ушло, и печаль о том, что могло бы быть, но чего никогда не будет. И обе эти печали обнимает печаль прозрения. Печалась о нем, человек жалеет о смерти как о том, что он умрет, и о смерти самой по себе, потому что и сама по себе смерть, безотносительно к судьбе этого человека, печальна, как печально всё, что неизбежно и недостижимо, ибо смерти нет в жизни, как нет жизни в смерти. Между тем жизнь человека движется между некими событиями, незначительными, глядя с отвлеченных позиций, но в которых он как бы прикипает к ней, чаще всего не отдавая себе в этом отчета. Когда-то давно он знал одного инженера из проектного института, фамилия его была нередкой для Малороссии, Московченко, который умирал от скуки и бессмысленности существования, пока не купил себе кубик Рубика; в магазинах кубик Рубика в то время не продавался, он заказал его у кого-то и ждал

около недели и всю эту неделю томился и считал дни, а когда срок прошел, выяснилось, что нужно подождать еще примерно столько же, потому что партия кубиков пока не пришла в страну, но ожидается со дня на день, и это была почти трагедия; но вот он получил свой кубик и ожил на глазах: он успокоился, стал регулярно питаться и нормально спать. Отодвинувшись в прошлое, это томление приобрело метафизические черты. И ностальгия по тому-что-было, что бы там ни было, пусть это был кубик Рубика, или экономическая теория, или каждодневное хождение на службу, или Самая Великая Любовь, Когда-Либо Случавшаяся На Земле, иронизируя над смертью того-что-было, утверждает то-что-будет, неизвестное и печальное вдвойне оттого, что надежда на то, что это неизвестное окажется вдруг беспечальным и счастливым соединяется с надеждой, что этого не произойдет и это неизвестное будет таким же бесконечно грустным и живым, потому что иначе зачем тогда жить. В тот год он приехал в деревню поздно, в августе, на Спас. Отец оставил его на неделю до школы, сам уехал, в конце августа обещал забрать. Ночи стояли уже прохладные. Сено убрали в сарай, и оно лежало там, в двух этажах, можно было по приставной лестнице забраться на второй этаж, зарыться в колючее, пахучее сено и смотреть на улицу через окошко, представляющее собой древнее поле брани мушиного и паучиного войска. На улице обычно стоял другой его дядя, брат отца. Он пил беспробудно, но не буянил. Временами он выходил за калитку, чтобы стрелнуть у кого-нибудь сигарету. — Прямо первый у меня огребет, — говорил дядя, — если не даст. Но никто не давал, потому что никого не было. Изредка проходили бабы с ведрами, были еще гуси и куры, но мужиков не было, они все где-то, видимо, работали. Потоптавшись у калитки минут десять, дядя уходил в дощатый гараж, который был обгнанный сарай, а гаражом назывался, поскольку дядя там держал инвалидную мотоколяску с ручным управлением. Она была на ходу и была всягда, говорят, в нее однажды заили укус и она поехала; дядя изредка ездил на ней, хотя никаким инвалидом никогда не был. У дяди была дочь, когда ей исполнилось восемнадцать лет, она сей-час же вышла замуж. Ее мужа звали Юра, он недавно вернулся из армии; жили они в городе, на холме, туда можно было пойти пешком. Юра сразу взял шефство над ним. — Драться умеешь? — спросил Юра. — Нет, — сказал он. — Я тебя научу, — пообещал Юра. Он был очень высокого роста и знал приемы рукопашного боя. — Бей, — говорил Юра. — Вот прям сюда, в грудь. Он послушно бил. Юра размахивал руками и горячился. Коронным его ударом был удар ногой. Он подпрыгивал и бил ногой по воздуху, при этом часто падал. Как-то днем они пошли в город. Юра рассказывал дембельские истории, как он гонял салага и как салаги изображали поезд, в котором дембель возвращается домой. Им надо было переходить улицу. Наперерез им ехал мужик на велосипеде. На руле у него сидел ребенок, лет трех, не больше. — Пстой, — сказал он Юре и тронул его за руку. — Чего? — сказал Юра, обернувшись к нему, и в этот момент сделал шаг вперед. Велосипед на полном ходу врезался в Юру. Мужик перелетел через руль и грохнулся на щебенку. Ребенок упал лицом вниз и заорал. Юра отлетел в сторону. Мужик поднялся, он был толстый, с красной шеей и в майке. Майка задралась из штанов. Мужик подбежал к ребенку и взял его на руки. У того все лицо было в крови, он продолжать орать. Мужик тоже заорал, бросил ребенка обратно в пыль и кинулся на Юру. — Ах ты, сука! — кричал мужик. Первым ударом он расквасил Юре нос, потом сопя стал обрабатывать его толстыми, как он сам, кулаками. Через минуту Юра улетел в кусты. За кустами оказался глубокий овраг, и Юра, ломая тонкие деревья, скатился почти до его дна. Начал собираться

народ. Над ребенком уже хлопотали какие-то женщины, отчего он принялся орать еще сильнее. Мужик разговаривал с каким-то старичком, он рассказывал ему, как все было. Из кустов появился Юра. — Как ребенок? — спрашивала Юра. — Ах ты, сука! — закричал мужик, видимо, словарный запас его был не очень большой. Он кинулся на Юру и погнался его вдоль дороги; Юра опять оказалась в овраге. Он бежал рядом с мужиком, хватал его за майку и кричал: не бейте его, он не нарочно. Мужик не обращал на него внимания. Он помог Юре выбраться из кустов, и они пошли назад. Юра сильно хромал, из носа и изо рта у него текла кровь. Они отошли немного, сзади раздались крики, они обернулись: мужик со старичком бежали к ним. Женщины визгливо голосили. Юра попробовал бежать, но это было бесполезно, мужик догнал его и начал его бить, теперь уже вдвоем со старичком. Юра понял, что может настись, если залезет в овраг, и сам лез в кусты, но мужик разгадал его хитрость и вытягивал его из кустов за ноги. Юра брыкался. Когда они пришли домой, дома уже всё знали. — Что, начистили рыло? — сказала бабушка. — Поделом. Юра сказал: Если бы не ребенок, мы бы дрались на равных. — Конечно, — сказала бабушка, — дрались бы вы. — А ты чего не помог? — спросила она у него. — Да я пробовал, — сказал он, — а он меня не слушал. — Конечно, — сказала бабушка, — будет он тебя слушать. Бабушка работала регентом в церковном хоре. На указательном пальце правой руки у нее был большой черно-синий синяк, потому что этим пальцем она всегда ударяла по камертону. Камертон был старинный, латунный, бабушка носила его с собой, если по нему ударить, он долго и задумчиво звенел. Еще у бабушки была фисгармония, тоже старинная, с потертыми деревянными педалями, выдвигаемые клапаны у нее были отделаны слоновой костью с вырезанными готическими буквами на неизвестном языке, половина клапанов была сломана. Фисгармония стояла слева от киота, в простенке между окнами, дядя, когда на него нападало музыкальное вдохновение, играл на ней двумя пальцами собачий вальс. Он тоже, бывало, играл на фисгармонии. Он воображал себя великим композитором. Подняв руки над клавишами, он с силой несколько раз опуская на них все десять пальцев. Фисгармония издавала сдержанный рев. Нельзя было забывать при этом качать педалями воздух, потому что фисгармония, как все живое, без воздуха жить не могла и замолкала. Звук постепенно нарастал, это была почти что фуга Баха, музыка ширилась и рвалась на свободу, ей были тесны низкие потолки деревенского дома, педали скрипели, фисгармония трещала от старости и грозила развалиться. На страшный грохот с веранды выходила баба Катя, приживалка. — Вот, дурак, дурак, — говорила баба Катя. — Иди-ка ты отсюда, голубчик, пока я тебе уши не надрала. Баба Катя была дальняя бабушкина родственница, бабушка взяла ее к себе, потому что жить ей было нигде. Когда бабушка была не в духе, она всегда попрекала этим бабу Катю. Баба Катя покорно выслушивала попреки и, выслушав, молча уходила на веранду. Веранда не топились, баба Катя жила там до первых морозов, порой прихватывая и вторые, на зиму ее забирали в дом, и она до весны жила в кухне, на печке. Окно кухни выходило на скотный двор, там жили овцы. По скотному двору ходить можно было только в сапогах, навозу, хотя и прибитого соломой, там было столько, что сапоги вязли в нем, как в болоте, и их приходилось с силой и чавканьем выдергивать. Ела баба Катя очень мало, собственно говоря, он вообще не видел никогда, чтобы она ела. На веранде, помимо бесформенной лежанки бабы Кати, установленной на белые силикатные кирпичи и аккуратно покрытой лоскутковым одеялом, стояла стеклянная, большая, литров на двадцать, бутылка с давно скисшим вином из яблоч-

падалок. Яблок каждый год было много, они толстым слоем покрывали землю в саду, под старыми, изъеденными лишайем яблонями; когда яблоки на земле превращались в коричневое ароматное месиво, их сгребали вилами и отдавали овцам. Еще овец кормили черным хлебом, его покупали сразу целый мешок, много-много буханок; это было запрещено, но хлеб был дешевой, и скотину хлебом кормили все деревенские. Кроме того, на веранде стоял книжный шкаф с разбитым стеклом, который был весь забит пыльными, старыми книгами. Крыша на веранде текла, там было даже в жаркий день сыро и промозгло, книги давно сгнили и разваливались в руках. Он с удивлением раскрывал слышшийся том подшивки ЛИТЕРАТ. И ПОПУЛ.-НУЧН. ПРИЛОЖ. НИВЫ. На первой странице стояло: Редакторъ-Издат. А. Ф. Марксь. СПб. Измайловский проспектъ, № 29. 1911. Он раскрывал книгу на первом попавшемся месте и читал: Они вошли. Четверо ребят Селины, жены Дельбека, играли на кирпичном тротуаре, довольно далеко от дверей. У них была религиозный культ чистоты и покорности, развившийся под влиянием жестоких ударов, которые градом сыпались на них, как только они приближались к ступенькам дома. Он переворачивал несколько страниц и читал про какого-то пьяного человека, который долго идет и никак не может прийти до какого-то неведомого пункта назначения. Он читал разрозненными кусками, не пытаясь найти смысла и связать все это в какую-нибудь цельную картину, ему было хорошо оттого, что смысла не было, но через его отсутствие проступал другой, непонятный, тревожный и влекущий смысл. Вечером он пошел на речку. Было еще довольно светло, но солнца уже не было видно за деревьями. Около длинного спуска к реке стояли деревенские пацаны. Они молчали и смотрели на него. Он тоже стал смотреть на них. Один из них громко сказал: Кто-то ходит, блядь, как у себя дома, а кому-то сегодня физиономии пощупали. Пацаны засмеялись. Он остановился и ответил: Не тебе? Пацаны перестали смеяться. Тот, который говорил про физиономию, медленно подошел к нему. — Ты, городской, оборзел? — спросил пацан. — Ты сам оборзел, — сказал он. Пацан скучающе поглядывал в сторону и вдруг коротко, без замаха ударил его кулаком в живот. Только бы не упасть, подумал он, и упал. Он сразу встал и побежал назад. Он неплохо бежал, но деревенские были выносливее. Они бежали сначала по улице, потом свернули в сторону от реки, к заброшенным садам, за которыми начинались известковые карьеры, тоже давно заброшенные. Он знал эти места, там можно было спрятаться. Он пробежал по узкой дороге, повернул налево и сразу еще раз налево, потому что направо был тупик. На дороге стояли два пацана, сзади набегали остальные. Он нагнулся и взял кусок щебенки. — Бей его, — сказал один пацан. Он кинул в него куском щебенки. Пацаны тоже подняли камни. Они стали кидать в него камнями, сильно размахиваясь и метя в голову. Первый же камень, который в него попал, попал ему в правый глаз. Он упал на землю и громко закричал. Он катался по земле, боль была нестерпимой. Пацаны убежали. Он какое-то время лежал на земле, потом попробовал открыть пораненный глаз. Глаз видел, но через какую-то красную пелену. Он пошел на речку. Пацанов нигде не было. Он сидел на берегу и врачевал глаз тепловатой вонючей водой. Потом, сидя на корточках, он долго смотрел на противоположный берег, проступавший в сумерках, очень высокий, весь изъеденный, словно оспой, гнездами речных ласточек. В темноте он вернулся домой, все уже спали, не видно было ни огонька на земле, сквозь облака пробивались редкие, уже осенние звезды, тревожно тянуло горьковатым дымом, вдалеке брехали собаки. Он пробрался в сарай, на сеновал, и лежал там, думая о чем-то неопределенном, мысли эти тоже

были какие-то тревожные и горьковатые, о будущей жизни, что вот у него будет когда-нибудь жена, дети, потом он состарится, что очень болит глаз, он, наверно, вытечет или покроется бельмом, и он не сможет жевать, потому что женщины не любят одноглазых. Когда он еще не ходил в школу, а его двоюродная сестра была уже довольно большая девочка, она однажды показала ему свой секрет, они забрались вдвоем в заросли бузины и выродившейся смородины, тут же, за домом; в зарослях была тайная прогалина, где даже имелся деревянный ящик, на котором они сидели, он очень удивился, он не думал, что у девчонок это так просто устроено. — А у больших женщин так же? — спросил он. — Нет, сказала она, у них всё по-другому. У мамы там волосы, как на голове, только курчавые. Только ты никому не говори. — Могила, — сказал он. После, когда он смотрел на ее мать, ему становилось как-то не по себе, как будто он узнал о ней что-то, чего не должен знать, что-то очень личное. Ее мать работала на птицефабрике, она была красивая женщина, рано увядшая, но, как это порой бывает, увяло и потускнело в ней всё — руки, лицо, глаза, голос, — но не красота. О Господи! — утром сказала бабушка. — Спаси, Боже, души наша! Глаз у него не открывался и был весь красный и воспаленный. — Вот придет отец, — сказала бабушка, — он тебе подзатыльников-то понадает. — Он мне не дает подзатыльников, — сказал он. — Потому и не дает, — сказала бабушка, — что бесполезно. Отец приехал в этот же день, часа в два. Он долго осматривал его глаз, потом долго ругался с бабушкой на кухне, потом ушел на станцию, выяснять, когда будет поезд. Потом он вернулся и сказал, что поезд будет только в пять утра. К вечеру приехал дедушка. Дедушка был священником. Он был благочинный, под его началом было несколько приходов, и, чтобы он мог все их объехать, церковное начальство выделило ему старый газик. С бабушкой они давно не жили вместе, но он приезжал в ее дом, как в свой дом. Дедушка был высокий, красивый и статный, он носил очки в круглой железной оправе, волосы у него были седые, и такая же седая борода, густая и прекрасная, он ее мыл уксусом, специально, чтобы она была мягкой. Дедушка приказывал остановиться против крыльца и выходил, шофер тоже выходил и открывал у газика капот, а дедушка никогда не шел сразу в дом, он проходил через калитку в сад и гулял там какое-то время, задумчиво осматриваясь. Как-то раз дедушка гулял так по саду и зашел в далекую правую его часть, самую запущенную, почти уже на границе с Русаковыми, у которых, за забором, сада не было, даже и запущенного, но было подобие парка, гулять, впрочем, по которому было нельзя, потому что там бегали молчаливые, но очень свирепые русаковские собаки. В этой части сада был малинник, и он собирал там малину в стеклянную банку. Он набрал ее почти доверху. — Здравствуй, Андрюша, — сказал подошедший сзади дедушка. — Вот хорошо, что ты приехал. Как мама? Голос у дедушки был ласковый, а пользовался он им, немножко припадая на «о». — Дай-ко сюда, — сказал дедушка. Он взял банку с малиной и, беря по одной яголке, медленно пошел к дому. Собирались ужинать. На кухне жарилась картошка, запах ее разносился по всему дому, смешиваясь с запахом перегнившего навоза с заднего двора, где был скотный сарай, и с запахом давно не чищенного нужника, и с запахом старых овечьих шкур, висящих в сенах, и с тем, особым, запахом, который есть в любом деревенском доме и который не спутаешь ни с чем, потому что так же, наверно, пахло в доме пятьсот лет назад, и тысячу лет назад, и другим этот запах быть не может, как не может земля остановиться или звезды перестать светить. Женщины порезали салат, откуда-то появились даже бананы, небольшая вязочка. Сноха дала дедушке банан. Дедушка

покрутил банан перед очками и отложил. — Срамной овощ, — сказал дедушка, — греховодный. Бог его знает, зачем его продают. — Они полезные, — сказала сноха. — Богу они противные, — сказал дедушка. — Ондрей, ты зачем дерешься? — Бога нет, — сказал он и схватил банан со стола. — Положи, где взял, — закричала сноха, — не тебе покупалось. Дедушка покачал головой и пошел в комнаты. — Олексей, — посылаешь его голос, — ты можешь воспитывать ребенка, как находишь нужным, но ты приезжаешь в мой дом, и в моем доме ты не смеешь устанавливать свои порядки. — Конечно, в твой дом он приезжает, — сказала бабушка. Голоса забубнили глуше, он вышел в сени, пробрался в темноте к двери и вышел на улицу. Была уже почти ночь. Продираясь сквозь кусты, он обошел проступающий из темноты дом и подтянулся на подоконнике освещенного окна большой комнаты, которую в деревнях обычно называют залом. Там сиделись ужинать. Дедушка молился перед иконами, широко крестясь, лики кротко глядели со стены, мерцала лампадка, на столике перед киотом был беспорядок, лежали вперемешку старые церковные книги в истертых окладах, свечи, ботиночный шнурок, кусок дяконского ораря с торчащими из него нитками, шпильки для волос, скомканные бумажки, надкусанный пирожок с повидлом, съехавшая, закапанная воском горка журналов, которые бабушка выписывала на почте, Здоровье, Крестьянка и синенький Журнал Московской Патриархии. Когда отец поступал в университет, он в анкете написал, что его отец служащий, в общем, это была правда, но не вся, потом открылось, что его отец священник, и его выгнали в конце первого курса. Как-то дедушка приехал к ним, он слышал, как они с отцом разговаривали утром на кухне, дедушка недавно единственный раз в жизни летал куда-то на самолете и рассказывал об этом, а отец жарил яичницу, он торопился на работу. — Гляжу в окно, — рассказывала дедушка, — батюшки, а там ангел. — Ешь быстрее, — сказал отец, — надо уже выскакивать. — Крылья белые, как у лебедя, — говорил дедушка, — и сам тоже белый, лицо отвернул, лица я не видел, а на ногах ботиночки, тоже белые, блестят на солнце. — Ты ботинки себе купи, — сказал отец. — Посмотри, в чем ходишь. Дедушка посмотрел себе на ноги. — А в чем я хожу? — спросил дедушка. — Хорошие башмаки. Крепкие. Еще похожу, пожалуй.

Через несколько лет после того, как Гагарин полетел в космос, в их доме установили лифт. Они жили тогда в старом каменном доме, в центре, недалеко от Садового кольца, там рукой было подать до любимых его мест, зоопарка и планетария, места эти были чем-то похожи, только в зоопарке жили живые животные, а в планетарии — эти же животные, только уже попавшие на небо. Их дом стоял ассиметричным покоем, жили они в коммуналке, но всего на четыре комнаты, покоя там было мало, как, впрочем, и в отдельной квартире, на северной окраине города, куда они переехали позже. Он был тогда еще очень маленький, он запомнил только квадратное окно, с очень ярким небом в нем, скрипучую балконную дверь и маленький балкончик за ней, обведенный чугунной низкой решеткой, и еще громовой голос из коридора, где висел телефон, это была хохлуха Фаня, если телефон звенел, она снимала трубку и кричала в нее: Га? Ко нада? А-а. Их, кажись, нема. Часто Фаня вела длительные телефонные переговоры, она хорошо разбиралась в народных способах лечения всех болезней, и ее разговоры большей частью были именно этого свойства, в пикантных местах Фаня понижала голос, но на том конце провода не слышали, и она раздражалась и грохотала басом на весь дом: Главна, гавна куринага. Шо? Ага, ага. Главна. Лифт нельзя было про-

вести внутри дома, там было тесно, и его пристроили снаружи, в высоком жестяном коробе, похожем на водосточную трубу, только очень толстую. Жильцы столпились у подъезда. Первым лифт решился опробовать Иннокентий Валерьянович. Он вошел в подъезд, залез в кабину, тщательно закрыл за собой железную дверь и две внутренние деревянные дверки и нажал на кнопку. Лифт загудел и поехал. Между вторым и третьим этажом лифт остановился. Иннокентий Валерьянович что-то кричал из кабины, но что именно, не было слышно. — Вроде застрял, — сказал Сергей Сергеич. — В космос полеты совершаем, а лифты возводит не научились, — сказал сапожник Дамир, растерявший квалификацию и теперь чистивший обувь на площади Восстания. — Поговори у меня, баночка с ваксой, — сказал Сергей Сергеич. Ты вообще думаешь, что ты говоришь? Ты вообще думать можешь? Дамир подумал немного, испугался и ушел. Через много лет, проезжая по Садовому кольцу, он иногда останавливался там, если с ним не было пассажира, и проходил во дворы, к своему бывшему дому. Это почти всегда было ночью, он ходил немного под темными окнами, задрал голову, потом садился на скамейку и закуривал сигарету. Невозможно сказать, о чем думает человек в каждую секунду своей жизни, иногда он ни о чем не думает, но это «ни о чем» всегда о чем-то, и он думал о чем-то, глядя в темноту, так думается легче, возможно, потому, что в темноте мысли и рождаются, а вовсе не в черепной коробке; они приходят из темноты и, прожив свою жизнь, уходят в темноту, совсем как человек. Иногда он думал над тем вопросом, который задавал Сергей Сергеич, хотя он, конечно, не знал, что Сергея Сергеича интересовал этот вопрос: может ли думать человек. Его не устраивал очевидный ответ. Он не знал, что там на самом деле Декарт вкладывал в свое *cogito*, но он думал: если трактовать его расширительно, то можно было бы сказать: я в сознании, я в «здравом рассудке», и вот, я существую. Рассудок, от слова рассуждать, и сознание, от слова сознавать, эти понятия одного порядка с понятием мыслить, но мыслить — это от слова мысли, а он чувствовал, что именно мысли и мешают думать по большей части. Возможно, мыслить и думать — это совсем разные вещи, думал он, но сейчас же отказывался от этой мысли, потому что терпеть не мог софистики. Но то, что он видел вокруг, говорило о том, что коллективное сознание, в которое он верил, начало давать сбой. Возможно, это началось уже давно, однако, по каким-то причинам, раньше не было заметно, теперь же, всё явственнее, он ощущал, что коллективное сознание становится всё более и более бессознательным, и потеря способности сознавать себя проявляется теперь почти в каждом человеке. Возможно, стало не о чем думать, думал он, причем это «не о чем думать» представлялось ему не как некое словосочетание, отражающее некий, сложный и протяженный, процесс, а как неделимый комплекс, «одноцветный», бесконечно простой, точно так же, как «пошел очень сильный дождь» — это не четыре слова в богатстве соединения их противоречивых значений, а просто ливень, вдруг обрушившийся с неба на землю. Думать не о главном, размениваясь на повседневные пустяки, это, по сути, и есть абсурд, абсурден не мир, в котором довелось жить человеку, мир всего лишь враждебен ему, абсурден способ существования человека в мире, если этот способ предполагает сознание, в котором нет места попыткам решить вопрос, что такое его сознание по отношению к этому миру. Но рассудочного решения этого вопроса не существует, однако, на протяжении тысячелетий, всё, начиная от самых различных религий и эзотерических практик и заканчивая точными науками, предполагало, в явной либо завуалированной форме, именно рассудочные решения, изначально ничего не решающие и только

сбивающие с толку. Мысль, что не надо было придумывать Бога, а надо найти Его настоящего, очень многим приходила в голову, и они сейчас же придумывали своего, безусловно настоящего, бога и начинали поклоняться ему и призывали поклоняться ему других, независимо от того, как этот бог назывался — Яхве, Будда, расширяющаяся Вселенная или философская интуиция. Все это ни что другое, как творчество, — самое привлекательное и самое отвратительное, что может быть в жизни. В раю змей не яблоком угощал Еву, он спел ей песенку, незатейливую и чувствительную, может быть, цыганский романс, и Ева разрыдалась и обняла змея за его змеиную шею; а потом Ева пошла и спела эту песенку Адаму, и Адам тоже разрыдался, и этим дело бы могло кончиться, но этим дело не кончилось: Адама так проняло, что он написал свою песенку, такую же незатейливую и чувствительную, как та, и спел ее Еве, и у Евы загорелись глаза и застучало сердечко. И пошло-поехало. Бог долго терпел эту чепуху, но, по прошествии вечности, Ему это надоело и Он выгнал дураков из Своего рая. Потому что нет никакого творчества, если «творческий акт» не продиктован метафизической необходимостью, а вызван лишь физическим томлением, чувствами и переживаниями либо простым любопытством, а он всегда, на протяжении веков, был вызван именно ими; и нет никакого таланта, если этот талант, называя имя Бога, забывает про Него Самого. И нет никакой культуры, ни вертикальной, ни горизонтальной, и если бы изобрели диагональную культуру, то и ее бы не было, а есть предчувствие того, что могло бы стать культурой, предчувствие одновременно трепетное и тревожное, почти что страх, потому что страшно потерять, уже навсегда, надежду выйти когда-нибудь из этого порочного круга тяжелых, как все земное, умозрений и метафорического сочинительства. Когда он поступал в университет, он думал, что получит там ответы на вопросы, которые не давали ему жить так же спокойно и отчужденно, как живет большинство людей. Но он увидел, что университетские преподаватели как раз и составляют ядро этого большинства, навсегда успокоившегося, этой инертной массы, у которой на все вопросы есть четкие и категорические ответы, не допускающие сомнений, даже если неизбежные сомнения представляют собой суть вопроса. Как половой член Жана Жака Руссо был такой изогнутой формы, что гарантировал его от заболевания венерической болезнью, так и форма их мышления была такова, что надежно гарантировала их от прорывов к истине, их мышление было навсегда окостеневшим мыслетворчеством на пути бесконечного и бессмысленного научного прогресса. Впрочем, был один профессор, это был пожилой человек, род восточного мудреца, а может, дервиша, он носил очки с увеличительными стеклами, которые усиливали его восточный разрез глаз; когда он говорил, лицо его время от времени преображалось вдруг необычайной улыбкой, одновременно искренне-открытой, иронично-умной и немного виноватой. Говорил он, перескакивая с пятого на десятое, никогда не заканчивая мысль, но студенты слушали его с напряженным вниманием, погруженные, казалось, в какой-то транс, никто никогда его не перебивал, кроме его самого; на лекциях он рассказывал странные вещи, совсем не по «программе», но иногда мог начать говорить лукавый вздор, отчасти в русле общих представлений по тому или иному вопросу, отчасти провоцируя эти общие представления подвергнуть, так сказать, ревизии. Как-то он заявил, что Америка — это страна комиксов и вестернов, и это лучшее, что было за всю ее недолгую историю. После лекции он подошел к нему и сказал: Ну ведь вы не на самом деле думаете, что не существует американской культуры? — Вы будете удивлены, — сказал профессор, — но я так думаю на самом деле. — А как же нам



быть, — спросил он, — с Хемингуэем, Эдгаром По, Фолкнером, Уитменом, Стейнбеком, Фростом? — Понимаете ли, — сказал профессор, — жизнь так устроена, что в ней бывает, что то, что кажется, то и есть на самом деле. Стейнбек — там говорить не о чем. А Фолкнер давно стал для американцев комиксом, и не самым, поверьте, их любимым комиксом. — Но ведь это всё глупости, — сказал он. — Такие же глупости, как то, что говорила одна старуха, которая потом умерла с перепугу, помните, она говорила: А разве бывают русские романы? Или вот еще вам похожая глупость — о том, что Толстой был неумный человек. — Толстой был очень умный человек, — перебил профессор, — а то, что он часто говорил глупости, так это было необходимо. — Зачем? — спросил он. — Понимаете ли, — сказал профессор, — хороший писатель всегда очень хитрый человек, а это очень хитрое дело быть бесхитростным, потому что обаяние бесхитростно, а только обаяние способно подчинять. — Мне всегда казалось, — возразил он, — что ум и хитрость вещи противоположные и хитрость — она всегда от недостатка ума, она дается как компенсация этого недостатка. — Вот тут вы ошибаетесь, — сказал профессор, — хитрость — это свойство ума, точно так же, как ловкость — свойство развитой мускулатуры. Однажды на своей лекции, со своей всегдашней, чуть виноватой улыбкой, он рассказал следующее: Говорят, Гесиод в поэтическом состязании выиграл у Гомера бронзовый треножник. Когда оба состарились, Гесиод принес этот треножник Гомеру и сказал: Гомер, помнишь, очень давно, я выиграл у тебя вот эту штуку, потому что меня признали лучшим поэтом. Это была ошибка. Меня это всегда мучило. Я пришел отдать тебе то, что принадлежит тебе по праву, и поздравить тебя с победой. — Что это? — спросил Гомер, потому что он был слепой и не видел ни Гесиода, ни того, что Гесиод принес с собой. Это треножник, — сказал Гесиод. — Ты, Гомер, очень постарел и, наверно, всё забыл. — Ничего я не забыл, — сказал Гомер. — Брось свой треножник вон в ту кучу и садись к огню. Гесиод посмотрел и увидел в стороне большую кучу треножников, очень похожих на тот, который он держал в руках. Гесиод долго молчал, и слезы катились из его глаз. Из этой его речи он вынес гораздо больше, чем из всех шести лет сидения на университетской скамье. Хотя бы то, что мозгами понять ничего нельзя, и что голые ляжки на картинах Рубенса на стенах галереи в начисто разбомбленном и после отстроенном заново городе Дрездене — это просто плоть, а то, что теперь принято называть постмодернизмом, началось, быть может, с рафаэлевских озорных ангелочков, очень человеческими глазами взирающих на Богородицу, а может быть, еще раньше, с гомеровских вочеловеченных богов, удовлетворенно засыпающих после полового акта, как, наверно, большой художник, или писатель, или ученый, носитель гуманистического идеала, о котором так любят порассуждать в университете, должен засыпать, с сознанием выполненного долга, после своего очередного творческого акта. Еще он понял, что нет поэзии, есть русская поэзия, когда-то поэзия была по-немецки и, возможно, по-французски, но это в прошлом, а будет ли поэзия в будущем или нет, он не знал, но знал, что если будет, то она может быть только по-русски, как только по-русски может быть грусть, а грусть по-немецки или по-английски возможна, но только если у немца или англичанина возникли затруднения делового характера либо частного порядка. На первый извечный русский вопрос он, конечно, не знал ответа, но в нем росло чувство, что виновата как раз та культура, в разрушении которой и требовалось найти виновных, она, как степной пожар, истощила саму себя, потому что в ней было чему истощаться, потому что изначально, и никто этого никогда не скрывал, она была материальной культу-

рой, — даже та ее часть, которая всегда претендовала на роль культуры духовной. Возможно, те, кто ее создавал, недоглядели что-то, в чем-то солгали, что-то сделали наспех, дескать, и так сойдет, а оно не сошло, и теперь их потомки, то есть он и его современники, глядя на развалины того, что еще совсем недавно называлось культурой, пожимают плечами, кто равнодушно, кто с искренним недоумением, но сделать уже ничего нельзя, потому что нельзя ничего вернуть, можно только постараться повторить с примерной точностью, и это один из возможных ответов на второй извечный русский вопрос. Но вполне вероятно, что это плохой ответ, потому что, увы, и повторить ничего нельзя, так как если повторять, избегая по возможности тех ошибок, то обязательно совершишь новые, еще более страшные, но и начать с начала, с чистого листа, как будто ничего не было, тоже нельзя, ибо у того, что было и что с неизбежной необходимостью должно быть, нет ни начала, ни конца. Однако всё безотчетное и необъяснимое бывает не потому что, а несмотря на то, что, и он любил Пушкина, несмотря на то, что Пушкин, наверно, был плохой человек, и плохой человек был, скажем, Достоевский, а Байрон был сифилитик, а Василий Жуковский, воспитатель цесаревича, был гомосексуалист, равно как и Петр Ильич Чайковский, а Гумилев едва знал грамоте, а Бунин был хам и был довольно глуп, но что за дело ему было до их глупости и гомосексуализма, если он любил их всех. Сознание определяет, объясняет и проявляет бытие, и если, думал он, хотя бы малая часть из того, что написал Толстой в своей трилогии, правда, то это объясняет его дальнейшую жизнь и то, что принято называть творчеством; и если Толстой не понимал, что вера, она, как поэтическое дарование, либо есть, либо ее нету, и тогда обрести ее нельзя, как нельзя литератора научить писать стихи, то и Константин Левин этого не мог понимать, и не надо ждать от него большего, чем то, на что он способен. У него был знакомый, человек уже в возрасте, безаветно преданный театру, очень образованный и начитанный, а по совместительству писавший стихи. Это был классический тип графомана, в такой безнадежной степени лишенный поэтического слуха, что говорить с ним о стихах было как-то странно и неловко, — разговор сейчас же сползал на усеченные клаузулы, анжамбеманы и особенности тонической просодии. Когда этот знакомый выпустил очередной сборник своих стихов, а надо сказать, что он был известный в соответствующих кругах поэт, и подарил ему экземпляр и спрашивал, что бы ему надписать — стандартное, на добрую память, или что-то пооригинальнее, он полистал этот экземпляр и не выдержал и сказал ему: ну, Боже мой, ну всему же есть предел, зачем это всё, на что его знакомый отвечал с обезоруживающей откровенностью: Пишу, как могу. Еще он понял, что женщины лучше мужчин, не в грязном и греховном смысле, а в чистом, феноменологическом, так сказать, смысле этого слова. Лживость женщины не так умна, как ложь мужчины, и потому не так грешна, она как будто изначально оправдана чем-то, и это что-то не разум и не чувства, а куда более высокая инстанция, лживость ее прямолинейнее и честнее, чем ложь мужчины, а предательство ее не смертный грех, а почти каприз или слабость, которой невозможно противостоять, как человек не может противостоять похоти или чревоугодию. А может быть, это так просто потому, что женщина моложе мужчины и не так испорчена скепсисом, как он, тем райским скепсисом, скуки, безделья и блаженного успеха. В Матвеевском, за полночь, его остановили двое: карикатурный бандит и девушка, подчеркнуто определенного рода занятий, судя по внешности. Машину ловила именно девушка, бандит стоял чуть поодаль. Бандит сказал: Отвезешь ее в Крылатское. Понял? Задолбались ловить тачку. По-

няя? — Понял, — сказал он. Когда они отъехали, девушка сказала: Давай-ка на Цветной бульвар. — А твой друг на нас не рассердится? — спросил он. — Какой друг? — спросила она. — Который тебя провожал. — Ах, это. Это не друг, это просто кусок мяса. — Для многих людей, — сказал он, — кусок мяса — это лучший друг. Она засмеялась. — Да, — сказала она, — я бы сейчас с удовольствием съела хороший бифштекс. С кровью. И с картошкой. — Так в чем же дело? — спросил он. — Спать я хочу больше. У тебя есть сигарета? Он протянул ей пачку дешевой Магны. — Куришь такие? — Какая разница, — сказала она. Когда они приехали, она вышла из машины и сказала: Пошли. Он тоже вышел из машины. — Куда? — спросил он. — На кудькину гору, воровать помидоры. Пошли, пошли, денег не возьму. — Извини, — сказал он, — но я не могу. — Почему? — спросила она. — Я женат, — сказал он. — Я еще никогда не встречала неженатых мужиков, — сказала она. — Ты ее, типа, любишь? — Да, — сказал он. — Дай мне сигарету, — попросила она. Он дал ей сигарету, и они молча курили, облокотясь на машину, только один раз он сказал ей: Не испачкайся, — потому что машина была грязная, но она махнула рукой. Она порылась в кармане и дала ему тысячу рублей. — Здесь слишком много, — сказал он, — я сейчас принесу сдачу. — Оставь, — сказала она. — Я сегодня хорошо заработала. Проститутки были такой же незаконной и неотъемлемой частью жизни ночного города, как он сам, и он чувствовал какую-то, почти спиритическую, с ними связь или даже родство. Одно время, на Таганке, недалеко от вестибюля метро, под фонарем, постоянно стояла очень толстая проститутка, с сильно накрашенным полным круглым лицом с двойным подбородком, в невообразимой красной шляпе; проезжая в этом районе, он всегда загадывал, что если она и в этот раз будет стоять на своем месте, то все будет хорошо. Как-то ночью, зимой, он ехал по Волгоградке и, не доезжая до Кузьмино, увидел стоящую на обочине девочку, почти ребенка. Она не голосовала, но он подъехал к ней и остановился. Она всунула голову в наполовину открытое окно и заученно сказала: Я работаю. Тогда он понял. — Можно в машине, — сказала девочка. — Если в рот, то пятьдесят рублей, а если так, то сто рублей. Он протянул ей пятьдесят рублей. Она убрала деньги и стала дергать ручку двери, но он отжал сцепление, медленно, чтобы она не ушибла руку, тронулся с места и уехал.

Он тоже любил театр. Ему было безразлично, плохая это пьеса или хорошая, но само ее течение, тяжелое и бессмысленное, похожее на течение самой обычной жизни или на неприятный сон, который тем не менее потом почему-то обязательно нужно вспомнить, как будто от этого что-то зависит, доставляли ему странную и волнующую радость; он любил запах театра, в основном это был запах пота и дыхания актеров, часто несвежего, нездорового, это хорошо чувствовалось, если сесть в первом ряду. У него был любимый театр, он находился в старинном городском саду, по сути это был очень большой сарай, одноэтажный, с простыми сиденьями, как в дешевом кинотеатре, без всяких балконов и прочих излишеств, с просторной сценой; впрочем, что-то вроде общего балкона там было, он существовал для технических нужд, очень часто, если поднять голову, можно было увидеть там худрука театра, вернее, не всего худрука, а его лысый, до блеска выбритый череп. Худрук считался выдающимся драматургом, он нередко ставил в своем театре пьесы собственного сочинения, всегда это были компиляции из Достоевского, Маркеса или на какую-нибудь историческую тему, старательно сделанные так, чтобы было понятно, что это «о вечном», по ним были видны широчайшие познания ав-

тора в самых разных сферах и какая-то детская, что ли, беззащитная бездарность, настолько очевидная, что думать о ней что-то злое, хотя, быть может, и справедливое, казалось делом нехорошим и постыдным. Зато в этом театре были замечательные актеры. Они были вынуждены играть всю эту чепуху, и чепуха непостижимо преображалась; наверное, это чувствовали не все зрители, потому что к началу второго действия в зале обычно оставалось всего несколько человек, но он это чувствовал остро, настолько остро, что не мог хорошо видеть сцену из-за слёз, которые он стеснялся вытирать, ему почему-то казалось, что кто-нибудь из актеров вдруг перестанет играть, укажет на него пальцем и скажет: смотрите, мы тут криваемся, а этот чужак плачет, — хотя, конечно, умом он понимал, что актеры никогда не выдадут его, потому что для любого актера нет ничего дороже его слёз. По ходу одной пьесы актер выбежал в проход между креслами и, поскольку того требовал драматургический замысел, оторвал голову у большой куклы, которую держал в руках. Из куклы, прямо на зрителей, полилась вода, несколько тётенок, чертыхаясь, побежали из зала, он сидел весь мокрый и даже не замечал этого. Иногда худрук позволял играть в своем театре что-то, так сказать, традиционное, и это был праздник; вряд ли актерам был нужен кто-то, кто стал бы им объяснять, как нужно играть, скажем, Зойкину квартиру, и они играли ее, с тем самозабвением, какое отличает людей, одаренных Божьей милостью, череп худрука победно горел под потолком, зрители не уходили до конца спектакля, а в конце долго хлопали и кричали «браво». Впрочем, ему меньше нравились «проверенные» пьесы, они, как правило, были настолько хороши, что притягивали к себе, вынуждая к вниманию, и когда один актер, уже немолодой человек, талантливый и несчастный, пивший горькую все время, пока не был занят на сцене, провозглашал своим особенным, хрипловатым, ни на кого не похожим голосом: Домком око недрёманное! — и во всем этом — от соединения грусти и обреченности таланта, спокойной радости зрителей, которые видели то, что им понятно и приятно, почти что аскетической бедности и простоты помещения, нарочитой, а может, и нет, ошибки в ударении, поздней осени и позднего уже часа — была та невыразимая прелесть, природа которой неопределима, но ему не хотелось прельщения этой прелестью, страшной и незаконной, но воспринимаемой всеми или почти всеми, ему хотелось пустоты худрукских пьес, как будто нарочно лишенных теплоты и обаяния, чтобы место этой пустоты заняло что-то, выступившее из темноты и заполняющее каждую клеточку его души, как однажды из темноты выступила жизнь и заполнила каждую клеточку его существования. Он думал, что, возможно, худрук не так уж и прост и понимает гораздо больше, чем ему кажется, и делает все это специально, потому что знает, как это устроено, то есть знает то, чего не знает никто, и это род гениальности, возведенной в такую степень, которая отрицает все мыслимые категории и даже само это неопределенное и чуждое жизни понятие — гениальность, но если это так, то выходило, что пишет худрук свои пьесы, а актеры играют их только для него, и между ними давно установилась некая, странная и призрачная, связь; и он смотрел эти пьесы, не видя лиц и не слушая слов, потому что тайна была не в тех словах, которые произносили актеры, эти слова были только очень сложным и длинным паролем, своего рода «символ откройся», и вот, поворачивался какой-то тайный механизм и поток жизни устремлялся из темной глубины и захлестывал его, ему казалось, что этот поток, как из молекул, состоит из слов, но слова не соединялись в предложения, они оставались словами, каждое из которых имело бесконечное количество смыслов, поэтому предложения были не нужны, и был

общий смысл, который определялся двумя словами, значение которых неизвестно, поскольку его, даже отдаленно, нельзя передать другими словами, — это любовь и тоска. Он знал, что его жизнь, с самого начала, представляла собой абсолютную бессмыслицу, хуже всего, что это была скучная, жестокая и беспросветная бессмыслица, и он видел, что такой же точно жизнью живут все люди вокруг, но он знал еще, что если бы ему предложили что-то изменить в его жизни, чтобы от этого изменения его жизнь стала бы качественно иной, осмысленной, красивой и счастливой, то он бы сразу, не думая, отказался, и тому была очень важная причина: он знал, что он живет своей жизнью. Это было безошибочное чувство, похожее на внутренний слух, он слышал тихий мелодический звон внутри того пространства, которое он обозначал словом «я», как будто тихо звучал старый бабушкин камертон, этот звук, задумчивый и печальный, никогда не прекращался, даже во сне, без него он не мыслил себя, если бы этот звук исчез, он бы понял, что его самого больше нет. И такой же точно звук, как будто эхо его собственного звучания, он раньше, по временам, слышал доносящимся извне, идущим от других людей, с которыми он сближался или жизни которых проходили рядом с его жизнью. Но с некоторых пор это прекратилось, звук этот четко локализовался в нём, а вокруг него наступила тишина, значения которой он сразу не осознал, но сразу почувствовал, как сжалось сердце, а сердце всегда так сжимается только в одном случае — когда то, что происходит, непоправимо. Гул жизни затих, осталась постепенно замирающий скрежет, это еще движутся по инерции шестерни и маховики, еще слышно легкое дребезжание, как будто в отдалении едет на велосипеде деревенский почтальон, который, впрочем, умер еще в прошлом веке, и на его велосипеде дребезжит разболтавшаяся цепь; возможно, тоска — это и есть одно только бесконечное дребезжание цепи на старом велосипеде, и скрип колес по песку, и звяканье велосипедного звонка, когда велосипед наезжает на кочку, и долгое шуршание шин, когда велосипед переезжает лужу, перегородившую старую деревенскую дорогу, без которой лужи ни одной настоящей дороги невозможно себе представить. Однажды, поздним вечером, его остановили трое — две молодые женщины и парень; они уселись вместе на заднем сиденье, хотя так им было тесно, по их разговору между собой он понял, что они служат в каком-то театре. Они были в том легком подпитии, когда человек уже не старается скрыть своего настроения и казаться приятным для других. Парень раздраженно спросил, почему в машине пахнет бензином, он отвечал в том смысле, что бензином пахнет, видимо, потому, что машина ездит на бензине, и парень потерял остатки дипломатии. Говорил он исключительно со своими спутницами, его он не удостоивал внимания, но говорил он как раз о нем, причем в собирательном значении: Как же надоело это хамло, это быдло, они думают, что они люди, а они уже давно не люди, вернее, они никогда людьми и не были, вот этот всю жизнь крутит баранку, а читает, конечно, по складам, вернее, ничего не читает, и ни о чем не думает, и ничего ему не надо, кроме как набить брюхо и завалиться спать. А он слушал с грустью, и молчал, и думал, что это очень хорошо, что они сели именно в его машину, это большая удача, потому что этого парня могли ударить за его слова; и еще он думал, что то, что говорил этот парень, неправда, неправда по самой сути, и все же он почему-то имел право говорить эту неправду, нет, не так, не имел право, но должен был говорить эту неправду. — Ой, мы такие пьяные, — сказала одна из женщин, когда расплачивалась. Она прятала глаза. Власть, гордость, влечение, страх, тревога. Все эти вещи не движут жизнью, а тянут ее в разные стороны, отчего жизнь остается сто-

ять на месте, и стояла бы она на своем скромном месте веки вечные, если бы не одно — вина; жизнь движется виною. Вина у всех одна, думал он: мы все повинны смерти. Вот он, например, он знал это и мучился от этого, виновен в смерти своего отца, человека, который за всю свою жизнь не только не ударил никого, но даже не сказал никому грубости, быть может, даже не думал никогда ни про кого плохо, хотя это не позволяется человеку, человеку так нельзя, это можно только святому. Теперь его вина движет его жизнью, он ездит на машине, как будто собирая подаяние, и дают ему эти деньги такие же виновные. Думать об этом невыносимо, лучше вообще не думать, из этого никогда не выходит ничего хорошего, человек однажды подумал и выдумал порох, а потом он выдумал бумагу, чтобы солдату было на чем написать письмо жене или матери, где он успеет сказать, как он их любит, перед тем как его убьют; лучше просто вспоминать, это ни к чему не обязывает и никому не может причинить вреда, и он вспомнил ту лестницу, и темноту, и ужас, который охватил его тогда. Он пришел после уроков к своей тетке, его мать и отец много работали, приходили поздно, тетка накормила его обедом, потом он долго шатался по улицам, вечером снова пришел в ее дом и от скуки вынул с полки первую попавшуюся книгу и стал читать, это была книжка карманного формата, из серии Будни чекиста, называлась она 84-й километр, там были собраны милицейские рассказы. Рассказы были вполне жуткие, написаны они были таким примерно языком, каким писал свою фантастику знаменитый писатель Беляев и каким очень скоро стали писать все советские писатели, кто — про чувства на фоне справедливых производственных отношений, кто — про честь и про совесть, полагаая, видимо, что про совесть как ни напиши, всё выйдет хорошо. Там был рассказ под названием Черная Марфа. Марфой звали старуху, к которой приехали какие-то знакомые, остались у нее ночевать, а она случайно узнала, что у них с собой большая сумма денег, и ночью она убила их топором, потом этим же топором разрубила тела в ванне, получившиеся куски сварила на плите в больших кастрюлях и оттащила в мешках, по частям, в лес. Старуху разоблачили, судили и приговорили к расстрелу. Еще там был рассказ, давший название всей книге. На обложке даже был рисунок, в черно-багровых тонах: ночь, луна, поворот дороги, удаляющаяся по этой дороге машина, кювет, в кювете чахлая березка, рядом с березкой куча камней и по локоть торчащая из камней скрюченная человеческая рука. Было уже около одиннадцати, за окном шел дождь, мелкий и нескончаемый, как это бывает в ноябре, идти никуда не хотелось, но надо было идти домой. Он оделся и вышел на лестницу. Там было совсем темно. Можно было вызвать лифт, но он никогда не ездил на лифте. Он пошел по лестнице, это был девятый этаж, на восьмом этаже, где когда-то жила старуха Углова, ему показалось, что мелькнуло что-то белое; это белое пропало на какое-то время и вдруг снова появилось. Он вспомнил мертвую человеческую руку, торчащую из камней, еще он вспомнил ангела, о котором рассказывал дедушка, ангел жил на огромной высоте, там было очень холодно и одиноко; внезапно его охватил ужас, какого он еще не знал, и он бросился бежать вниз по темной лестнице, спотыкаясь на ступеньках, а за ним двигалось это белое, молча и неотступно, и он тоже бежал молча и не останавливаясь, почему-то зная, что если сейчас остановится или закричит, то произойдет что-то такое, страшнее чего не бывает в жизни, потому что жизнь и это что-то — вещи несовместимые. Далеко снизу тускло пробивался свет, и он бежал к этому свету, целую вечность, на непослушных ногах, весь в липком и очень холодном поту; на площадке первого этажа горела слабая лампочка, белое отступило в темноту, он

толкнул дверь, закричала дверная пружина, и он оказался на улице. Там тоже было темно, фонарные столбы стояли серые и слепые, но было уже не страшно; он пошел к автобусной остановке, понемногу успокаиваясь под дождем. Автобус ходил редко, когда автобус подъезжал к остановке, его всегда было видно издалека; чтобы не ждать его потом, он, завидев его, обычно бежал на остановку, автобус притормаживал, как будто даря надежду успеть на него, после увеличивал скорость и первым подходил к остановке, раскрывал двери и стоял, гулко дребезжа, маленький желтый фургончик, наполненный желтоватым помаргивающим светом, в полной темноте, и когда он уже подбегал к задней двери, автобус вдруг трогался с места и начинал медленно катиться вперед, он уже почти вскакивал на нижнюю ступень, почти уже ухватывался за большую гнутую ручку, установленную в середине дверного проема, но тут автобус захлопывал двери и уезжал. Многие люди, он видел это много раз, еще долго бежали за автобусом, маша руками и ругаясь, они не могли смириться с тем, что происходило каждый раз, всегда одно и то же; он всегда использовал ту надежду, которую ему дарил, хотя по опыту знал, что никакой надежды нет и в следующий раз все повторится так же, как было во все предыдущие разы, но он не мог отказаться от надежды, предать ее, однако, когда двери автобуса захлопывались, он не бежал дальше и не ругался, в нем не было злобы, он понимал что мир устроен так, как он устроен, и не то чтобы он устроен хорошо и правильно, но то, как он устроен, неизменно. И он понимал еще, это понимание было смутным и не облеченным в слова, что мир мог быть никак не устроен, его вообще могло не быть, и тогда не было бы ничего — ни синего неба, ни дороги, ни деревьев, ни речки с высоким берегом, где построили свои гнезда речные чайки, ни матери и отца, ни его самого, ни того белого, что гналось за ним по темной лестнице, ни этой лестницы, идущей от земли туда, вверх, где живет белый ангел, который отворачивает лицо, потому что не может смотреть людям в глаза, потому что знает об их жизни то, чего они сами еще не знают, но о чем уже догадываются, и он чувствует, что виноват перед ними, но даже он ничего не может изменить, совсем ничего.

Роман между Надеждой Павловной, учительницей математики в его школе, и Иваном Ивановичем, который у них же служил учителем физкультуры, проходил на глазах всей школы, а довольно часто попадал и на чужие глаза. Иван Иванович был человеком противоречивым: он был молчалив и необщителен и, казалось бы, внутренне сторонился людей, но при этом ему были нужны люди, их общество, их разговоры, смех, их постоянное движение вокруг него, наверное, с людьми его чувство одиночества притуплялось, он был, наверное, не из тех, кто, видя людей, слыша их голоса, чувствует себя еще более одиноким, чем оставаясь наедине с собой. Кроме того, Иван Иванович крепко пил. Его спортивная карьера, когда-то много обещавшая и довольно успешная, давно закончилась, несмотря на его молодость; к своим бывшим футбольным успехам он относился вполне безразлично, равно как и к тому, что их больше нет, хотя футбол любил. Наверное, он был просто, как многие русские люди, совершенно не честолюбивым человеком. Трезвый он молчал и был мрачен, выпив, становился словоохотливым, он знал бессчетное количество историй из спортивной жизни, которые рассказывал, усмехаясь, и было ощущение, что всю свою прошлую жизнь он считает зря потраченным временем, но совсем не стыдится и не жалеет, что всё произошло именно так. У него было удивительное и редко встречающееся качество — некая притягательная сила, обаяние, которому невозможно было и не хотелось

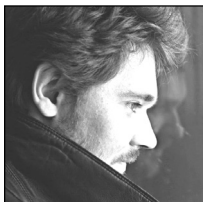
противиться. Впрочем, другой учитель физкультуры, Натан Абрамович, не любил Ивана Ивановича. У Натана Абрамовича было высшее образование, он закончил физкультурный институт, он вел правильный и здоровый образ жизни и умел правильно, с точки зрения педагогической теории, воспитывать вверенных его попечениям детей, а Иван Иванович кончил семилетку, потом работал на заводе, потом служил в армии и умел только играть в футбол и просто быть человеком. — Жалко мне твою молодость, — говорил Натан Абрамович, который был много старше Ивана Ивановича, — пропадает. Учиться тебе надо, годы пролетят, и останешься ты у разбитого корыта. — А я готовлюсь, — отвечал Иван Иванович. — Усиленно. На будущий год поступаю, будь уверен. — Но ты не ошибся с выбором? — спрашивал Натан Абрамович. — Ты в какой вуз поступаешь? — Еще точно не знаю, — говорил Иван Иванович, — но выбираю между МГИМО и Астрономической академией; и Натан Абрамович наконец понимал, что Иван Иванович издевается над ним. О похождениях Ивана Ивановича «на районе» часто рассказывали в школе и во дворе, многое при этом перевирая, но основное было верно: пьяный Иван Иванович любил подраться, и, несмотря на обрюзглость, одышку и живот, драться он умел, поэтому чаще всего побеждал в драках, а следы его многочисленных поражений можно было увидеть на его лице, поскольку, даже после бурных ночных походов, он никогда не пропускал занятий и утром всегда, как штык, был на работе. Отношения с Надеждой Павловной у них развивались трудно и болезненно: Надежда Павловна хотела, чтобы Иван Иванович остепенился, бросил пить, чтобы они поженились и зажили счастливо, чтобы он стал хорошим отцом для ее ребенка, девочки одиннадцати лет, которая была у нее от ее первого и единственного брака; Иван Иванович сопротивлялся всему этому. Но когда Надежда Павловна просто стояла рядом с Иваном Ивановичем, можно было сразу сказать: Иван Иванович любит Надежду Павловну, а Надежда Павловна любит Ивана Ивановича. Наденька, называл Иван Иванович Надежду Павловну; Надежда Павловна Ивана Ивановича никак не называла при людях и говорила ему «вы», а как она его называла, когда они оставались одни, неизвестно. Однажды они вечером шли вместе по улице, и какие-то парни, которых Иван Иванович знал, местная шваль, засмеялись, стоя, впрочем, на безопасном расстоянии, а кто-то из них громко крикнул: Фрекен Бок — самый сок! Иван Иванович поблднел и кинулся к ним, но они легко убежали от него. Директриса в школе, Раиса Иосифовна, к Ивану Ивановичу относилась, как к большому ребенку. Она ему иногда выговаривала, притом что это слышали ученики, что было, в общем, нарушением учительской этики и чего она ни с другими учителями, ни с уборщицами, ни с воровующей безбожно буфетчицей никогда себе не позволяла. Говорили, что Раиса Иосифовна сама ворует, но по рассказам это выглядело как-то странно — что на школу РОНО или кому там положено выделяет новую мебель, в основном это ученические столы и ученические же стулья, а Раиса Иосифовна столы и стулья свозит в сарай, который специально для этого приспособила у себя на даче, и потом продает. За руку Раису Иосифовну никто не ловил, но вместо столов и стульев в школе во многих классах действительно стояли старые парты и лавки, еще старорежимного образца, парты были с откидывающимися крышками, с дырками для чернильниц-непроливаек, все исписанные и изрезанные, так что если на них хотелось еще что-то написать, то приходилось ножиком счищать уже написанное, потому что свободного места не было; лавки были густо исписаны и изрисованы даже снизу и с внутренних боков. Раиса Иосифовна была пожилая, костистая, она носила седой шинь-



он и никогда не носила очков. Когда умер Леонид Ильич Брежнев, всех учеников собрали в актовом зале, работал на полную громкость старый черно-белый телевизор Рубин, а по сцене бегала Раиса Иосифовна, сцепив руки на уровне груди, и время от времени возглашала, перекиривая телевизор: Это был человек, который сгорел на своем посту! Он смотрел на суетящуюся Раису Иосифовну и думал: вот был человек, он прожил долгую жизнь, теперь он умер, и уже неважно, хороший это был человек или плохой, над ним смеялись, про него ходили анекдоты, иногда смешные, чаще не очень, теперь это кончилось, анекдоты будут сочинять про другого, который придет на его место, а его забудут быстро и насовсем, потому что он никого не убил, а если б даже и убил, все равно бы забыли, только чуть положе. — Иван, буду тебя увольнять уже очень скоро, — говорила Раиса Иосифовна Ивану Ивановичу. — За что, Раиса Иосифовна? — как школьник, спрашивал Иван Иванович. — А за что тебе надо? — говорила Раиса Иосифовна. — Я тебя за что хочешь могу увоить. — Я ни за что не хочу, — возражал Иван Иванович. — А если не хочешь, — говорила Раиса Иосифовна, — перестань пить хотя бы в тренерской, ты школу спайишь. Ивана Ивановича заложил Натан Абрамович, он сказал директорисе, что в последнее время, по утрам, в тренерской бывает накурено и что он нашел пустые бутылки за батареей. — Я брошу, — сказал Иван Иванович Раисе Иосифовне, — честно. — Ага, — сказала Раиса Иосифовна, — а я выучу китайский. В последнее время с Иваном Ивановичем что-то происходило, он стал задумчивый и медлительный; иногда он неразборчиво бормотал себе под нос. С Надеждой Павловной у них было нехорошо. Однажды, после большой перемены, когда начал звенеть длинный, нескончаемый звонок, примерные девочки-отличницы первые зашли в класс, а там сидела Надежда Павловна, за своим учительским столом, она не ждала их так рано, она отняла руки от лица, все ее лицо было в слезах, слезы капали на школьный журнал. Незадолго до той ночи Иван Иванович упал прямо на уроке, но тотчас же встал; он махнул рукой, дескать, продолжайте, я сейчас, и ушел в тренерскую, а через десять минут вышел как ни в чем не бывало. Это был выпускной год; осенью умер Брежнев, потом наступила весна, стоял март месяц, странный март странного года, когда казалось всё неизбежным более чем когда бы то ни было и было понятно, что всё кончается, потому что наступает что-то новое, и было также почему-то понятно, что это новое будет еще более неизбежным и кончится еще быстрее, чем ушедшее старое, наверное, потому, что старое — это было детство, а теперь начиналась жизнь. В ту ночь шел снег, утром было похоже, что началась зима. Когда он пришел в школу, в школе было переполох. Буфетчица, которая по утрам приходила раньше других, нашла Ивана Ивановича лежащим на маленькой лестнице, ведущей из спортивного зала наверх, на площадку первого этажа. Она стала его тормошить, но он был в беспамятстве. Она побежала звонить в скорую и директорисе, директориса примчалась скорее скорой, она жила неподалеку от школы, они вдвоем стали приводить Ивана Ивановича в чувство, и опять ничего не получилось, потом, на ржавом белом пикапе, приехал пожилой санитар, предводительствуемый пожилым же фельдшером, они погрузили Ивана Ивановича на носилки, подняли и попытались его нести, но не смогли нести его долго, потому что Иван Иванович был тяжелый, и тогда в носилки вцепилась директориса, которая воровала столы и стулья у советских школьников, и буфетчица, которая у советских школьников воровала коржики и творожные сырки, такой сырок можно было незаметно подложить кому-нибудь на стул, директориса не все их украла, и выходило очень смешно, хотя смешного здесь, конечно, ничего нет, и вчетвером

они оттащили Ивана Ивановича к машине и засунули его туда. — Он ведь живой? — спрашивала директриса санитаря, который, на ее взгляд, был больше похож на врача, чем фельдшер, потому что время от времени важно покашлявал. — Живой, — отвечал санитар. — А жить-то будет? — спрашивала директриса, она любила Ивана Ивановича, в чем не было ничего удивительного, потому что Ивана Ивановича любили все, даже Натан Абрамович, который Ивана Ивановича не любил, все же в глубине души относился к нему хорошо, просто он завидовал Ивану Ивановичу, а зависть очень портит человека, даже такого хорошего человека, как Натан Абрамович. — Мы сделаем все, что в наших силах, — сказал санитар. Ивана Ивановича отвезли в больницу. Надежда Павловна поехала туда и была там все время, но ее к нему не пускали. В сознание он не приходил. Сначала Надежда Павловна думала, что он упал и ударился головой о ступеньку, потому что была сильно пьян, но врач ей сказал, что он вообще не был пьян и что у него кровоизлияние в мозг. Еще врач сказал Надежде Павловне, что надежды нет никакой, и что чудес не бывает, и что надо приготовиться к самому плохому, и что они подержат его, конечно, на аппарате, сколько это будет возможно, но вообще аппарат нужен живым людям, а кем вы ему приходитесь? коллега по работе? да, очень горько и нелепо, очень молодой, такому жить бы да жить, а тут вот так. Надежда Павловна плакала, сидя на узенькой банкеточке в коридоре, и вытирала свои близорукие глаза платком, который был уже давно безнадежно мокрый. Наверное, он чувствовал, что приближается что-то, что очень сильно изменит его жизнь, человек не верит в свою смерть, как не верит в Бога, потому что смерти нет в жизни, и Бога нет в жизни, а человек не может верить в то, чего нет, но когда то, чего нет, приближается, он чувствует это. С позднего вечера он сидел в маленькой тренерской позади спортзала, в полной темноте, и курил одну сигарету за другой. Он ждал и думал. О чем думает человек, когда он чувствует, что это, возможно, последние его мысли? В каждой человеческой мысли, в любой его мысли, есть главное, но это главное неуловимо, при любой попытке сконцентрироваться на нем, поймать его, оно ускользает. Может быть, любая мысль — это слабость, потому что мысль и вечность суть одно и то же, а вечности не нужна сила, она сильна тем, что ее нет. Сила — в тайне жизни, а таинственное бессмысленно. Но, быть может, последние мысли — они не любые, они особенные? И вот, он думал свои особенные мысли, сидя в темноте, в маленькой комнатке, заваленной всякими отслужившими свой век спортивными принадлежностями, погнутыми обручами, прохудившимися мячами, какими-то кедами без шнурков, лыжами с выдранными с мясом креплениями, там был даже гимнастический конь с напрочь отломанной ногой, и курил сигареты, прикуривая их одну от другой, и аккуратно складывал окурки в консервную банку, которая служила ему пепельницей. И когда, мягко и почти не больно, ударило в голову, и он вдруг очутился на полу, и его стошнило, и он почувствовал, что тело не виноватое ему, он не испугался и не удивился, да и некогда было удивляться, потому что у него было еще одно дело, которое он должен был сделать. Он выполз из тренерской, оскользаясь руками и ногами в собственной рвоте, и попытался встать. Не сразу, но у него это получилось, половина его тела была парализована, но другая половина еще действовала с трудом, и он пошел вдоль стены, в темноте, хватаясь рукой за стену и оставляя на ней рвотные пятна, потом начался ряд шведских стенок, и идти стало легче, потому что можно было хвататься за их перекладки, но вот шведские стенки кончились, и он снова упал, и больше уже не смог встать, и пополз через весь спортивный зал, огромный, ночной и гулкий, к выходу. А за окнами шел

снег, окна были забраны в решетки, чтобы стекла изнутри нельзя было разбить мячом, в порядке компенсации стекла часто били снаружи, а теперь снаружи метался снег и отбрасывал внутрь странные, движущиеся тени, и тени от решеток лежали на полу, похожие на тени от витражей в готическом храме, и белое кружилось над ним и плыло за ним, но ему не было страшно, потому что страшно бывает только непосвященным, а он был уже посвященный, он просто спокойно делал свое последнее дело. Он полз несколько часов и наконец достиг выхода из спортзала и выполз на площадку, с которой одна лестница, короткая, вела наверх, в вестибюль, а другая, длинная, опускалась в подвал. В подвале находились раздевалки, где нужно было переодеваться для уроков физкультуры, это были мрачные и душные казематы, с идущими по стенам трубами отопления, раскаленными зимой; еще там была отдельная, самая мрачная, комната, она служила для того, чтобы хранить макулатуру, которую школьников заставляли приносить время от времени. Эта комната уходила в темноту, в неизвестность, она освещалась одной слабой лампочкой под низким потолком. Она была забита газетными тюками, разорванными книгами, валявшимися, как осклизлые внутренности на бойне, журналами, кусками оберточной бумаги и картона; в ней держалась сырость и затхлость, потолок к ее задней части понижался, там было совсем темно, и, кажется, в стене там было отверстие, небольшой лаз, который вел куда-то, в ужас и черноту, быть может, она сообщалась, малюсенькой трещинкой, с тем жутким и злоеущим, что обычно называют адом и что, наверное, и есть ад. Он пополз мимо этой черной лестницы, а оттуда, снизу, из темноты, что-то молча звало его, пыталось дотянуться до него, толкалось в него ужасом, и его сердце, которое и так было наполовину парализовано, пропускало по несколько ударов, но белое кружилось над ним и плыло за ним и охраняло его, и он полз вверх, все выше и выше, все ближе и ближе подступая к такому месту, которого нет, никогда не было и не будет.



## Алексей КИЯНИЦА

*/ Санкт-Петербург /*

\* \* \*

в жаркой узкой постели  
 меня несет  
 заснеженная ночь  
 протянувшаяся от Питера до Москвы  
 промелькнувший фонарь  
 всполохом вырвет из тьмы  
 неподвижное  
 будто мертвое  
 лицо

\* \* \*

листаю Контакты в своем мобильном  
 кто все эти люди?  
 зачем я записывал номера их телефонов?  
 верстовые столбы на бездорожье

\* \* \*

вот уличные художники  
 вот шапки матрешки  
 события дня не соединяются движением  
 лишь временем  
 которое я заполняю созерцанием  
 я снова приезжий здесь  
 в сквере подует ветер  
 и на меня опустится осенняя тьма  
 другие  
 бабушка уходит в гастроном  
 дед едет на дачу  
 закрывать виноград на зиму  
 целлофановой пленкой  
 я остаюсь один  
 рисовать фломастерами в альбоме

те из кого я состою  
 уходят все дальше и дальше  
 теряясь из виду в сияющей мгле

мы это другие  
 мы есть  
 пока отражаемся в ком-то

\* \* \*

выдернуть себя за волосы  
 из жизни медово тягучей и вязкой  
 в которой солнце  
 велосипедные прогулки  
 ночные купания  
 посиделки в саду  
 под звон комаров и цикад  
 священнодействие  
 над жертвенником-мангалом  
 и выстрелить собою  
 электричкой в дожди и заботы

\* \* \*

днем холодным и тонким  
 как лабораторное стекло  
 город расцветал красным  
 будто степь маками

музыка дробилась эхом над улицами

дома плыли в танце казашки  
 по крышке коробки шоколада  
 от казенных щедрот

на площади генеральский рокот  
 и уханье парадных колон на марше

и гасли в выжженном небе искорки  
 сбежавших воздушных шариков

а после машины  
 с желтыми покатыми спинами  
 сметали в арыки пышными усами  
 разноцветный мусор

\* \* \*

поезда причаливали не носом а бортом  
 рельсы не кончались городом  
 не обрывались перроном  
 а продолжались мимо всего

в азиатскую бесконечность  
 вот-вот вздрогнет пол под ногами  
 и будет качаться в окне  
 бескрайний серо-желтый закат  
 взлетать и падать черные параллели  
 но я никуда не еду  
 мы провожаем тетку в Москву  
 я возвращаюсь домой  
 оставляя за спиной сталинско-ампирный вокзал  
 и город окружает меня со всех сторон  
 ставший вдруг незнакомым

\* \* \*

они командовали фронтами и армиями  
 они брали европейские столицы  
 они шли в сверкании орденов  
 по Красной площади

но одного лишь блеска  
 его неподвижного пенсне  
 было им достаточно чтобы  
 почувствовать себя лежащими  
 опущенными под шконкой

в том декабре  
 они с наслаждением топтали это пенсне  
 на бетонном полу  
 своими хромовыми сапогами

\* \* \*

а потом  
 вместе с людьми  
 которые протискиваются  
 с чемоданами через турникеты  
 и внимательно читают  
 названия станций  
 я снова спущусь в метро

меня опять понесет по трубе перехода  
 мои руки свободны  
 скрипка канючит что-то на тему Свиридова  
 перегон томительно длинен  
 но я уже не спешу никуда

тишина  
 включу свет в коридоре  
 вот я и дома  
 но теперь в нем все так  
 будто нет меня здесь вовсе

\* \* \*

в эту нескончаемую эпоху  
 ничего не меняющих перемен  
 снова и снова собираем камни  
 снова и снова швыряем их друг в друга  
 поминая древние обиды  
 не попадаем ни одним  
 барахтаемся в пыли  
 плюемся кусаемся царапаемся  
 и затихаем обессилив  
 Время  
 не бойся  
 еще не скоро  
 меня еще много

\* \* \*

пейзаж как на фото  
 в большой советской энциклопедии  
 знойный градиент коричневого  
 контуры размыты

сигарета зажата  
 между пальцами с черными ногтями  
 солдаты в линиялом х/б  
 сидят на корточках  
 неподвижно смотрят  
 изюминами азиатских глаз на пустую дорогу  
 сплевывают в пыль сквозь зубы

у них за спиной  
 ворота с красными звездами  
 желтая стена  
 увитая ржавой шипастой лозой  
 за стеной корпуса  
 бессмысленно чернеют пустыми окнами  
 валяются на кафельном полу  
 разбитые пробирки колбы  
 противогазы резиновые перчатки  
 стенды с портретами передовиков производства

\* \* \*

то ли говорю?  
 то ли делаю?  
 то ли думаю?  
 так ли люблю?  
 во что верю?  
 мой нескончаемый самосуд  
 Алма-Ата

не то провинция не то столица  
 прямые углы повсюду  
 дворцы грандиозны  
 как решения съезда партии

стадионы и дома культуры  
 рапортуют об успехах республики  
 за истекшую пятилетку  
 фонтаны и липы  
 аплодируют стоя  
 меж высоток сельские острова  
 частной застройки

на эту дальнюю орбиту  
 относило из эпицентра галактики  
 осколки больших взрывов  
 бомб и голодной смерти  
 комсомольских путевок  
 а кого-то по приговору

\* \* \*

идти в сумеречном бесцветии  
 будто через анфиладу  
 отражающихся друг в друге зеркал  
 по пустым улицам  
 над опрокинутым колышущимся небом  
 в конце концов застрять в кабаке  
 в котором теплится что-то похожее на жизнь  
 потому что здесь в сущности незачем куда-либо идти

\* \* \*

чайник идет с плиты на взлет  
 канал Евроньюс рассказывает  
 про кризис в Греции  
 я выхожу из дома  
 иду по улице Льва Толстого  
 потом по Каменноостровскому  
 бывшему Кировскому проспекту  
 я двигаюсь с уверенностью ученой крысы  
 бегущей по лабиринту  
 и вдруг будто врезаюсь в невидимую стену  
 я понимаю что забыл  
 куда и зачем иду  
 смотрю по сторонам  
 и не узнаю того что вокруг  
 повсюду в реальности дыры  
 в которых зияют ребра каркаса  
 и дуют потусторонние сквозняки



\* \* \*

солнце будет лететь  
цепляясь за ветки  
толпа вынесет меня  
из вагона  
и устремится к автобусу  
остановуюсь  
не торопясь закурю  
и пойду в придорожной пыли  
мимо магазинов  
торгующих сборными дачами  
с шашлыками в комплекте  
мимо серокаменных вилл  
и домиков помнящих финский  
стараясь не упустить ни единой секунды  
этого вечера

Жара

Какая-то тетка

забивает в мой мозг мегафоном слова  
про экскурсии по рекам и каналам.

На улицах теплый снег.

К коже липнет воздух.

Солнце льется

медленной мутной рекой.

Иностранцы ходят походками ангелов

почти не касаясь земли

целясь фотоаппаратами

бесстрастно.

\* \* \*

Заблудиться в метель

среди пересечений

питерских параллелей,

где синие тени пляшут под фонарями

на золотистом снегу.

Среди искривлений

пространства и времени

на Васильевском и Петроградской.

И выйти в детство и лето.



## Татьяна НИКОЛЬСКАЯ

*/ Санкт-Петербург /*

### КУСУСЛИК

Исчез Кусуслик. Трехцветный кот с кляксой на носу, желтыми разводами на мордочке, черными лапками в белых полосках. Исчез и адреса не оставил. Может быть, выбежал в открытую дверь, когда уходили гости, и бродил теперь у помоек, пытаясь разжалобить сердобольных старушек. Может быть его подобрал «на счастье» кто-нибудь из жильцов нового дома и наказывал сейчас, таская за загривок и тыкая мордой в лужу, за то, что Кусуслик неизменно следовал правилу: «Хорошо быть кисою, хорошо собакою, где хочу пописаю, где хочу покакаю». А может быть, в это не хотелось верить, Кусуслик не усидел на рейке открытой форточки, свалился с пятого этажа и вряд ли был счастлив в последние мгновения своей кошачьей жизни, падая вниз головой — не человек ведь.

Хозяйка напрасно облазила задворки, лестницы и чердаки — никто не видел трехцветного кота. Особенно тяжело ей было ночами. Кусуслик обычно спал в ногах или на груди, а утром, проголодавшись, залезал под одеяло и кусал хозяйку за пятку — есть хочу. Ей приходилось вскакивать и доставать из холодильника рыбу. Больше всего любил кот молоко, от которого его слабило. Когда хозяйка ела творог с молоком, он, чуя любимое лакомство, вспрыгивал ей на колени и тыкался мордочкой в блюдце, быстро перебирая шершавым язычком. Когда Кусуслик был маленьким, он жевал и вылизывал одежду хозяйки, но пушистому зверю все сходило с лап. Его не наказывали, за ним терпеливо убирали. Кот прекрасно знал, что ведет себя нехорошо, опорожня желудок вдали от специальной миски. Он старательно сгребал свои какашки в одну кучку, которую прикрывал тряпкой или газетой.

С каждым днем отсутствие Кусуслика все сильнее ощущалось хозяйкой. Не надо было ходить в магазин за треской, излюбленной птицей зверя, менять воду в блюдечке. Хозяйка почти перестала выходить из дома, избегала встречаться со знакомыми, которые могла спросить про здоровье кота. Но и дома она не находила себе места, не могла заниматься и даже читать. Она сидела, курила и вспоминала привычки своего любимца: как его привлекало все шуршащее, и

он внезапно бросался на распечатываемые сигаретные пачки, путая гостей своими прыжками, как однажды, когда гости долго не уходили, а хозяйке хотелось спать. Кусуслик почувствовал ее состояние, полез под стол и стал по очереди кусать за ноги всех гостей до тех пор, пока они не начали откланиваться. Пусто стало в доме. Лучшее лекарство от любви — новая любовь. Но хозяйка не решалась завести нового кота. Она знала, что будет все время сравнивать его с Кусусликом, которого не уберегла, а другого такого кота, казалось ей, найти невозможно.

Как-то вечером к хозяйке пришел гость, ее старый приятель. Он прослышал про исчезновение кота и решил отвлечь хозяйку от мрачных мыслей. Для этого гость захватил с собой бутылку водки. Хозяйка накрыла на стол. Но от выпитых рюмок настроение не улучшилось. Не помогло и испытанное средство — пластинки прошлых лет, которые хозяйка любовно собирала. Обычно, слушая их, она вспоминала детство, патефон на даче, который надо было подкручивать специальной ручкой, и не забывать менять иголки. Вспоминала танцплощадки в домах отдыха, на которые ее по малолетству не пускали; школьные вечера, где девочки танцевали друг с другом стилем, а мальчики наблюдали, сбившись в кучу; танцы на площадях в дни торжеств, когда танцевали в пальто, трясучкой, то ли от моды, то ли от холода. Вспоминались переделки, по большей части неприличные, модных песенок, которые переписывались на уроках и разучивались на переменах. В этот же вечер ничего не вспоминалось. Только Кусуслик. К своему собутыльнику хозяйка привыкла и поэтому не стеснялась размазывать выступавшие слезы кулаками по щекам и жаловаться на одиночество.

Водка была выпита. Приближалась полночь. Хозяйка достала из холодильника вино. Ей стало страшно, что не хватит вина среди ночи. А его определено не хватит. Гость уйдет, а она останется одна. Голова кружилась. Точнее с головой ничего не происходило, а вот стены начали кружиться. Она посмотрела на потолок. Он тоже начал вращаться. Вертелось и кресло, хотя она сидела неподвижно. Хозяйка встала, чтобы сменить пластинку, но и пол ходил ходуном. Держась за стол, она с трудом сделала несколько шагов. Проходя мимо гостя, она внимательно посмотрела, не вращается ли он. На госте были: рыжие замшевые ботинки, черные брюки, в белую и рыжую клетку рубашка. Все это мелькало перед глазами хозяйки, и неуожиданно для себя она почувствовала, что на стуле сидит Кусуслик. Только вот клякса на носу почему-то исчезла. Она закрыла глаза, протянула руку, но направлению к тому месту, где должна была находиться клякса. Рука уткнулась в пушистую шерсть.

— Куся, кусусленька, — ты пришел, нашелся наконец, не забыла свою хозяйку. Она поглаживала шерсть зверя. На минуту закралось сомнение. — Ведь кот не лиса же, хотя наверняка читал Лессажа, — произнесла она вслух. — Кто читал Лессажа? — спросил гость. — Слушай, — ты Кусуслик? — спросила хозяйка гостя. — Только не говори, что нет, — добавила она торопливо. — Я знаю из индийской философии, ты материализовался в человеческом облике. Правда? Впрочем, ты можешь этого не знать, просто забыть. Но ты вспомнишь, если постарайшься. Хочешь, я сейчас тебе молочка принесу. Я

каждый день буду тебя молочком поить и треской кормить, только ты больше не исчезай, пожалуйста. — Я не хочу молочка, хочу пива — сказал гость. Ну хорошо, пусть будет пиво, — согласилась хозяйка. Я вымою твоё блюдечко, и ты будешь из него пиво пить. — Почему из блюдца, из кружки удобнее — сказал гость. — Ну пей из чего хочешь — быстро согласилась хозяйка, только будь Кусусликом. — Хорошо, буду — согласился гость.

Так и остался гость жить у хозяйки на положении Кусуслика. По утрам хозяйка ходила с бидоном за пивом, а вечерами, приходя с работы, приносила треску, правда, Кусуслик в новом воплощении не отказывался и от отбивных, а треска обычно протухала в холодильнике и её приходилось выбрасывать. Но хозяйка регулярно покупала свежую. Кусуслик научился ловить зубами шарики из шуршащей бумаги, а изредка даже мяукал. Хозяйка была спокойна. Она знала, что её любимец не выскочит в форточку и не боялась оставить открытым даже окно. А о кляксе на носу она постепенно забыла — будто её и не было.

## ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Подготовку к Татьянинию дню муж взвалил на свои могучие плечи. Он решил сделать жене небольшой сюрприз и пригласить в гости всех мужчин, которые, по его мнению, ей когда-либо нравились. Прежде всего муж составил список. Три первых имени он написал сразу, а потом задумался — Кто же ещё? Он стал припоминать, что Таня рассказывала ему, что когда ей было пятнадцать лет, она училась в одном классе с мальчиком-фарцовщиком и ходила к нему домой смотреть коллекцию оберток от жевательных резинок и слушать джазовую музыку. Потом к Таниной маме на работу пришли какие-то люди и сказали, что Таня и её подруга целуются с мальчиками, за которыми ведётся профилактическое наблюдение. После этого родители запретили Тане встречаться, а тем более целоваться с нехорошим мальчиком. Таня не послушала родителей и не только продолжала целоваться с мальчиком-фарцовщиком, но стала даже покупать у него носки из креп-нейлона. Но мальчик действительно оказался нехорошим, поцелуев ему было мало, и он захотел большего. Тогда Таня сказала, что между ними всё кончено и перестала бывать у мальчика, который долго звонил ей, предлагая подарить библию с картинками, но потом махнул рукой и женился. В записной книжке жены муж отыскал телефон её школьной подруги, со странной фамилией, оканчивавшейся на «-ок» и от неё узнал телефон мальчика-фарцовщика. Позвонив ему, муж сказал, что Таня говорила много тёплых слов о своём бывшем однокласснике и желала бы видеть его у себя в день Ангела желательно с библией с картинками. Удивлённый мальчик согласился придти.

Но не могло же быть, чтобы до пятнадцати лет Тане никто не нравился. В мучительном раздумье муж провёл несколько дней и наконец вспомнил, что когда жене было пять лет, ей нравился моряк Федя, сын дачной хозяйки. По счастью, дача, на которой жила Таня в детстве, находилась в бывшем Царском селе, и муж совместил по-

иски сына хозяйки с философической прогулкой по Федоровскому городку. С большим трудом он нашел дачу, познакомился с Федей, который, как выяснилось, был не моряком, а портным и никакой девочки Тани не помнил. Но после бутылки водки, которую муж предусмотрительно захватил с собой, Федя согласился приехать в гости к этому странному человеку, обещавшему поставить еще выпивки и угостить жареным зайцем. Пригласить остальных гостей большого труда не составило. Оставалось приготовить зайца.

В ночь на Татьянин день муж снял с зайца серую с серебристыми подпалинами шкурку, зеленым мелком тщательно расчертил заячье тельце и расчленил зайчика на две части задние ножки и спинку — для жаренья, а остальное — на паштет. Заяц был молодой, поэтому в уксусе его надо было выдержать всего двенадцать часов. Залив задние ножки и спинку маринадом, муж лег спать, а проснувшись, принялся за изготовление паштета. Когда паштет был готов, муж вытащил заячье седло из маринада, натер его солью и черным перцем, обложил тонкими ломтиками сала и поставил в духовку. Тут только он вспомнил, что подавать жареного зайца следует с пюре из каштанов. Каштанов же в этом городе невозможно было достать не только в магазинах, но и на рынке. Времени оставалось мало, и муж стал лихорадочно обзванивать своих многочисленных знакомых, желая во что бы то ни стало раздобыть каштановое пюре. Когда наконец у одного профессора, недавно вернувшегося из Парижа, оказался тубик с консервированным пюре, муж, сделав предусмотрительно маленький огонек в духовке, вызвал такси, что было не в его привычках, и через час возвратился домой, неся в руках драгоценный тубик с необходимой приправой.

Вынув зайца из духовки, муж разрезал мясо на тонкие длинные куски, залил их сначала бульоном, а затем красным вином, поставил тушиться на слабый огонь, а сам стал поджидать гостей.

Первым пришел моряк-портной Федя. — Ну, где же ваша Таня или как ее там? — спросил он, нисколько не интересуясь ответом. — Давайте выпьем, а Таня скоро подойдет — ответил муж, подвигая к Феде бутылку с водкой. Федя-портной даже не чокнувшись с хозяином, молча выпил одну за другой три рюмки водки и задумался. Затянувшееся молчание было прервано приходом нового гостя — Ахилла, который первым делом раскрыл вместительный кожаный портфель и вынул из него шесть бутылок дешевого портвейна. — Как поживаешь, Ахиллушка? — спросил муж ласково. — Защитил ли ты диссертацию? — Х... в спину, д-дорогой — так же ласково ответил Ахилл, слегка заикаясь, — небось, сам знаешь, что за б-бардак у нас на к-кафедре. Муж представил Ахилла Федю-портному. — Вы тут пока выпейте, а я схожу на кухню, посмотрю, чтобы заяц не подгорел, — сказал он и вышел из комнаты. Ахилла за интеллигентность и порядочность муж любил больше других друзей жены, но Таня почему-то уже несколько лет не встречалась с этим милым и приятным человеком. Когда муж снова вошел в комнату, Ахилл и Федя-портной запивали водку портвейном и оживленно беседовали. Вскоре пришел мальчик-фарцовщик, который уже давно был не мальчиком, а отцом семейства. Несколько смутившись, он представился гостям и отдал мужу библию с иллю-

страциями Доре. Наконец пришли два последних гостя. Они сердечно расцеловались с мужем, а так как Тани еще не было, вручили ему билеты на спектакль французского театра.

Когда все расселись, муж внес в комнату серебряное блюдо с дымившейся зайчатиной с гарниром из каштанового пюре и черносмородинного варенья. Увидев такую роскошь, гости несколько удивились. Кто-то заметил, что надо бы подождать Таню, но муж уже распределял куски зайца по тарелкам. Некоторое время все молча ели. Первым насытился Ахилл. Он взял спичку, аккуратно обстругал столовым ножом обгорелый конец и стал ковырять в зубах. Еда была сытной изысканной и удивительно вкусной, поэтому вскоре опустели тарелки и у остальных гостей. Все откинулись на спинки стульев. Мальчик-фарцовщик попросил разрешения снять пиджак, а моряк-портной Федя без разрешения ослабил ремень на брюках. — А для Тани осталась зайчатинка? — спросил у мужа один из светских людей. — Для Тани? — переспросил муж и улыбнулся. — Ну, друзья, теперь настало время открыть вам маленький секрет, Таня и была тем самым зайцем, которого вы только что съели. Я подумал, что ей было бы приятно быть съеденной мужчинами, которых она любила, и пригласил вас на этот обед. Еще остался заячий паштет, но его я оставил себе да завтрак.

— Ну, старик, ты шутишь, — сказал один светский человек и тихонько засмеялся. — А вот принесли нам Татьяну по-царски, которую мы угостились по-царски — сымпровизировал другой светский человек. — Это зайца что ли звали Таней? — спросил Федя-портной, но ему никто не ответил. — Извините, мне пора, — сказал мальчик-фарцовщик и быстро ушел, захватив на всякий случай Библию с картинками. А Ахилл налил полный стакан водки и стал пить ее маленькими глотками.



## Татьяна РЕТИВОВА

*/ Киев /*



### САХАЛИНСКИЕ ЭКЗАЛЬТАЦИИ<sup>1</sup>

#### *Экзальтация паруса*

О ветер, Вертер мой земной!  
 Изгиб Лунского залива  
 Я изучил, как луна жениха  
 На переправе реки Монги, где  
 Два рода столкнулись  
 Из-за кражи невесты  
 Под моим оком лукавым.  
 Сдуй меня от греха подальше  
 Из залива в Охотское море.

#### *Экзальтация туземки*

Ани-во! Смотри сюды. Виск-  
 Во, обросшее травой для вязания  
 Ниток. Я по локоть и щиколотку  
 В крапиве. Ай! Да, ох, ох.....  
 Повалив, он в меня вошел  
 Селедочным поцелуем  
 На лагунном берегу,  
 О, мой гиляк из Аркай-во!  
 Сними с меня травяные кандалы!

#### *Экзальтация вечной мерзлоты*

Оха, тундра, остров тюленей.  
 Переживу я все бурения,  
 Ледоколам не дам прохода.  
 Ибо я — ледниковая порода.

<sup>1</sup> Стихи из книги «Похвалы из-за грани(цы)», «Алетейя», Спб., 2013.

Пристанище нерпы, морских  
 Котиков, шерстистых носорогов,  
 Мамонтов и птичьих базаров.  
 Я — непроницаемая вечность,  
 Погода приполярных хребтов.

### ***Экзальтация маяка-канделябра***

Я глазом мичмана маньчжурского  
 Ищу, свеча изнутри себя салом  
 Свиным, громко припевая притом.  
 От сопок до кекур «Три Брата»  
 Рукой подать. Весь остров  
 Изливается моим сольфеджио,  
 Параллельно с норд-остом.  
 Издалека, вздыхая, тучные  
 Фрегаты мыс обходят навсегда.

### ***Экзальтация йети***

Алтайский мед, мумие, голубика,  
 Талая вода, польнь, горсточка  
 Семечек подсолнуха, вечная  
 Мерзлота, маяк на берегу арктической  
 Охи, туземка, вяленая вся в крапиве,  
 Тридцать леопардов уссурийских  
 Из красной книги. Тундра  
 Беспощадная. Вятка родная.  
 Непал, Тибет, Алатырь.  
 И в конце всех концов,  
 Моя стопа, отступающая  
 От Шамбалы до Беловодья.

### ***Экзальтация скважины***

Я вся взאהлеб от самой себя, бью  
 Ключами под породами гранитными.  
 Артезианской меня прозвали,  
 Лобзающие устами отражения  
 В нимфеях. Эхо соблазняя.  
 Моей серебристой песне нет конца.

### ***Экзальтация моряка***

Ночь. Пурга. Високосный год.  
 На столе — стакан льда, печь  
 Потухла с утра. Но морячка ждет.  
 Она спит и сопит, непробудно  
 В берлоге, медведицей бурой,



Под тудупом, под мехом.  
 По бокам — лохматые псы,  
 А в ногах — ангорский кот.  
 Я по пляжу белому брожу с ведром.  
 Над костром, кастрюля с талой  
 Морской водой. По снегу разбросано  
 Жертвоприношение опоздавшего  
 Моряка, то не розы и не паруса.  
 А сто алых ракообразных, распаренных,  
 И развернутых веером по белизне.

### ***Экзальтация зоны***

Зона это круто? (Из местных  
 граффити). Ну как вам сказать...  
 Бегать — это круто. (Знаки  
 На беговой дорожке в парке  
 Гагарина). Я не зона-а-а-а-а,  
 А архипелаг, в чьих залежах  
 Его потомки. А вы кто?  
 Сопка (в скобках).

### ***Экзальтация морячки***

Я на третьей пади живу, возле  
 Бухты. Пятый месяц одна  
 Белизна от окна до двора,  
 А дальше туман, дурман или  
 Память о нем. Темной ночью  
 Читая в обоях — скрижали,  
 Остаюсь на плаву я до марта.  
 Еле-еле лелея заветную...  
 Ты вернешься обросшим  
 Седой щетиной, из-за  
 Моря, и сутулясь зайдешь  
 Через сени в мой дом,  
 Терпеливость мою изнуряя.

### ***Экзальтация белизны***

Рядом с вечной мерзлотой  
 Я никто. Фантом падших  
 Падей береговых. Есть такой  
 Зимний сдвиг, наводящий мною  
 В разгаре месяца лютого изгоя.  
 Туземцам начинает сниться  
 Зеленый мох петроградских  
 Дворов. То бишь морозов  
 Мираж лихорадочный.

Мне до лампочки ваши сны,  
Ибо никуда вам не смыться  
От моей вечной белизны. Бдите,  
Бдите, стадо увеченное, пока не  
Догонит вас сахалинский бархат.

### ***Экзальтация воскреснувшей Му-му***

Тесемкой обмотанные кирпичи ушли  
Ко дну без меня, напоролись по пути  
На ржавые грабли утопленника. В пруду  
Всякой утвари хоть пруд пруди.  
Но не стала я догонять своего истукана  
Неверного, ибо от захлеба вышибло  
Память девичью мою. Оказалась я рядом  
С одним каторжанином в кандалах,  
Нас переправляли на гнилых баржах  
Сомнительного происхождения,  
И по всей Сибири проволокали  
До самого конца шелкового пути,  
Где меня наконец запрягли в конвой  
Рядом с верным Русланом, кому я чета.

### ***Экзальтация ныряльщика***

Как легко с водяными легкими нырять  
С мыса Крильона на север, в сторону  
Залива Анива, в поиске беспозвоночных!  
С бухты-барахты я возникаю перед суженой  
Из объятий скользких ламинарии,  
И преподношу этой русой Афродите  
Громадную раковину гребешка.

### ***Экзальтация заставы***

Нас на острове много, трудно застать  
Нас врасплох. Я — застава колючая,  
Вся обветренная морскими ракушками  
Вдоль Татарского пролива. Тем не менее  
Мною злоупотребляло целое поколение  
Узников, бранясь и чертыхаясь, они  
Плевали да обзывали меня матерью евоной,  
Пока наконец сами не смылись к чертовой матери!

### ***Экзальтация попады***

Он меня выволок за гриву из моей  
Ладьеобразной кельи роковой, рядом  
С голубятней монастырской. Вкусом меда  
Таежного он своими устами затравил

Мой смиренный монашеский обет, сломав  
Его истомой вероломной. Горько, поп,  
Горько, незначай меня выдали за него.  
На берегу полуострова Бояна провожали.  
Дул ветер с Колымы. Вот таким образом  
Оказалась я попадъей в Николаевске-на-Амуре.

### **Экзальтация капитана порта**

Где я? С востока на меня валится  
Южно-Камышовый хребет, а с запада  
Японское море. Дуновения течения  
Курисио смягчают наш горный климат.  
Вниз по сопкам расстилается лимонник,  
Дикий виноград, актинидия, водопады.  
Вдоль подола — заросли курильского бамбука.  
На склоне сопки — деревянный храм. А в ушах  
Звучит безумный поцелуй Татарского залива  
С японским морем в устьях Лаперуза,  
Возле мыса Крильона, под разогнавшиеся  
Охотские ветры, песнь сивучья баритоном  
Созывает всех невест порта Невельск.

### **Экзальтация рефракции**

Из рефракции ветровых волн, волей  
Неволей наводящих имярека путем  
Ветрогонных средств, я через мета-  
Морфозу оказалась оказией рефракции  
Звука глухого. В переносном смысле  
Преодолела алхимический синдром.

### **Экзальтация бывшего звонаря**

Мой звон обводил зону нежным эхом  
К заутрене, обедне, вечерне, до  
И после всенощного бдения,  
Созывал на молитву прихожан,  
Каторжан, сражался с ветрами  
Штормовыми, с ледовыми  
Пургами, пока не увидел я издалека  
На фоне ветхой, заброшенной заставы  
Монашку, расплетшую свою косу.  
И оборвался звон мой навсегда.

*Сахалин, февраль-март, 2004 г.*



## Евгений СТЕПАНОВ

*/ Москва /*

### ОЧЕНЬ КОРОТКАЯ ПРОЗА

#### СВИСТУЛЬКИН

Бизнесмен Семен Свистулькин был опытным человеком. Он знал, как управлять людьми. У него была два зама, два бухгалтера, два водителя... И много-много менеджеров. Все заменяли друг друга. У него было даже две женщины. И два — члена. Да, два половых члена. Семен Свистулькин был необычным человеком.

#### ГОРОД

В этом городе мужчины живут только с мужчинами, а женщины только с женщинами. Так принято. Так удобно. Так хорошо. Дети появляются методом клонирования.

И вдруг какой-то чудак — Самуил Абрамович Пузыревский — проявил интерес к женщине — Людмиле Ивановне Пузиковой. И дети у них родились непривычным способом — очень болезненно, через кесарево сечение.

Город воспринял эту историю как пощечину общественному вкусу. Город был возмущен.

И необычная семья переехала в другой город.

#### В МЕТРО. ОДНА ОСТАНОВКА

Вагон метро. Вечер, примерно 20 часов. Две девушки, 23–25 лет. Стоят, беседуют. Я стою рядом, невольно подслушиваю.

— Я такая, не могу, начальница-коза, жесьть, сегодня сказала: если я еще раз на полчаса опоздаю, она меня уволит... Нормально? Прикинь... Говорят, папик от нее срулил. Она и бесится...

— Точно — коза.

— Ну, жесьть, на полчаса нельзя опоздать, корова.

— Точно — корова. Вообще — свинья.

...Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Аэропорт.

**НЕ РАЗДРАЖАТЬСЯ**

Тебе

Город. Оранжевый город безумцев. Агрессия как диалог. Диалог как агрессия. Главное — не раздражаться. Сохранять спокойствие и выдержку. И не говорить резких слов даже тогда, когда их очень хочется сказать. Лучше — молчать. Как-то все само собой устаканивается, когда не сотрясаешь воздух.

**ПОДОНОК**

Мне двадцать лет. Ей — тридцать. Она говорит: «Все, я уйду. Ты меня достал. Прощай». Она собирает вещи. Я в панике. Я умоляю ее остаться. Но она уходит.

Мне пятьдесят. Ей по-прежнему — тридцать. Она говорит: «Все, я уйду. Ты меня достал. Прощай». Она собирает вещи. А я... Я даже доволен. Я помогаю ей собраться в дорогу. Она кричит: «Ты свинья, гадина, подонок!».

Но она не уходит.

**СЕМЕНОВ**

*(очень короткая пьеса)*

— Все-таки ты — свинья, Семенов...

— Почему?

— Ну, ты же не хочешь жить со мной. Значит, ты меня не любишь.

— Как раз наоборот. Люблю. Именно поэтому и не хочу с тобой жить.

— Не поняла.

— Да все очень просто. Ты же меня совсем не знаешь. Ты видишь только показушную сторону моего характера. Умение шутить, балагурить, делать комплименты, дарить цветы... А в жизни-то я другой.

— Не верю.

— Ну, конечно, другой. Я нервный, мрачный, неаккуратный, не такой богатый, как тебе кажется.

— Но я же люблю тебя.

— А что такое любовь?

— Я не знаю. Не могу сформулировать.

— И я не могу.

— Вот я и говорю: все-таки ты — свинья, Семенов...

**ОН**

Он всегда был востребован.

Организовывал выборы президентов стран и российских республик, депутатов и директоров заводов, защищал и представлял интересы крупного капитала на разных континентах, создавал имена в области политики, искусства, раскручивал всевозможные бизнес-

проекты. Прожил вне дома более 15 лет, иногда забывал, какой у него родной язык и каково его настоящее имя. Он не был шпионом, но был журналистом, пиарщиком, менеджером, специалистом в области политтехнологий и консалтинга. Он знал очень многое, дружил с теми, у кого не бывает друзей.

Под старость он выпустил книгу мемуаров. Там было очень мало правды. Может быть, сотая часть. Правду написать он не мог. Не имел права.

## **АМЕРИКАН АФРИКАНОВИЧ НЕМЦЕВ**

Американ Африканович Немцев родился в Тамбовской области. Отец у него был чудаковатый сельский учитель — Африкан Иванович. Сына он назвал почему-то Американом. Почему — никто не знал.

Американ Африканович в 17 лет уехал в Москву, закончил экономический факультет университета, открыл собственную консалтинговую фирму. И стал работать. Работал он каждый день, без выходных, у него было множество — сотни! — клиентов. Американ Африканович работал и работал, ни разу не был в отпуске, ни разу не болел, ни разу не брал больничный. Да, он ни разу не болел. Но однажды шел на работу, шел-шел и упал. И больше не встал.

## **ТИРАН**

Жил-был тиран. И все его называли тираном. А вот журналисты его совершенно не боялись — выражаясь фигурально, вытирали об него ноги. Поэтому тиран по ночам рыдал.

## **МУДРЕВАТЫХ**

Иван Иванович Мудреватых ненавидел свою страну. Эту страну дураков и взяточников, хамов и бездельников, лодырей и непрофессионалов. Страну — где все через жопу, все — не как у людей.

Иван Иванович не мог понять одного: почему у него появляются слезы счастья на глазах, когда его соотечественники-спортсмены во время Олимпиады в Лондоне занимают первые места.

## **СУДЬБА**

Он взвалил на себя, видимо, слишком много... Ритм жизни постоянно ускорялся. Все новые и новые контракты, десятки — не преувеличение! — встреч в день (в сутки), бесконечные звонки, безумные заказчики, которые выматывали последние нервы. Он был единственный акционер фирмы. И значит — помощи ждать неоткуда. Сотрудников было немало, но они никогда не радуют за дело так, как собственники. Это нормально. Иллюзии у него уже давно испарились.

Иногда он просыпался ночью, в холодном поту, судорожно начинал думать, где опять достать деньги, чтобы выплатить — два раза

в месяц! — людям зарплату, погасить налоги, рассчитаться за аренду... Странное дело: заказов и сотрудников было все больше и больше, а денег по-прежнему не хватало. Их не хватало всегда. И десять лет назад, когда он только начинал, и сейчас, когда у него уже появились и свои офисы, и собственные средства производства, и опытные, проверенные годами кадры.

Он, конечно, хотел сбежать из Москвы, забыть о бессмысленной суете, о беспощадной — смертельной! — круговерти, он мог бы уже, наверное, спокойно жить где-нибудь в сытой, престижной Ницце, да ладно, в какой Ницце, лучше в знакомом с детства и недорогом Крыму — в принципе, ему было совсем немного нужно. Точнее, ему лично не нужно было практически ничего. Какая-нибудь крыша над головой, душ, чистая рубашка, кусок мяса, бутылка минеральной воды... Он сам порою не понимал, как он, простой и непритомливый московский полукровка, каких, наверное, десятки тысяч, оказался в бизнесе, как это все получилось, почему другие акционеры выходили — еще раньше, несколько лет назад! — из их общего дела, а ему было стыдно бросить начатые проекты, поначалу казавшиеся перспективными, а потом все-таки ставшие приносить прибыль... Он не мог...

Он не мог уехать из Москвы, потому что здесь больная мама, ей нужны средства, машина, иначе мамочка просто не попадет в поликлинику, он не мог оставить уже взрослых, но по-прежнему беззащитных детей, которые постоянно нуждались в средствах, он не мог вот так разом разорвать все контракты... Это было невозможно. Невозможно. Но и сил у него тоже больше не было. Нельзя постоянно бежать. Даже если раньше ты был профессиональным спортсменом.

...Силенки — хотя бы отчасти! — появлялись поздно вечером, когда он принимал теплый спасительный душ, потом звонил детям и на ночь читал сам себе стихи, да, читал стихи, самых разных поэтов... Когда-то в юности он даже написал одно стихотворение...

## ЦЕЛИТЕЛЬ-ЭКСТРАСЕНС

— Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире телеканал «Око пророка». Сегодня у нас в гостях целитель-экстрасенс Зоя Петровна Правдова-Маткина. Добрый день, Зоя Петровна!

— Привет!

— Можно я буду Вам задавать конкретные вопросы?

— Можно.

— Хорошо. Я знаю, что Вы сторонница вегетарианства. А почему?

— Мясо вредно. Знаешь, почему ты мясо ешь?

— Почему?

— А ты выпить горазд. Как все мужики. А как выпьешь, конечно, мяса хочешь. Бросишь пить — станешь вегетарианцем.

— А на сладкое почему тянет?

— Потому что тебя никто не любит. Любви нет, вот тебя на сладкое и тянет. Понял?

— Понял.

- А зрение почему ухудшается?  
 — У тебя близорукость или дальнозоркость?  
 — Близорукость.  
 — Ты трус. Ты вперед, в будущее смотреть не хочешь. Боишься. Вот и не видишь нечего. Глаза — это продолжение мозга. Понял?  
 — Понял.  
 — Тебе вообще надо многое менять. И в себе, и вокруг... Вот, например, обои в студии. Цвет не феншувевский. Заменяй. Поклей по-светлее... И табуреток мало. Надо, чтобы побольше табуреток было. Понял?  
 — Понял. Спасибо Вам за интервью, уважаемая Зоя Петровна. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До новых встреч в эфире.  
 — Пока.

### ОН И ОНА: ВЕРСИЯ № 5 000 000 000

Презентация книги писателя Комбайнова. Банкетный зал. Двое уединились в холле.

Она, женщина 28 лет, учитель в школе. Высокая блондинка, похожая на Николь Кидман.

Он, бизнесмен, 56 лет. Сидящий брюнет. Ни на кого не похож.

\* \* \*

- А в чем же, по-вашему, смысл жизни?  
 — Мужчины или женщины?  
 — Мужчины.  
 — Смысл жизни мужчины — разбрасывать семя.  
 — Оплодотворить как можно больше самок?  
 — Да.  
 — А смысл жизни женщины?  
 — Выбрать лучшее семя. Лучшего самца. Чтобы он защищал ее и ее потомство.  
 — Неужели все так примитивно?  
 — Это не примитивно. Это божественно. Так задумано не нами.  
 — Хорошо. Но ведь тогда возникают неизбежные проблемы. Где нам, женщинам, найти столько сильных самцов?  
 — Выход один — полигамия. Мусульманство — в этом смысле очень мудрая религия.  
 — Но мы-то живем в Москве. Здесь пока еще христианская культура...  
 — Вы уверены? Я — нет. Очень многие сильные самцы живут по законам мусульманства, я имею ввиду — многоженство. Правда, незаконное.  
 — Все, что вы говорите, меня слегка шокирует. Вы циник...  
 — Что вы?! Я романтик. Я люблю жизнь, люблю женщин, детей... У меня много друзей. Я обычный человек. Просто называю вещи своими именами. Но лучше расскажите о себе! А то я вам совсем голову заморочил.



— Я, как водится, приезжая. Приехала с Алтая. Снимаю квартиру на Коломенской, работаю в школе. Даже и не думала, что окажусь в Москве. Как-то так все само вышло.

— О чем мечтаете?

— Мечты мои просты. Мечтаю о семье, о доме. О муже, которого смогу воспитать.

— А почему не замужем? С вашими-то данными?

— Что вы имеете в виду?

— Красоту, конечно.

— Спасибо. Но, может быть, это и пугает? Отталкивает мужчин? Да и вообще, трудно выбрать... Не ожидала, что в Москве столько психов, алкоголиков и голубых.

— Хотите, я вам дам совет, как выбрать правильного мужчину?

— Конечно, хочу. Впрочем, я думаю, это невозможно. За такой совет, наверно, нужно дать Нобелевскую премию.

— Мне достаточно вашего внимания.

— Очень интересно. Итак, ваш совет.

— Имейте дело с предпринимателями. С людьми, которые занимаются своим делом. Пусть у него крошечная фирма, два человека, но своя. Пусть он занимается частным извозом, но на своей машине. Вот с такими людьми можно иметь дело. Потому что они отвечают за себя, за свои слова. А следовательно, и за других.

— А топ-менеджер в крупной фирме?

— Не отвечает. Задача топ-менеджера — как можно меньше ошибаться. Значит, как можно меньше работать. Более того, любой топ-менеджер — вор.

— То есть?

— Топ-менеджер — это откаты, поиск выгоды для себя за деньги хозяина. Топ-менеджер всегда что-то ворует.

— Например?

— Например, когда в рабочее время решает свои вопросы. Тогда он ворует у хозяина время.

— Неужели не бывает исключений?

— Бывают.

— А среди предпринимателей не бывает скотов?

— Бывают, конечно. Но в целом бизнес воспитывает. Ты должен быть лучше, чем ты есть на самом деле. Ты должен быть хорошим и для заказчика, и для исполнителя. Иначе просто разоришься. Клиенты не дадут заказы, а исполнители не смогут их выполнить. Бизнесмен обязан учитывать баланс интересов. Это как раз то, что нужно и в семье.

— А вы почему живете один?

— Можно я не буду отвечать на этот вопрос?

— Можно.

.....

22.11.2012

Аэропорт

## КАК ПОХУДЕТЬ НА 35 КИЛОГРАММОВ

С девушкой по имени Тая — худенькой миловидной блондинкой тридцати пяти лет — я, не самый преуспевающий книжный издатель, познакомился на поэтическом вечере в Московской писательской организации, где несколько лет назад снимал офис.

Как-то я сразу в нее влюбился. Понял: вот это мой человек. Единственная и неповторимая. И она очень быстро ко мне прониклась. И буквально сразу после вечера зашла ко мне в кабинет, и мы ускоренным методом узнали друг друга более основательно.

Это не было вульгарно, не было быстро, это было стремительно и очень естественно. Иногда нечто подобное происходит в жизни.

Мы стали встречаться. Тая (ее полное имя — Таисия) оказалась крутой девушкой. Она была главным бухгалтером (точнее — финансовым директором!) одной из самых крупных фирм Москвы, получала немомверную зарплату, жила на Ленинском проспекте, в помпезном доме, где раньше жил Аркадий Исаакович Райкин, имела дачу на Рублевке и красную машину «BMW» представительского класса.

Когда я к ней приехал в гости в первый раз, я, не стану врать, растерялся. У нее в квартире был санузел метров пятьдесят, и там стоял реально золотой унитаз. Да, из чистого золота. Вообще, в квартире было двести семьдесят метров. И — минимум мебели. Квартира напоминала стадион. В просторном зале размещались всевозможные спортивные тренажеры.

А я тогда жил, прости господи, в подвале, мои друзья — гениальный (по его собственному мнению) поэт Слава Лён и его чудесная супруга скульптор Оля Победова разрешили мне пожить в их художественной мастерской на Арбате, точнее — в Трубниковском переулке. У нас был договор — я пиарю Славу Лёна как гениального поэта, а мне они предоставляют подвал размером 34 квадратных метра. Бартер.

Тая — сердобольная душа! — стала настаивать, чтобы я переехал к ней. Я долго отговаривался — у нас, некоммерческих книжных издателей, собственная гордость. Я не люблю ни от кого зависеть и быть кому-то обязанным. Но потом в подвал повадились захакивать монструозные крысы, и я про свою собственную гордость быстренько позабыл. И переехал к Тае. Мне как работнику творческого труда подруга выделила небольшой рабочий кабинет и махровой мужской халат, что обидно — не новый.

К хорошему привыкаешь быстро. Я радостно смотрел телевизор (он был гигантских размеров!), любовался таинными аквариумными рыбками, занимался на тренажерах, часами просиживал в ванной, отчасти напоминавшей Сандуны, изумлялся диковинным и даже забавным приспособлениям санузла, например, такому, как гигиенический душ — это смешная штуковина, благодаря которой можно — в умывальнике — помыть свои гениталии.

Мне нравилась роскошная квартира. Мне нравилась роскошная Тая. Можно даже сказать, что я восхищался этой женщиной. Умная, красивая, талантливая, закончила экономический факультет МГУ и Гарвард, она была могучим финансистом и любила стихи, знала наи-

зуть стихи Андрея Дементьева, Эдуарда Асадова, Евгения Евтушенко и Сергея Гандлевского... Я был к ней привязан и чисто физически — вот есть такие невероятные женщины, которые постоянно в тебе вызывают желание. Ей-богу, не знаю, с чем это связано.

Впрочем, были у Таи и некоторые... неожиданные особенности. Она оказалась... йогом. И почти ничего не ела из обычных продуктов. Предпочитала сухофрукты (курага, изюм, папайя, канталупа, чернослив и т. п.), орешки (арахис, кешью, фундук...), кабачки, капусту, адыгейский сыр... Ни рыбу, ни мяса себе не позволяла. Хлеб — отказать. Сладкого — никакого. Соль — на помойку. Алкоголь — ни капельки. Кошмар!

За продуктами миллионерша Тая ездила на своей красной «бэхе», как ни странно, на самый дешевый рынок Москвы — в Выхино. Беспощадно торговалась с восточными продавцами и получала от них астрономические скидки. Я тогда понял, почему она такая богатая...

...Я же в то время пожрать и выпить любил основательно. Обожал курочки-гриль, жареную картошку, сало, селедку, холодную водочку или пивко. В общем, ни в чем себе не отказывал. Весил я тогда сто шесть килограммов. В дверь входил с трудом. Морда моя в лучшем случае напоминала кирпич. Я страдал одышкой и повышенным давлением.

В общем, в одной квартире — слава Богу, огромной! — оказались два антипода. Вода и камень. Пламень и лед. Женщина и я. Мы жили вдвоем, но — как на разных планетах. Каждый готовил себе индивидуально. Тая не ела мою пищу, я не притрагивался к ее.

...Недели через две совместного бытования я стал внимательнее присматриваться к образу жизни Таи, встречаться с ее друзьями, ее гуру. Начал проявлять интерес к образу жизни московских йогов. И многое мне понравилось. Они были такие подтянутые, стройные, доброжелательные.

Тая пила очень много воды, не менее двух литров в день, по утрам не завтракала, брала с собой еду на работу, после шести к пище не прикасалась, заваривала какие-то невероятные чаи, соблюдала принцип раздельного питания, когда ела, не запивала, в общем, это была для меня какая-то новая неизведанная наука — жить с Таей.

Как-то вечером, после работы, мы с ней разговорились.

Я сказал:

— Я бы, наверное, тоже так хотел жить, как вы, йоги. И, наверное, смогу. Я все-таки некоммерческий книжный издатель, значит, идеи духовности и гармоничной жизни мне хотя бы отчасти близки...

— Важно, — ответила Тая, — чтобы ты сам, без принуждения принял наш образ жизни. Ты согласен?

— Согласен, — сказал я, проявив несвойственную мне решительность.

— Но только помни, — как-то сурово отчеканила слова Тая, — назад дороги нет. — Мы с тобой заключаем негласный договор, что ты живешь по нашей йоговской системе. И любое отступление от системы я буду вежливо, но решительно пресекать.

— Ну, если вежливо, — вздохнул, — тогда нет возражений.

И я стал жить, как йог. Точнее — как Тая.

Отказался от никотина и алкоголя, потом от мяса и хлеба, от курочек-гриль, жареной картошки, сала, селедки, соли и сахара, начал делать по утрам асаны... Отжиматься по двадцать-тридцать раз...

По утрам Тая заботливо собирала меня на работу:

— Ну вот, Женек, тебе три орешка, пять изюминок, кабачки с адыгейским сыром... Немного квашеной капусты...

Через две недели я похудел на семь килограммов. А через месяц — на пятнадцать.

Есть хотелось дико. И однажды так захотелось, что я забыл сырые обеты, данные Тае, пошел поздно вечером в ночной магазин и купил курочку-гриль и сала, вернулся домой и тайком положил в холодильник.

Тая не заметила — она спала.

Я принял душ и полез в холодильник за салом, как-то так наощупь, быстро стал его доставать — и тут меня ожгла страшная резкая боль, пальцы попали в... мышеловку. Я закричал благим матом.

Тая, конечно, не спала.

— Но я же тебя предупреждала, что буду бороться решительными методами... В следующий раз поставяю на сало крысоловку, — ледяным голосом проговорила она.

— Ты же говорила про вежливые методы борьбы, — чуть не рыдая я, глядя на нее вытаращенными глазами.

...Она обвязала мои пораненные пальцы марлей, помазала зеленкой. И утешила в жарких любовных объятиях.

Я понял, что бороться с Таей мне просто не под силу. И больше от суровых правил йоговской жизни не отступал.

Я стал очень сильно терять в весе. Буквально таять на глазах.

За три месяца я сбросил тридцать пять килограммов.

Поэт Валера Лобанов (он по совместительству врач в Одиновской больнице!) горько и сочувственно обнимал меня, когда мы встречались на литературных вечерах. Он ничего не говорил, но — глядячи на меня — тяжело вздыхал...

Другие мои знакомые тоже изумлялись переменам в моем внешнем облике.

— А как тебе удалось сбросить столько килограммов? — интересовалась поэтесса, ответственный секретарь «Журнала ПОэтов» Лена Кацюба.

— Старик, может быть, тебе нужны хорошие врачи? — спрашивал прозаик и журналист, имеющий большие связи в разных сферах, Володя Шпаков.

Мои подчиненные перестали меня бояться, я больше не походил на уверенного в себе, хамоватого издателя, стал похож скорее на поэта, по нынешним меркам — на последнего неудачника.

В обеденный перерыв я ходил в кафе, заказывал постную пищу. Один раз только заказал жареное мясо, но Тая об этом каким-то образом узнала... Йоги — они экстрасенсы и телепаты, эти их в бога душу мать. В этот вечер Тая категорически отказала мне во взаимности.

В общем, моя жизнь стала похожа на ад. Я стал писать мрачные философские стихи, что мне, легкомысленному человеку, совсем не свойственно.

Например, такие:

я высох я похож на мумию  
гнию как выпившая рыба  
хандрить? и даже не подумаю  
я говорю спасибо

спасибо жизнь за то что дадена  
спасибо и друзья и вороги  
и этот шрам и эта ссадина  
мне как счѐта в сбербанке дороги

спасибо тьщу раз и более  
мне вырезали страх как грыжу  
я видел как цветут магнолии  
и вновь когда-нибудь увижу

Так я прожил... два года. Привык к суровому аскетизму, утренней зарядке, правильному раздельному питанию, обеду, состоящему из трех изюминок и пяти орешков, многочасовым вечерним разговорам о смысле жизни... Я понял, что мысль материальна, что главное — во всем слушать гуру, что не надо иметь никаких эмоций, нельзя питаться неправильной едой и т. д. и т. п.

Мы сблизились с Таем на физическом, астральном и ментальном уровнях. Я стал личным другом ее гуру, и мы с ним даже начали совместными усилиями писать книгу о его просветленной жизни. На здоровье я больше не жаловался. Давление вошло в норму, одышка исчезла, дела в бизнесе пошли в гору. Доходы росли, как на дрожжах. Я стал работать почти круглые сутки, нанимая все новых и новых сотрудников. Издательство вышло на сенсационный уровень — примерно триста книг в год. Я давал налево и направо интервью и становился известной личностью.

А потом — так бывает в жизни! — Тая встретила другого мужчину. Встретила и полюбила. И я ушел, оставив халат новому хозяину... Кстати, я хорошо знал этого господина. Он был один из моих постоянных авторов — такой непомерно толстый, нервный, снимавший комнату в коммуналке прозаик Ведеркин. Я поняла: Тая — точно ангел — подбирала пухлых, неприкаянных мужиков, давала им приют и наставляла на путь истинный. Давала не рыбу, но удочку — то есть методологию жизни.

Мне она методологию уже дала. Обучила. Я опять вернулся в подвал на Арбате. А потом поднатужился и купил себе по ипотеке малогабаритную однушечку на Соколе, где сейчас и живу. Заветы Таи стараюсь соблюдать, но, конечно, уже не так строго. Иногда позволяю себе лишнего. Право слово, если утром не выпить чайку с шоколадной зефиркой, то зачем тогда вообще просыпаться?

## ИЗ СЕРИИ «ЖЕНЩИНА»

### **ЖЕНЩИНА, ИМЕЮЩАЯ ОГРОМНЫЙ КАПИТАЛ**

Эта женщина имеет огромный капитал — неслыханную молодость, красивую фигуру, умное лицо, роскошные волосы...

Эта женщина пришла ко мне — ветерану любовных баталий — в гости.

Что же мне делать с таким богатством?

Ведь за такое богатство нужно чем-то платить. Но чем?! Жизнью?

### **ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ЗНАЕТ МЕНЯ МНОГО ЛЕТ**

Женщина, которая знает меня много лет, обладает особыми способностями. Она, в частности, умеет ставить меня на место. Ее методы суровы, но справедливы. Когда я выхожу из себя и начинаю раздражаться, она тихо объявляет сумму, на которую она меня — за несдержанность — штрафует. Я всегда выплачиваю. А как же иначе! Это особая женщина. Женщина, которая знает меня много лет.

### **ЖЕНЩИНА, СМОТРЯЩАЯ НА ДРУГУЮ ЖЕНЩИНУ**

Еду в метро на работу. Стою, рассматриваю пассажиров — очень интересное занятие. Рядом сидит девушка в черненькой шубке, в черных сапогах-ботфортах и черных колготках. Симпатичная девушка. Все мужики на нее глазают. И тут на остановке в вагон входит девушка в беленькой шубке, в белых сапогах-ботфортах и белых колготках. Симпатичная девушка. Очень выразительно эти девушки посмотрели друг на друга.

### **ЖЕНЩИНА, ВЫШЕДШАЯ ЗАМУЖ ЗА ИНОСТРАНЦА**

Она уезжает из страны. На ПМЖ. Прощается со мной — своим бывшим коллегой и кавалером — по телефону:

— Но ты же приедешь ко мне?! Ты приедешь?! Мы с мужем тебя всегда ждем.

— Конечно, приеду, — вру я.

...А в Москве идет белый-белый снег. Почти новогодний.

### **ЖЕНЩИНА, ЛЮБЯЩАЯ КОНСЕРВАТОРИЮ**

— Ну что, ты опять на работе? Все штаны протираешь? Пойдешь в консерваторию? Сегодня швейцарский скрипичный оркестр

играет Римского-Корсакова, — звонит мне она, прекрасная женщина, с которой мы работали еще лет двадцать пять назад в одном издательстве. Она не меняется, такая же активная, красивая, самостоятельная, влюбленная в музыку выпускница Гнесинки (по первому образованию).

И я отменяю все дела, и радостно иду с ней в консерваторию. И мы слушаем музыку. И даже ни о чем не говорим. И зачем какие-то лишние слова?

### **ЖЕНЩИНА В ГОЛУБЫХ ТУФЛЯХ**

Женщина в голубых туфлях шла по красивым улицам Санкт-Петербурга, а пришла — нет, нет, нет, я не согласен, я против, не хочу, у меня слишком много дел и обязанностей! — в мое сердце. В мое бронированное сердце, в котором сто тысяч замков. И что же мне теперь делать?

### **ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ МОЛОЖЕ МЕНЯ В ДВА РАЗА**

Женщина, которая моложе меня в два раза, разговаривает со мной после концерта классической музыки. Она восхищается Рахманиновым и Скрябиным... А меня пронзает какая-то полузабытая непостижимая дрожь, нет, не эротическая, точнее, не совсем эротическая — другая, и не а я, наполняющая целебной силой отравленный московской мертвой водой организм. Я не могу сказать, что вожде-дею эту девочку, нет, это действительно что-то совсем из другой оперы. Но что? Я не знаю. И самое главное: почему она вообще со мной разговаривает, со старым козлом?!

### **ЖЕНЩИНА В СОСЕДНЕЙ КОМНАТЕ**

*Наташе Лихтенфельд*

Женщина в соседней комнате смотрит телевизор. Я лежу на диване и — как Мюнхгаузен — мечтаю или пишу стихи. Стихи, конечно, глупые, несуразные, графоманские.

Но я все равно счастлив.

Женщина в соседней комнате смотрит телевизор.



## Дмитрий МУХАЧЁВ

*/ Барнаул /*

\* \* \*

Вот женщина становится твоей,  
сгорает солнце, заживает рана.  
Не будет больше пресных февралей,  
бесцветных дней в обнимку со стаканом.

Метеоролог вдруг отменит шквал,  
отдел культуры вспомнит о Шагале.  
Как в школе, помнишь, парус бури ждал,  
так мы с тобой совместной ночи ждали.

Я покажу тебе Чике-Таман,  
хромых шаманов таинства и пляски.  
Мы позабудем пыльные тома  
и древние бессмысленные сказки,

сбежим туда, где роуминга нет,  
эфедра защищает от депрессий  
и падают в поля куски ракет,  
тотемов шёпот обращая в песню.

\* \* \*

предпоследний вздох домодедовского бомбиста  
табак в кармане, вся голова в Коране.  
ваш пиджак прекрасен, как лето, но знаете, мистер,  
холодный британский акцент меня очень ранит

и поэтому ваша миссис вас не дождется  
цветы на уютном газоне вдрут станут пеплом  
сегодня воздух в Москве как крапива жжется  
я ваш общий друг, я вас приглашаю в пекло

никто не знает, как мне всю жизнь было плохо  
дождь на поля мои никогда не падал  
от щедрот планеты большой доставались крохи  
куда бы я ни приходил — все становилось адом



а сейчас мой желтый бутон распустится резко  
надменный космос делается милосерден  
и воспрянут те, кому пообщаться не с кем  
и будут стоять перед гордой небесной твердью

\* \* \*

Медленно ходит гранд-дама исландских полей,  
начальница ледников.  
Сказочник Андерсен нам говорил о ней,  
но слог его был непонятен для дураков.

Сколько б горячего чая ни выпил ты,  
как бы любовь к жене ни подогревал,  
много будет вокруг холода, снега и темноты.  
Бери лопату, иди разгрести завал.

Залезем в рефрижератор, на корабле поплывем  
к женщине, управляющей льдом.  
Там, может быть, найдется  
общий уютный дом.

\* \* \*

Потеряны связи с солнцем, контакты с центром.  
Время ползет, и уже двадцать пятый год  
я используюсь, бэби, только на десять процентов,  
остальное тихо и меланхолично гниет.

О, сколько во мне угля и полезных масел,  
драгоценной руды и артезианской воды!  
Такие расклады, увы, абсолютно не красят,  
не возносят к звездам, не встраивают в ряды.

Эскалатор на небо работает бесперебойно,  
торты пекутся, публика веселится.  
Оппозиция врет, что в Багдаде не все спокойно —  
посмотрите только на нежные эти лица.

\* \* \*

люди в роскошных саунах и парных  
люди в секретных сказочных казино  
так благородны, данному слову верны  
пьют по субботам, меняют резину зимой

я прозреваю оргии новых дней,  
ядерный гриб над снулой чужой страной  
цифры заумных статистик цветут во мне  
черные розы повелевают мной

и я тебя вылечу от неземных простуд,  
выловлю в пятницу, вызубрю наизусть  
те, кто окончил трагический институт  
держатся вместе и вместе изводят грусть

\* \* \*

Бесы над ним глумились лет двадцать пять подряд,  
сбивали со светлой дороги, вливали в напитки яд,  
и когда он опять просыпался в казенной кровати больным  
сардонический ровный хохот раздавался где-то над ним.

Четверть века в кювете, на каторге, за бортом.  
Все строили дом свой из мрамора — у него был один картон.  
Подарки от слуг Асмодея сыпались круглый год,  
кривил лицо многомудрый психолог, смеялся простой народ.

А вынес ли что-нибудь он для себя из этих загадочных драм,  
перестал ли прятать амфетамины между оконных рам,  
как победил тупую тоску и вакуум в голове,  
знают только осеннее небо, Кроули и ЛаВей.

## БЫТОВОЕ

Не сокол джихада, не кум королю,  
забыв про кровавый режим,  
я все-таки пива сегодня куплю,  
я весел и, кажется жив.

Прости эту блажь, темноглазый герой,  
звезда неземных кинолент:  
спасительный градус холодной порой  
способен украсить момент.

И старый таксист, и надрывный Кобейн  
и та, что люблю без ума,  
возникнув в бетонной гармонии стен,  
уснут в иллюзорных домах.

А я, растворяясь в районном дыму,  
хмельной темноте прошепчу:  
так пошло и тягостно спать одному,  
но с дурами спать не хочу

## АТАКА КЛОУНОВ

цирк сгорел, а клоуны обосновались  
в пригороде, устроили там коммуны,  
ходят на озеро по воду, варят кашу,  
сливовицу пьют, на Таро друг другу гадают

приходят пожарные, жгут под окном резину,  
милиция появляется незаметно  
перед дверью вешает пестрых бродячих кошек,  
вызывает китайских демонов в мегафоны:

о защитники наши из ближнего поднебесья,  
вдохновенные дирижеры тонких материй  
испелите гадов, спасите город,  
все девочки тонконогие будут ваши

прикоснешься к клоуну — он обернется розой,  
непобедимой, белой, высокой, сильной  
лепесток уронит, шипами врага уколет,  
но заставит смеяться даже кусок железа

\* \* \*

В такой бы день сорваться на юга,  
увидеть пляж и камни Меганома.  
А человек — потомственный слуга  
и продолжает оставаться дома.

Его гнетут соседи и врачи,  
его шарманка плачет о наградах.  
Так хочется статейку настрочить  
о том, какие в этом крае гады

живут, галдят, играют в бадминтон.  
Пускай их всех отправят на Юпитер.  
Но нить на людях — мерзкий моветон,  
почти как травка или черный свитер.

Бывает так: выходит пустота,  
заводит громко арию изгойства.  
Забейся в угол, досчитай до ста  
и растеряй целительные свойства.



## Пётр КАЗАРНОВСКИЙ

*/ Санкт-Петербург /*

### «ВЕЩИ ЛЮБЯТ, ЧТОБЫ ИХ НАЗЫВАЛИ ТОЧНО»

*(О стихах и прозе Павла Зальцмана)*

В ушедшем 2012 году исполнилось 100 лет со дня рождения художника, поэта, прозаика Павла Яковлевича Зальцмана. К этому событию удалось приурочить выход двух томов — стихотворного «Сигналы Страшного суда» и прозаического «Щенки. Проза 1930–50-х годов»<sup>1</sup>. Прежде, чем обратиться к обзору помещенного в них литературного материала, проследим важные факты биографии автора.

Родился он в 1912 году в Кишиневе в семье Якова Зальцмана, по происхождению немца, офицера русской армии, и его жены Марии Николаевны Орнштейн; прекрасное знание немецкого языка, как и любовь к немецким романтикам, в очень большой степени сказались на творчестве художника и писателя Зальцмана. К середине 1920-х годов, после ряда переездов по разным местам охваченной гражданской войной страны, семья останавливается в Ленинграде. Здесь и расцвел художнический талант юноши: он проводит все свободное время в Эрмитаже, работает иллюстратором во многих журналах, а в 1929 г. становится членом группы П.Н. Филонова «Мастера аналитического искусства», в числе участников которой иллюстрирует финский эпос «Калевала» для издательства «Academia» (1933); с 1931 г. работает на киностудии «Ленфильм», где со временем становится художником-постановщиком (в послужном списке Зальцмана — участие в оформлении фильмов бр. Васильевых, И. Трауберга, Э. Иогансона, А. Иванова), много ездит в киноэкспедиции (Забайкалье, Средняя Азия, Урал, Украина, Крым, Карелия). С началом войны и блокады мобилизован маскировать стратегические объекты; пе-

<sup>1</sup> Зальцман П. Сигналы Страшного суда. Поэтические произведения. М., Водолей. 2011. Зальцман П. Щенки. Проза 1930–50-х годов. М., Водолей. 2012. Все цитаты из произведений Зальцмана приводятся в тексте статьи с указанием страниц названных изданий.

решил страшную зиму 1941–42, унесшую жизнь обоих родителей, и летом 1942 почти чудом был эвакуирован с женой и маленькой дочкой в Алма-Ату, где жил до конца своих дней. Сперва работал в ЦОКСе (Центральной объединенной киностудии), затем — на «Каззахфильме», с конца 1950-х — главный художник (в 1963 г. Зальцману было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств Казахстана); преподавал историю изобразительных искусств в разных учебных заведениях Алма-Аты, в том числе Казахском государственном университете. На протяжении всего этого пути художник продолжал работать над своими живописными, графическими, литературными произведениями. Как художник Зальцман добился признания (в 1971 и 1983 прошли две его персональные выставки); его словесное творчество, оставаясь известным узкому кругу ближайших друзей и родных, стало появляться в печати только в последние годы главным образом благодаря дочери художника Елене (Лотте) Зальцман и ее мужу А. Зусмановичу<sup>1</sup> (у самого автора, видимо, не было иллюзий по поводу судьбы им написанного).

Будучи учеником Филонова, причем сохранившим верность наставнику и преданность его «идеологии», Зальцман перенял у старшего мастера высокую требовательность к акту и результату творческого процесса: художник, по Филонову, реализуя дремлющее в сознании взрывное созидающее начало, максимально воплощает в произведении не только содержание, но и его духовную наполненность. Сохранив дружеские и творческие связи с другим учеником Филонова, Т.Н. Глебовой, которая свой творческий метод характеризовала как противостояние «музыкальной отвлеченности» и «художественной привлеченности к красоте зримой»<sup>2</sup>, Зальцман, наоборот, стал кивал в острой борьбе зримые, фигуративные формы и детали с литературным, подчас подчеркнуто условным (здесь речь идет об образительном творчестве, хотя методы работы в нем и в литературе подчас сопутствуют друг другу). Кстати, именно через Глебову (видимо, не без посредничества другой филоновской ученицы Алисы Порет) состоялось знакомство Зальцмана с обэриутами<sup>3</sup>, что в значи-

<sup>1</sup> См. изданную ими первую книгу Зальцмана «Мадам Ф. Повести, рассказы, стихи» (М.: Лира, 2003). Также нельзя не упомянуть нескольких выставок, подготовленных наследниками и прошедших в Москве и Санкт-Петербурге.

<sup>2</sup> Глебова Т.Н. Я буду расписывать райские чертоги. СПб. 1995. С. 37.

<sup>3</sup> О последней, видимо, встрече с Хармсом Зальцман пишет в своих блокадных воспоминаниях: «В один из первых дней <войны> я случайно встретился у Глебовой с Хармсом. Он был в бриджах, с толстой палкой. Они сидели вместе с женой, она была молода и недурна собой. Ещё не было <воздушных> тревог, но хорошо зная о судьбе <Роттердама>, мы представляли себе всё, что было бы возможно. Он говорил, что ожидал и знал о дне начала войны и что условился с женой о том, что по известному его телеграфному слову она должна выехать в Москву. Что-то изменило их планы, и он, не желая расставаться с ней, приехал в Ленинград. Уходя, он определил свои ожидания: это было то, что преследовало всех: «Мы будем уползать без ног, держась за горящие стены». Кто-то из нас, может быть, жена его, а может, и я, смеясь, заметил, что достаточно лишитьсь ног дня того, чтоб было плохо ползти, хватаясь и за целые стены. Или сорвется с неотрезанными ногами. Когда мы пожимали друг другу руки, он сказал: «Может быть, даст Бог, мы и увидимся» (Знамя. 2012. №5. С. 136–137).

тельной степени отразилось в литературных творениях художника. При этом важно учитывать, что, как вспоминает дочь Павла Зальцмана, он сам настаивал на «существенном отличии между методом своей работы как художника и как писателя. В живописи, а особенно в графике, он строил материал из воображения, накладывая свою “матрицу”, свое видение на явления окружающего мира, подчиняя их своей логике и конструкции. В литературе же, подчеркивал он, “я не могу выдумывать, мне надо видеть”<sup>1</sup>. Но, приводя такое свидетельство, мемуаристка замечает, что, похоже, «и в литературе он был прежде всего конструктором. Материал действительности, поражающий своей удивительной, прямо-таки осязаемой реальностью, служил созданию концептуальных, иногда философских или абсурдистских произведений»<sup>2</sup>. Действительно, свидетель Гражданской и Великой Отечественной войн, большого террора и борьбы с внутренним врагом, П. Зальцман демонстрирует способность не только переживать мир в его тяжком росте, но и художнически ярко, самобытно, изощренно гротескно передавать его образы в экспрессивно трансформированном виде. Несмотря на использование многих авангардистских техник, Зальцману свойственна тяга к точности — не на уровне частных семантических значений, а в общем, в охвате целого смыслового, образного, звукового. Музыковед А. Кельберг в полупутистом послесловии к самиздатскому собранию песен Зальцмана сделал меткое наблюдение о сочетании у поэта «исступленной проповеди и сарказма, величайшего пафоса и колючей иронии, обусловленной, в конечном счете, сознанием полной бесполезности этой проповеди»<sup>3</sup>. Думается, это справедливое замечание во многом относится и к прозе — с той только разницей, что проза не служила для Зальцмана столь отчетливым поводом для лирического высказывания, как поэзия.

Однако и здесь все не так просто: в стихах не приходится говорить о полной тождественности лирического героя и автора; сама фигура героя используется как маска, позволяющая вненаходимому и в то же время сопричастному автору свидетельствовать об ужасном времени и пространстве, в которых выпало жить. Так, многие стихи Зальцмана в течение целого десятилетия с конца 1930-х — начала 1940-х по праву могут восприниматься как человеческий документ, именно посредством нарочитой шероховатости запечатлевший экзистенциальную драму. Это прослеживается и в асонансных рифмах, каковых в этих стихах немало, и в композиции стихотворений, особенно в последней строке, словно обнаруживающей бессилие говорящего перед обстоятельствами:

Нет, я ничего не понимаю  
 В своем голодном вое,  
 Слишком долго я немею,  
 В стиснувшем меня трамвае.

<sup>1</sup> Елена (Лотта) Зальцман. Воспоминания об отце. // Павел Зальцман. Жизнь и творчество. Иерусалим. 2007. С. 27.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Цит. по: Кукуй И. От составителя. // Зальцман П. Сигналы Страшного суда. Поэтические произведения. М., 2011. С. 363

Дома я бы каждой минутой  
 Оживляя твою сырую глину,  
 Но ты меня томишь другой работой —  
 Вот я терплю, терплю и паюну  
 (104; 1942?).

Составитель поэтического собрания Зальцмана справедливо сравнивает эти стихи с недавно открытыми произведениями Геннадия Гора<sup>1</sup>. Несмотря на существенную разницу в поэтиках обоих авторов (к слову заметим, что прозаик Гор предстает как поэт только в этом долго хранившемся под спудом цикле), их очень сближают особые счеты с Богом. Говоря о Зальцмане, Лев Аннинский недаром назвал «потаенным философским базисом» его мироздания «тяжбу с Богом»<sup>2</sup>. Ярким подтверждением тому является цика из тринадцати псалмов, первый из которых датирован 1940, а последний — 1951 годом; по мере того, как времена становились страшнее, человеческое неприятие того, что Им допущено, становилось все сильнее, все тверже:

Как быть? Что делать? Как спастись?  
 Услышь меня и отзовись!

Мне отвечает беззвучный голос:  
 «Бессмысленно не падет твой волос».  
 О, голос тайный, безголосый,  
 Ведь это важные вопросы!  
 (77, Псалом I, 1940)

...А впрочем, может, вши тебе дороже  
 Заеденных людей?  
 Если так, — выращивай их, Боже,  
 А меня — убей...  
 (98, Псалом IV, 1942)

Сам ты, Боже, наполняешь  
 Нечистотами свой храм-с,  
 Сам ты, Боже, убиваешь  
 Таких как Филонов и Хармс...  
 (115, Псалом VII, 1943)

Не будет преувеличением сказать, что здесь голос Зальцмана-поэта вырастает до всечеловеческого. Не гнушаясь «грязи», низкий лексик, автор, вступая в конфликт с жанром традиционного псалма-хвалы, создает ситуацию «кромешной глубины» (de profundis), неизбывной богооставленности, погрязности человека и человечества

<sup>1</sup> Гор Г. Красная капля в снегу. Стихотворения 1942–1944. Составление, предисловие, подготовка текста и примечания А. Муждаба. М., 2012. Приведем в качестве примера след. стихотворение Гора, поразительно перекликающееся с травматическим блокадным опытом Зальцмана: «На улице не было неба. / Природа легла — отдохнуть. / А папа качался без хлеба, / Не смея соседку толкнуть. // А папа качался без хлеба, / Стучался в ворота судья, Да в капле сидела амёба / В амёбе сидела судьба» (указ. изд. С. 106).

<sup>2</sup> Аннинский Л. Сказка о возмездии. // Зальцман П. Мадам Ф. С. 9

Богом. Порожденное реальным ужасом богоборчество Зальцмана, тем более воплощенное в стихах, не оставляет и намека на абстракцию, в которой можно было бы заподозрить Ивана Карамазова.

Обращение к псалмам (вернее было бы сказать, «анти-псалмам») было подсказано предшествующим периодом в поэтическом творчестве Зальцмана: ища свой голос, он пробует разные техники, а после знакомства с Филоновым и обэриутами использует поэтику заумного языка (наверняка одним из источников таких поисков могла стать как книга «Пропевень о проросли мировой», так и соответствующие произведения Хлебникова). Но на осваиваемой территории Зальцман сумел добиться определенных и заметных (увы, только теперь) результатов. Заумь у него выступает строго функциональной, сигнализирующей переход, перелет из привычного в непознанное. Такова, например, «Молитва петуха»:

Саки лёки лёк лёк  
 Не твори мне смерти.  
 Смердь твор в глубину  
 Не залей водой. Потону  
 Леденя. Ни кружки. Крошки.  
 Крышка. Болт.  
 Петушка на хворост.  
 Что за хвост?! — Не вырос.  
 Так зачем же меня  
 Выудили с неба,  
 Если здесь для меня  
 Не хватает хлеба?  
 Выпусти меня, дорогая тетя,  
 Я слезами обольюсь,  
 Помогюсь  
 За тебя и за всё твое семейство  
 — Не большое беспокойство.  
 (45, 1933)

Во-первых, это *молитва*; во-вторых, здесь частное уничтожение еще не воспринимается как угроза всеобщему; в-третьих, поэтические средства (помимо лексической зауми в первых строках, аллитерации: «кружки, крошки, крышка»; анаграмматика: «хворост — хвост») создают своего рода двоимирие: пространственно огромный (в том числе и на уровне текста) мир птицы — и ограниченный, в том числе и эгоистически, мир человека, «тети». Отказ от зауми в последующем творчестве 1940–50-х годов, надо думать, произошел из-за того, что сама жизнь в своих проявлениях превзошла заумное (ср. начало цитированного выше стихотворения «Нет, я ничего не понимаю...»).

Однако Зальцман не полностью отказался от этого авангардистского приема. В романе «Щенки», который писался с начала 1930-х годов<sup>1</sup> и до самой смерти художника в 1985 и так и не был завершен

<sup>1</sup> В дневнике П. Филонова за 1933 г. обращает на себя внимание следующая запись: «Зальцман принес свою литературную работу „Щенки“. <...> У Зальцмана удивительно острая наблюдательность и гигантская инициатива, но вещь



(последняя правка осуществлялась, видимо, уже тяжело больным человеком), присутствует и заумь; так, глава «Еда» третьей части романа начинается следующим вполне поэтическим пассажем: «В рядах дарах рыды из дыр. Из ям. В ямах кочки, чашки; сведены кишки. / До доньшка пусто; растет капуста. / Ступи ступи шагами, шагами в тишине ни зги огородом очень темно. / Вырстелем нуям танеем. Суальте ни тульте ниниб никогдаб. Скульти по чулпым. Кули в пакули. / Капусту в зубы арбузы / На капли крови порцьжи / На корки в жмени рассужи / По крустам по кустам раскросьте / По небу по дедем хлебом / Дахи вздохи вваз в хутутух / Кух кух горльшко петух. / Петушок на огонь без перышок. / Скати скатку, сад в пересад, перелаз за яблони задами за дом» (117–118).

Уже отмечалось, что мотив голода и соответствующий ему мотив пищи — один из устойчивых в творчестве Зальцмана<sup>1</sup>. В центре названной главы дети, обещая накормить нищего слепого, сперва требуют, чтобы он поел земли, — подобных издевательств полно в романе, где все друг друга поедают, все против всех. Сама гражданская война — а время действия книги ограничено событиями войны и НЭПа — представлена как охота за пропитанием и страшная трапеза. Весьма показательно, что автор не только не делит противостоящие стороны на «красных» и «белых», но и вообще их никак не обозначает: голодом (а шире — похотью) у него охвачены все человеческие персонажи романа. Поэтому совершенно справедливо утверждение автора послесловия к изданию, что роман «Щенки» — одна из значительнейших книг о Гражданской войне, яркая иллюстрация охватившей Россию антропологической катастрофы<sup>2</sup>: всё и вся подвержено взаимному истреблению.

Отчасти этому процессу противостоят два брата-щенка — именно история их путешествий оказывается сюжетобразующей основой романа, а сами путешествия суть попытка достигнуть каждым щенком возлюбленных девушек, и эта погоня ведет их от Забайкалья, через Молдавию, в Ленинград; время не властно над молодыми псами; скорее всего, время в романе условно и заменяется пространственными перемещениями, сопровождается сменой сезонов и не приводит к внешним изменениям главных персонажей, как то взросление, старение и пр. Единственный явный признак времени — память — очень ярко представлен в разработке сознания ряда героев.

При этом вынесенное в заглавие романа нейтральное слово «щенки» все больше означает не только и даже не столько детенышей собаки, сколько человеческих существ, в том числе детей: нейтральность слова все больше приобретает негативную окраску. Так, постепенно в персонажах-животных проявляется человеческое, а в

полудетская, сырая, „первый слой“. Отдельные куски его работы — например, дождь на лужайке у сибирской тайги под Минусинском <...> почти удивляют» (Филонов П. Дневники. СПб., 2000. С. 217).

<sup>1</sup> Елена (Лотта) Зальцман. Воспоминания об отце. С. 29.

<sup>2</sup> Кукуй И. «Природа, обернувшаяся адом...» (О прозе Павла Зальцмана 1930–50-х гг.) // Зальцман П. Щенки. С. 409.

персонажах-людях животные начала подавляют человеческие (как тут не вспомнить те же метаморфозы, происходящие на полотнах Филонова). Однако у Зальцмана и здесь все осложнено причудливым сочетанием реального и фантастического, фантазмагорического: среди важных героев романа присутствуют железный мальчик (метафорический эпитет здесь реализуется: мальчик боится воды, грозящей ему ржавчиной, и неуязвим для пуль, которые с лязгом отскакивают от него) и человек-сова, оборотень, которому нипочем преодоление любых пространств: он возглавляет шайку бродячих зверей, в пору голода промышленяющих грабежом и, в отличие от людей, как будто не испытывающих нужды в пище; потом в Ленинграде он втирается в доверие к шайке жуликов, чтобы продолжать свои нечестные дела. Именно Балабан-Сова проводит разных героев по кругам ада.

Двуприродная сущность ряда персонажей позволяет автору давать остранные картины больших, значительных событий: например, вначале один из щенков видит сцену мести железного мальчика солдату за насилие над сестрой; в другом эпизоде медведь, забравшись в дом, оказывается свидетелем семейной драмы и становится случайным виновником пожара; в ленинградских главах запутавшийся мальчишка (щенок) находится в комнате, в которой Сова насилует его мать, и ничего не может понять... Эти сцены можно перечислять и дальше: глаз животного способен фиксировать всеобщее озверение людей, при этом свидетельствуя о собственной вочеловечиваемости. На глаза читателя два молодых пса в своей внутренней речи предстают благородными существами, своего рода рыцарями, ищущими своих Дам, в то время как надо всем происходящим в романе царит атмосфера распада: гибнут люди, разрушаются семьи и дома. Всеобщее разобщение, разрозненность воплощены в особом рода полифонии: сюжетные линии так и не сходятся, хотя моменты очень близки к этому. Не только Сова, но и щенки объединяют собою пространство действия, сводя все линии в пучок, к центру пучка. По сути, щенки воплощают основное движение романа — центростремительное, которое, по идее, должно принести спасение. Однако оказывается, что центра как такового нет. Отсюда и основной пафос — недоумение, ужас перед происходящим (многое из происходящего в романе «реально до жути» — выражение Бориса Григорьева).

Однако есть в романе и катартический элемент — это небо. Оно — верхняя точка, недаром на него смотрят снизу, взбираются к нему, хотя оно часто темно, а в двух последних, городских, частях его заметно меньше; возможно, образ неба в романе воплощает недоступное для охваченных враждой людей. Именно небо как высшее проявление природы напоминает о себе, то вскрывая, то пряча в себе человека или другое живое существо. Посылая к нему молитвы, персонажи устанавливают внутреннее отношение к окружающему, к картине окружающего мира и вместе с тем выходят из замкнутости. Думается, с этим процессом высвобождения связано еще одно важное обстоятельство поэтики романа — постоянная смена точки зрения, а оттого и местоположения героев по вертикали «верх» — «низ».

Такая антитеза, предполагающая нахождение жертвы внизу, а палача сверху, часто сюжетно опровергаясь, тем не менее накладывает свой отпечаток и на образ неба. Такое вкрапление в текст романа, как молитва — а к этому можно прибавить и мечту, воспоминание, сон, поток сознания — создает подвижную, органическую фактуру этой прозы.

Противопоставленность *верха* и *низа* проявляется и в описаниях поселений: господский дом — землянка, подвальные помещения — верхние этажи в городе. Сами персонажи — и звери, и люди — часто меняются местами: далеко не обязательно находящийся сверху является победителем в том или ином споре, находящийся снизу сохраняется равные шансы на выживание; при этом спор по вертикали нередко становится объектом чьего-то наблюдения откуда-то со стороны, тоже сверху. Сам город выглядит как бы на возвышении, что применительно к Ленинграду противоречит действительной топографии (не раз умышленно нарушенной в романе), а в романе указывает на удаленность города от неба. Возможно, здесь сказалась общая для всех героев установка: основная направленность их движения — в предполагаемый центр страны, город на реке (подразумевается Ленинград). Город, однако, оказывается своего рода сердцевинной ада. Именно здесь нарастает шум, мешающий высвобождению. Автор, двигаясь к концу, делает примечательное отступление: «В этом шуме забылись другие лица, те, прежние, которые как будто затихли и отошли, и их не видно» (297). Можно предположить, что под «шумом» здесь подразумевается не исключительно звуковой фон, «звуковая фактура» (по Крученых): в романе полно всевозможных обрывков фраз, создающих именно фон — движущийся, колышущийся: но именно в городе вся жизнь сосредоточена исключительно на материальном, телесном. Кроме того, городские главы вписываются в «петербургский текст», на что есть прямое указание: подросток Аркашка, попав на Театральную улицу (ныне ул. Зодчего Росси), испытывает страх, и автор замечает, что способствовало этому «совершенное однообразие стен улицы, которое так не любил Гоголь» (заметим, такое вмешательство автора — исключительный для романа случай!). Город своими «шумами» калечит, уродует людей. Недаром в двух последних главах романа возникает образ местечка Рыбница, в котором провел свое детство Зальцман, даже своими разрухой, запустением и грязью вызывающего ностальгическое чувство по казавшемуся когда-то возможным если не раю, то спокойствию.

Итак, «шум» сопровождается движением, далеко не всегда благостным. Неудобные позы — результат неправедных действий. Неестественные позы — набор выдающихся в стороны частей тела, действующих словно самостоятельно, без участия остальных частей. В этих статуарных фразах есть намеренная избыточность, создающая эффект точности. Хаос движений передан обилием глаголов и глагольных форм, в основном деепричастий, сохраняющих большую действенность, причем видо-временная несоотнесенность, неправильность здесь тоже кажется нарочитой. Однако это, как можно видеть, не классический интерес к событийности. Помимо внешней динамики, передается динамика внутренняя, захватывающая неви-

димые области изображения. Зальцман активно использует сдвиг, помогающий метафизически расслаивать фигуры. И на микроуровне (фраза, описание отдельного движения), и на макроуровне (эпизод, глава) работает принцип индукции, причем ступенчатой, когда автор уходит от каких-либо намеков на предсказуемость. Этот метод прямо соотносим с филоновским принципом роста: от частного к общему, согласно которому (принципу), «каждый атом должен быть сделан до последней степени совершенства и напряжения».

В качестве яркого примера возьмем сцену самоубийства Тани: «Она замерла в страхе, съездившись, прислушиваясь к биению сердца, к жизни частей и целого, глядя на кровавые подтеки на руках, на концы разбитых волос, на приставшие к земле колени. На свое одиночество. Испуг был так велик, что она не встала, а поползла, молясь в душе каждому из страшных лиц пощадить, отпустить, опустить завесу на память. Она молила каждую мысль перестать, вернуть, низко нагибаясь и шепча: «Боже мой! Боже мой!» — окружающим стенам, просветам, всему невидимому, чувствуемому, присутствующему, всему неотвратимому, было ли оно хорошо или плохо, всему, что существовало, так как для нее существовал только страх. Но она созерцала другую счастливую возможность — уступить, подняться, собрать безделушки и уйти со ступенек, потому что это делают все и всё сделано для этого. <...>

С низким бесвязным лепетом и всхлипываниями она вытягивала по земле руки и, обессиленная, отдыхала в помутнении. Она не хотела делать шага. Но только первый взгляд света, первые очертания проникают в ее ум, она разорвала на себе сверху вниз платье, сжав материю рукой так сильно, что, если б это было живое тело, синяк бы остался надолго, сорвала одежду с плеч и бросилась на единственного стоящего перед ней врага — на себя, на ту проклятую, которая хочет остаться, отвечающую перед ней, которая подставила себя каждому дню, здесь ее слова были тот же обман.

«Я тебя сожму своими руками, ты подставила мне нищее тело, чтобы я его жалела. Что тут жалеть, я уберу эту налипшую грязь, каждый кусок кожи со следами наложенных рук, каждый вздох рта, полного чужой слюны <...>. Это тело не мое, не мое, это — рвань, выброшенная давно, проткнутая моими каблуками. Ты всё думаешь, что я одна, что я — это ты. Нет, нет, я одна, я устрою вас. Я хочу — только то, что хочу!»

Таня шепчет в бешенстве и срывает с себя всё, что еще висит, забрасывает жгут из тряпок на балку потолочного настила. Связывает, изо всех сил, напрягая широкую голую спину, схватывает свое горло руками и, остановившись, душит. Кровь приливает к ее лицу. Она душит еще и еще, забывши о петле, но, мучительно задыхаясь, останавливается. Щеки ее в слезах и глаза закрыты.

Вдруг хриплым голосом она кричит: «Помоги же мне, ты!» Она чувствует, что ночное свидание с тем, кого она выбрала, будет после, а пока ужасно и трудно, и просит помочь его. И, не сознавая, что делает, быстро собирает лежащие вещи, становится на них, укрепляет петлю на шее и с остервенением дергает за что-то, чтоб свалить ту,

которая мешает. И в этот миг, стоя нетвердо на каких-то вещах, она видит комнату с недавно постантым строганным полом и кирпичными стенами. Она видит обман, тот же обман, и освобождается от него на мгновение. Тогда, когда под ее ногами распадаются неловко сваленные вещи, она что-то хочет сделать, чтобы остановить, чтобы уйти, и не успевает» (213–214).

Именно такая атомарность, ячеистость, крупнозернистость, когда каждая клеточка, каждая грань словно готова отсоединиться от общего, — ярко проявились в романе «Шенки». Очень вязкий по своей фактуре, роман медленно, словно разлагая встречающиеся предметы и лица, описывает стремительные и необратимые процессы. Роман написан с установкой на мозаичность как разрозненных эпизодов, так и неоднородных приемов и принципов, так что общая история может быть воспринята по сведениям всех линий, со всеми их действиями и движениями, словами и мыслями. Это даже не «обнажение приема», а предельное обнаружение самого творческого процесса, когда сущность формы выявляется не заданной изначально структурой, а самим процессом. А незавершенность судеб героев может выглядеть чем-то внешним. На уровне схождения или завершения линий — ничто в романе не приведено к окончательной ясности.

Чем ближе к финалу романа, тем яснее определен и образ автора, хотя ясность происходящего все больше становится сомнительной, туманной. К концу романа почти «вышедший из образа»<sup>1</sup> автор сам признается в неведении о дальнейших событиях, что в какой-то степени ставит его на один уровень с персонажами (заметим, что такая провокационность характерна и для других литературных произведений Зальцмана). Символично, что ряд эпизодов романа происходит в кромешной тьме, так что персонажу приходится действовать на ощупь: символика этих сцен, пожалуй, в том, что все действующие лица в любой ситуации погружены в состояние внутренней темноты. Иначе говоря, все происходит в ситуации тотальной слепоты, и присутствующий в романе слепой старик существенно ничем не отличается от большинства. Характерно, что сюжетная линия Сова привносит мотив слепоты от дневного света: став человеком, Сова, пришедшая в город под именем Балабан, действует только ночью и теряет остроту зрения при электричестве. Уж не слепа ли природа? — скрывая в себе человека, она принуждает его к слепоте.

Экспериментальное начало очень ярко проявилось в рассказах и повести «Memento», представленных в этом же томе. Примечательно, что из девяти небольших произведений пять обозначены как «сон» или «бред». Вообще, сновидчество, состояние измененного сознания — своего рода просветы, позволяющие Зальцману-прозаику выйти за пределы убогого быта страшного времени. Однако было бы ошибкой предполагать, что писатель бежит от ужасов эпохи; наоборот, воссозданная атмосфера Средних веков («Зима 1514 года») или странная ситуация, в которой оказываются охотники на слонов в

<sup>1</sup> Здесь имеется в виду «выход из образа» как прием средневекового театра.

Средней Азии («Надрезы»)<sup>1</sup>, позволяют автору сосредоточиться на ужасе жизни, только, скорее, метафизическом, придать кошмарам бытия универсальный характер. Интересно, что, какой бы материал ни использовался Зальцманом, он не упускает возможности вводить детали, подсказанные ему опытом (проследивать некоторые анахронистические или анатопические реалии позволяет комментарий). Большой знаток немецкого романтизма с его фантастикой, ценитель творчества Г. Майринка, наследник русского модернизма, Зальцман не чуждается иногда прозрачных намеков на повлиявшие на тот или иной текст классические произведения, но важна не конкретная отсылка, а дух того или иного произведения, который, по соображениям автора, наиболее соответствует описываемым событиям.

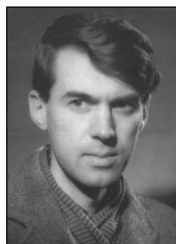
Так, своеобразным претекстом рассказа «Лошадь в яблоках» можно видеть устный рассказ Пушкина, легший в основу повести В. Титова (Тита Космократова) «Уединенный домик на Васильевском»: кульминацией и там, и здесь является бешеная езда на запряженной лошади (в каждом произведении свои приметы времени: у Пушкина — Титова это сани с извозчиком, у Зальцмана — телега без возчика) — в «Уединенном домике...» герой-простак оказывается с глазу на глаз с чертом, в «Лошади в яблоках» сведенные голодом с ума мальчишки гибнут, попав в телегу, везомую конем Апокалипсиса. Обращает на себя не только формальная вписанность ряда произведений в петербургский текст, но и особая «черная» гротескность, словно снимающая границу между жизнью и смертью.

Абсурд у Зальцмана — грозное явление, подсказанное не столько литературными связями, сколько самим временем, даже когда произведение напрямую не соотносится с эпохой. Абсурд здесь — вневременное, тотальное начало. Экспрессивные, мрачные фантазии писателя еще ждут своих читателей, так же как имя Павла Зальцмана ждет своего часа, чтобы занять должное место и в истории русского художественного авангарда, и в истории русской литературы XX века.

<sup>1</sup> Характерно, что ни джунглей, ни слонов в Средней Азии нет. Здесь мы имеем дело с тем же приемом, что был использован в «Щенках» — совмещение различных хронотопов.

## Павел ЗАЛЬЦМАН

*/ Санкт-Петербург /*



### ИЗ НЕИЗДАННОГО

**(Предисловие, публикация и примечания  
А. Зусмановича и И. Кукуя)**

Публикуемые ниже произведения Павла Зальцмана носят характер не вполне завершенных заготовок, но тем не менее представляют значительный интерес для понимания творческого метода художника. Рассказ «Запонки» Зальцман включил в один из списков своей прозы, в котором рассказ датирован началом 1955 г.; датированная 1934 г. рукопись «Парагвай», не упоминаемая ни в одном из списков, сохранилась на четырнадцати блокнотных листах (пять в линейку и девять в клетку). Стр. 6 отсутствует, это место обозначено в публикации астерисками: не исключено, что автор просто ошибся в нумерации страниц при переходе на другую бумагу.

1934 г. — начало авангардных литературных экспериментов Зальцмана. В своих текстах он сочетает прозаический и поэтический строй, активно использует заумный язык. Опыт «стихопрозы» отчасти может быть объяснен прочтением романа «Петербург» А. Белого в апреле 1934 г.; интерес к заумному языку — близостью кругу обзриутов, с которыми Зальцман знакомится в 1932 г. К наиболее ярким текстам этого периода, генетически близким «Парагваю», следует отнести «стихотворения» «Одна» и «Другая» (зима-лето 1934 г.)<sup>1</sup>. Начатые в этих текстах поиски в дальнейшем развиваются в целом ряде произведений 1935 г., из которых отметим прежде всего цикл «Обезьяны»<sup>2</sup>.

Но, конечно, основным источником вдохновения того времени для Зальцмана было творчество его учителя Павла Филонова — как его аналитическая живопись, так и поэтический язык («Пропевень о про-

<sup>1</sup> Зальцман П. Сигналы Страшного суда: Поэтические произведения. М.: Водолей, 2011. С. 58–62.

<sup>2</sup> Там же. С. 71–73. Впервые авангардные произведения Зальцмана были собраны в «Альманахе Академии Зауми» (М., 2007. С. 151–153). См. также: Кукуя И. «Свет, скользнувший по предмету»: авангардизм Павла Зальцмана. С. 148–150.

росли мировой»). Мозаичное письмо Филонова, детальная проработка отдельных, разбросанных по холсту деталей целого и литературная экспрессия прослеживаются в языке «Парагвая», в первой части которого фактически отсутствует внешнее синтаксическое членение, смысловые ячейки разбиты и разнесены в разные места одного предложения, и единое целое скрепляет общий ритм произведения и ряд изобразительных лейтмотивов.

Рассказ «Запонки» написан более чем двадцать лет спустя. К тому времени Зальцман уже давно живет в Алма-Ате, будучи эвакуирован из блокадного Ленинграда в 1942 г. В январе 1955 г. после почти тринадцатилетнего перерыва он впервые возвращается в Ленинград: свидание с городом, в котором прошла молодость художника, стало возможным благодаря изменениям в его статусе спецпереселенца после смерти Сталина, а также командировке при работе над фильмом «Девушка-джигит» (с 1954 г. Зальцман становится главным художником киностудии «Казахфильм»). Однако художник «чувствовал себя очень одиноким в эту первую, после длительного перерыва, поездку в Ленинград<sup>1</sup>: посещение друзей молодости и коллег (Т. Глебовой и В. Стерлигова, Вс. Петрова, братьев Трауготов и др.) при всей душевной близости, показало, что в одну реку нельзя войти дважды. Душераздирающее посещение квартиры погибших в блокаду родителей описано в блокадном дневнике Зальцмана<sup>2</sup>.

Это ощущение невозможности встречи и вместе с тем надежда на то, что невозможное свершится, — центральная тема незавершенного рассказа «Запонки». Иррациональность внезапно возникающего чувства, случайность встречи и неспособность человека противостоять притягательной силе эроса всегда интересовали художника и присутствуют во многих его рассказах середины 1950-х гг. («Отражение», «Надрезы»). Не исключено, что рассказ остался незаконченным в силу слишком большой степени автобиографизма, которой Зальцман в прозе старался избежать<sup>3</sup>.

Тексты публикуются по карандашным рукописям, обнаруженным недавно в архиве художника. Авторская, максимально редуцированная пунктуация в рассказе «Парагвай» сохранена в силу его экспериментального характера; в рассказе «Запонки» орфография и пунктуация приведены к современным нормам. Авторские конъектуры приведены в угловых скобках.

## Парагвай

Великий путь до пройденных пород за мыльный без бритвы охвативши изголодав на добрых шерстистых подвязанные падают штаны забывшись сном угрумо с детской болячкой опустивши ру-

<sup>1</sup> Зальцман Е. Воспоминания об отце // Павел Зальцман. Жизнь и творчество. Иерусалим: Филобиблон, 2007. С. 53.

<sup>2</sup> Зальцман П. «А дальше началась страшная блокадная зима...» (Из блокадных воспоминаний) // Знамя. 2012. № 5. С. 155.

<sup>3</sup> Так, в гардеробе художника были запонки, описанные в рассказе. См. также примечание на посл. стр. рукописи: «Может быть, это троллейбус. Она кондукторша, та, которую я видел».



ки подняв колени и голову в колени с солью губы языком притро-  
нув приправы плотоядные глазки в морщинках слезы задолжавши  
на ступени телами поникши в стекло пузырьками.

И вдруг сверкает дивный грот где кроморой погиб народ на-  
бил пород губительный шквал прилеплен ростком и подробным сол-  
ло и облачный глат безбровых клад под землей затесался древесый  
куст и неразличимый насыщен народ заусеницы вырос в стороны  
вкус на горячих дымит облако вечер.

Буря проносится землетрясением данное скалистое гнездо ок-  
руженный палец нет лижен лижется звеньями зубья блуждая зигза-  
гами углами а один прислоненный спиной к скале на земле отгал-  
кивает взглядом во имя не харчей а как маяк без награды одино-  
чество.

Но что до кораблей налетающих по земле на отмели в зелени и  
по веревке вытянули гору на изнанку на туннели для сообщений и  
кустиками роз их особняк порос семейной жизни на палисад и  
машут прибывшим вернуться назад.

А черные гребни горячей земли нефтяные сабли метались в  
пыли и ленты линияли под дождиком на драных перышках разло-  
жены лежмя.

\* \* \*

Волны понесли большой корабль к новой земле. В этот день  
моросил грязный дождь мхи по острым выстриженным солнцем  
скалам вздымались набухали и топорщились вверх, но ничто не  
сравнимо с тем чудным жаром, который охватил сердца достойных  
мужей. Он пылаа в лице сутулого Маттео как будто влюбленный он  
очутился в обществе милых светлокудрых девушек, как я сейчас, они  
окружили его они сплели косами ему руки и захлестнули его востор-  
женное простое лицо своими пушистыми волосами закружили его и  
он падает и руки его касаются разлетающихся их платьев. То был се-  
рый хлещущий ливень острые ногти девушек вонзились в спину его  
поистине внезапно. Он почувствовал переход от света к гудящему  
ветру на трапе и к ударам пены о его кожаные сапоги. Вот трап ко-  
леблется и вместе с синьором Катаьдини он всходит на палубу ко-  
рабля. Это должно было так быть. Вероятно паруса не поразили их  
своим острым хлопаньем и ладошки мокрых полотенец не были ими  
услышаны. Вот они на корабле. За ними братья иезуиты бегут неу-  
жто они не сталкивают друг друга, хватаясь и крича, за поручни, за-  
бывая брошенное распятие и не страшась ударов черного ночного  
ветра и брызг. Они добегают до корабля и восторженная их орава в  
груде у большой мачты славит будущую победу зеленой страны, ми-  
лого Парагвая, где будут развеваться их знамена. Кажется, что про-  
клятия их проваливают трап но с треском волны принимают его и в  
ужасе разлетаются под его разящим усиливающимся ударом. Тут нет  
места сомнениям и они с яростью уносят его обломки и вздымают  
корабль выше серых скал, сквозь дождь красное вечернее солнце  
желтит лица отцов иезуитов.

А с берега нескончаемая толпа бежит, кутаясь и прикрывая воротниками намокшие шеи, уши их открыты, но никто не слышит своих слов благодаря всеобщему кипящему крику. Белыми платками разрезан, как выстрелами, серый ливень и черный мрак и с корабля отвечают им только разорванным громом пушки и аплодисментами моряков и корабль уносится накренившись будто сторонится бездны под восторженным и осторожным управлением синьора Катальдини.

Кровь отлила от головы. Люди стояли с пересохшими глотками у берега а корабль уже скрылся в темноте. Тут они нагнули головы к скользящим камням чтоб не упасть и медленно пошли осторожно огибая дужи, забыв о том, что вот тут же только что бежали, падая, разбрызгивая воду, хватая руками режущие клочья воздуха, земли и ветра. Они не долго стояли они пошли шепчась о смелом деле братьев иезуитов.

Пошли по домам и дома многие жалели, что не были на корабле, когда восторженные слова родных в тишине и резком свете из четырехугольных решетчатых печурок пели да пели им старинные песни о храбрости и славе за ветчиной. Действительно у них не было попуаев и золота а за ними надо ехать в Парагвай и только в Парагвай.

1934

### **Запонки**

Это довольно еще молодой человек лет примерно двадцати восьми<sup>1</sup>, слегка озабоченный и рассеянный. Он только что сел в автобус. У него скверное и грустное настроение. Ему жалко себя. Жалко у пчелки. С этим утешением он прислоняется к (поднятая рама) косяку окна поглядеть направо на бегущие дома и уже золотые деревья. Сильный ветер и довольно темно.

Кондукторша протискивается через народ, обилечивая, так сказать, на ходу. Он поднимает голову и глядит на нее. Автобус тормозит, и она хватается <дая> равновесия. Широко расставленные тонкие высокие ноги. Пестрое платье, синее, дешевенькое, в белых цветах, очень легкое, которое облегает — сквозняк, ветер.

Он стал пристально рассматривать ее. Сейчас она подойдет к нему, и он возьмет билет. Он ищет мелочь.

У нее были красивые волосы, белый лоб и, главное, тревожное помятое бледное личико с расплывчатыми, еще очень молодыми чертами. Он ее раньше не видел в автобусе, а ведь он часто ездил по этой линии — на работу.

<sup>1</sup> Исправлено с 32 (возраст Зальцмана на тот момент); этим объясняется неправдоподобно молодой возраст девушки (в первоначальном варианте — 18–22 года). — *Прим. ред.*

Он сидел близко от ее места на боковом сидении спиной к окну, и она наткнулась на его колени. Ее прижали к нему, так как было тесно. Да, его коленка была почти у ее живота, так как она не была высока ростом.

Вдруг он понял, что это невыносимо. Разве так не бывает? В этом нет ничего особенного, это вполне реально. Но штука была в том, что он сразу же сообразил большую силу, большую прелесть этой неожиданной мысли, именно пожалуй даже мысли, а не чувства, и второе, самое то главное, создающее завлекательность, ощущение невозможности. Это была чужая, совершенно незнакомая девчонка, немного бледная, чуть помятое неформившееся личико со светло-серыми, опустевшими — она была занята — глазами.

Очень еще молоденькая, лет на десять, а может, и на двенадцать или четырнадцать младше его — одним словом, чушь, другая, совсем другого круга. И ее невозможность резанула его. А потом вдруг ему стало ее жалко. Жалко у пчелки. Зачем она работает здесь, ей бы следовало учиться.

У нее были необычайно красивые руки, и это просто испугало его. Белые, тонкие, с длинными красивыми пальцами. Но высокий тонкий писклявый голосок, который очень ему понравился.

Ремень, который так ясно выпячивает, вычерчивает грудь, лежит между двух грудей. Она в кофте, темно-серой и затасканной, поверх своего легонького платица, и на нее повешена билетерная кондукторская дрянь — ролики билетов, розовые ролики.

Он встал, чтоб продвигаться вперед. Скоро его остановка. И вот он, не успев опомниться, сделал несколько необычную вещь, очень, очень противоречащую его обычному поведению. Он был застенчив именно в том, чего ему хотелось, к чему его тянуло. Его тянуло и оттакивало. Препаршивейшее свойство. А тут он неожиданно для себя, поравнявшись с ней, легко взял ее за плечи, чтобы отодвинуть. Это, конечно, было объяснимо, то есть логично. В автобусе было тесно, она стояла к нему спиной, облечивая кого-то, и, чтобы пройти вперед, можно было сделать это. И он удивился своему движению. Его руки лежали на ее плечах. Это было только несколько секунд. Он принужден был легонько оттолкнуть ее, чтобы кончить начатое и пройти, но в этот момент последовала еще большая неожиданность — она обернулась к нему. Он мог ожидать, он склонен был ожидать либо раздраженного взгляда, либо безучастного движения — отойти. Вместо этого она подняла, высоко подняла на него глаза, пристально посмотрела, слабо-слабо, как будто немножко грустно, улыбнулась и сказала: «Зачем же так?»

Но в этот момент автобус остановился, и он должен был выйти. Зачем этот взгляд? Вы думали когда-нибудь о невероятной разговорной способности взгляда? Ее скорее трудно переоценить, чем недооценить всякому, кто вглядывался в глаза очень многих людей. Но это знают, пожалуй, только некоторые, но это действительно, и это больше всего относится к глазам женщин или даже скорее девушек. В чем тут штука, сказать трудно. Но он был уверен, этот

взгляд убеждал его, что она видела его, что подумала о нем что-то свое определенное, и что она запомнила его, нет, совсем другое — что в тот момент они попросту были вместе.

Этот кусочек, если бы его растянуть, означал все: и ночевку в холодную осень под одной крышей, когда дощатая дверь в сени с земляным полом заперта на крючок, и встречу у стены <нрзб.> с черным старым зонтиком, и вот они бегут вместе под проливным дождем, и мокрые от дождя те самые белые красивые руки, которые он целует. Но ведь это был только маленький кусочек. А если все это только показалось? Ах, жалко. Жалко у пчелки. Собственно, на этом все кончилось.

Ему было просто противно начинать все это сначала. Именно потому, что он понимал, что все это чушь, что она любит другое, чем он, что они и двух слов не смогут сказать общих, что у таких девчонок свои весьма определенные понятия и пятнадцать лет разницы. И все-таки он неожиданно для себя через три дня точно в тот же час пришел на остановку автобуса. Он хотел просто еще раз посмотреть на нее.

Он с большим волнением влез в довольно нагруженную машину. Но его ждала неожиданность. Ее тут не было. Почему же? А почему бы нет? Вместо нее с роликами сидела толстая, довольно смазливая баба, к которой он долго присматривался. «Что же, это вы всегда тут ездите?» — спросил он вдруг. Но эти <и> последующие вопросы были напрасны. Видимо, кондукторы сменялись часто и, кроме того, текучий состав. Могла быть какая-то девчонка, заменившая кого-нибудь на два дня. Вот тебе и взгляд.

И тут он пережил несколько очень неприятных дней. Дело в том, что вспоминая этот взгляд, он все яснее ощущал такую редкую, очень редко случающуюся, но ведь бывает же это, хотя и редко, близость — ну, нравятся люди друг другу, сразу понравились, ведь это же бывает, бывает. И вот это для него именно — мы ведь начали с того, что он тогда был очень обижен и одинок, — для него это было то же, что выиграть по билету десять тысяч, а потом потерять билет.

Однако прошло две-три недели, и он стал реже думать об этом. Были и всякие дела, и заботы.

Утром, торопясь по существенному важному делу, он проспал. Застегивая манжет рубахи, он разорвал цепочку запонки. Он страшно ругался, был раздражен последнее время, и наскоро пристегнул манжет английской булавкой, которая, к счастью, случайно нашлась.

Вечером, часов в семь, возвращаясь к себе, он вспомнил об этом и зашел в галантерейный магазин, чтобы купить запонки. Это все была дешевенькая дрянь, более или менее пестрая, и даже какие-то черно-белые, как шашечница, эмалированные. Немыслимо было брать эту гадость. Но тут он заметил более или менее приличные запонки из янтаря, прозрачно-желтые с белыми расплывшимися матовыми пятнами. Он купил их и поплелся домой, глядя под ноги и размышляя о своих делах.

Вот еще один день кончился. Проходя мимо кино, он поднял глаза, чтобы взглянуть на афишу. Вдруг он увидел ту самую девушку, он узнал ее лицо. Но она была совсем другой. Она обстригла и завела буклями волосы. Она была в черном ярком платье, и от этого ее белая кожа и золотые рыжеватые волосы казались еще ярче, и помятое, еще не оформившееся личико как будто сверкало из темноты двери, в которой она стояла. Она готовилась войти туда и почему-то на секунду, видимо, задержалась — оглянулась. Теперь, увидевши его — их глаза встретились, — она как будто заколебалась, но через полсекунды сдвинулась с места и медленно пошла туда, в вестибюль, где кассы.

Он тоже медленно, с трудом заставляя себя, поднялся за ней и, поравнявшись с ней, глухо, глухим голосом, словно с каким-то бессилием, спросил — это была жалкая имитация шутивого развязного тона: «В кино собрались?» Она остановилась и вполборота к нему, не поворачиваясь и глядя в сторону, ожидала, что будет дальше. Тогда случилось опять то же: неожиданно для себя он протянул руку, он видел, как его светлая в темноте, узкая рука с длинными пальцами легла на ее тонкую руку, и он тихо, но свободно сказал: «Можно мне с вами?», а она сразу же обернулась к нему и ответила: «Хорошо», а потом добавила: «Берите билеты». Он невольно улыбнулся: «Вы же не в автобусе». Она рассмеялась: «А вы запомнили. Я там была недолго». — «А что это за картина?» — «Берите скорей, уже начали, а то не успеем».

Дело в том, что каждое ее слово подтверждало его ту мысль. Это было невероятно. Случалось вам видеть, как какой-нибудь огромный предмет, затонувшую лодку или цистерну, поднимают из воды? Вот не было ее — и вот вздымается вверх и вылезает, и появляется огромное сущее тело. Так и здесь, эта уже исчезнувшая в какую-то глубину мысль вдруг вынырнула, и оказалось, что она тяжелая, большая и заняла свое место, вытеснивши пустоту.

Но это было еще перед ним, он догадывался об этом, а сейчас, здесь, повторилось то, что уже было. Она была рядом, и это мучило его. Он взял в темноте ее руку. Каждая секунда до нее и без нее теперь казалась кричащим ужасом. Лучше бы его разорвать на две части и жечь огнем, только бы он знал, что это его и для него. Он касался ее бока, ноги, и казалось невыносимым обойтись без этого. А суть-то была в том, что это была совершенно чужая молоденькая девочка, о которой он ничего не знал. Одна ли она, может быть она замужем или была замужем, или у нее есть кто-нибудь. Это могло быть, и он с ней не был, и эта мысль о невозможности и одиночестве... Каждый раз, когда он задавал себе этот вопрос, ее минутное присутствие казалось золотым. Быть только одним. Если бы для этого нужно было убрать все остальное, то есть обязательно все остальное, и это зависит от него — это было бы прекрасно.

Но картина кончилась, и вдруг она спросила: «Который час?». Он ответил. Она спохватилась: «Мне нужно идти». — «Нельзя проводить вас?» — «Нет, не нужно, мне надо быстро идти». Точно она

привыкла гулять, как это делают обычно в отдельных случаях. «Пойдемте еще в кино?». Она с улыбкой посмотрела на него, пожилая ему руку: «Хорошо, послезавтра встретимся здесь же в семь часов». И она убежала.

1955

*<На этом рукопись обрывается. Сохранился карандашный неразборчивый набросок на трех блокнотных листках — возможно, первоначальный план рассказа. Название «Обман. Необыкновенный случай» зачеркнуто, на полях позднее записано: «Запонки». Одинокий герой встречается в троллейбусе девушку, идет с ней в кино, она не приходит на следующую встречу, и он понимает, что больше не встретит ее: он не оставил девушке своего адреса и не знает, где живет она, он не знает даже ее имени. В итоге они все-таки встречаются, и девушка приглашает его к себе домой. Рукопись заканчивается следующими словами:>*

Не забывать, что она все время хочет. Всё страшно легко — с ее стороны никаких препятствий. Он запирает за собой дверь её комнаты. Они вдвоем. Он идет на нее. Она в углу, он загоняет её в угол, ей некуда уйти, ей не увернуться, и вот тут его почему-то мучает одно: остановиться — нельзя. И сейчас он уже опустил руки на неё и её плечи, и вот вдруг он видит, что это не его руки, это чужие руки. Он видит со стороны — рядом с ней не он.

## Татьяна ОСИНЦЕВА

*/ Екатеринбург /*



\* \* \*

Ветер северный железный,  
Как дракон змеится шальный,  
По дороге жжёт окрестной,  
Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы,

Что за поезд мчится мимо?  
Деревянные вокзалы...  
Это пульс дороги длинной,  
Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы,

Это ветер вещей скиний,  
Что в морозные порталы,  
Шлёт огонь на стыни синей,  
Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы,

Душу вывернет до донца  
И снегами полущалок,  
И в серебряное солнце —  
Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы.

## ЛАО-ЦЗЫ

Покажи мне в проломе Великой стены  
Тот пейзаж, где потоки спускаются с гор,  
Где в туманных драконах хвоинки сосны —  
Иероглифом света ласкают простор,  
Где в живой седовласой игре мудреца  
Равновесный расчёт и баланс стратагем,  
Воля Неба прекрасна, как воля Отца,  
Постоянство сияет в лице Перемен.  
Там, где чайный листок и цветы мэй-хуа,  
Для живущих водица, роса и настой,  
Где судьба — это сила и слабость гуа,

А поэт — и философ, и бражник простой.  
 Путь бессмертных нефритовым вымощен сном,  
 Рыбка грезит, мешая крыло и плавник,  
 Загляни в Млечный путь, как в небесный пролом  
 И узнай пустоты очарованный миг.  
 Уришь всадника — Дао — источник всего,  
 И держись за пустыню и хвостик быка,  
 «Я не знаю младенца мудрее его,  
 И моложе его не встречал старика».

## АНТВЕРПЕН

Под рёбрами живых соборов  
 Сердечко прячется в капелле,  
 И Рубенс жестом необъятным  
 Гигантский плющит завиток,  
 Чтоб тело пылало без укоров  
 На полотне, сияя белым,  
 Потом уж облаком приватным  
 В одно касание, как ток...  
 Горит брусчатка под трамваем,  
 Кривоколенно скачут тени  
 И мальвы — россыпь граммофонов,  
 Вишнёвой колокольней в рост.  
 От Брейгеля к портовым сваям  
 И так всегда, почти без денег,  
 В подвальных кружевах притонов  
 Коричневатых, как погост...  
 Семи грехов не трогай ручки  
 И доброты на дне таверны,  
 А что гравюры ослепляют —  
 Там смех и грех, и швец и жнец,  
 Но, Боже мой, какие штучки  
 Царапает и режет верно  
 Тот мастер, время обгоняя,  
 Для умолкающих сердец...

.....

Лови, цветущее мерцанье,  
 Тайник души, где не напрасно  
 Все линии сплелись в косицу,  
 И ждёт кирпичный бегинаж  
 То легкокрылое касанье,  
 Тот анжелюс крестообразный,  
 И снова по святу водицу  
 В неугасаемый витраж.



\* \* \*

В снегу по пояс не попляшешь.  
 Придёт ноябрь, и встанут реки,  
 Михайловских морозов слепки,  
 Филипповки. Запоминаешь

Кристаллы пресного лекарства  
 Для геометрии снежинок  
 И ярко-рыжих мандаринок —  
 Лисят любезное лукавство,

С нескромной долькою лимона  
 На густоте небесной ткани,  
 Как будто пол-луны в стакане,  
 Где чай со звёздами для звона.

И сам себе наобещаешь  
 Сновидческие кругосветки,  
 Михайловских морозов слепки  
 На вкус, на цвет запоминаешь.

На тонком крестике собора  
 Летящий зоркий лучик алый...  
 И рельсы — остов, рёбра-шпалы,  
 Поваленные навзничь споры...

Запоминаешь «тихий Свете»<sup>1</sup>,  
 А всё равно снега по пояс,  
 Но переправа — близкий голос  
 На грозном повисте столетий.

\* \* \*

Да, это мания Жизели,  
 Босые пяточки росы,  
 И это магия свирели  
 Для Волги средней полосы,  
 И это снова отозваться  
 На той сверхдлинной частоте,  
 Где песен млечное пиратство  
 Желает плыть по высоте,  
 Там плещутся ультрамарины  
 За терракотовой стеной,  
 И на салазках скользких линий  
 Меня отправят за весной,  
 За миром и потом по миру

<sup>1</sup> Песня «Свете тихий», сопровождающая вход со светильником на православной вечерне, является одним из древнейших сохранившихся гимнов ранней Церкви

Кленовым семечком весла,  
И это магия эфира,  
И это мания крыла,  
И эта мания Жизели —  
Преображенье красоты,  
Освобождение без цели  
На бис, на право нищеты.  
Пусть будет целовать следочки  
Сгоревший набело контекст,  
Но дышат всходы многоточий  
И отменён судьбы арест...  
Как дрогнут ветры в милях книги  
По кругосветке в небесах  
На Аполлоновой квадриге  
В аплодисментах-парусах!

\* \* \*

У истины простая речь  
И пресная вода,  
Сквозь темноту и камни течь  
И чують, где беда.

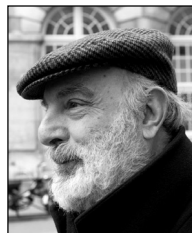
По воле ветра править путь,  
Зачем тебе ямщик?  
Желать побега и уснуть  
По естеству пращи.

Так стих горит сквозь белый снег  
Из силы в рост, и вновь  
Безумный мир распнёт под смех,  
Но дай ему любовь.

Она — доверчивый чужак,  
Дитя и астроном,  
И свет сквозь звёздный полумрак,  
Ведущий в отчий дом.

## Ара МУСАЯН

*/ Париж /*



### АНОНС

Завершается четвертый год — чего именно?

Набралось четыре сотни, а то и шесть, а то и восемьсот — прозрений (вряд ли еще та тысяча, которая грезилась, чуть ли не в самом начале). Круглое и звучное число — зычное, и что-то да значащее?

«Не четыреста штук чего-то однородного (двадцать сигарет в пакете), а ряд, выросший спонтанно и степенно, где лишь *насчитывается* такое количество отдельно стоящих — словно окаменелые Орфеи с лирой — «литературных моментов».

\*

Странное предложение: «В жизни ничего мне даром не давалось, кроме счастья».

\*

Есть что-то *особенно* женственное у «французенок» — в глазах русского мужчины, но никакая иностранка не заменит ему розовощеких малявинских девиц.

\*

«Чёрт с тобой», а иногда — *Бог*.

Как если бы язык не делал разницы, не проводил черты между «чистой» и «нечистой» *силой*.

\*

«Нанести», кроме *слоя, мазка*, используется главным образом в сочетании с *ударом, визитом*... Есть в визите, даже ожидаемом, что-то от удара.

«Ад — это другие».

\*

Нет ничего на деле *одинакового*, даже в самых стандартных подшипниковых шариках, не говоря о природных созданиях: всегда найдется атом разницы в составе, диаметре, массе.

Мир — единен, разделен — в отделившемся *сознании*. Все, что для него «реально», им же овеществлено — мертво. Живо лишь то, чего еще «нет», не состоялось и о себе пока не заявило, и через себя движет всем мирозданием.

Человек — последняя ступень творения, его настоящее и единственное будущее. Все остальное принадлежит окончательно к прошлому: звезды, галактики, звери — ископаемые и живые. Потому так легко умерщвляется скот — и нет уже христианской боли в момент убиения: всем ясно, что у животного не было другой будущности.

*Оригинальность* — степень неодинаковости порядком выше — физической. Достигается «вкраплением» моментов *дискретности* в тесто континуума: — срывами в естественном ритме извержения магмы — срезом языка лавы ножницами *сознания*.

\*

*Big bang*. Представляют эту «штуку не шутку», как некий вселенский *взрыв* некоей *очень, очень* мелкой «частицы» — частицы чего? — чего-то малюсенького-премалюсенького — откуда и эсхато-логический вывод о возможности-неизбежности возврата, порожденного этим «взрывом» мира в исходное нечто-*ничто*.

Однако все это я вовсе не так представляю. «Все это», на самом деле не «произошло», а *выторкнуло* — как облако газа из склянки — и это меняет все: назад, как говорится, зубную пасту в тюбик уже никак не затолкнуть.

\*

Шостаковича 5-ая симфония — монумент миллионам безымянных, безвестно пропавших и оставшихся без погребения жертв лагерей.

Однако без погребения остаются и жертвы стихийных бедствий — оползней, землетрясений.

Потерянность, растерянность — 1937 — откуда и некоторая *слабость*, апеллирование к помощи со стороны (Малер и др.). Лишь в 3-ей части (ларго) нечто прорывается на поверхность из скрытого замысла. В остальном же, обычная советскость, чайковскость, особенно во 2-ой и финальной частях. Что и усыпило цензуру и спасло композитора от близкой с оплакиваемыми участи.

Возможно ли произведение искусства на тему стихийного бедствия? — «Девятый вал», «Плот Медузы», но суть этих картин — трагедия общей смертной участи человеческой, не изболочение зла (но у того же Делакруа есть «Резня на Хиосе»).

«В условиях сталинской диктатуры протест мог выражаться лишь бессловесными средствами музыки».

Яначек и «Соната 1905» — протест (на расстрел демонстрации в Праге — один убитый) и — *музыка*.

\*

Не *трагедия* ли уже одно это поистине *чудовищное* изменение погоды: солнечная — неделю назад, пасмурная и дождливая — вот уже несколько дней!

\*

Движение подразумевает отталкивание. А когда вещь повисла в воздухе — как человечество — отталкиваться остается от самого себя: откусывать часть собственного тела и отбрасывать прочь, создавая условия известного *реактивного* движения.

Человечество живет за счет *парий* (хоть и не парит — летит, как торпеда к своей конечной, уму непостижимой цели).

\*

Неожиданно осеняло — во время урока истории — значение слова «союз» в расшифровке названия страны, когда начали проходить главу о *Римско-латинском союзе*.

В третьем классе?

До этого слово могло быть спутано с «соусом», ничего не меняя в недопонимании.

\*

Искусство — где постепенно все сводится к форме: *скульптура, музыка, поэзия*, в отличие от архитектуры, где форма — фасад, содержание — оперный зал, вокзал, тюрьма; живописи, где форма — холст, краски — содержание; прозы: форма — роман, содержание — политика, порнография, преступление (и наказание), — *красота* в редких случаях.

Форма (*лат.*) — красота. Красота как содержание формы.

.....

И вновь передо мной — проблема перевода поэзии и принятой у русских коллег техники *подстрочника*. Разрыв формы и содержания: переводчик — тот, кто владеет языком оригинала — якобы передает содержание, поэт добавляет дозу поэзии к сухому экстракту. Если он свою роль ограничивает воссозданием размеров стихов, музыки, ритмики оригинала, то остается в стороне все остальное — главное. В порядке компенсации, поэт-оформитель активизирует собственный творческий потенциал — неизбежно удаляясь от сюжета, ибо сюжет, это всегда и исключительно — автор и его сокровенный внутренний мир. Тут уже неправомерно говорить о переводе, скорее, *пародии* — Бодлера, Гомера, Шекспира...

Истинный перевод — дело переводческое, выполняемое героем-переводчиком, чемпионом терпеливости, роль которого — добиться осмотического *перехода* оригинала в пространство другого языка, в процессе которого должна кристаллизироваться

чистая форма, она же — красота. Жертвуется форма внешняя — точный размер стиха, ритма и т.д., зато максимально передается мысль в минуту вдохновения.

\*

Почему, если по Фрейдю сны — осуществления наших желаний, мы не способны их вызывать по нашему же *желанию*?

*Женские ласки, особые во сне...*

До этого считалось, что сны нам посылаются — кем, откуда? — как наущения, предупреждения...

В обоих случаях, однако, «исполнитель», вектор, вестник — анонимное бессознательное: у Фрейда — разделенное от сознания тело, у древних — нечто внешнее, божество, рок.

В русской речи используется притягательная безличная форма «вам приснилось», в немецком — «вы сновидели», форма глагола активная. Откуда, возможно, и идея завязать сновидение с желанием и *активностью* спящего.

\*

Бетховен ставил на одну ногу со своими бессмертными творениями опекунство племяннику — «смертному», бездарному, неблагодарному.

И у Рамо был (прославленный Дидро) — племянник.

У Гегеля не *получилось* с сыном — у отца системы, в которой *случаю* так мало — как у Малларме — уделяется места.

Из нескольких сыновей Баха выросли вполне достойные композиторы.

Один сын — Доменико Скарлатти, превзошел Алессандро — отца.

\*

Порог благосостояния, пройдя который незаметно теряют смысла самые явные доводы в пользу идеи труда, обеспечения себя и близких заработком.

Невозможность раздела ресурсов малоимущим, не рискуя всеобщим распространением духа праздности.

Парадокс: скромный достаток располагает к безделью, лишь *капитал* толкает к предпринимательству и поддержанию духа экономики в обществе (у тех, у кого все в достатке!).

\*

Кость — и фр. *côte* (*coste* в старом написании), — *ребро*. Получается, по-русски: что ни кость, то ребро.

«Из адамова ребра», что из адамовой кости, плоти — сути... Дева Ева — производная от Адама — *человека*, на что недвусмысленно указывают большинство языков мира.

Иначе стал бы русский язык останавливаться на «веках» и «челе»? Выделил бы другие, думается, атрибуты...

\*

О гомосексуальности — или *отвращении к женщине* — отрешении от женщины? — в литературе, где вот уже двести лет доминирует жанр «воспитательного романа», всецело посвященный женщине, разгадке тайны ее, укрощению строптивых и прочим предбрачным испытаниям, упражнениям и развлечениям;

И — есть ли «воспитательные романы», писанные женщинами, гомосексуалами, и какова тогда их тематика?

(Читая — пытаюсь — «Могила для 500 000 солдат» Гийота.)

\*

Обычно — в сколько-нибудь философских дискуссиях, стало быть, несколько оторванных от ощущения почвы под ногами — любят противопоставлять механику — биологии, машину — живому организму, забывая, что нет на земле, в природе, других примеров механики, кроме скелетов животных, ими же выработанных в своих насыщенных жизненных целях.

То же самое должно пониматься и в отношении молекулярной и небесных тел механики: суть скелеты, обуславливающие движение чего-то *живого*, а вся так называемая «неодушевленная материя» — лишь останки этих пропавших бесследно первичных гига-амеб, бактерий, недоступные чувственному восприятию Бога-Гулливера. Вселенная и ее видимые планетарные системы — тело, мы на земле — нейроны и синапсы мозга.

\*

Сегодня, 18.05.12 — торжественно снимаю с себя «обязанность» еще что-либо, кого-либо читать:

— Пруста «Девушек в цвету», вот уже чуть ли не месяц ждущих меня на письменном столе, и которых придется, увы! вернуть на прежнее место, в библиотеке гостиной.

— «О государстве» Бурдьё.

— Синяевского «Спокойной ночи», Цыпкина «Лето в Бадене».

— Пессоа — «Беспокойность».

— Ролан Барта, мало и давно не читанного.

— Филиппа Соллерса — нечитаемую и единственно ценную его раннюю прозу.

— Сэлинджера — наверняка прочту все — после «Ржи», под конец, полюбившейся.

Всему остальному — баста. Конец школы, рабочего дня. Гомер читал ли кого-нибудь! Брать с барда пример! Активно *не читать*. Заниматься чем угодно, только не этими вечными «домашними занятиями»! Бездельничать — самым беззаветным образом.

Странно: не удовольствие, в конечном счете, ищется в книгах, а то, что в них черпается — опыт. А в какой-то момент все и так уже известно, а если к тому же читатель и сам писатель — то в плане приемов, форм, ничего в книгах уже не сыщется.

И — Пьера Гийота, этого Гомера франко-алжирской войны: сильно напрячься и — одолеть?

\*

Вопрос женского оргазма...

По каналу этого фантастического источника знаний, коротко именуемого ТВ «Миф», заявила, ссылаясь на признания знакомых кинозвезд, известная (забыл фамилию) киношница (еврейка: страсть истины — «Что есть истина?») одергивал уже тогда Христа Понтий Пилат — в этом народе всегда превзойдет насущную потребность в обмане).

«Ролики» в интернете, наверное, впервые со времен наблюдений Сада «в натуре» — наглядное тому подтверждение: удовлетворение напарницы в сеансах сухого секса — в исключительной заботе/работе поддержания мужского хотения. Откуда, очевидно, и ее собственная бесконечная — *божественная* неудовлетворенность.

\*

Останется ли обо мне память, как о женоненавистнике, гомоили наркоманофобе — лишь потому, что я не способен читать авторов-женщин, авторов-гомосексуалов, авторов-наркоманов (не говоря о научной фантастике, криминалах, исторических романах: Тынянов, Берроуз, Жене)?..

Вирджиния Вульф, Колет... Но это — чистой воды жемчужины, где теряется память об устрице.

Искусство! Дело мужчин? Но мужчин, подавивших в себе полового червя.

.....

(Странное увлечение в последнее время темой женоненавистничества. Как если бы вдруг на старости лет меня либо осенило, либо свихнуло. Как можно, не чудовищно ли — видеть в женщине низший разряд человечества, промежуточное звено между нами и животными)!

\*

Суффикс *-ство*, и существительное — *ствол*.

Существо, чья сущность — стоять. Лежащее — камни, пески, океан, и даже будто бы «стоящие» горы существом не назовешь.

Так же немыслимо применить слово к дереву, хоть оно живое и произвольно направлено ввысь.

Для пресмыкающихся специально было придумано слово «тварь». Опять же из-за горизонтальности в жизни, не позволяющей видеть в нем «существо», созданное языком на основе вышеуказанных семантических элементов.

Существо, стало быть, главным образом — человеческое, *могущее* при надобности не только встать на ноги, но и восстать.

\*

Не все прозрения достойны написания... Однако.



\*

Вы убили человека — и что же? Ничего в мире не изменилось, все как было, так и продолжает пребывать на месте. Прошло целых пять минут, и никакая карающая рука не обрушилась на вас.

Остается свыкнуться с создавшейся ситуацией, осмыслить и вскоре успокоиться, а пока — позаботиться как можно меньше оставить за собой улики. Неужели это достойно двадцати лет заключения!

Коренной пересмотр устоявшегося всю жизнь взгляда: на то, что можно и что нельзя.

\*

Феминизм — как шаг назад к животному «правопорядку», где самка — последний и самый «ответственный» этап оплодотворения — решает «когда и с кем».

Цивилизация, очеловечивание — отказ от женской программы оплодотворения, взамен мгновенного мужского *удовлетворения*. Самка теряет стратегическую позицию последнего и решающего звена и уступает главенство самцу — ничего не знающему и не желающему знать, кроме неотложности полового расслабления.

Феминизм — внезапное (смутное) самосознание, пытающееся восстановить не то что былое господство женщин, но хотя бы подопле *равенства*. Сегодня она решает не когда и от кого зачинать, а кому, где и когда сделать приятное — доступ дать к источнику усад, коим — она теперь не может не знать — ее тело является.

«Сие есть тело мое».

*Habeas corpus.*

\*

Марлен Дитрих — узница легенды, иконы (последние пятнадцать лет жизни пролежала в постели, никого не принимая, как бы не испортить о себе память — имидж, сфабрикованный ей Йозефом фон Штернбергом).

Тот же случай — с Пьером Гийота. Слишком ранний и головокружительный успех — и такая же молниеносная мумификация (Брамс хвалил судьбу, что удалось избежать карьеры вундеркинда, куда его хотело было завлечь корыстно настроенное окружение).

\*

Интересоваться в своих созданиях «бедными людьми»: Мурильо, Утрилло... Гийота знал заведомо, что люди, которым посвящается произведение, которые составили ему основу и без которых не было бы книги, ввек не прочтут ее и воочию не увидят, ни на прилавке книжного магазина, ни в библиотеке — и настораживает неравенство и неадекватность, как между капиталистом и пролетарием, или скорее, французским военизированным колонизатором и незащищенным алжирским крестьянином.

\*

Не в замысле — гений, а в простом стечении обстоятельств, в которое, прямо или косвенно автор должен быть вовлечен: не будь Троянской войны, не было бы Гомера, а лишь, возможно, да и то — автор одной «Одиссеи». Сервантес — и сражение при Лепанто. Толстой и — 1812, Клод Симон — и «странная война» 1939–40, Гийота — война в Алжире.

Немецкие романтики и Французская революция — русская литература и революция Октябрьская.

\*

Единственное, что отсутствует в романтической поэзии, как, впрочем, и в самом христианстве (два весьма родственных у Гегеля момента духа, помеченных прекраснодушием) — это юмор, который после разгрома Иерусалимского храма и фактического избавления народа от занудного ига жречества (чего и добивался для него Иисус!), был взят им на вооружение, как безвозмездное, никем не оспариваемое благо — в те мрачные времена к веселью не располагающие — для их продлившейся не двадцать лет, а столетий мировой Одиссее. Тут-то и началось *новое писание* великой книги хохм — нового иудейства (сохранившего ветхий свод лишь для опознавания меж собой верующих, или точнее, *хохочущих*), — и со времени «Дон Кихота» пошло постепенное распространение смеха по Европе, как высшего проявления духа.

\*

Поэтический заряд фразы: «Вчера, в московском метро...»

Произнесенной в компании парижских литераторов симпатичной Наташей из «Глоба», угостившей присутствующих чаем и шоколадными конфетами.

*Поэзия — атом кислорода в молекуле слова.*

\*

Первый — непреодолимый порыв души при виде чего-то, на первый взгляд, безусловно гениального — задушить, найти изъян, слабое место — надавить, чтобы лопнула пустышка, предстал перед взором голый король.

А когда это нам, в конце концов, не удается — примыкаем, и даже готовы возглавить похвальный хор.

На деле, не появление в нашем кругозоре нового имени удручающе на нас действовало, а *статистически* более вероятный обман.

Гении друг к другу не питают неприязни или ревности, наоборот, принимают с открытыми объятиями — что идет вразрез с обычной каргиной жизни. Весь цвет французской литературы выступил в защиту и против запрета книги Гийота, без тени колебания даже у самых именитых, — кого могло бы отчасти затмить появление на горизонте новой звезды.

\*

Самое неоспоримое преимущество в моем соперничестве с другими играющими в разорительную игру со словами, более известную под именем «литература», особенно четко явствует из сравнения с таким столпом французской современной литературы — правда, отдельно стоящим — как Пьер Гийота. Но — проследим, что за волхвы председательствовали при рождении феномена.

Подумать, только! В 1967 году — автору 27 — «Могила для 500 000 солдат» единогласно приветствуется не то что парижской критикой, а всем цветом французской интеллигенции: Сартр, Фуко, Барт, Лерис, Бланшо, Соллерс, что еще можно понять, но — Клод Симон, Мишель Бютор (не знаю, как Робб-Грийе)... 1972, второй роман арестовывается, за автора вновь выступают знаменитости, президент Помпиду пишет министру внутренних дел, но запрет на «афиширование, рекламу и продажу несовершеннолетним» остается в силе.

Шестнадцать лет начинающий прозаик удостоивается внимания Рене Шара, чуть позже посылает первую заявку на публикацию Жану Керолу — имена, сегодня почти «с головой ушедшие» в лимбы забвения. Среди перечисленных выше имен не вижу Лакана, Понжа (и даже не Мишо!), недопонимаю участие Бютора, Симона, у которых было все в руках — кусачки раскусить феномен и без злобы указать правильный путь огню небесталанному, даже вполне способному молодому человеку.

Совсем недавно (2006) — в «Коме» — через сорок лет после своих громогласных дебютов, автор пытается *осмыслить* — как Неточка Незванова — стихийные события молодости. Это — новая эпоха в его творчестве, «под Экклезиаста», как он сам ее характеризует. Весьма похвально. Не избегается, как будто, никакого личностного аспекта, и почти сразу дается краткий анализ творческого прошлого: «Само совершенство этой траектории от тождественного к тождественному, какая жуть! И даже имея в виду тысячу и один оборот планеты между двух точек, — какое убожество!..»

Между точками любой из 10000 фраз «Могила» рождаются и гаснут миры, зажигаются и гаснут пожары, рождаются и умирают люди, каждый по своему, каждый в результате, и чаще всего, после *сексуального* насилия, описывается тысяча одна (и та же) история, и эта повторяемость докучает тут же, не дожидаясь прочтения всех 10000 ювелирно отточенных фраз.

Жан Полан, известный критик тех времен: «Monsieur Guyotat n'est pas sans génie. C'est un génie quelque peu systématique et brutal mais qui mérite d'être encouragé. — Мсье Гийота не лишен гения. Гений его чуточку систематичный и неотделанный, но заслуживает внимания».

Фуко: «J'ai l'impression (et je ne suis pas le seul) que vous avez écrit là un des livres fondamentaux de notre époque: l'histoire immobile comme la pluie, indéfiniment itérative, de l'Occident au XX siècle» — «Мне кажется, и не мне только, что Вы написали одну из знаменательнейших книг о нашей эпохе: история неподвижная, как дождь, бесконечно повторяемая — Запада XX века».

Мой «козырь» — это инстинктивное, моральное и *врожденное* отвращение ко всему тождественному и повторяющемуся, тому, что съедает наше считанное жизненное время — «литература», забывающая читателя, и где царит, как в мире садиста, принцип исключительности удовольствия и произвола хозяина. Вот и получилась *куча* (300 плотных стр.), там где, осознай он свое смертное человеческое достоинство и отступись от книги, принесшей ему отравленную славу, он сразу же написал бы искупительную «Кому». Понадобилось долгое пребывание *без сознания*, дабы осмыслить — бессознательно — стрясшуюся с ним «Могила».

*Второй* момент, второй эпохальный козырь — это моя франко-русская идиома в век смещения всех народов в едином человечестве (тем более странный момент в «Коме» — тема, повторяющаяся чуть ли не на каждой странице — поиска источников, родословной автора; и вот мы узнаем, что со стороны матери, наш автор — дальнего эфиопского происхождения; не знаю, во что еще выльется это откровение в следующих страницах романа), но моя книга не знает, и не желает слышать ни о каких нациях и национальных принадлежностях, постоянно переходит с одного языка на другой, в итоге доказывая читателю *реальность*, осязаемую, несмотря ни на какие местные идиомы, самого коренного из всех — языка литературы.

\*

Музыка, «сыплющаяся» пакетами белых с оттенками вплоть до чернильных — лепестков (Моцарт, Гайдн?), образующих *горки* «танцев и контр-танцев» (Моцарт) — сюиту, партиту, поупурри для симфонического оркестра конца XVIII, музыка «утренняя», отправляющая усталости ночи и открытая радостям зарождающегося дня (пять утра; сев в кресло, пытаюсь хоть что-то отвоевать от ночи бессонницы; невозможность соблюдать лежачее положение без в какой-то момент сон прерывающего *рефлекса задыхания* — пока не решишься под угрозой смерти объявить смерти войну и не пойдешь активно бдеть в салоне — с музыкой, бесконечно сыплющейся на тебя освещительными моцартовскими хлопьями).

## Сергей ИЛЬИН

*/ Мюнхен /*



### О ГЛАВНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТОНАЛЬНОСТИ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Все великое и значительное отсутствует. Отсутствуют душа, бог, смысл жизни, структура и судьба мироздания. Отсутствуют и прочие известные и привычные нам феномены, но их глубочайшего и даже субстанционального отсутствия мы не замечаем, поскольку еще прежде и аргюи, как выразился бы философ-классик, у нас в уме и в опыте, часто интуитивно и бессознательно, уже является то или иное представление о них. И мы невольно говорим себе: это ведь только то, что нам в данный момент припомнилось и надумалось о них. А если как следует покопаться в памяти и книгах, то сколько еще других — нет, не наших допотопных, а ставших достоянием мировой культуры философских, религиозных и просто умственно выдающихся концепций — существует на тему души, бога, смысла жизни, структуры и судьбы мироздания. Если же так, то не абсурдно ли или по меньшей мере праздно — утверждать, что речь идет только об отсутствующих феноменах?

Разберемся. Вообще-то, если идти до конца, отсутствуют и любые вещи, присутствие которых нам кажется чем-то само собой разумеющимся. Строго говоря, отсутствует весь мир, а то, что присутствует, есть лишь наше представление о нем. Мысль эта древняя, как мир. И в своей основе совершенно верная. Просто представление представлению рознь. И хотя логически между любыми человеческими представлениями нет никакой разницы, на деле и на каждом шагу в жизни мы их строго различаем. А это решающий момент. Философия только до тех пор может идти рука об руку с логикой, пока этот «шаг в ногу» помогает объяснить жизнь или по крайней мере не противоречит ее сердцевинным закономерностям, ее тайному току, ее внутренней музыке, в которых для нас — все, и помимо которых нас по сути ничего не должно интересовать. Всегда для человека, всерьез пытающегося размышляющего о жизни, наступает момент, когда связанное и тем более масштабное мышление о ней входит в неразрешимое противоречие с пониманием и выражением ее сокровенной сущности. На примере иных — и великих — философий мы видим, что решительное предпочтение чистого мышления живой жизни ведет неизбежно к тому, что содержанием таких философий становится

сама философия, и ничего больше. С другой стороны, если совершенно не обращать внимания на «дух мышления», который по-своему и горд, и глаголок, и самодовлеющий до такой степени, что может жить независимо от жизни — что мы видим на примере многих мыслителей — то сам собой окунаешься либо в психологию, либо в мистику. Которые зачастую в той степени интересны и увлекательны, в которой говорят о внутреннем опыте лишь данного и никакого другого субъекта. «Золотая середина» здесь, как и повсюду, редка, но все к ней интуитивно стремятся. И в той мере, в какой мы к ней приближаемся, наше мировоззрение обретает зрелые черты... нет, конечно же, не истины, но мастерского рассказа об истине. Тогда как разница между первой и вторым поистине «дьявольская», воскликая вместе с Пушкиным. И прежде всего потому, что ее до сих пор не замечали. В самом деле, что происходит, когда мы углубляемся в труды классических философов масштаба Платона, Аристотеля, Канта, Шопенгауэра, Анри Бергсона, Ж.-П. Сартра, Карла Ясперса и им подобных? Истины, ими вещаемые, настолько монументальны, убедительны и вместе несовместимы между собой, что на вопрос: какую великую правду принесли они человечеству? нельзя совершенно однозначно ответить. Да, вроде бы какую-то принесли. И если даже не всю правду, то порядочную толику ее. Но если все эти толики собрать воедино, как склеивают осколки разбитого зеркала, то возникнет ли из них адекватное отображение мира? Нет, даже и тогда не возникнет. Так что же конкретно они дали миру? А черт их знает... Мы в полном недоумении. С одной стороны, без таких людей нельзя вроде бы духовно жить. А с другой стороны мы сами с возрастом изживаем их и никогда к ним больше не обращаемся. И более того, мы на каждом шагу видим, что другие и не менее мудрые люди вокруг нас вообще без них обходятся. Вот если бы сказать, что «духовные светочи» философского или религиозного порядка умно развлекают нас и побуждают заодно к собственному творчеству, в чем бы оно ни заключалось, и кроме этого они ничего для нас не делают, — вот это было бы в самую точку. Но принять подобную перспективу мы почему-то не отваживаемся. Хотя она единственно верная и подтверждается любым жизненным опытом. Однако это значит сразу и безоговорочно признать полное тождество художественного и философско-религиозного творчества. Это значит заявить во всеуслышание, что жизненное дело Иисуса, к примеру, ничем принципиально не отличается от творчества Достоевского, а великое учение Будды — от прозы Льва Толстого. Я догадываюсь, какую бурю возмущения вызывают подобные слова. Тем более, что и они наверняка не новы. Зато нова попытка проследить и запечатлеть следы художественной природы бытия в самых отдаленных и, казалось бы, менее всего подходящих для нее областях жизни, безразлично, духовных или физических. Каковы, в частности, мировые религии. Но также и повседневная жизнь человека. Религии как книги. Одни книги для нас скучны и неинтересны, мы их и не берем с полки, а если и берем, то лишь для того, чтобы, пролистав пару страниц, снова положить на место. Другими книгами мы зачитываемся снова и снова, и их слитное музыкальное звучание сопровождает нас всю жизнь. Это и есть то самое, о чем говорят: человек живет искусством. Кто вправе о себе утверждать, что он всегда, везде и при любых обстоятельствах живет своей религией и верен ей? Он может говорить это — но так ли это на самом деле? Тут все дело в том, что — всегда, везде и при любых обстоятельствах. А если это условие не соблюдено, то какая же разница между его живым и реальным участием в том потустороннем сюжете, который он принял и обязался считать сво-

им, и тем живым и реальным участием любого из нас в сюжете той или иной излюбленной нашей книги? Участие есть в том и другом случае. И оно живое и реальное. Но значение его не следует преувеличивать — вот в чем дело. За исключением тех случаев, когда люди настолько отождествляют себя с посторонним для них сюжетом, что они готовы отдать за него жизнь — имеем в виду святых — большинство из нас вряд ли воспринимает «сюжеты спасения, откровения или просветления» принципиально иначе, нежели содержания любых других книг. Разумеется, пока последние нас так волнуют и притягивают, что мы не в силах от них оторваться и читаем их напролет. Если же такого интереса к искусству нет, то и сравнение само по себе отпадает.

Религии принято считать откровениями жизни. Так это или нет так, не играет никакой роли. Факт тот, что одни люди живут ими, как полюбившимися книгами, другие изредка к ним навеваются, а третьи ими вообще не интересуются. Аналогия, таким образом, полная. Но не это даже важно. А важно то, что жизнь любого человека, даже самого простого и посредственного, в своей основе сюжетна и насыщена художественной субстанцией. Говоря в двух словах: любой человек причастен таинству рождения и смерти, таинству соития с женщиной, таинству ношения в своей душе добра и зла, таинству вечного сожигания с повседневностью. И так далее и тому подобное. В этом плане так называемые «простые смертные» ничем принципиально не отличаются от людей масштаба Иисуса и Будды, и относятся к ним всего лишь как второстепенные герои романа к главным его персонажам.

Здесь-то и восстанавливается та великая и последняя «мировая справедливость», о которой так много и так пространно говорилось и говорится, но которая все-таки ускользает тем верней, чем больше о ней говорят. С точки зрения художественной природы бытия ускользать ей больше некуда, она проткнута на лету булавкой, как бабочка, и пригвождена навечно к стене. Мы все — актеры на подмостках театра жизни и истории, как сказал уже Шекспир. Каждый играет свою роль, и как можно лучше сыграть ее есть для нас единственный смысл жизни. И просто удивительно, как, не читая умных книг и не советуясь со сведущими людьми, мы интуитивно и безошибочно открываем этот смысл для себя. Из века в век. Во всех племенах и народах. На всех общественных уровнях. И потому только там, где у человека не находится никакого особенного таланта, или его талант слаб, он поступает в добровольное услужение чужому и сильному таланту. И тогда он говорит: Иисус или Будда или Магамет открыли истину, а я лишь распространяю ее дальше. Но мне неизвестен случай, чтобы человек с мощным и оригинальным даром — музыкальным литературным или полководческим, неважно — целиком и полностью отдался чужой воле только потому, что она признана глашатаям истины. Такие люди обычно делают вид, будто их талант тоже вносит свою лепту в общее дело, и часто всерьез в это верят. Как не вспомнить тут великого Й.-С. Баха! По какому-то невероятно счастливому совпадению его музыка, превосходная из всех, оказалась и самой христианской. И сам он был искренне верующий человек. Однако не подлежит сомнению, что богом Баха была все-таки сначала музыка, а потом уже другой бог, но никак не наоборот. Счастливым и гармоническим случай, повторяем. Если же личный дар входит в противоречие с господствующими общественно-религиозными тенденциями и настроениями, как в случае Фридриха Ницше или позднего Льва Толстого, то последние всегда и без исключения приносятся в жертву первому.

Высшим законом человеческого бытия было и остается следование индивидуальной судьбе. Она у каждого своя и разная. А путеводной нитью такого следования как раз и является тот или иной личный дар. Но даже если его нет, простое исполнение обряда жизни — от колыбели через венчание, рождение детей, добывание «хлеба насущного», узнавание окружающего мира по мере сил и до могилы — несмотря на свою внешнюю обыденность, исполнено такой непостижимой внутренней тайны, представление о которой дает только простенькое, но мастерское описание той же самой жизни, скажем, в прозе, где тоже вроде бы нет ничего особенного: и разговоры героев там самые обычные, и ни одного неординарного события, и все «как у нас», а итоговое впечатление такое, что любая громкая и мистическая тайна на ее фоне кажется уже напыщенной и искусственной.

Выше говорилось, что вся наша жизнь — сплошная игра представлений и отражений, и что ничем другим она быть не может. Но одним представлениям — например, умалишенных, сновидцев, искаженных отрицательными эмоциями или просто посредственных людей — мы не придаем большого значения, тогда как другие представления — как правило, особо одаренных людей — принимаем почти как на правах истины. Это «почти» чрезвычайно важно и характерно. Уже то обстоятельство, что подобных представлений некоторое великое множество, сразу и неотвратимо указывает на художественную природу любого мало-мальски значительного духовного взгляда на мир. Иными словами, как бы мы на него — то есть на мир — ни смотрели: как на конечный или бесконечный, созданный творцом или существующий сам по себе, лежащий по ту сторону добра и зла или гаящий в своей сердцевине мудрый смысл, который нужно найти и поиск которого зовется жизнью, — в любом случае наша точка зрения есть не более чем художественное произведение на тему последних вопросов бытия. В этом произведении есть всегда свой сюжет, свои герои и своя музыкальная тональность. А также свои читатели, зрители или слушатели. Оно вызывает в них определенные эмоции, мысли и настроения. И чем в большей степени эти эмоции, мысли и настроения сливаются в одно слитное, мощное и в конечном счете слегка неопределенное ощущение потрясения и восхищения, тем выше художественный коэффициент данного мировоззрения, тем оно сильнее воздействует на воспринимающих и тем надежней обеспечивается ему высокое звание мировой религии, великой философии или на худой конец просто оригинальной концепции.

Истина тут ни при чем. Что есть истина? Бессмертный риторический вопрос. Когда на один и тот же предмет существуют несколько равноправных, но несоместимых между собой объяснений, о какой истине может идти речь? Буддисты, например, утверждают, что мы снова и снова перерождаемся — и другой возможности — забудем пока о просветлении — для нас нет и быть не может. Христиане возражают: после этой жизни мы раз и навсегда уходим в астрал. Кто прав? Неизвестно. Но самое поразительное то, что для обеих альтернатив находится достаточно фактических подтверждений. Как быть? Да никак: склонность к тому или иному миросозерцанию рождается вместе с нами и не допускает по сути никакого «рокового выбора». Все свершается своим чередом. Но если все-таки попытаться «по косточкам» разобрать те или иные учения — в данном случае реинкарнацию и вечную жизнь — как разбирают талантливые критики те или иные творческие шедевры, то нельзя не придти к признанию общего эстетического превосходства одного шедевра над другим,



как бы трудно ни было — в силу индивидуальной неповторимости искусства — их сравнивать. Мы позволили себе ниже такой разбор: результат вышел однозначно в пользу буддизма. Я и нисколько не скрываю, что буддизм для меня является гениальнейшим шедевром в жанре религии. Он именно эстетически превосходит все остальные. А стало быть, и этически. А стало быть и онтологически. В большом искусстве — и по видимому только там — этика, эстетика и онтология поистине неслитны, но и нераздельны. Это только в лирике есть своеобразная эстетика, а этика там весьма сомнительная, об онтологии и говорить нечего. Зато в прозе Льва Толстого есть в избытке и то, и другое, и третье. Так точно в иных религиях или учениях присутствует какой-то один или в лучшем случае два момента. Но все три в их оптимальном самораскрытии присутствуют лишь в одном буддизме. Также и об этом мы не уставали повторять.

В то время как в христианстве — по крайней мере в церковном и православном его варианте — главный сюжет, по нашему глубокому убеждению, это — мистический ужас. А любовь — будь то к людям или к богу — как побочная мелодия, которая призвана только оттенить главную. Много ли в церквах и вокруг церквей любви? Во всяком случае, не больше, чем и за их пределами. А вот мистического ужаса там хоть отбавляй. Как мальчиком, впервые зайдя в городскую церковь, я буквально был потрясен чарующей и страшной в последней глубине красотой и мистикой православного обряда, так это центральное ощущение не изменилось ни на йоту и по сей день. Какая любовь? Какая любящая доброта? Слитное ощущение вечной греховности человеческой, чудо смерти и воскресения самого сына господня, пожизненный долг за такую страшную жертву, невозможность отплатить долг и вечный страх по этой причине, а также благодарность и умиление, мистический восторг и бездна комплекса неполноценности, садизм и мазохизм в размерах прежде неизвестных и немислимых, смирение и молитва, торжество космического Парадокса и не в последнюю очередь ВСЕ силы и энергии мрака, которые, словно тень к предмету, прилепились с обратной стороны к свету и красоте христианства... нет, каков все-таки сюжет! После него и на его фоне, как справедливо подметил Достоевский, привычная жизнь кажется пресной. Разве не так? Велосипеда мы заново не изобрели: покорно следуем за Гоголем и Розановым. Но подчеркнуть и заострить эту тему пришлось. Как же иначе: если она очевидная и существенная.

Тем более что расцветший пышным цветом во второй половине прошлого века хоррор-жанр на сто процентов подтвердил правоту интуиции Гоголя и Розанова. Выяснилось, что не упразднение человека смертью ужасно, а ужасно вечное существование его души. И ладно бы душа эта вечно источала любящую доброту и божественный свет. Тогда никакого хоррора, конечно, не было бы. Но хоррор продолжает жить и под высокими сводами готических церквей, и за великолепными иконостасами православных храмов. Ибо он действительно таинственно сопряжен с представлениями о бессмертной душе. Ведь последняя как квинтэссенция личности надлена противоположными качествами, и если в условиях жизни это естественно и нормально, то в астральном измерении любая странность умершего действует на живых шоковым образом, а даже малейшее проявление недоброжелательности может вызвать чудовищное впечатление. Это подтвердит вам каждый, кто «встречался» с ушедшими родственниками во сне или общался с ними путем паранормальных сеансов. Также и здесь, отсутствие предпочтительней присутствия, и хотя одни из нас стремятся к посмертному воссоединению с близкими, другие к

вечному упокоению в лоне господнем, а третьи к бесконечным астральным путешествиям и приключениям, все-таки хорошо, что смерть надо всеми этими альтернативами ставит громадный знак вопроса, и никто из живых, положив руку на сердце, не может утверждать, что ему суждено именно этот путь, а не другой. Более того, в природе самой смерти внушать человеку такую предельную степень неопределенности насчет того, что будет «потом», что поистине заниматься любыми посмертными вариантами можно не иначе как великими и достаточно правдоподобными, но — не более чем сюжетами.

Справедливости ради следует сказать, что в христианстве множество сюжетов, и чтобы описать даже основные из них, потребуется отдельная книга. Вас. Вас. Розанов все-таки, как подсказывает сердце, подметил музыку православного христианства, а точнее, «черного монашества». Музыка же никогда не обманывает, в отличие от слов, которые как будто и в самом деле существуют для того, чтобы скрывать мысли (Талейран).

Однако ради восстановления равновесия и в качестве примера не лишнее привести хотя бы один противоположный и не менее веский сюжет, на котором стоят обе западные церкви. Итак.

Пусть естествоиспытатели продолжают утверждать, что Бога нет, а есть одна материя. Но последняя возникла из Первозрыва. В этом как будто нет ни у кого нынче сомнений. Однако на вопрос, почему случился Первозрыв, и что было «до него» — не во временном, а в онтологическом смысле — не могут ответить никакие физики и астрофизики. Они откровенно признаются в этом и удивляются, что там, где должно было быть одно Ничто, существует наш мир. Удивление же насчет мира и его возникновения — исходная точка любого философствования. Так что же все-таки было в самом Начале? «Вначале было Слово», — гласит Евангелие от Иоанна. Слово в самом буквальном смысле признается первоосновой мира. Это из Слова было все сотворено. Слово управляет потусторонним миром. Слово выдумало и Первозрыв, и элементарные частицы, и Галактики, и пространство, и время. В одном предложении, таким образом, подан генезис мира, а заодно и механизм управления материального духовным. Здесь колыбель всякой истинной философии и теологии. Ибо идеи Платона, энтелехии Аристотеля, лейбниевские монады, мировой дух Гегеля и мировая воля Шопенгауэра — все это в конечном счете Слово, хотя и по-разному трактуемое. Да ведь и Логос элинов, это общее арифметическое их великого философского наследия, тоже есть всегонавское Слово — и ничего больше. В самом буквальном смысле.

Но что же это за Слово? Ведь обычно Слово никогда не выходило за пределы языка и мышления. А тут Оно воплотилось в человеческом облике. Для элинов и вообще любого человека, склонного к философии — абсолютно немислимое дело. Чудо? Положим. Но чудес в жизни много: левитация, призраки, необъяснимые выздоровления, предсказания будущего, инопланетяне и прочие паранормальные явления. Все они зафиксированы и на все их наклеен ярлык «потенциально возможного». Поскольку материя таит в себе практически все духовные возможности, ничего невозможного по сути в этом мире уже нет. За исключением Иисуса Христа как воплощенного Слова.

Вот это уже такое чудо, которое ни с каким духовным или материальным опытом людей ничего общего не имеет. С таким же точно онтологическим правом можно утверждать, что Вселенная стоит на трех ки-

тах — и баста. То есть, вышло так, что в одном человеке выразились вся суть и весь смысл универсального бытия. Это не шутка. Такого античность не знала. Все думали, что Слово растворено во Вселенной как ее скрытая тайная сущность, а люди всех времен и народов, в меру своих способностей по крупицам собирают и выражают ее. Не тут-то было. Слово выразилось целиком и полностью в одном человеке. А поскольку облик, судьба и миссия этого человека ничего общего с интерпретациями Слова другими народами — прежде всего древними элинами — не имело, постольку все эти интерпретации пришлось признать ложными. Им, как двум медведям в одной берлоге, нельзя было отныне ужиться. Итак, философия, а заодно искусство и прочие религии тотчас отпали за ненадобностью. Однако жалеть тут совершенно не о чем, поскольку воплотившееся Слово есть по самому своему определению Бог, в данном случае — сын Божий. А если Бог, который представлялся прежде многоликим, загадочным и непостижимым, явился во плоти — конкретней и быть не может — тогда, действительно, дальнейшие гадания о Слове делаются праздными и даже вредными. Иисус мог исцелять больных и творил чудеса — это исторически подтверждено. То, что и многие другие люди могли и могут по сей день исцелять больных и творить чудеса, остается пока за строкой.

Чтобы понять и прочувствовать сердцевину христианства, нужно всегда помнить, что никакие самые глубокие и тонкие мысли, когда-либо высказанные мудрыми людьми и никакие великие исторические свершения не имеют с точки зрения христианства ни малейшего отношения к истине, а только Он один — в каждом моменте своей уникальной биографии. На одном Иисусе Христе нужно концентрироваться — и больше ни на чем. Все остальное как бы само приложится. В Его судьбе мы имеем, таким образом, совершенное единство биографии и бытия. Пусть ценность других людей измеряется какими-то делами и словами, а между ними — пустоты, двоеточия и запятые. Зато в биографии Иисуса Христа важна каждая деталь, драгоценна любая подробность. Разумеется, и там есть какие-то поворотные моменты и композиционный стержень: прежде всего учение о любви во всем без исключения, а также крестная смерть и воскресение. Но поскольку особенностью воплощения Слова заключалась не в какой-то потрясающей философии или произведении искусства, а человеческой жизни как таковой, со всеми ее невзгодами, разочарованиями и страданиями, постольку евангельский сюжет имеет право претендовать на ту исключительную смысловую гомогенность, которая как раз является отличительной чертой любого настоящего искусства. Недаром Иисус так прямо и сказал о себе: «Я есмь путь, истина и жизнь». Но кто же посмеет утверждать, что одна извилина пути важнее другой, или одна частица истины полнее другой, или одна фаза жизни драгоценней другой? Тем самым и все человеческие судьбы уравнивались в каком-то последнем — и божественном — смысле, тогда как прежде иерархии — власти или умственного превосходства — царили на земле. Но лишь при условии принятия истинности Христа и устройства в соответствии с этой истиной собственной жизни. Если живешь во имя Его, то какая бы ни была твоя жизнь — она вполне божественна, и божественней быть не может. Если же живешь, не зная о Нем, то вся твоя жизнь, сколько в ней не было заслуг, не стоит медного гроша.

Что-то глубоко художественное есть в такой постановке вопроса. Ведь если рассказ писателю удался, то он весь хорош, даже если в нем нет ни единого мало-мальски интересного события, возвышенного чувства или запоминающейся мысли. А если не удался, то никакие великие

чувства, мысли и события не спасут его. И подобно тому, как от пресловутого растирания пальцем Мастера оживает не вполне талантливая картина, так искреннее обращение к Иисусу начисто преображает зашедшую в тупик человеческую жизнь: в том плане, что вся она освещается вдруг тонким и равномерным смысловым светом.

Но что же это за свет? В окружающей нас природе аналога ему нет. Розанов определил его как «лунный». Но и это не вполне точно. Христианский свет — это отсвет свечи или многих свеч под куполами гигантских соборов или перед иконостасом. Христианский свет может быть только внутри собора или церкви и только от свечей. Потому что ведь истина не от мира, а от Иисуса Христа. В мире истине нет, а стало быть весь мир, несмотря на ослепительное обилие солнечного света, пребывает во мраке. И только свеча, зажженная во имя Его и ставшая Его символом, несет в себе зримый свет истины. Это чудовищно узко, зато впечатление неотразимо! Каждый испытал его и каждый подтвердит, как все-таки неудержимо после этого тянет на свежий воздух и в солнечный свет, даже если небо затянуто облаками. Этим все сказано. Найден гениальный сюжет, но боже, как трудно постоянно в нем находиться. Как трудно и сколь неестественно играть для кого-то служебную роль, вместо того чтобы разыгрывать свою собственную. Казалось бы, снова незабвенный Вас. Вас. Розанов... Не тут-то было.

Католическая теология миссию Христа истолковывает неожиданно, парадоксально и в духе весьма достойного экзистенциализма. Вот что пишет, в частности, Йоганн Баптист Метц, один из ведущих католических богословов прошлого века, по этому поводу: «Бессмертие личности согласно христианскому учению следует понимать не как бесконечное продолжение жизни — по типу реинкарнаций — где все может повторяться и варьироваться, но в рамках раз и навсегда законченного исторического времени. Именно в последнем осуществилась необратимо свобода человека перед скрытым ликом Господним. Вызревшая в конкретном историческом времени жизнь человеческая и есть ее последний «экзистенциальный экстракт». В таком духе понятая «вечность» человека лежит не по ту сторону нашей свободы и ее земной истории, и тем более не в каком-то условном «месте», куда возвращается исполнившая свою историческую роль личность, чтобы отныне пребывать там «вечно». Нет, это в лучшем случае позднезлаинское или орфическое предстание. Христиански же понятая вечность человека есть, напротив, его свершившееся и абсолютно законченное в пределах исторического времени индивидуальное бытие. Прошлое, настоящее и будущее перестали быть отдельными временными категориями, слившись отныне в единое и неделимое с т а н о в л е н и е в л о н е б л а г о д а т ы Г о с п о д н е й. Тем самым христианство не унижает земное бытие человека до подобия «зала оживления», где человек скучает, дожидаясь, пока он, наконец, сбросив пыль исторической и повседневной жизни, вступит в потустороннюю приемную Господа-Бога. Да и вообще, никакая религия не уделяет столько внимания свободе и историко-повседневным реалиям, как христианство». Право, ничем не хуже Ж.-П.Сартра или Карла Ясперса. Если же к вышесказанному добавить, что все это само по себе естественно и закономерно, и происходит независимо от Иисуса Христа и христианства, то, право, стираются границы между теологией Йоганна Баптиста Метца и нашей философией художественной природы бытия. Так что автору последней остается только клятвенно заверить читателя, что он наткнулся на выдержки Метца после того, как была написана эта книга.

Итак, вот вам следующий после хоррора крупнейший христианский сюжет. А есть еще убедительнейший психологический портрет Иисуса, набросанный Эрнестом Ренаном. И есть не менее убедительная гипотеза счастливо избежавшего крестной смерти Иисуса, эмигрировавшего затем в Индию. Как есть тысячи и тысячи прочих ответов этого универсального Сюжета с большой буквы, со своими неповторимыми нюансами, имя которым — индивидуальная и неповторимая вера каждого отдельно человека.

Не иначе, стоит повторить, и с Буддой. Есть легенда о Будде, где он выступает всезнающим, вседобрым и всемогущим существом, способным на любые чудеса и в одной из своих жизней отдавшим себя на съедение тигрицы ради того, чтобы она могла прокормить своих детенышей. Есть биографическая версия о Будде, рисующая его задумчивым подростком, лишенным воинских и управленческих талантов, зато нашедшем себя в медитациях и поисках духовного смысла жизни. Есть даже версия о том, что Будда не внес ничего нового в гигантскую сокровищницу индийского духовного опыта — кроме разве что учения о страданиях и способах избавления от него, так что многие ученики упрекали Будду в учительской несостоятельности, а его община не однажды была на грани самоуничтожения. Какая из этих гипотез истинная? Каждый определит это сам для себя, потому что предрасположенность к тому или иному сюжету бытия у нас врожденная. И, найдя свой сюжет, мы обязаны уже не просто читать его развлечения ради, но им жить.

Важный нюанс: между религиями и жизнью их творцов есть существенная, и даже принципиальная разница. Без этой самой разницы не может существовать никакая религия. Ибо всякая религия — это миф, то есть мощнейший и художественный по сути сюжет о том или ином сверхчеловеке, который, однако — и здесь залегает главный парадокс — ни в коем случае нельзя воспринимать с художественной точки зрения. Иначе миф в зерне своем мгновенно разрушается. Но такова уж стилистическая особенность религиозных сюжетов: там нужно сразу и навсегда забыть о художественной форме и помнить только о жизненном содержании. В литературе мало таких художников, которые заставляют начисто забыть о том, что все ими созданное — всего лишь умелая выдумка. Разве что Лев Толстой. Но все-таки эффект любого искусства основан на том, что мы хоть как-то и хоть в какой-то степени верим в реальность того, о чем нам рассказывает художник, пусть эта реальность и не обязательно совпадает с повседневной жизнью. А без такой веры искусства нет. Не иначе и в мировых религиях. Пусть в одном случае герой ее оказывается сыном самого бога, спасает людей и побеждает смерть, а в другом приносит людям благую весть, до которой не додумался ни один бог, — и там и здесь мы имеем дело с неразрешимым противоречием. С одной стороны, речь идет о самых затаенных чаяниях человека, тех самых, для осуществления которых надобны и чудеса, и сверхъестественные способности героя, а с другой необходимо верить в них — так, как мы верим, скажем, в приход завтрашнего дня. Мучительное разрешение этого противоречия и есть то, что называется историей религий. Иногда кажется странным и непонятным, как люди в наше время могут отдаваться религиям. Ведь историческое исследование теперь ушло так далеко, что чисто человеческие биографии Иисуса и Будды лежат перед нами как на ладони. И чем больше в них сомнений, житейских трудностей и просто человеческих слабостей, тем, увы! с большей правдоподобностью выступают их великие персонажи. Правда, за счет мифических их качеств. Времена гомеров-

ского искусства ушли навсегда, а церковный Иисус и легендарный Будда — это именно гомеровские герои. Если не больше. Разумеется, больше. Куда больше. Но уже блестящий Эрнест Ренан еще в девятнадцатом веке набросал настолько психологически убедительный портрет Иисуса, что отказаться от него человеку, просто знающему жизнь и людей, никак невозможно. А насчет Будды, повторяем, иные биографы ныне склоняются к тому, что единственное, чему он учил — так это избавлению от страданий. И больше ничему. Но это по тем временам было не так уж и много. Реинкарнация, ниббана, учение о богах — все это не его. Все это уже было до него. Иные ученики открыто упрекали его в том, что учение его рационально, и творить чудеса он не способен. Сам Будда не всегда был уверен, доживет ли его община до следующего года. О безумной славе, которая ждет его, он понятия не имел. Правда, это лишь один из биографических сюжетов о Будде. Однако весьма правдоподобный. Так или иначе, чем ближе мы подбираемся к основателям религий к а к живым людям, тем дальше отходим от их учений к а к религий, то есть обязательных для всех остальных людей. А то культовое внимание к Будде и Иисусу, которое мы наблюдаем в наше время и даже среди молодежи, — что же, оно вполне соответствует человеческой природе. Культ есть культ. И предметом его — хотя и в неравной степени — может быть как попикона или артист, так и создатель религии.

Мы таким образом снова и опять возвращаемся на круги своя. Однако предаваться искусству в таком важном деле, как жизнь и смерть, не есть ли праздное занятие? Ни к коем разе. Уже не однажды было обращено внимание на то, что жизнь это — серьезная игра. Серьезная игра и художественное творчество — почти одно и то же. Пожалуй, и без всякого почти. Каждый из нас играет свою роль в жизни, напоминая артиста на сцене. Казалось бы, если в жизни ничего нет кроме игры, то почему бы в один прекрасный момент не выйти из игры? Хотя бы потому, что «овчинка выделки не стоит»? И однако как артист прилагает все усилия, чтобы как можно лучше сыграть свою роль, и нет для него ничего важнее этой игры, так же точно мы на протяжении всей жизни прилагаем все усилия — во-первых, чтобы как можно дольше остаться на сцене, а во-вторых, чтобы сохранить свое лицо и свою манеру игры, иными словами, чтобы прожить жизнь д о с т о й н о. Как ни мал сам по себе элемент житейской игры, а кроме него у нас ничего нет. И выйти из игры раньше времени — то есть попросту совершить самоубийство — оказывается, очень трудно. Это дано немногим: как правило тем, которые не нашли для себя достойной роли в жизни или не согласны принять имеющуюся. Но бывает, когда завуалированный и затянувшийся на годы добровольный уход из жизни становится сам по себе гениальнейшим сюжетом. Такова, например, судьба Лермонтова.

Итак, если истин на любой предмет много или несколько, то о какой истине может идти речь? Вот именно — о художественной. И больше ни о какой другой. Каждую такую истину мы разбираем по косточкам, руководствуясь общепринятыми основными эстетическими критериями. Коих, как известно, пять. Первый: предельная глубина без какой-либо тяжести (поздний Моцарт, в двух словах). Второй: предельная простота, преодолевшая невероятные сложности (Лев Толстой, Й.-С. Бах). Третий: предельная subtilность, вплоть до открытого парадокса, но без поверхностной игривости или надуманности (Фр. Кафка). Четвертый: безусловная оригинальность, являющаяся сама собой и как бы без авторских усилий

(таковы все гении). И пятый: полное правдоподобие, когда все мысли и чувства служат созданию новой и насквозь вдуманной жизни, когда в творении нет ничего от буквальной повседневности и тем не менее оно кажется повседневным, но повседневность его как бы нерожденная и предмирная (тоже касается всех художников). Итак, все эти критерии без исключения характеризуют любое великое произведение искусства. Но точно так же — и почему никто до сих пор не обратил на это внимание? — характеризуют они и любое мировоззрение, вплоть до религиозного. И более того: в той же мере характеризуют они и жизнь любого человека. Положим, не обязательно при жизни. Но непременно после смерти. Именно смерть замыкает человеческую жизнь на саму себя, делая ее буквальным подобием запредельного произведения искусства. Так что пока жив человек — любой человек, наш сосед, сослуживец или знакомый — не видим мы в его жизни обычно ни особой глубины, ни subtilности, ни парадокса, ни высокой простоты, ни предвечной повседневности. Но как только он умирает и уходит туда, откуда не возвращаются, все пять великих критериев гениального искусства как по команде становятся почетным караулом вокруг его могилы. В этом ключе мы будем ниже говорить о смерти. И много говорить.

Плюс к тому бесчисленные и фактически зафиксированные предсказания будущего: если уж они не являются прямым и неопровержимым доказательством художественной природы бытия, то что же тогда? Когда некая фрау Кирхгоф дважды предсказала Пушкину любовь и славу народную, скорое получение денег и продвижение по службе, две ссылки, фатальную женитьбу, а самое главное, опасность от белой лошади, белой головы и белого человека (портрет Дантеса верхом), и когда все это начало сбываться, — какие могут быть сомнения, что и вся пушкинская жизнь была кем-то свыше замыслена и написана, подобно тому, как сам он задумывал и писал свои голографически-гениальные вещицы? Просто мы никогда не узнаем, кто именно был ее автор. Может быть, господь-бог. Может быть, какие-нибудь астральные силы. Может быть, всесильная судьба. А может быть, сам Пушкин и он один. Каждый разберет все четыре различных сюжета, и выберет тот, который кажется ему наиболее правдоподобным. Вот вам философия художественной природы бытия в действии.

Нам же лично кажется, что космические законы тесно переплетены с характером и волей человека. Когда судьба не обращает внимания на волеизъявление индивидуума, она превращается в фатум. А учитывая его, выступает как предопределение. Быть может фатум, в который слепо и свято верят восточные народы, тоже существует, задействуя определенные сферы бытия. Почему нет? Каждому феномену свое игровое пространство и свой сюжет. Но в случае Пушкина и Лермонтова явно проступают черты классического предопределения. Фрау Кирхгоф ясно предостерегла обоих, и когда наконец из туманного будущего выступили четкие образы их убийц: «белого человека с белой головой на белом коне» для Пушкина, и «человека, не умеющего стрелять» для Лермонтова, оба поэта, помнивших о предсказании, должны были догадываться, что близится их последний час. Однако они не только с готовностью, но и со страстью пошли ему навстречу: Пушкин — чтобы испытать судьбу, Лермонтов — тоже, но заодно и покончить с жизнью. Недаром фрау Кирхгоф допустила в случае Пушкина возможность долгой жизни, если он не погибнет на тридцать седьмом году. Для Лермонтова никакой такой альтернативной возможности не существовало. Почему?

Да потому что Пушкин совсем не так искал смерть, как Лермонтов. И жизнь любил иначе, нежели Лермонтов. Но в обоих случаях, получив предсказания, оба поэта сделали все, чтобы его осуществить. И как знать, если бы у них не было этого отчаянного бесстрашия перед тем, чего инстинктивно страшатся почти все люди, подобное предсказание может быть и не было бы сделано, а если бы и сделано, то не в тех подробностях, которые другого человека могли бы остановить и тем самым помешать осуществлению пророчества.

Здесь важно подчеркнуть один существенный момент. Как художник во время работы должен иногда забывать, что он создает всего лишь условную модель жизни, и верить каждой фиброй души и тела, что создаваемая им жизнь существует на самом деле, а он лишь припоминает ее для себя и людей, так человек, прорубающий сюжет реальной жизни — будь то история или повседневность, и будь ее автор великий деятель или простой смертный — тоже не имеет права до поры до времени увлекаться формально-художественными критериями собственной деятельности. Это придет потом и придет неизбежно. Когда он сыграет свою роль, зрители — современники и тем более потомки — по достоинству ее оценят. И сам он, подчиняясь новооткрывшейся перспективе, тоже посмотрит на себя со стороны. А куда ему деваться? По прошествии лет видишь невольно в себе и прежнем отчасти постороннего человека. Такова работа времени. Время отчуждает нас от нас самих. Но благодаря такому отчуждению мы только и можем понять себя. А поняв, согласиться с тем, что бы мы ни сделали в жизни, мы сделали все как должно. Хотя, быть может, у нас были на жизнь совсем иные планы.

Вот эта бурная, часто слепая и неукротимая миропреобразующая деятельность, независимо от достижения целей и даже своего направления, каким-то непонятным образом всегда нас убеждает. Убеждает в самом глубоком смысле. Убеждает, в конечном счете, в художественном плане. В самом деле, прожил ли человек долгую и плодотворную жизнь или скончался рано и в расцвете сил, был ли он полезен обществу или досаждал ему как преступник, трутень, пьяница, бомж или наркоман, оставил ли после себя вечною память гениальным творением или остался насквозь и глубже анонимным простым смертным, — мы в любой человеческой судьбе склонны видеть неисследимую тайну. Просто в случае великих людей тайна приобретает рельефный облик каких-то античных богов и богинь, которыми мы невольно восхищаемся. В случае же людей, от которых осталось тире между двумя датами, да и того не осталось, та же самая тайна является в виде черного ворона, который вдруг пронзительно гаркнет посреди заброшенного кладбища, и у нас от него идут мурашки по телу. Но тайна эта по своей субстанции одна и та же.

Точно так же: закончится ли тот или иной исторический период новым и стройным эпохальным порядком, или обратится в хаос какой-нибудь многолетней войны, история для нас была и остается неисповедимым Промыслом, а любая трактовка ее, предлагаемая историками, в конечном счете, тем или иным историческим сюжетом. Не было еще случая, чтобы историческая концепция, претендующая на какой-то имманентный исторический или трансцендентный сверхисторический смысл, не обернулась в конце концов классическим образом жанра исторического исследования: по всем правилам сюжета и композиции, со своими главными и второстепенными героями, коллизиями, апогеем и незаменимыми художественными деталями. И чем проще, яснее, динамичней и увлекательней подается нам история, тем с большим удовольствием мы ее чита-



ем, тем скорее верим в правдоподобность написанного и тем больше ценим самого автора. Который — нельзя не догадаться — оставаясь историком, сам уже почти ничем не отличается от художника.

Обращает на себя внимание, что и мироздание тоже, непонятно каким образом, с одной стороны, насквозь пронизано философией отсутствия, а с другой стороны, и быть может по этой самой причине, тоже демонстрирует нам свою художественную природу. Так, прежде, во времена Ис. Ньютона, ученым казалось, что те законы, которые они открыли, распространяемы на всю Вселенную, а это значит, что последняя, будучи даже бесконечной, познаваема в принципе на все сто процентов. В «золотой век» физики — первую половину двадцатого века — когда усилиями Эйнштейна и основателей квантовой механики познания о Вселенной были раздвинуты так далеко, что захватывало дух от открывшихся перспектив, парадоксальным образом выяснилось, что процентное соотношение знаний о мироздании снизился до пятидесяти процентов. Теперь же, когда физики и астрофизики ушли очень далеко и от Ньютона, и даже от Эйнштейна, и подошли вплотную к принятию гипотезы о том, что материя таит в себе возможности всех практически измеренных — в том числе и духовных — они официально одновременно признали, что благодаря всем их знаниям познаны только жалкие пять (!) процентов мироздания. То есть чем дальше продвигается познание — и сознание — тем более отсутствующим делается тот сектор, который должен быть познан и осознан. Предмет познания как бы на глазах удаляется и приобретает отсутствующий характер, а все попытки познать его начинают сводиться к художественным наброскам, хотя и, разумеется, в привычном жанре естественнонаучного исследования.

Примеры? Сколько угодно. Как возникла жизнь на Земле? Как будто из случая. Жак Монод, лауреат Нобелевской премии, это вроде бы великолепно продемонстрировал. Но, с другой стороны, вероятность возникновения жизни из случая математически приближается к нулю. Получается, что сам случай в аспекте бесконечности времен должен был рано или поздно выступить на сцену. А это значит, что случай тоже подчиняется своего рода закономерности. Тогда как согласно собственной природе случай есть отрицание любой закономерности. Вывод? И случай, и любые закономерности, не в силах до конца объяснить загадку мироздания, выступают в качестве гипотез. А вот гипотеза уже — хотите вы того или не хотите — имеет сугубо художественную природу.

Далее концепция Высшего Существа, которое и завело часы. Вспомним высказывание Эйнштейна: «Всякий, кто всерьез занимается естественными науками, не может не быть потрясен той великой гармонией космических законов, которая прямо намекает на существование их разумного творца». И тем не менее такой творец также несовместим со Вселенной. Уже по одному тому, что приходится спросить: «А откуда Он сам взялся?» Опираясь-таки получается, что материя в целом ведет себя так, словно в недрах ее спят все решительно возможности. В том числе и самые духовные. А раз так, то спит там и возможность случая, которая несовместима ни с какими другими. Что же тогда есть материя? Как она соотносится с Высшим Существом? Конечно ли она? Бесконечна ли?

Ответы на все эти вопросы и еще многие другие, им подобные, давным-давно найдены. И даже зримо представлены. Настолько зримо, что зримей уже не бывает. Всмотритесь как следует в Леонардову Джоконду. Это и есть чистейший прообраз соотношения последних вопросов и ответов на них. Другого нет. И не ищите.

А что из этого следует? Прежде всего то, что, испытывая ту или иную концепцию, теорию, учение или религию на «истинность», достаточно взвесить их художественный вес. И если он серьезен, то есть в духовном плоде сразу и ощутимо проглядывают и глубина, и тонкость, и некоторая сложность, доходящая до парадоксальной неразрешимости, но не лишняя все-таки изначально и тем более кажущейся непостижимой, простоты, тогда плод «истинен», и ему стоит посвятить время и внимание. Если же, напротив, духовный плод явственно отдает на вкус примитивностью и даже пошлостью, хотя на словах обещает «манну небесную», тогда его лучше сразу отбросить. В качестве примера хотелось бы привести концепцию так называемой «Великой Тайны», которая представляет собой простую, но последовательную и всеобъемлющую транспозицию гравитационного закона на человеческую жизнь. Что любопытно: концепция эта как никакая другая подтверждает основную идею нашей книги. И, казалось бы: лучшего апологета трудно и найти, однако именно по причине изначальной ее примитивности приходится не только от нее отмежеваться, но и настойчиво предостеречь от ее влияния доверчивого читателя. А насколько она феноменально соблазнительна, показывают следующие отрывки.

«Мысли подобны магнитам, и они имеют определенную частоту. Когда вы думаете, ваши мысли летят во Вселенную и магнетически притягивают по д о б н о е — все, что находится на той же частоте. И посланное в мир возвращается к своему источнику, а этот источник — Вы. Работу мыслей можно представить так: нам известно, что телебашня передает сигналы на определенной частоте, и эти сигналы превращаются в картинку на экране вашего телевизора. Многие из нас на самом деле не понимают, как это работает, но мы знаем, что у каждого канала есть своя частота, и когда мы настраиваемся на нее, то видим образы на экране. Переключая каналы, мы выбираем частоту и получаем изображение, передаваемое по данному каналу. Если мы хотим видеть в нашем телевизоре другие образы, то меняем канал и настраиваемся на новую частоту.

Вы — передающая станция в человеческом теле, причем куда более мощная, чем любая из построенных на земле. Вы — самый мощный передатчик во Вселенной. Излучаемые вами волны создают вашу жизнь, создают мир. Ваш сигнал летит дальше земных городов и стран: он отзывается в каждом уголке Вселенной. И вы транслируете этот сигнал своими мыслями!

Картины, которые вы мысленно передаете, появляются не на экране телевизора в вашей комнате — это картины вашей жизни. Ваши мысли создают определенную частоту, притягивают на этой частоте подобные мысли, а затем возвращаются к вам обратно в виде картин вашей жизни. Если вы хотите что-то изменить в жизни, просто переключите канал: настройтесь на другую частоту, изменив мысли» (Ронда Берн). Или: «Речь идет не о том, чтобы выдавать желаемое за действительное или путать фантазии и бред с реальностью. Речь о другом, более глубоком, фундаментальном понимании. Квантовая физика действительно приближается к этому открытию. Она говорит, что вы не можете представить или понять Вселенную, не включая в нее собственный разум, и что разум действительно придает форму всему, что он воспринимает» (Фред Алан Вульф).

«Если вы вспомните аналогию с самой мощной телебашней во Вселенной, то увидите, что этот образ полностью соответствует словам Доктора Вульфа. Ваш разум создает и транслирует мысли, и картинки возвращаются к вам в виде вашего жизненного опыта. Своими мыслями вы

творите не только собственную жизнь; помимо этого, ваши мысли являются значительным вкладом в сотворение Вселенной. Если до сих пор вы считали, что ничего не значите и не имеете силы в этом мире, подумайте хорошенько. Ваш разум придает форму миру вокруг вас.

Поразительные достижения и открытия квантовой физики за последние восемьдесят лет привели нас к лучшему пониманию неизмеримой творящей силы человеческого разума. Эти открытия подтверждают слова величайших умов мира — таких, как Карнеги, Эмерсон, Шекспир, Бэкон, Кришна и Будда» (Ронда Берн). Или: «Творение происходит всегда. Каждый раз, когда человек думает о чем-то привычном или ему в голову приходит новая мысль, он включается в процесс Творения. И что-то выйдет в результате этих мыслей» (Майка Бернард Беквит).

«То, о чем вы думаете сейчас, творит вашу будущую жизнь. Вы сами создаете собственную жизнь своими мыслями. Поскольку вы думаете всегда, вы всегда участвуете в процессе Творения. То, о чем вы думаете больше всего, на чем вы больше всего сосредотачиваетесь, появится и станет реальностью вашей жизни.

Подобно всем законам природы, этот закон абсолютен и совершенен. Вы творите свою жизнь. Что посеешь, то и пожнешь. Ваши мысли — семена; ваш урожай зависит от того, какие семена вы бросили в почву.

Если вы жалуетесь на что-то, закон притяжения послушно притянет в вашу жизнь еще больше ситуаций, на которые можно жаловаться. Когда вы слушаете чьи-то жалобы, сосредотачиваетесь на них, симпатизируете им и соглашаетесь с ними, вы тоже притягиваете к себе подобные ситуации.

Закон отражает и возвращает вам именно то, на чем вы сосредоточили ваши мысли. Теперь, получив это могущественное знание, вы в силах изменить любое обстоятельство и событие вашей жизни, если изменили образ мыслей» (Ронда Берн). И так далее и тому подобное.

Что тут сказать? Собственно, в зерне своем закон этот справедлив. Но черт, как говорится, сидит в детали. Этих деталей множество. А когда все их учесть, новое Целое и законы его оказываются настолько сложными и противоречивыми, что так и именно просто и однозначно истолковать их никак невозможно. «Чертовы детали» в данном случае, например, следующие.

Закон гравитации учтен, а почему не учтен Закон электромагнетизма, постулирующий принципиально противоречивую природу (человека)? Его величайшим апологом выступает наш Достоевский. Из него вытекает, что человек не может иметь только положительные эмоции и мысли, но что для него не менее важны и отрицательные, хотя он может и не отдавать себе в этом отчета. Отсюда все зло и страдания, а также наслаждение в них (мазохизм). Плюс к тому природа, которая антиномична: сегодня солнышко и тишина, а завтра цунами, землетрясение или ураган с многочисленными жертвами. Или пронзительное чувство ранней весны, в котором столько странного, мучительного беспокойства и даже некоторой скорби, которые, кажется, идут из самой сердцевины космоса, однако жрецы Великой Тайны об этом не упоминают, это им невыгодно. Но ведь нам нужно в первую очередь учиться у природы, не так ли? об этом и древние твердили, и Гете, и наши дедушки и бабушки... Далее, если наши основные желания и сбываются, то залегают они в нас на такой большой глубине, что мы их часто не знаем и о них не догадываемся, так что, когда они якобы воплощаются, мы только впервые о них и вспоминаем... а может их и вовсе не было? может, они пришли вместе с событиями и от-

ражают приятие нами нашей судьбы, какой бы она ни была? Ведь бывает, что и авария, и болезнь, и сама смерть окрашивают нашу жизнь в такие мощные смысловые краски, коих в распоряжении только «положительного» репертуара бытия нет и в помине. Да и вообще, чего стоят наши куцые желания? Желать, конечно, нужно, без желаний и стремлений нет жизни. Но нужно и допустить, что г л а в н о е в нашей жизни может свершаться помимо, параллельно или даже в полном несогласии с нашими желаниями. Или, как замечательно выразился Чарльз Диккенс, «никакие желания не бывают мудрыми, и это самое лучшее в них». Поистине, так мог бы сказать и Будда. Вот почему верующие провозглашают: «Да будет воля Твоя!», фаталисты говорят: «От судьбы не уйдешь», а простые мудрые люди учат: «Нужно основные решения предоставлять самой жизни». И те, и другие, и третьи знают, что нужно обязательно жить Высшим и стремиться к Высшему, в чем бы оно ни заключалось, и все трое едины в том, что собственные желания никогда это Высшее не воплощают. А вот приспособлять по мере возможностей желания к тому представлению о Высшем, которое, на мой взгляд, интуитивно присутствует в каждом из нас, и есть, пожалуй, основная мелодия так называемого «внутреннего развития».

Короче говоря, если перед вами концепция, учение или религия, которые вам хоть чем-то напоминают Льва Толстого, Кафку, Моцарта, Баха, Леонардо да Винчи и иже с ними, смело им доверяйте и следуйте за ними. Если же вы встретились с концепцией, учением или религией, стоящими на одном уровне с каким-нибудь посредственным рассказчиком из какого-нибудь посредственного провинциального журнала — руки прочь от них! и идите дальше своим путем.

А возьмем биологию. Там, оказывается, до сих пор не выяснено, как же именно произошли роды и виды. Самовоспроизведение их каждому понятно. А вот как они все-таки возникли впервые. Поэтому принято различать п е р в и ч н ы е и в т о р и ч н ы е причины. Последние — это когда из крокодила произошел крокодил, а из черепахи черепаха. А первые — это когда неизвестно откуда впервые появились крокодил и черепаха. И вот они-то, первичные причины, или г е н е з и с как таковой, пока не найдены. И будут ли когда-нибудь найдены? Позволительно усомниться. А все оттого, что между причиной и следствием залегает так называемая онтологическая щель. Вот благодаря ей-то первичная причина по отношению к следствию играет роль у с л о в и я. То есть она не предопределяет следствие. Не верховодствует над ним. А всего лишь является условием его существования. Вот как это надо понимать. Онтологические щели, пронизывающие мироздание, точно поры пронизывают кожу, как раз и ответственны за то, что буквально все в мире — и в первую очередь любой генезис! — носит в глубочайшей мере творческий характер.

Здесь и корни одной любопытнейшей особенности нашего восприятия космоса. В самом деле, когда есть всего лишь условие, но из него является сложный феномен, который прямо к этому условию не сводится и рождается как бы сам по себе — да так оно и есть на самом деле! — то мы, слегка шокированные призраком беспричинности, склонны тотчас приписывать его возникновение творческой воле Высшего Начала.

Любой феномен, формируясь под воздействием заложенных внутри него каузальных структур, обретает свой индивидуальный облик всегда посредством отклонения от них. Механизм же отклонения сам по себе чрезвычайно прост. Но на нас он действует наподобие непрерывно сбывающейся демиургической сказки.

Цветы флоры. Расцветки фауны. Цветовые оттенки человеческого глаза. Все это, к примеру, моменты, как единодушно свидетельствуют биологи и психологи, не обусловлены никакими естественными причинами. И не служат никаким биологическим целям. Но представляют из себя, как показал, в частности, Адольф Портманн, простую форму существования некоторых субтильных феноменов — в данном случае пигментационного фактора — в световоздушном пространстве.

Тем самым получается, что природа, не являясь в собственном смысле художником, выступает как художник. А мир в целом, не будучи демиургом и понятия о нем не имея, представляется, однако, человеческому сознанию так, как будто в сердцевине его незримо пребывает демиург.

Здесь вот еще о чем нужно сказать. Два тонких, глубоких и противоположных тока определяют нашу жизнь. Один движется от истоков к устью, от рождения к смерти и от прошлого к будущему, а второй — в обратном направлении. Эти два тока можно было бы отождествить с самим временем, если бы они не затрагивали сердцевину сознания и если бы время не было таким сложным и неуловимым феноменом. Ибо как только мы пытаемся понять и определить его природу, мы неизбежно уходим от основной тональности нашего мироощущения, а только эта последняя нас интересует.

Итак, пока мы движемся в привычном направлении, то есть от «начала к концу», каждый или почти каждый феномен окружающей жизни просвечивает для нас положительной энергией, в которую мы втягиваемся, которой живем и в токе которой продолжаем плыть в неизвестном направлении, подобно лодке по широкой реке, где не видно берегов. Даже ложась в больницу, мы строим планы на будущее, радуемся посещениям родных и близких и вообще проникаемся непростым настроением этой своеобразной жизненной паузы, в которой таится бездна экзистенциального смысла. Вот для того чтобы слушать его, как слушаем мы классическую музыку, мы сюда и попали.

Сходный механизм наблюдается и при куда более драматических событиях. Крушение семьи, потеря работы, автомобильная авария, смерть близкого человека, — всегда и везде острое переживание горя почти на глазах зарастает, точно рана свежей кожей, неким просветленным осмыслением личной ситуации на фоне благодарно приоткрывшего очередное незримое измерение — пусть и трагического масштаба — вечного бытия.

Здесь центральный онтологический смысл и оправдание любого страдания. На этом стоит христианство. Об этом не уставал повторять наш гениальный Достоевский. И это же подтвердит любой из нас: действительно, не было в нашей жизни такого страдания, в котором бы мы ни увидели тот или иной смысл — вольно или невольно, сознательно или бессознательно, сию минуту или годы спустя. Так что и смерть — это «страдание страданий» на первый взгляд — оборачивается в конце концов не только триумфальным оправданием человеческой жизни — это вам подтвердит любая великая философия, любая великая религия и любая великая эзотерика — но и, как свидетельствует околосмертный или паранормальный опыт тысяч и тысяч достойных уважения людей, дарует умирающим всемерно более интенсивное, потому что неожиданное для них, блаженство.

В том, что этим дело не исчерпывается, и что так называемый «положительный» взгляд на мир не является, к сожалению, всеобъемлющим, а представляет собой, как и следовало ожидать, только одну сторону медали, убеждает нас элементарный, последовательный, беспристрастный, ретроспективный анализ прожитого отрезка жизни. Он должен быть обязательно последовательным и беспристрастным: примерно такой, с каким мы смотрим на жизнь чужих и посторонних людей. Например: такой-то человек заболел раком, его положили в больницу, скоро он умер, его похоронили, вдова вышла опять замуж, дети разъехались — и так далее и тому подобное. В сущности, это очень просто: смотреть точно так же на себя, как смотрим мы на других людей. Очень просто — и в то же время очень трудно. Почти невозможно. В самом деле: что может быть трудней и противоестественней, чем осознать себя в третьем лице? Ведь с третьим лицом может случиться что угодно: он может внезапно умереть на улице, может попасть под машину или камень упадет ему на голову. И тогда это будет должным образом принято к сведению: как мы принимаем к сведению сходные события, сообщенные нам в газете или в книге. Должным образом — значит прежде всего именно беспристрастно.

Вот так точно воспринимать себя самих — беспристрастно и отстраненно — учит нас буддизм. Буддизм учит нас смотреть на себя самих как персонажей искусства, даже если автор их — мы сами. Одно другому не противоречит, однако взгляд на себя в третьем лице настолько парадоксален и требует столь непрестанной и интенсивной работы над собой, что... это по плечу только немногим избранным. Как и все безусловно гениальное, буддизм в его практическом осуществлении доступен некоторым исключительным личностям... да и тем не вполне доступен. Иными словами, стать вполне буддистом отнюдь не легче, нежели написать «Войну и мир».

И тем не менее сердцевину буддизма мы не только в состоянии перенести на нашу жизнь, но и делаем это всякий раз, когда именно умудряемся последовательно и беспристрастно взглянуть на собственную прожитую жизнь. Вот тогда-то и приоткрывается обратный ток жизни и он же — вторая сторона нашей медали.

Взглянув на окружающую жизнь пристально и лермонтовским «холодным вниманьем», мы с удивлением обнаруживаем, что никакая радость не дала нам того, чего сулила вначале, зато и никакое страдание не принесло нам того горя, которым грозило. Все кончилось какой-то странной и безбольной пустотой: точно кто-то отложил книгу бытия, в которой записана летопись нашей жизни. Она просто пока оборвалась на данной строке. Но едва писание летописи возобновится, как потекут слитной чередой все мыслимые и немыслимые радости и страдания, а также все возможные и промежуточные ощущения. И опять невозможным станет лермонтовское «холодное вниманье», потому что теплый ток привычного течения жизни, точно Гольфстрим, осилит и унесет с собой все, что ему противоречит.

Однако Гольфстрим жизни существует, лишь пока пишется летопись. Как только она обрывается, снова возникает эта странная и безбольная пустота паузы. Паузы, в которой нет ни радостей, ни страданий. Это, между прочим, и есть буддийская медитация в чистом виде. Практикуя ее, начинаешь понимать, как близко наш великий поэт подошел к буддизму, и какая все-таки бездна их друг от друга отделяет. Потому что уж слишком горчит на языке та нота разочарования в жизни, которая так характеризует лермонтовское мирозерцание. Но где осталось раз-

очарование, нет еще и не может быть настоящей паузы. Пауза — это когда нет разочарования, и нет разочарования в разочаровании, и нет даже разочарования в отсутствии разочарования в разочаровании.

Вся наша жизнь была стукотом разнообразных и часто противоречивых желаний и волевых побуждений. Иные из них осуществились, и если нас спросят, что же они нам дали, мы, конечно, ответим: прежде всего удовлетворение. Удовлетворение в том, что мы добились того, чего хотели. Мы показали силу воли, умение общаться с людьми, свои таланты — и вот мы поднялись на более высшую ступеньку жизни или стали играть в вечной драме бытия более заметную и интересную роль, что в конечном счете абсолютно одно и то же. Это все. И это много.

Просто любопытно здесь то, что когда наше достижение маячило еще в будущем, и мы только напрягали силы ради его осуществления, оно казалось нам чем-то б о л ь ш и м, чем в тот момент, когда оно вошло в жизнь и стало сначала настоящим, а потом прошедшим. Вот эта самая разница между любым ожидаемым событием и тем же событием, когда оно свершилось, — эта тонкая разница и есть так называемая «изюминка» жизни. Ею мы живем, всегда жили и будем жить. Не было еще такого феномена, даже самого повседневного и скучного, как предстоящий вечер за чаем и телевизором, который бы не казался чем-то большим, чем — нельзя сказать, чем он есть на самом деле — но можно и нужно сказать — как он стал восприниматься, будучи пережитым и очутившись в прошедшем времени.

Поистине, чем бы мы ни жили, все это — точно клейкие молодые весенние ростки, которые и благоухают, и притягивают. От их обаяния невозможно добровольно отказать, или для такого отказа требуются колоссальные затраты воли. Это и есть жизнь. Но уже на закате дня, а тем более спустя месяцы и годы все то же самое обращается неизбежно в сухие и мертвые ноябрьские листья, и нам уже трудно понять, как мы могли с полной отдачей сил им служить и ими пробавляться. И это тоже есть жизнь, хотя и представляет собой ретроспективный взгляд сознания на прожитое. Можно его отделять и противопоставлять жизни, а можно рассматривать, как ее же, жизни, тайную и оборотную сторону. Кому как — благорассудится.

Это всего лишь две естественные и равноправные перспективы времени: одна направлена на будущее, а другая на прошлое. Если бы время когда-нибудь остановилось, и все свершившееся время сделалось бы п р о ш е д ш и м, то оно уже теперь имело бы некоторый онтологический перевес над будущим и настоящим. Но даже для тех, кто верит в то, что живем один-единственный раз, и стало быть наше прошлое и все в нем сделанные деяния необратимы, отношение к будущему все-таки остается делом первостепенной важности, потому что именно оно представит наше прошлое — нашу прожитую жизнь — в том свете и значении, о которых мы и гадать не смеем. Для тех же людей, что убеждены в вечном круговороте рождений и смертей, прошлое и вовсе не имеет той субстанции, на которой следовало бы задерживаться вниманием.

Таким образом, мы всегда живем о д н о в р е м е н н о и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Мы всегда имеем позади себя прошлое, которое когда-то было будущим — и мы помним об этом. Мы всегда имеем впереди себя будущее, которое когда-то будет прошлым — и мы тоже знаем и помним об этом. И мы всегда живем в настоящем, которое есть граница между прошлым и будущим, но граница условная, живая и магическая. Это значит: она может сдвигаться до секундного отрезка —

скажем, когда нам нужно в течение мгновения принять решение, которое изменит радикально нашу жизнь, разделив ее на две части: то, что было до принятия решения и после него. И может раздвигаться практически до бесконечности — скажем, если мы осознаем, отчетливо осознаем, что то, что мы делаем, было уже психологически заложено в нашем детстве, и раскрывается из него, подобно семени, так что наш поступок, или деяние, или даже целая фаза жизни суть всего лишь модификация тех или иных свойств характера или поведенческих матриц, которые имелись уже в нашей детской душе, и которые мы наблюдали в себе столь же ясно и отчетливо, как наблюдаем теперь происходящее. Связь между временами тем самым настолько гибкая и органическая, что, в сущности, никогда нельзя сказать, где начинается одно и заканчивается другое. Поскольку же связь времен и напластование их друг на друга чрезвычайно сложны и динамичны, постольку нам кажется, будто мы вовсе иногда выходим за их пределы. В самом деле, иные переживания — психологически самые субтильные, паранормальные или обусловленные экстремальной ситуацией — настолько несовместимы с привычными ощущениями времени, что нам кажется, будто мы из плена времени прорвались на свободу вечности.

Однако вечности как таковой не существует. Вместо нее мы имеем дело с трансформированным в тех или иных координатах временем, и вот эта самая трансформация — как правило, в категории замедленности или почти полной остановки — она и есть эквивалент вечности. В сущности, любая вечность — не что иное как человеческая фантазия. И как никакая фантазия не сравнится с действительностью — действительность именно превосходит любую фантазию! — так замедленное и отстраненное время, неся в себе всю изначальную субстанцию жизни, но в преображенном виде, удивляет и потрясает нас куда сильнее, нежели любая и надуманная так называемая вечность. Тот, кто пережил автомобильную аварию, операцию, не говоря уже о настоящих паранормальных явлениях, коим числа нет, поймет меня. Кто же этого не пережил, должен чаще и пристальней задумываться о своем детстве, дабы в самых дальних и сливающихся с бессознательной Безначальностью переживаниях обнаружить ростки того, что гораздо позже и якобы само по себе или под «воздействием жизни» определит его биографию.

Я лично часто проделываю этот опыт, и не было еще случая, чтобы, идя за памятью, как путеводной нитью Ариадны, я не обнаружил в прошлом то, что искал в настоящем и будущем. Как и наоборот, заглядывая в то, что может и тем более должно по логике вещей произойти в моем личном будущем, я невольно оказываюсь всякий раз в собственном детстве. Потому что те пути, которые еще на заре индивидуального бытия, на крошечном жизненном пространстве и почти бессознательно привели в тупик, то есть закончились ощущениями шока, бессилия и ужаса, — они и в любом позднем возрасте, в ином измерении и при полном сознании обнаружат свою несостоятельность, хотя, может, и без какой-либо яркой эмоциональной окраски. Как и, наоборот, те самые ранние перспективы, ситуации, поведенческие варианты, в конце концов даже младенческие мысли и ощущения, в которых мы чувствовали себя «как рыба в воде», — они и позже, когда начнется «взаправдышная» наша биография, напишут в ней самые яркие и существенные страницы. Более того, когда нам что-то в жизни не удастся, и мы мучаемся, упрекаем себя, обращаемся за советами к друзьям, психологам и звездам, то к какому бы мы решению в конце концов ни пришли, оно никогда не будет вполне удовлетворитель-



ным, и душевные раны от собственной несостоятельности, а также невозможности понять, откуда она взялась и как ее устранить, — они еще долго, а может и до скончания жизни будут болезненно в нас зарубцовываться. Тогда как достаточно припомнить какой-нибудь полузабытый детский эпизод, где та же самая несостоятельность проявилась во всей своей обезоруживающей полноте и четкости, чтобы исчезли любые мучительные вопросы (которые обычно не исчезают), пропал проклятый комплекс неполноценности (который обычно не пропадает) и обнаружилась ясность и уверенность в дальнейшем пути (которые обычно не обнаруживаются). Да, когда в детстве найдены корни будущих поступков и черт характера, то это как явление ангела, который вам все самое существенное сказал о вас самих. Вы с этим как-то внутренне и окончательно согласились, хотя не будь этого явления ангела, не отыщи вы ваших характерных и поведенческих прототипов в далеком прошлом, так бы до конца и мучились. «Терапия детских воспоминаний» чудесным образом поправляет беспощадный принцип каузальности. Ибо, хотя мы и понимаем, что все сложилось так, как и должно было сложиться, это сложившееся положение вещей, в котором мы прежде и до совета с детством, видели лишь цепь досадных недоразумений, теперь, после совета с ним, представляется любопытным и неповторимым жизненным сюжетом. Сюжетом, который написан нами — мы ведь пишем его всю жизнь — и вместе не только нами — поскольку в главных штрихах он был набросан еще до того, как мы начали жить, то есть в нашем детстве. Это и есть одна из главных параллелей жизни человека с творческим процессом и производением искусства. О ней мы тоже будем подробно говорить ниже.

Итак, идя в будущее, мы всякий раз возвращаемся в прошлое, а отправляясь в прошлое, оказываемся чудесным образом в будущем. Причем, быть может, в той же самой последовательности. Так человек, желающий обогнуть земной шар, выходя на Запад, идет одновременно и на Восток. И точно так же, читая поистине великую книгу и подходя к ее финалу, нам всегда и без исключения хочется сразу вернуться к ее первым главам — точно ключ к ее пониманию находится в той же мере в ее конце, как и в ее начале. И быть может, идя по жизни от рождения к смерти, от прошлого в будущее и от детства к старости, но возвращаясь повзрослевшим сознанием туда, откуда мы пришли, мы идем к новому нашему рождению, новому нашему прошлому и новому нашему детству.

Вот почему, рассматривая собственные давние фотографии, мы испытываем двойственное и странное чувство: точно речь идет о хорошо знакомом и все-таки чужом нам человеке. Вот почему, встречаясь с друзьями детства, мы одинаково удивляемся и тому, что они так сильно изменились, и тому, что они в зерне остались такими, как прежде. В сущности, когда человек за долгие годы изменился порядочно, но мы все-таки легко узнаем его: по взгляду, по движению головы, по какому-то неуловимому движению губ, — это самое сильное и вместе самое естественное чувство, которое вызывает в нас работа времени. Если мы близкого человека перестаем узнавать спустя десятилетия, то складывается ощущение, будто новый и поздний человек проглотил прежнего и раннего, тот просто исчез, а куда? нет больше для него места во Вселенной, и это внушает нам некоторый ужас. Если же человек вовсе не изменился, то кажется, будто он и не жил, а спрятался в каком-то герметическом пространстве по ту сторону жизни, и это тоже действует отчуждающе. Поэтому, встречая себя (на фотографии) или друзей после двадцатилетней разлуки, мы и себе (мысленно), и друзьям (реально) задаем самые простые

вопросы, возвращаемся памятью к самым простым и общим воспоминаниям, говорим на самые простые и знакомые темы, — чтобы выявить и запечатлеть то вечное и неизменное, что нас когда-то сближало. А от него уже, как от печки, можно плясать куда угодно: тогда уже любое изменение в характере и любой поворот в биографии не только не пугают и не отчуждают, но радуют и сближают. Да и вообще, во встречах с людьми, которых когда-то хорошо знал, но не видел очень много лет, есть что-то особенное и магическое. Не только эти люди вам, но и вы сами себе кажетесь в их присутствии бесконечно знакомыми и родными, однако и немного чужими, хотя в каком смысле? в том самом: это уже почти те самые «знакомые незнакомцы», которые застыли на страницах наших любимых романов, и которые тотчас начнут жить, стоит нам обратить на них внимание.

Иначе говоря, всякий раз, окунаясь в сердцевину бытия, в чем бы она ни заключалась — будь то в кругосветном путешествии, переживании великого искусства или центральном токе жизни — мы неизбежно попадаем в так называемый магический круг. И в нем уже возвращаемся как зачарованные. Из него не можем и не хотим выйти. Не можем, поскольку выход из него и вход суть одно и то же, ибо противоположные направления совпадают, и путь в будущее оказывается путем в прошлое и наоборот. А не хотим по той же самой причине: жизнь в самой ее бытовой и повседневной сердцевине оказывается чудом — кто же может противостоять чуду? Сама наша внутренняя природа с ним тайно соотнесена, а быть может даже и идентична. Просто чудо это должно быть не сказочно и не сверхъестественно, а именно до последних своих пор повседневное и обыденное. Тогда оно действует на нас неотразимо, тогда мы не в силах ему противостоять. Таково великое или просто даже настоящее искусство. Но такова же и жизнь. Жизнь, оказывается, настолько художественная в своей основе штука, что перечитывать ее, несмотря на все ее чудовищные страдания и невзгоды, мы готовы снова и снова. Не здесь ли простая разгадка сложного механизма под названием: реинкарнация?

И еще одна особенность нашей человеческой природы приоткрывается, когда мы попадаем в вышеописанный магический круг. Мы вдруг открываем для себя, что содержательный опыт нашей жизни не столь и существенен. Иных событий вовсе могло бы не быть, другие сложились бы иначе, а третьи могли бы и добавиться — но по большому счету это не играет никакой роли. От перемены слагаемых, как говорится, сумма не изменяется. Сумма в данном случае — само по себе пребывание в магическом замкнутом круге, а значит, либо ноль, либо бесконечность, либо то и другое вместе. Главное — попасть в круг и быть в нем. А коротко пребывание или длительно, сопряжено ли со многими подробностями или предельно просто, и даже отстоит ли далеко от центра или вращается около него — по субстанции неважно. Все эти факторы чрезвычайно важны, когда человек еще не попал в круг. Однако очутившись в нем, любые прежде казавшиеся важными факторы становятся отные несущественными. Безразлично, как долго жил человек, чего достиг и какую роль сыграл в жизни — если только мы смотрим на него из центра магического круга. А когда же мы на него так смотрим? Да всегда и везде, пока не довлеют над нами навешанные повсюду обществом качественные «ярлыки». Наш естественный и непредвзятый взгляд на вещи именно предполагает их — вещей — онтологическую равноценность и равнозначность. Правда, мы сами на каждом шагу отнимаем у них это изначальное их ка-

чество. Иначе говоря, мы оцениваем вещи по нашему собственному образу и подобию. Но и здесь нет никакого противоречия. Мы делаем это, потому что не можем не делать. Пока человек жив, он смотрит на жизнь глазами своего Я, а последнее в силу собственной ограниченности как раз и оценивает окружающий мир. Но где-то в глубине души мы все-таки отдаем себе отчет в совершенной глубочайшей несправедливости по отношению к вещам бытия. И потому, когда на нас находит иной раз озарение, и мы вдруг понимаем, всем существом своим понимаем, что точно так же, как для любого русского Лев Толстой имеет громадное значение, для простого китайца наш великий писатель ровно никакого значения не имеет, и что, главное, оба взгляда одинаково объективны, — да, тогда все встает на свои места. Но как только под воздействием культуры и идеологии нам начинают внушать, что это не так, и что есть некая независимая от сознания людей реальность под названием — литература, и Лев Толстой один из ее богов — до чего же правдоподобная точка зрения! — и мы начинаем верить в эту реальность, мы тотчас выходим из магического круга.

Иными словами, все тот же взгляд на себя и на мир со стороны и как бы от третьего лица, — он и создает вокруг нас мгновенно и безотказно исконный магический круг. Тогда как перспектива Я и первого лица точно так же сиюминутно и неизбежно его разрушает. Но в наибольшей мере магический круг помогает выстроить смерть. Она прямо и никого не спрашивая замыкает прожитую жизнь любого человека в такой мощнейший и загадочнейший магический круг, что войти в него никому невозможно, в том числе и самому умершему. Деяния человека, конечно, остаются и даже всемерно возрастают в онтологическом весе. Однако — и вот что прежде всего любопытно — разница между людьми, любимыми людьми, независимо от возраста, пола, нации и роли в обществе, делается настолько минимальной, что мы иной раз, проходя по кладбищу мимо какой-нибудь безвестной могилы, и задумываясь о лежащем под ним человеке, не осознаем ни малейшего отличия в бытийственном весе между ним и самыми известными в мире людьми, и только как будто очнувшись и вспомнив: «Да ведь они столько сделали, а он...», да, лишь совершив эту привычную и искусственную умственную операцию, мы «возвращаемся на круги своя». То есть, покидаем магический круг.

Но до тех пор, пока мы в последнем, разница между осуществившимися нашими желаниями и побуждениями и теми, что не осуществились, практически равна нулю. Поэтому не только когда мы подводим итоги прожитой жизни, но и если просто смотрим на себя со стороны, как будто мы — это обыкновенный чужой человек, каких миллионы на улице, в нас начинает говорить художник. Мы судим свою жизнь сообразно собственным эстетическим критериям, которые у каждого — свои и разные. И часто бывает так, что один человек на вопрос: «Как он оценивает свою жизнь?» может дать подробный и удовлетворительный ответ, а другой промямлит лишь пару невнятных слов. Но тогда близкие и знавшие его довершат характеристику, и из их мозаичных набросков наверняка можно будет составить некий всегда законченный в себе, но всегда незаконченный в деталях внутренний образ. Этот образ я не постеснялся бы назвать «вещью в себе» любого человека. Поскольку образ есть в своей основе синтез характера и внешних обстоятельств, он до известной степени суть величина неопределимая и гипотетическая. В самом деле, кто осмелится утверждать, что в состоянии выявить и запечатлеть сущность того или иного человека — от рождения до могилы? Сколько там было судьбо-

носных поворотов, какие неожиданные изменения произвела смена возрастных фаз, а главное, как часто все-таки не свершились те именно испытания, которые расставили бы раз и навсегда все точки над *i* в характере данного человека. И уж конечно, то суммарное и заключительное сознание умирающего, которое, судя по всему, проходит сквозь угольное ушко смерти, никак не может быть идентифицировано с вышеописанным образом человека. Оно может относиться к нему разве что как часть к целому. И потому недаром буддисты никогда не называют преодолевшее порог смерти сознание душой, но — астральным телом, которое тоже относительно и недолговечно, и после отмеренных ему астральных странствий неизбежно распадается, становясь источником новой индивидуальной жизни (реинкарнация).

Итак, образ как вещь в себе человека. Если и не правда, то хорошо придумано, не так ли? Всякий раз, когда мы, глядя на себя, заменяем Я на Он, мы обретаем собственный образ. А когда возвращаемся к привычной перспективе Я, получаем черновики к нему. Мы тем самым постоянно работаем над собственным образом, и эта работа есть жизнь. Но результат работы ничего общего с жизнью не имеет, и его лучше обозначить как бытие. Жизнь и бытие чередуются так часто и в той степени, как и в какой меняются перспективы первого и третьего лиц. Когда нам говорят, к примеру, о каких-то интересных или даже великих людях, то это ничто иное как обрывки все той же «летописи бытия», о которой упоминалось выше. Нам предлагается какой-то любопытный исторический, религиозный, криминальный или любой другой сюжет: с острой, драматической композицией, умело расставленными действующими лицами, главными и второстепенными, красочными подробностями и прочим в том же роде. Значит ли это, что образный взгляд на себя прекращает жизнь? Да — в том смысле, что он «запечатывает» ее. Или, точнее говоря, записывает как летопись бытия. Пока идет запись, жизнь прекращается или, лучше сказать, магически останавливается. Но потом останавливается летописание, и жизнь как ни в чем ни бывало идет дальше. Причем, как это часто бывает, с учетом сделанных записей. В таких случаях мы говорим, что человек усвоил урок жизни, изменил себя, стал мудрее и тому подобное. Обо всем этом тоже будет речь ниже.

Итак, нет у нас лучшей модели, чтобы понять мир и все, что в мире, нежели произведение искусства. Причем сама по себе сфера искусства настолько безгранична, что касаться ее ради самой не имеет смысла. Нас интересовало искусство лишь поскольку его дух и его законы скрыты и заложены в самой повседневной жизни. Иными словами, двойной параллелизм искусства, жизни и обоих мировых религий — центральная тема нижеследующих этюдов. Не искусство само по себе, не жизнь сама по себе и не религии сами по себе, а те невидимые подчас, и вместе существовавшие существенные параллели между ними, благодаря которым самые привычные, но и самые важные для нас вещи видятся так, как видятся навсегда полюбившиеся страницы литературы. То есть одушевленные и неодушевленные одновременно, выдуманные кем-то и вместе существующие от века, близкие, как своя рука, и тем не менее далекие, как ночное звездное небо, насущные, как хлеб, и праздные, как театральное зрелище, пустые, как буддийская медитация, и осмысленные, как она же.

Здесь возникает резонный вопрос: если религии и философии как порождения человеческого духа еще могут иметь художественную природу, то как ее может иметь сырая и неоформленная во всех отно-

шениях стихия, которую мы называем жизнью? Ответ: сама по себе жизнь — никак, но лишь благодаря струящемуся в ее сердцевине бытию. Что такое — жизнь? и что такое — бытие? Жизнь — это все то, что мы ощущаем и воспринимаем от первого лица. А бытие — все то же самое, только почувствованное и воспринятое в отстраненном виде. Жизнь относится к бытию, повторим, примерно так, как черновики, предварительные наброски, планы и мысленные заготовки к составшему произведению искусства.

То, что я от рождения успел увидеть, услышать, понюхать, пощупать, почувствовать, подумать, свершить, испытать и прочее — от жизни. А то, что некий субъект с моей фамилией и моей биографией успел от рождения увидеть, услышать, понюхать, пощупать, почувствовать, подумать, свершить, испытать и тому подобное — от бытия. Жизнь, если угодно, имеет точечный, квантовый характер. В противоположность как бы непрерывной, волновой природе бытия. Существеннейшее различие между жизнью и бытием состоит еще в том, что первая всегда и без исключения идентична с сырым материалом. Тогда как бытие имеет сутобо об разную природу.

Жизнь знает одно только Я. Судит обо всем с позиции этого Я. Любит и ненавидит, принимает, отвергает и предпочитает, как может любить и ненавидеть, принимать, отвергать и предпочитать лишь Я. Бытие никого не судит, но все одинаково принимает и отражает. Бытие — это вечное Он, Она, Оно. Сравнение с зеркалом здесь не только уместно, но предельно точно. Жизнь — это пейзаж, увиденный с балкона. Бытие — тот же пейзаж, отраженный в затемненном комнатном окне.

И если жизнь, замыкаясь смертью, невольно уподобляется произведению искусства — неважно, в каком жанре — то это означает, что она становится «чистым бытием». В прожитую жизнь не дано проникнуть никому: ни окружающим людям, ни господу-богу, ни самому ушедшему. На нее можно возвышенно-неземными глазами смотреть из астрала или рыться в ней досужими воспоминаниями: но может ли она таким путем быть постигнута как целое? И есть ли вообще это целое? Здесь как нигде оправдывается допущение феномена отсутствия КАК способа существования сокровенной души той или иной вещи. Как душа в теле есть, но она отсутствует, и каждый из нас, отправляясь на ее поиски, возвращается с определенным, для него одного истинным обликом этой души, так точно мы молча исходим из наличия целостной, глубоко осмысленной, инкрустированной в космический ход вещей и в себе самой завершенной жизни, хотя под руками у нас одни бессвязные ее отрывки. И вот по мере сил и способностей, а также если есть желание, мы из этих отрывков при помощи памяти, воображения, ума и жизненного опыта воссоздаем в душе то духовно-сюжетное единство, которое сами же ищем. Это и есть главный парадокс творчества. Поэтому размышляя даже о самых близких людях, мы очень скоро наталкиваемся на известную границу: по одну ее сторону скапливаются все те черты характера и поступки, которые нам вполне понятны, и которые мы можем объяснить себе и другим, а по другую сторону уходят следы и проекции тех свойств и поступков, которые мы не совсем понимаем, и которые якобы в противоречии с созданным у нас образом человека. Такое противоречие всегда есть, а если его нет, значит, мы плохо знаем человека. Оно есть у других уже по одному тому, что неизменно присутствует и в нас самих. Каждый, кто внимательно заглянет в себя, согласится со

ной. Так вот, когда подобное противоречие — а чаще во множественном числе — обнаруживается и начинает как бы «портить» привычный портрет, это означает, что центр тяжести характеристики переваливается по ту сторону магической границы. И чтобы завершить ее — характеристику — надобно отчасти отказаться от конкретного облика рассматриваемого субъекта, и взять в усужение кое-какие гипотетические и воображаемые параметры его характера и поведения. Такие, которых мы прямо может быть никогда и не наблюдали в знакомом нам человеке, но которые лучше всего помогут раскрыть обнаруженные несовместимости его облика. Иными словами, подобно тому, как лайнер, разгоняясь на взлетной полосе, кажется, не может не взлететь и взлетает сам по себе, так всесторонний анализ любого практически человека имеет внутреннюю тенденцию закончиться художественным образом. И не заканчивается только потому, что рядом не оказывается художника. Я лично понял себя, лишь написав в какой-то мере автобиографический роман.

Заострим этот момент. Любая религия есть произведение искусства. И больше ничего. А упрек в том, что искусство формально и без него можно прожить, тогда как религия есть живая вода жизни и без нее нельзя жить, основан на недоразумении. Искусство вообще тут ни при чем. Разумеется, и без него можно прожить, как и без религии. Так живут и жили на наших глазах миллионы людей. Нет, мы хотели только сказать, что любая жизнь сюжетна, что ее герой играет свою роль, что композиция его жизни четко распланирована и идет от завязки к финалу, то есть от рождения к смерти, что есть в этой композиции коллизии и апогей, и что самое главное, любая жизнь насквозь пропитана художественной субстанцией чистого бытия, но этот момент вполне ощущается только после смерти человека-персонажа. Вот чем напоминает повседневная жизнь человека произведение искусства. И только этим. Остальное неважно. А если человек религиозен, то это лишь своеобразное сюжетное оформление его жизни. Самое же главное: жизненный путь основателей великих религий, читай — Иисуса и Будды — это только их путь. И их духовные приобретения — только их приобретения. Разумеется, они на этот счет иного и противоположного мнения. Но все-таки это очень рискованное и безответственное дело: заранее отказаться от своего собственного пути в жизни и пойти чужим. Сами они — то есть Иисус и Будда — никогда бы так не поступили. Я лично убежден, что если бы то, что они нашли и поведали людям, было уже найдено до них и другими, они бы скорее отказались от чужой и найденной истины, и продолжали бы искать свою собственную. Не это ли именно их сокровенный завет нам? Плох тот ученик, который хотя бы на йоту не поправит своего учителя.

В который раз: любое духовное учение, на какую бы роль оно ни претендовало, напоминает в той или иной мере произведение искусства. Так оно есть и не может быть иначе. Но на этом месте следовало бы вспомнить, что герои литературы, те самые, которых мы любим, которыми восхищаемся, и без которых — так нам кажется — духовно жить не можем, — они ведь начисто отсутствуют. Мы возвращаемся таким образом к тому, с чего начали. Да, их не было, нет, не будет и не могло быть в нашей действительности. Как и всего, что с ними связано. Однако вот что любопытно: именно по этой причине они оказывают на нас такое неотразимое воздействие. Тогда как литературная обработка реально существовавших людей, не говоря уже о документальном жанре, никогда не дают того художественного эффекта, который получается в результате

полного творческого выдумывания персонажей. Творчество как таковое возможно только при условии экзистенциального отсутствия тех самых ценностей, которые оно же само и воспроизводит.

Но отсутствие не есть небытие. В самом слове «отсутствие» столько тонкого смысла, граничащего с магией, что анализу его мы с удовольствием посвятили десятки страниц. Этот тот кит, на котором стоит вся наша книга. Ближе всего к нашему пониманию феномена отсутствия подошел дзен-буддизм. Там постулируется некий «Мастер тела». Но кто он? Перебираются все возможности: душа, бог, космос и прочее. И все они отбрасываются. А загадочный отсутствующий Мастер тела остается. И вот когда названы и проанализированы все решительно альтернативы, а удовлетворительный результат не получен, психические энергии, не в силах дальше искать, но и отказаться от поиска, взрываются и трансформируются в непреходящее острое ощущение вечного потрясения и удивления. Это и есть конечное просветление согласно дзен. Также и здесь мы видим явную параллель с восприятием искусства. Дзен точь-в-точь также воспринимает мир, как любой из нас полюбившийся шедевр. Но есть все-таки и разница. Так ли уж часто мы экзистенциально удивляемся миру? Нет, скорее удивление жизнью растворено в нас, как золото в золотом песке. И выступает в чистом виде очень редко, в зависимости от ситуации и в виде исключения. Так в самой лучшей прозе сравнительно мало громких слов, громких чувств, громких мыслей и громких событий. Они и не нужны, потому что умелой рукой мастера любая громкость трансформировалась в тишость. Непрекращающееся удивление от мира осталось, но источник его для нас отсутствует. И вот вместо того, чтобы плюнуть, махнуть рукой и забыть его, мы всю жизнь его ищем. Сама природа Отсутствующего такова, что его приходится постоянно искать, заранее предчувствуя, что поиски не увенчаются успехом, и тем не менее не только невозможно прекратить их, но в них, оказывается, весь смысл жизни и все ее сублимное очарование.

Так ищем мы, не ходя далеко за примером, собственное Я. Буддизм категорически утверждает, что его нет, а то, что мы под ним подразумеваем, чистая иллюзия. Однако буддизм нас до конца не убеждает. Мы по-прежнему верим в существование чего-то такого в нас, без чего нас нет и мы немислимы ни для себя, ни для других. Но что же это такое? Характер? Однако он слишком изменчив и противоречив, а главное, мы не знаем, каковы его границы в экстремальных ситуациях (пытки). Кроме того, он так меняется со временем, что один и тот же человек — молодой и старик — кажется нам подчас двумя различными людьми. С внешностью те же процессы выступают с еще большей отчетливостью: мы буквально не узнаем иных состарившихся людей. Буддизм, таким образом, по-своему прав: мы никогда не найдем своего Я. Но и мы тоже по-своему правы: мы никогда не перестанем искать его. И наш неустанный поиск по крайней мере косвенно подтверждает существование нашего Я — но в аспекте его вечного отсутствия. Все встает на свои места, и феномен отсутствия, подобно иксу в сложном жизненном уравнении, помогает выявить самые простые и очевидные жизненные величины.



## Александр КАРПЕНКО

*/ Москва /*

### «ПО ЛЕСТНИЦЕ СЛУХА»

О лирике Ильи Оганджанова

Наверное, не будет большим преувеличением, если я посмею утверждать, что Илья Оганджанов — один из самых чистых лириков нашего времени. Поясню свою мысль. В то время как бесконечные постмодернисты, а то и «реалисты» собирают на улицах всевозможную грязь и пишут о дисгармонии, неприязне, чернухе и пр., складывается впечатление, что все эти «вихри враждебные» пронесли мимо Ильи Оганджанова, оставив его душу цельной и невредимой. Он просто не пустил грязь мира в свою душу. И не сделал своё сердце, согласно Достоевскому, полем битвы между силами тьмы и света.

\* \* \*

После грозы,  
когда умолкает ткацкий станок ливня  
и все вокруг соткано из тишины,  
мне кажется, что я один на целом свете.

Но вот я слышу:  
ровное дыхание земли сливается с моим дыханьем,  
стрекозы хлопочут — штопают воздух,  
по-стариковски охает ветер,  
и листья шелестят: им снится сон, что они — бабочки.

И спускаясь по лестнице слуха  
все дальше и дальше от мира,  
я различаю звук удаляющихся шагов —  
это душе моей снится,  
что она идет по мокрой от дождя траве  
тебе навстречу.

*(Из книги «Вполголоса»)*



Поэзия Ильи Оганджанова — это бесконечное вслушивание во внутренний мир. А для этого необходимо состояние покоя. После грозы лирический герой стихотворения не смотрит на радугу. Он весь обратился в слух, он слышит не только биение собственного сердца, но и движение природных стихий.

Не каждому речи поэта слышны,  
Но, сын абсолютного слуха,  
Он слышит прозрачную речь тишины,  
Он — эхо событий и ухо.

Стихи Оганджанова почти бессюжетны, но это с лихвой окупается богатством мира и пантеизмом восприятия, единением с живой природой и порой мучительным переживанием подлинного счастья — глубокого и нетривиального. Верлибры Оганджанова по состоянию души поэта близки к образцам классической японской поэзии: он «западную» форму применил к «восточному» содержанию. Рифма в этой поэтике была бы нарочитостью, помехой свободно льющейся речи.

\* \* \*

Лишь глаза закрою и сном забудусь,  
душа серой цаплей над озером лесным закружит —  
облака на дне его и опавшие листья.  
Женским голосом кричит и плачет птица,  
кличет милого друга.

А проснусь: ни озера, ни цапли.  
Солнце на небе, как лист осенний.  
И не вспомнить имени друга.

Несмотря на то, что стихи Ильи Оганджанова не зарифмованы, нет-нет, да и проскользнёт в его мироощущении, в его отношении к природе что-то тютчевское. Но, как мне кажется, тютчевский дуализм дня и ночи, света и тьмы переосмысливается в стихах Оганджанова недроблением мира на противоположности, синтезом реальности в лирическом переживании бытия. Мне очень симпатичен Оганджанов — пограничник стиха и прозы, когда это ещё не жанр, но уже — первородная речь. Оганджанов говорит «вполголоса» (так называется его книга стихов), но не вполнакала.

## ПАЛИМПСЕСТ

(страница десятая или одиннадцатая)

Словно путешественники у пересохшего колодца,  
мы стоим у окна.  
Наши отражения на стекле — мальчик и девочка.  
Они только что вырывали друг у друга куклу,  
а сейчас равнодушно глядят на её искалеченное тело,  
не доставшееся никому.

И сквозь самих себя,  
отражённых в самих себе,  
мы видим:  
молодцеватый тополь расправляет свою тень,  
прихорашивается клумба,  
раннее утро,  
необитаемый островок песочницы.

*(Из книги «Вполголоса»)*

В вечности — всё одновременно, всё сосуществует. Поэт делает открытие: детство — это своего рода ископаемое из области археологии духа. «Палеолит» ещё не родившегося по-настоящему человека. Варварство несмышлёных лет уходит в небытие, становится одним из далёких отражений. Неумышленное варварство, когда мальчик и девочка изо всех сил тянули куклу — каждый к себе — и сломали её, научило детей уму-разуму. И дело здесь не в жалости или сострадании. Дети вдруг осознали, что разрушение не эстетично, а разрушенное потом не чинится и становится бесполезным для всех, а не только для тех, кто сломал. Дети стали взрослыми и поняли, что собственность, построенная на экспроприации, — разрушает душу! Но после войн, маленьких и больших, и причинённых ими разрушений жизнь продолжается! И она может продолжиться совсем другим путём! «Show must go on!» И это — непреклонно.

И конечно, невозможно пройти мимо оганджановской «Игры в прятки» (из книги «Вполголоса»).

## ИГРА В ПРЯТКИ

*...я не знаю, что было, когда не было дерева.*

Е. Кулиева

ты говоришь мне: я тебя вижу, ты стоишь за деревом. плечи видны из-за ствола. дерево уже тебя в плечах, поэтому я тебя вижу. и ещё я знаю, что за словом «дерево» стоит вот это дерево, за которым стоишь ты, а что стояло за словом, когда ещё не выросло дерево и ты не стоял за ним, я не знаю. теперь мой черёд: ты стоишь за деревом, и пусть я тебя не вижу, но точно знаю, что ты там, потому что когда ты пряталась, я подглядывал. а за словом «дерево» стоит не только это дерево, но и много других деревьев, за которыми мы могли бы спрятаться, и тех, за которыми мы никогда не спрячемся. я это знаю, не потому что видел все деревья на свете, а потому что читал об этом в книгах. а когда не было этого дерева и никакого другого тоже не было, за словом стоял Бог, как он сейчас стоит за нашим деревом, мальчик, приехавший из чужого города, с ним никто не хочет водиться, и он играет в прятки сам с собой. я давно за ним подглядываю.

Когда я читаю это произведение, передо мной неотступно возникает картина первобытного Рая, в котором присутствуют лишь Адам, Ева да Всевышний. Хотя поэт нигде и словом не обмолвился о том, что его дерево — то самое, библейское. Потерянный рай детства — это воспоминание о будущем. Удивительным образом поэту удалось запечатлеть ещё безгрешное, детское, сознание своих героев. Детское — не значит примитивное. Ведь дети за деревом увидели прятавшегося бога. Оказалось, что бог — это мальчик из чужого города, который играет в прятки сам с собой. Такой неожиданный перевод повествования в эзотерику — один из характерных приёмов поэтики Ильи Оганджанова.



## Михаил ОКУНЬ

*/ Ален /*

### «ЖИЗНЬ НЕ БУДЕТ ТАКОЮ КАК ПРЕЖДЕ...»

*Заметки о книге Тамары Буковской «Безумные стихи»<sup>1</sup>*

Юная София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская вскоре после приезда в Россию, где она должна была стать женой будущего императора Петра III и войти в историю как Екатерина Великая, написала в одном из писем матери: «Правительство обращается здесь с народом так, как победители с побежденными».

Лучше не скажешь. Для меня герои стихов Тамары Буковской — прежде всего они, «побежденные»:

несчастные и нищие и злые  
метрошные трамвайнопроездные  
квартиросъемные бездомноугловые  
мешочноклетчатые сумконабивные  
притравленные властью но живые  
наследники крестца хребтины выи  
империи владычицы россии  
авосятся и тычутся ей в вымя...

И неважно, какое столетие на дворе — 18-е или 21-е. Разве что «победители» нынче еще более жестоки и бессовестны, а «побежденные» унижены еще сильнее.

Уже из приведенных строк видно: «атомная масса» текста, его плотность очень высока. Мы имеем дело с «тяжелым элементом» поэзии. Даже иногда слишком тяжелым.

Дистанцируется ли автор от этих «притравленных властью но живых»? Безусловно, да:

...кто ж хотел  
смехуёчков бравады глумленья  
бомжебрета и пьяного пенья  
танцев-шманцев ха-ха да хи-хи

<sup>1</sup> Тамара Буковская. Безумные стихи. СПб, «Вита Нова», 2012.

непомерна цена за стихи  
за тяжёлую кровь в голове  
эту цену оплакивать мне...

В то же время ощущая себя их частью — и с ужасом понимая, что с этим уже ничего не поделать, надо терпеть и терпеть:

я огрызаюсь как старая сука  
в угол загнанная людьми  
неизводимая черная мука  
мукает там у меня внутри...

В коротком тексте, намеренно не названным мною рецензией, я не ставлю задачу обстоятельного анализа «безумных стихов», «Заметки» — отзываюсь на то, что действительно тронуло. А при чтении некоторых стихов создается ощущение затягивания в воронку. Как бы последние глотки воздуха:

и я здесь был и я был малой частью  
напишем на вратах военной части  
на стенках серых в нужнике санчасти  
я был и убыл — я не в вашей власти  
провоем в голос над шестою частью...

Или вот — прямые попадания. Например, «срамное мытьё» («стану смешной и нелепой старухой»). Тот, кто бывал на «старушечьих» отделениях отечественных больничных клоак, понимает, насколько это точно.

Послесловием к сборнику стоит ёмкая статья А. Арьева «Мартовские иды (О стихах Тамары Буковской)». Даётся ретроспектива пути поэта — от лито под руководством Т.Г. Гнедич — к первой книге стихов «Отчаяние и надежда» (1991) — и до наших дней.

Семь разворотов отдано рисункам, о которых лучше, чем в аннотации сборника, не скажешь: «Параллельными визуальными текстами этой книги стали пронзительные по смыслу и фантастические по силе и технике работы замечательного художника Валерия Мишина».

В заключение скажу, что сборник «Безумные стихи» Тамары Буковской относится к тем книгам, которые надо обязательно прочесть. Хотя бы для того, чтобы окончательно понять:

ни отсрочить ни вымолить чуда  
я не буду не буду не буду  
и не будь — всем вообще наплевать.



## Людмила ВЯЗМИТИНОВА

*/ Москва /*

### СЛОВО О САМИЗДАТЕ

*Клуб Н. Литературный альманах. — М.: ООО «АНДЕРЛЕХТ-КОНСАЛТ», Центр поэтической книги (при Русском ПЕН-центре). — 2012. — 112 с. — ил.*

Казалось бы, с уходом в прошлое эпохи, породившей термин «самиздат», должен был бы уйти в прошлое и сам этот термин. Ан нет! Вот, извольте, в аннотации к литературному альманаху под названием «Клуб N» говорится, что это одно из «независимых изданий», в которых «существует» современная «независимая литература», «продолжающая лучшие традиции русского самиздата». Термин явно не собирается исчезать из современного лексикона, поскольку — и это проявилось сразу же после начала осмысления породившей его эпохи — фактически он обозначает трансвременное и весьма многоликое явление.

Так, в предисловии к увесистому тому «Самиздат века» (М.-Мн.: Полифакт, 1997) Лев Аннинский пишет: «Мы не знаем... где еще в XX веке было нечто подобное — потаенные иероглифы в тоталитарном Китае, тайные письмена в африканской деревне или скабрзности, снятые цензурой из американского журнала и самовольно подклеенные туда возмущенными издателями». Помянув далее, среди прочих примеров, «инвективы князя Курбского», «передаваемые» «в жанрах, которые именуются “голосами людей из народа”», он делает такой вывод: «во все века что-то слышится “из-под глыб”, что-то поется “возле города на окраине” и что-то бубнится “после работы” при водкопитии, которое не только в XX веке есть веселие Руси».

Как известно, тот, не такой уж и давний, но уже исторический самиздат не то чтобы противостоял тогдашней официальной литературе, а находился от нее как бы на противоположном полюсе — действительно исходя из дихотомии зависимая/независимая. По сути же все сводится к упомянутой Аннинским цензуре, то есть ограничению свободы самовыражения в слове, и проявляется оно отнюдь не только в форме официальных запретов. Цензура многолика, но неизбежна при наличии общественного договора, гласного или негласного, а без наличия его в какой-либо форме не может существовать ни одно общество. В рамках этого договора вынуждены существовать и общественно значимые издания и издательства, в отношении которых не приходится говорить о полной свободе или независимости.

Тогда как самиздат — дело частное, неважно, идет ли речь об одном человеке или о группе людей, когда, по выражению «составителя» альманаха «Клуб N» Татьяны Михайловской, издание является «свидетельством общего дела». Тут каждый сам себе цензор, и каждый несет всю полноту ответственности за то, как его, личное (или «их», то есть групповое) «слово ответится». И в полном соответствии с упомянутым разнесением по полюсам в аннотации к «Клубу N» в качестве представителей другого полюса указаны «толстые» журналы и «большие» издатели, которые такое «не печатают». Это именно разнесенность по полюсам, а не вердикт по типу хорошее/плохое. Здесь имеется в виду, что каждый делает свое дело, а там — жизнь и история покажет.

Трудно сказать, возможно ли полное отсутствие цензуры со стороны «составителя» самиздатского издания, включающего в себя произведения многих авторов, во всяком случае, хотя бы в отношении отбора авторов и их произведений. Как бы то ни было, в предисловии к альманаху «Клуб N» (названном его автором, Татьяной Михайловской «От составителя»), в котором проговариваются основные принципы исторического самиздата, в качестве главного называется соблюдение «святой авторской воли», и «ущемление» ее «хоть в чем-то» определено как «самый страшный» грех «для составителя самиздатских сборников». Отсюда и термин — «составитель», не противопоставленный «редактору», а помещенный на противоположный от него полюс. Здесь Михайловская цитирует «одного из столпов самиздата» Бориса Иванова, «уподобившего составителя “сборщику грибов, который не сеет и не поливает”, а просто идет себе по лесу и собирает съедобные».

Второй принцип — наличие в сборнике текстов тех, кто «творчески существует в некотором литературном кругу, обменивается планами, идеями и только что написанными строчками». И делает это «не в “живом журнале”, не во всевозможных “контактах”, а по-честному, отвечая за свои слова, вживую». Иными словами, речь идет о клубе, живущем по типу ушедших вместе с «клубной эпохой» «лихих 90-х» и в котором чтутся традиции эпохи исторического самиздата. При этом «святая авторская воля» выполняется вплоть до наличия в «свидетельстве общего дела» текстов, как сказано в аннотации, исключительно «по своему выбору» каждого из авторов.

«Крут» авторов альманаха «Клуб N» делится на две части, сообразно чему две из трех его частей названы «Своя траектория» и «Приглашенные гости». Деление это, в принципе, условно и определяется исключительно географическими обстоятельствами, позволяющими/не позволяющими регулярно присутствовать на собраниях клуба. Каждый из них, по определению Михайловской, «идет своим путем, точно снаряд летит по закону поэтической баллистики», и это «наши люди», хотя все они — «абсолютно разные, глубочайшие индивидуалисты», «не соединимые ни в какое целое».

«Гостей» всего двое. Это Ры Никонова, которая, как пишет Михайловская, «пребывает в Германии туманной», и «где-то меж голливудских холмов затерявшийся» Андрей Тат. Оба — известные участники исторического самиздата. Здесь Ры Никонова представлена небольшой неовангардной пьесой «100 граммов», датированной 1997–2011 годами, а Андрей Тат — датированной 1974–1986 годами подборкой лирических стихов из книги «Полевой дневник, или Фиалка в винном стакане».

Часть «Своя траектория» содержит тексты участников клуба. Проза представлена рассказами Наталии Юлиной и Елены Твердисловой. Среди

них хотелось бы отметить текст Наталии Юлиной «Дуся». Его отличают и занимательный сюжет (профессор пересаживает кошке душу умирающей жены), и удавшаяся документально-бесстрастная форма его изложения, и умелое сочетание в коротком тексте пародии и трагедии, и обращение к весьма актуальной в наше время теме союза мужчины и женщины.

Поэзия представлена текстами Валерия Галечьяна, Татьяны Михайловской, Валерия Сафранского (стихи 90-х гг. под названием «Из реальности в реальность: Германия»), Наталии Осиповой и Наталии Кузьминой. В целом здесь можно говорить о неоавангарде с выраженными элементами видеопозезии и полисемантики и современном свободном стихе, тяготеющем к отчетливой ритмичности и выраженной сюжетной линии. Наиболее органично все это сочетается в текстах Наталии Кузьминой, среди которых особо хотелось бы отметить «Безумные гонки».

Третья (реально первая) часть — «Эхо», по определению Михайловской, — «эхо прежней жизни, наши воспоминания, наш архив». В нее вошли тексты действительных членов клуба и его гостей, посвященные памяти ушедших. Это записки Эсфири Коблер, содержащие воспоминания о Владимире Гершуни, стихи Валерия Сафранского «Памяти В. Бурича», Б. Констриктора «Сон времени», посвященные «Памяти А. Ника», Виали Мельникова «Дмитрию Е. Авалиани» и Бориса Кольмагина «Д. Авалиани». Акция памяти Дмитрия Авалиани включает в себя и публикацию его совместного с художником-графиком Александром Лаврухиным проекта «Солнце». Графика Лаврухина соотносится с листовертнями Авалиани, в которых одним из двух читаемых компонентов является слово «солнце»: «солнце — «зрачок», «солнце» — «рамес» и так далее.

Хотелось бы процитировать стихотворение Б. Констриктора, название которого дало название всей его подборке — «Сон времени»:

Мозг, наблюдая сам себя,  
вступает в осень тика-така.  
  
Не содрогаясь, не скорбя,  
трусит сознания собака.  
  
Вот прозвучал призывный свист,  
и попирая все законы,  
  
взлетает сна опавший лист  
над темным золотом иконы.

Данное стихотворение хорошо передает как стиливое направление альманаха, так и царящее в нем обостренное ощущение времени. «Призраком прошлого, из которого он возник», назван этот альманах в тексте «От составителя». Да, нити из настоящего в прошлое видны в нем отчетливо. Будущее же, как сказано в заключительных словах этого текста, «неизвестно» и прекрасно своей «непредсказуемостью».

Но одно можно сказать наверняка: самиздат многолик и неистребим, неважно, в рукописном ли, в печатном ли виде он существует, хотя бы и с копирайтами и выходными данными, все это декорации времени. Суть в том, что один человек или небольшая группа людей под свою ответственность выпускают в свет то, что и как они хотят, а далее — как Бог даст. Возникнет ли некое значимое массовое явление, как это произошло с историческим самиздатом, или будут только отдельные индивидуальные проекты с разными судьбами? Слово за будущим. Остается согласиться с Татьяной Михайловской: «Альманах Клуб N выходит в свет. Будет ли он первым или станет первым и последним, неизвестно».



КРЕЩАТИК  
(Перекресток)

Международный  
литературный  
журнал

Оригинал-макет *Б. Марковский*  
Дизайн обложки *С. Пионтковский*

Издательство  
«Вест-Консалтинг»,  
Москва, 109193,  
ул. 5-я Кожуховская, д.13

Подписано в печать 12.05.2013. Формат 66x88<sup>1/16</sup>.  
Усл.-печ. л. 19,9. Печать офсетная. Заказ 372.  
Тираж 500 экз.

**Мы – в неустанном поиске  
новых имен, неизвестных авторов,  
где бы они ни жили – в Киеве,  
Петербурге, Иерусалиме, Нью-Йорке  
или Мюнхене, мы – перенесенный  
в ментальное пространство проспект,  
как бы он ни назывался  
в каждом городе, где когда-то  
завязывались великие дружбы,  
писались великие стихи,  
происходили знаменательные  
встречи...**

